

Н. А. НЕКРАСОВ

СОЧИНЕНИЯ

10

КНИГА 1



Ник. Некрасов



Н. А. НЕКРАСОВ
Фотография 1860-х гг.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



Н. А. НЕКРАСОВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ

В ПЯТНАДЦАТИ ТОМАХ

—*—

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ТОМА 1—10



ЛЕНИНГРАД «НАУКА» — ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1985

Н. А. НЕКРАСОВ

ТОМ ДЕСЯТЫЙ

КНИГА ПЕРВАЯ

МЕРТВОЕ ОЗЕРО



ЛЕНИНГРАД «НАУКА» — ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1985

Н $\frac{4702010100-576}{042(02)-85}$ Подписное

МЕРТВОЕ ОЗЕРО

ТОМ ПЕРВЫЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I

ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР

Четыре часа пополудни; день жаркий, но воздух чист и ароматен. Солнце усердно нагревает темно-серые стены большого, неуклюжего дома, стоящего вдали от прочих деревенских изб. Об архитектуре его можно сказать одно: вероятно, он был недостроен, когда его покрыли крышей. Окна, маленькие и редкие, наглухо заперты. У дома есть и сад; но он нисколько не защищает его от солнца; кроме кустов сирени да акаций, не видно в нем никаких дерев. Впрочем, в нем найдется всё необходимое для деревенского сада: крытая аллея из акаций, с беседкой, несколько дряхлых скамеек, расставленных на дурно выметенных дорожках; в стороне — гряды с клубникой, а по забору тянутся кусты смородины и малины. Полусгнившая терраса с колоннами и деревянными перилами, выкрашенными белой краской, выходит в сад, и от нее тянется дорожка; она спускается вниз к небольшой реке, которая вся покрыта болотными лилиями и другими травами. Через речку перекинут узенький мостик в китайском вкусе. Переходящему его нужно иметь достаточный запас мужества, потому что местами доски сгнили, а остальные прыгали от прикосновения. Но за смелость свою он щедро вознаграждался, очутившись вдруг в прекрасном лесу вместо унылого, обнаженного сада. Огромные деревья заменяли здесь беседку и крытую аллею, зеленая мягкая трава с цветами — сгнившие деревянные скамейки. Тут так всё дышало весело и роскошно, как будто не маленькая река, а целое море разделяло два сада.

Вступив в дом, мы увидим одну из главных комнат, необыкновенно широкую и низенькую, с полом, выкрашенным густо-коричневой краской, с закопченным потолком, с меблировкой, в которой каждая вещь свидетельствует давность лет и лишение удобств. Высокие стулья, выкрашенные белой краской, с букетом роз на спинке, с соломенными подушками, привязанными к сиденью, жались плотно друг возле друга, окаймляя стены. Посреди комнаты — обеденный круглый стол с бесчисленными тоненькими ножками, напоминавший огромного окаменелого паука. В углу против окон — массивный флигель в неуклюжем чехле из толстого серого сукна. На желтой закопченной стене — барометр, оправленный в черное дерево. В одном углу помещались стенные часы с пудовыми гирями, которые по огромности своей скорее годились украшать башню рыцарского замка, чем столовую мирного селянина.

Под монотонный стук маятника по комнате ходила женщина пожилых лет, с лицом бледным и суровым. В ее крупных и неправильных чертах было полное отсутствие малейшей нежности. Закинув руки назад, она прохаживалась тяжелою поступью, погруженная в раздумье. Ее полутраурный туалет гармонировал с мрачностью комнаты: он состоял из темного ситцевого капота и бархатной пелеринки с бахромой; за поясом позванивала огромная связка ключей; тюлевый чепчик с темными лентами прикрывал волосы женщины, черные с проседью.

У окна, затянутого серпянкой, сидели девушка и старичок, лицом друг к другу. Противоположность лет резко выказывала молодость, полную жизни, и кроткую старость. Несмотря на совершенно детский туалет девушки, ей смело можно было дать лет шестнадцать. Ситцевое полинялое светленькое платье с короткими рукавами, которые выказывали полненькие и красивые руки, и беленькая детская пелеринка не могли скрыть пышных плеч. Девушка была причесана á la chinoise. * Ее слегка волнистые волосы приподняты были кверху, открывая красивый лоб и виски. Коса ее, очень густая, низко спускалась на затылок, на котором вились от природы маленькие пукли. Головка так грациозно была поставлена на ее прекрасных плечах, что невольно обращала на себя внимание. Черты лица были небольшие, исключая глаз — яс-

* в китайском стиле *(франц.)*

ных и смелых; а в очертании красивых губ, несмотря на детское еще выражение всего лица, выражалось уже столько энергии, что вы невольно догадывались о силе характера. Гармония господствовала во всей фигуре девушки, начиная с огненных ее глаз до красивых пальцев, которыми она работала бисером на бумаге,— занятие, придуманное для потери зрения.

Старичок был очень маленького роста: он почти весь мог бы усесться в вольтеровских полинялых креслах. Лицо его было кротко, черты мелкие, но, несмотря на дряхлость, сохранившие еще форму. Из-под белого вязаного колпака, которым была покрыта его голова, падали редкие длинные седые волосы и ложились на воротник ситцевого халата. Огромные очки почти закрывали всё его маленькое лицо. На коленях у него лежала книга, а на окне подле него — табакерка и розовый клетчатый платок.

Тишина была томительная кругом в доме; одна только мерно-тяжелая поступь, то заглушаемая боем маятника, то вторившая ему, монотонно раздавалась по зале. Внимательный глаз, однако ж, заметил бы маленькую комедию, которая безмолвно разыгрывалась среди всеобщей тишины. Лишь только высокая женщина поворачивалась спиною к окнам, как девушка отнимала голову от работы и заглядывала за ширмы, стоявшие у окна. Старик делал то же. Они улыбались, глядя в окно; по временам девушка едва сдерживала смех. Но как только высокая женщина доходила до двери против окон и поворачивалась, девушка и старик пугливо обращались к своим занятиям; лица их быстро принимали серьезное выражение.

Внимание старичка и девушки привлекал стоявший у окон в саду высокий мальчик... впрочем, мальчиком его можно было назвать только по костюму, да еще по гримасам и прыжкам, какие он теперь выделывал. Широкие его плечи заключены были в узенькую синюю суконную курточку, рукава которой едва доставали до кисти его мускулистых рук. На отложенный воротничок рубашки падали светло-белокурые длинные волосы. Ростом он был довольно высок и вообще имел вид недоросля. Щеки его горели ярким румянцем, пот катился градом с его открытого лба; но он ничего не замечал и усердно гримасничал и ломался. Однако ж проказам его, которые так занимали старика и девушку, суждено было скоро кончиться.

Высокая женщина случайно, не дойдя до двери, повернула голову и застала врасплох старичка и девушку.

Как бы почувствовав устремленные на них зоркие глаза, они оба вздрогнули и склонили головы, один — к книге, другая — к работе. Язвительно улыбнувшись, высокая женщина молча вышла из залы в боковую дверь. Девушка выразительно переглянулась со старичком и робко прислушивалась к стуку двери в соседней комнате, которая выходила на террасу. Через минуту возвратилась в зал высокая женщина; запыхавшись, тащила она за собою проказника, пойманного врасплох в саду,— он неохотно шел за ней, упираясь всем телом. Со всею силой своего высокого роста и могучих плеч она посадила мальчика на стул у флигеля и грозно сказала:

— Я жду, жду его, думаю — еще в классе, а он изволит гримасничать, как фигляр какой-нибудь.— И, с презрительной миной обратясь к старичку, который, как школьник, уткнулся в книгу, она прибавила: — А как вам-то не стыдно?

Затем, быстро отвернув голову, подошла к девушке, низко склонившей голову над работой, с готовностью принять грозу, уже тяготеющую над ней.

— А вы, сударыня! — воскликнула высокая женщина, дурно скрывая свой гнев и, однако, стараясь придать своему голосу более ровности.— Вспомнили бы, что едите чужой хлеб, носите чужое платье! хоть бы из деликатности, коли в вас нет благодарности, слушались ваших благодетелей. Не зевали бы по окнам, а работали бы.

Изливая таким образом свой гнев, высокая женщина всё ближе и ближе подходила к девушке. Сдерживая ускоренное дыхание, бедная девушка сжала свои губы, на которых как бы блуждала улыбка; щеки ее горели, а дрожащей рукой она ловила бисеринку, которая упорно увертывалась от нее.

Голос высокой женщины всё возвышался, лицо пылало гневом. Она продолжала:

— Я вас проучу, сударыня, я заставлю вас не улыбаться, а плакать, когда вам говорят дело. Взятая из милос...

Но тут она была прервана сильным стуком крышки флигеля и диким криком: то кричал молодой человек, кусая свою руку и подпрыгивая.

Высокая женщина кинулась к нему; в минуту гнев исчез с ее лица, смененный испугом. Она озабоченно смотрела на мальчика, повторяя:

— Всё твои шалости!

И она хотела было дотронуться до его руки; но он дико вскрикнул: «Ай, больно!» — и уклонился.

— Воды холодной и уксусу, скорее, скорее! — отрывисто проговорила высокая женщина, подавая связку ключей девушке, подбежавшей к ней.

Вода и уксус были принесены, и ушибленная рука молодого человека обвязана. Через пять минут он сидел у круглого стола за книгой, а высокая женщина — против него с аршинными спицами, которыми она вязала шерстяной шарф. В комнате воцарилась тишина, нарушенная, впрочем, очень скоро сильным ударом, которым наградил себя в лоб мальчик, преследуя докучливую муху. Неожиданная его выходка рассмешила девушку; но смех ее был приостановлен грозным взглядом высокой женщины и повелительным восклицанием:

— Читай вслух!

Молодой человек повиновался. Но он читал то басом и необыкновенно скоро, то пищал, коверкая немецкие слова (он читал по-немецки) так уморительно, что, кроме высокой женщины, все едва удерживались от смеху. Потеряв терпение, она вырвала у него книгу и, отбросив ее, сказала грозно:

— Погоди, голубчик, перестанешь ты у меня тешить ленивицу, дай приехать ему!

Казалось, эта угроза подействовала на шалуна: он оперся на стол руками, затянутыми в узкие и короткие рукава курточки, положил на них голову и стал смиренно глядеть за бегающими по столу мухами. Все углубились в свои занятия; девушка случайно подняла голову и встретилась глазами с молодым человеком: на лицах у обоих, как молния, мелькнул смех; она подавила его кашлем, а он разразился истерическим взрывом хохота.

Высокая женщина и старик вздрогнули; отбросив свое вязанье и сложив руки, первая с недоумением глядела на смеющегося юношу, который зажимал рот больною рукой.

— Чему ты смеешься? — запальчиво спросила она.

Он, вспрыгивая, забарабанил по столу обвязанной рукой.

— А-а-а! у вас, кажется, вся боль прошла от смеху? — сказала язвительно высокая женщина и, освидетельствовав его руку, с сердцем толкнула шалуна к флигелю, проворчав: — Смеет обманывать!

Но он не унимался: сидя за флигелем, он поминутно сморкался и принужденно кашлял, поглядывая искоса на девушку.

— Вы, кажется, сегодня решились меня бесить; но вам не удастся — вон отсюда!! — сказала повелительно высокая женщина.

В голосе ее было столько силы и твердости, что юноша потупил глаза, но, однако ж, не двигался с места.

— Я тебе говорю! — с нетерпением прибавила она.

— Я виноват, больше не буду! — покорным голосом отвечал он и взял аккорд.

— Не хочу слушать ваших извинений! — проговорила более кротким голосом высокая женщина и, повернувшись спиною к флигелю, стала вязать.

Молодой человек играл с большим одушевлением; в его игре видно было также много механического труда. Он разыгрывал одну из сонат Бетховена. Трудно было поверить, что это был тот самый шалун, который за минуту вел себя так детски. Нежные черты его лица приняли задумчивое и печальное выражение. Голубые глаза быстро перебегали от нот к клавишам. Брови его слегка сдвинулись, и вся его фигура возмужала и дышала энергией. Часа два он без умолку играл. Высокая женщина, оставив свое вязанье, неподвижно его слушала. Девушка по временам поглядывала на играющего и на слушающих его, и улыбка блуждала на ее веселом лице. Старичок сладко спал в своих креслах. Заметив, что играющему жарко, высокая женщина глазами приказала девушке открыть окно, у которого она сидела.

Пробило с громом семь часов. Высокая женщина сочла их и ласково произнесла:

— Довольно, Петруша!

Но играющий не обращал внимания на ее слова: он продолжал играть; зато старичок при голосе высокой женщины пугливо проснулся и вопросительно глядел на нее. Она повелительно сказала, обращаясь к девушке:

— Прикажите давать чай!

Играющий остановился, встав из-за флигеля, подошел к высокой женщине и поцеловал ее в плечо. Вся суровость и холодность исчезли с ее лица. Она с любовью расправила взмокшие волосы, прильнувшие к пылающему лбу Петруши.

— Тетенька,— сказал он,— мы будем пить чай на террасе? здесь так душно!

— Да, ты весь в испарине.

И тетка вытерла ему лоб своим платком.

— Ничего! посмотрите, как тихо в саду! — подходя к раскрытому окну, сказал Петруша, и вдруг его лицо приняло прежнее детское выражение; он выбежал из залы, говоря: — Я, тетенька, велю готовить чай на террасе!

Тетка не успела кивнуть головой в знак согласия, как Петруша уже был в саду и неимоверными прыжками пустился бежать по аллее, ведущей к мостику. За несколько шагов он был остановлен криком «Стой!», и девушка, смеясь, выскочила из-за куста.

Они схватились за руки, стали ровно в линию и, переглянувшись, ударили три раза в ладоши, протяжно произнося: «Раз... два... три!» Затем с веселым криком пустились они бежать через мостик в ту часть сада, которую правильнее назвать лесом. Они бежали не переводя духу, поддразнивая друг друга; наконец девушка, обняв руками небольшую тонкую березку, радостно закричала:

— Я первая, я первая!

— Я второй, я второй! — обнимая деревцо, смеясь и подражая голосу девушки, кричал Петруша.

— Ах! потише, Петруша! — сказала девушка и стала оправлять свою слегка помявшуюся пелеринку.

Петруша насмешливо глядел на нее.

— Да вам, кажется, нравится, — продолжала она, — когда ваша тетенька бранит меня, что я скоро пачкаю пелеринки!

— А хорошо я ее надул? — с гордостью спросил Петруша, и, скача с ноги на ногу, он жалобно пищал: — О! больно, больно!

И оба расхохотались.

— Однако пойдем домой: может, уж нас ищут! — пугливо сказала девушка.

И, перейдя мостик, они пошли к дому разными дорожками.

На террасе, у стола, за самоваром, уже сидела высокая женщина, когда девушка подходила к дому. Петруша первый подошел к столу и сел подле сухой фигуры с длинным неподвижным лицом, желтыми жидкими волосами и серыми злыми глазами, быстро бегавшими. Этот человек был так тощ, как будто его готовили для гербариума. Длинная его шея, как пучок проволоки, затянута была в белую пожелтевшую косынку, под цвет его лицу. Старинный

синий фрак с медными пуговицами был ему видимо широк; зато нанковые сиреневые узенькие панталоны обрисовывали не только его высохшие ноги, но и голенищи его топорных сапогов. Канареечного цвета жилет дополнял его наряд. То был учитель Петруши. Чахоточная, маленькая, сероватого цвета женщина сидела возле него, робко глядя на всех. Что-то жалкое и страдальческое было в ее фигуре. То была подруга его жизни.

Во время чаю, кроме Петруши да его тетеньки, никто не говорил. По окончании чаю учитель отвесил поклон и удалился; за ним последовала его жена, сделав неловкий реверанс хозяйке. Старичок медленно прохаживался по саду с Петрушей и девушкой, а высокая женщина, сидя на террасе, рассуждала с ключницей.

Глава II

УЧИТЕЛЬ

Высокая женщина была полная хозяйка в доме своего единственного брата, который был в отсутствии в эту минуту. Он не был вообще домоседом; зато сестра во всю жизнь не более двух раз выезжала из деревни в ближайший город, и то на короткое время. Воспитанная строгой мачехой, которая славилась по всей губернии своим искусством хозяйничать и примерной экономией, Настасья Андреевна (так звали высокую женщину) в четырнадцать лет окончила свое образование. Она не умела читать и писать правильно, зато обладала обширными познаниями в хозяйстве. Она знала все тайны и уловки скотниц и поваров, разные соленья, варенья, делание цукатов и уксусу... впрочем, трудно перечесть, что знала она по хозяйственной части... считала отлично, даже на счетах. В лучшую свою пору она была бы недурна собой; но отсутствие моциона быстро развивало в ней полноту, которая не шла ни к летам девушки, ни к сложению, и без того плотному; да и характер у нее был довольно тяжелый. Для нее не существовали удовольствия молодой девушки. Она не любила даже быть с равными по летам и очень скучала редкими своими выездами. Она была самолюбива, и ее оскорбляло незавидное положение в обществе. Не умея вести разговора с мужчинами, которые изредка к ним приезжали, дурно танцуя, не имея, по скупости мачехи, на-

рядного туалета, она сделалась равнодушна к удовольствиям своих лет прежде, чем испытала их, и не только полюбила свою незавидную жизнь, но даже не постигала другой жизни вне кладовых и хозяйственных работ, которыми занимали ее с утра до ночи.

Выше всего ставя экономию и умение хозяйничать, мачеха была совершенно довольна апатичным характером Настасьи Андреевны, но считала всё-таки нелишним ежедневно читать ей наставления касательно бережливости и т. п. Старуха видела в падчерице залоги хорошей хозяйки и внутренно радовалась им, но ворчала, по привычке, «что она своей щедростью сделает ее нищей».

Мать Настасьи Андреевны умерла при самом рождении дочери. Отец женился во второй раз и через год тоже умер, оставив вторую жену полной распорядительницей имения до совершеннолетия детей. Всё в доме изменилось, и скупой характер мачехи не замедлил проявиться.

Оставшись вдовой, опекуншей двух малолетних детей, она с помощью бережливости привела расстроенное их имение в цветущее состояние, но зато страшно высохла душой. Никакие чувства вне хозяйственного интереса не существовали для нее, и она ревновала свою падчерицу, как страстно любящая женщина, ко всему, кроме хозяйства. Девушке строго воспрещены были чтение и музыка, к которой она оказывала большое расположение,— единственная склонность, какую в ней замечали. Но старуха видела в музыке явный подрыв своему благосостоянию, и только в редкие свободные часы дозволялось Настасье Андреевне садиться за избитые пятиоктавные клавикорды. Безжизненное, холодное лицо Настасьи Андреевны одушевлялось, небольшие глаза ярко горели, если ей случалось по слуху разыграть какой-нибудь вальс или романс.

Брат Настасьи Андреевны был старше сестры только годом; но молчаливый, серьезный характер делал его старым не по годам. Он также весь предан был хозяйственным делам — ходил в молотильню, на мельницу, по конюшням и мог заменить искусного управляющего по своей распорядительности и строгости. Между братом и сестрой не существовало дружбы, даже подобия этого чувства. Впрочем, тому много способствовало их воспитание. Едва Настасья Андреевна начала помнить себя, как ей приказано было брату своему говорить «вы» и слушаться его во всем. Играть им не позволялось ни вместе, ни порознь. Всё развлечение их состояло в соревновании — кто

скорее и вернее вычислит или сложит ту или другую арифметическую задачу. К тому же зависть, так свойственная в детях к похвалам родных, много охлаждала их. И надо сознаться, что старуха с необыкновенным искусством умела поджигать рвение их к хозяйству. С тонким расчетом хвалила она то одного, то другую гостям своим, высчитывая их экономические подвиги.

Однако, как ни откладывалось воспитание сына, но наконец мачеха увидела, что оно необходимо. Она стала приискивать гувернера. Судьба, казалось, заботилась о скупой старухе. За самую незначительную сумму взялся приготовить мальчика молодой и очень образованный иностранец. Вот как было дело. Богатый сосед, возвратясь из-за границы, привез с собой молодого человека родом из Германии. Помещику нравились восторженность его характера, его громадные надежды на будущее, которыми он жил, не заботясь о настоящем. Познакомясь с ним за границей, богатый барин привез его в деревню больше для компании, чем для управления своим оркестром. Но, идеалист по натуре, немец ничего не видел: он думал, что страсть к музыке скрепила их узы, и только глубокий сон, в который погружался иногда его меценат среди концерта, смущал мечтателя. Дирижируя деревенским оркестром, он воображал, что занимает столько же важный пост, как шеф какого-нибудь европейского оркестра, и, садясь за фортепиано играть перед дремлющим своим меценатом, дрожал и менялся в лице, будто тысячи дилетантов собрались слушать его. Немец имел несчастную слабость, свойственную многим,— придавать излишнюю важность тому, чем занимался. Самолюбие было причиною тому, а может быть, и страсть к искусству. Некоторые странности и неровности в характере мецената с избытком выкупались привольною жизнью. Немец прожил так с полгода, как вдруг совершенно неожиданно покровитель его упал со стула и покончил дни свои. Удар был двойной. Немец очутился без гроша денег и в чужой земле. Разделив инструменты по равной части, наследники не обратили внимания на несчастного распорядителя их, который принужден был приютиться из милости у старого управляющего. Чужой хлеб горек, и как только открылось первое место, немец с радостью взял его. Нужда заставила его избрать другой путь: вместо композитора и капельмейстера, он сделался гувернером у скупой и сварливой старухи. Но, поступив к ней в качестве учителя, он не мог отказаться

от своих мечтаний. Заметив расположение к музыке в Настасье Андреевне, учитель стал заниматься с ней. Расчет победил в старухе нелюбовь к музыке, и она очень обрадовалась, что даром обойдется музыкальное образование падчерицы. Там, где другой увидел бы только способность к музыке, восторженный немец провидел нечто необыкновенное. Ему вообразилось, что судьба призвала его к завидному подвигу — образовать будущую знаменитость. Невеселая его жизнь у старухи приняла характер, полный интереса, и когда приходила ему мысль переменить место, совесть останавливала его: он боялся погубить талант, который действительно был в Настасье Андреевне.

Избитые пятиоктавные клавикорды терзали учителя: он потребовал другие, угрожая в противном случае прекратить музыкальные уроки. Но скупую старуху нисколько не испугала такая угроза; она даже обрадовалась, потому что Настасья Андреевна, слишком ревностно занимаясь музыкой, делала иногда упущения по хозяйству. Видя, что угрозы не действуют, учитель сделал старухе следующее предложение: купить флигель пополам; но как у него не было денег, то предоставлялось ей право вычитать из его жалованья; если же он отойдет, то флигель остается ей.

Не скоро решилась старуха на такое выгодное предложение; но когда привезли флигель, она не могла налюбоваться им, облекла его в серый суконный чехол и объявила, что позволяет играть на нем не более одного раза в неделю — по воскресеньям.

Немец страшно рассердился и отвечал, что вносит свою сумму на том же условии: флигель останется ей, когда он отойдет, лишь бы теперь им пользоваться. Страх потерять дешевого учителя заставил старуху согласиться, и флигель был перенесен из залы в классную, возле комнаты учителя и его ученицы. Тут только началось серьезное ученье. Так как днем мало было времени у Настасьи Андреевны, то она занималась музыкой по ночам, как только старуха ложилась спать и отпускала ее.

Прошло два года. Настасья Андреевна сделалась совершеннолетней девицей. Она говорила довольно развязно по-немецки; полнота ее исчезла, черты лица стали помельче и понежнее; в глазах появился блеск; вся фигура как будто переродилась, ожила. Ее начали огорчать и доводить до слез упреки старухи в расточительности, которая,

впрочем, была совершенно вымышленная, и если в чем проявлялась, так разве в лишнем куске сахару, положенном в стакан учителю.

Брат Настасьи Андреевны учился лениво, потому что внимание и все способности его были настроены к предметам коммерческим и хозяйственным. Он скупал мед, перепродавал его, жил на полях в рабочую пору,— словом, ему было не до книг. Но мачеха благоразумно рассуждала, что деревенская деятельность не может принести значительных выгод его жизни, и стала готовить сына в полк. Эта весть как громом поразила учителя. Он ужаснулся при мысли, что должен бросить свои надежды, которые успели уже пустить глубокие корни в его мечтательном сердце. Немец возмечтал создать из своей ученицы знаменитую виртуозку... и сколько славы, сколько радостных и высоких волнений обещало ему будущее! Часто, строя свои воздушные замки, он уже видел огромную, ярко освещенную залу, полную публикой. Он подводит к роялю свою ученицу — ее встречают рукоплесканиями. Она играет — ее слушают с восторгом; она кончила — зала потрясается криками; их вызывают обоих, забрасывают букетами! На другой день газеты наполнены похвалами ему и его ученице. Его жертвы, борьба, труды — всё, всё вычислено. Подобным мечтам не было конца в непрактической голове учителя. В вечном деревенском однообразии, среди вечных мелочей узкой и бедной жизни Настасья Андреевна была его будущее, его слава. И нелегко было ему вдруг расстаться с мечтами, которые он лелеял и развивал целые четыре года!

Но еще тяжелее отразилась роковая весть в сердце Настасьи Андреевны: она приняла ее, будто весть о близкой смерти своей. В первый раз в жизни она всю ночь металась в постели без сна, горько-горько рыдая. Встав утром, она почувствовала тягость, даже отвращение бежать в кладовые, выдавать повару провизию весом и мерой; однако привычка была так сильна, что она выполнила свои обязанности аккуратно и в положенный час сидела перед самоваром. Старуха заметила волнение и недавние слезы падчерицы, но промолчала, может быть приписав их разлуке с братом. Днем, за хлопотами, Настасья Андреевна не успела даже поговорить с учителем; зато когда старуха легла спать, она до усталости играла под руководством грустного своего учителя. Они оба молчали о предстоящей им разлуке, как бы страшась ускорить ее.

Настасья Андреевна сделалась рассеянна. Старуху страшно испугала такая перемена. Она удвоила свою строгость и стала подвергать падчерицу неожиданным экзаменам: вдруг поручала ей вынуть из сундука штуку холста, вытканную таким-то ткачом в таком-то году, давала ей огромную связку ключей и сама следовала за нею. Если падчерица ошибалась и отпирала не тот сундук (а их было до двадцати), то получала жестокий выговор.

День отъезда приближался; накануне его учитель и Настасья Андреевна часов в десять вечера, когда все улеглись спать, сели за флигель. Учитель просил ее сыграть любимую его сонату Бетховена, потом сам играл ее, и они не заметили, как настала ночь, о которой известил их бой часов внизу. Учитель встал из-за флигеля, начал что-то говорить, но не мог: так сильно было его волнение. Он поклонился низко Настасье Андреевне и вышел. Настасья Андреевна, бледная и дрожащая, с потупленными глазами, несколько минут стояла неподвижно, потом села к роялю, прильнула головой к нотам и долго-долго оставалась так. Когда она приподняла голову, отчаяние разлито было на ее бледном лице. Машинально и тихо одной рукой перебирала она клавиши, потом стала играть громче и громче; щеки ее запылали, грудь высоко поднималась; а слезы, увлажив ее глаза, придавали ей вид вдохновенный. Она играла свое сочинение и так увлеклась игрой, что не замечала встревоженной и бледной фигуры своего учителя, который сначала слушал тихонько у дверей, потом стал приближаться и наконец очутился у стула своей ученицы. Лицо девушки, быстро изменяясь, выражало то восторг, то отчаяние. Почувствовав присутствие учителя, она вскрикнула и закрыла свое пылающее лицо руками.

— О, продолжайте, продолжайте! прекрасно, прекрасно!.. Боже мой, и я должен ее оставить! — заговорил учитель с сильным одушевлением.— Есть,— продолжал он, дрожа всем телом,— есть две ошибки в вашем сочинении. Сыграйте еще раз!

Настасья Андреевна молчала.

— Где ноты, где! покажите мне их! — нетерпеливо твердил учитель.

Настасья Андреевна радостно улыбнулась, отняв руки от лица, и робко спросила:

— Вам нравится?

— Повторите скорее!

Ученица поспешно обратилась к клавишам. По окончании игры учитель забегал по комнате, ломая руки и говоря с отчаянием:

— И я должен оставить ее без всякого руководства!.. нет, я не могу, не вынесу,— это невозможно!

И, обратясь к Настасье Андреевне, он протянул ей руку. Ученица пугливо смотрела на учителя и, с пылающим лицом, робко, нескоро подала ему свою руку, которую он с жаром поцеловал. Настасья Андреевна вся вспыхнула и быстро села на стул, в волнении осматриваясь кругом. Учитель ничего не замечал; он с жаром говорил:

— Я отдам всё, я соглашусь на всё, чтобы остаться при вас!

Настасья Андреевна вскочила со стула, в недоумении глядя на учителя, который продолжал:

— За самую ничтожную плату я соглашусь...

При этих словах Настасья Андреевна горько зарыдала.

— Не плачьте, не горюйте, если любовь ваша сильна...

Настасья Андреевна замолчала и подняла гордо голову.

Учитель продолжал:

— Повторяю вам, если ваша любовь к музыке сильна, употребите всё, всё, только не бросайте, не бросайте ее!

И учитель сложил руки, будто прося пощадить его жизнь. В лице Настасьи Андреевны выразилось прежнее недоумение.

— Надо, надо ей ехать за границу! — говорил он, рассуждая с самим собой.— Она рождена быть артисткой, у ней все залоги великой будущности... О, поезжайте, поезжайте! не губите своего таланта!

Он чуть не плакал, произнося последние слова. Настасья Андреевна ничего не понимала.

— Куда ехать? — пугливо спросила она.

— Боже мой! за границу.

Настасье Андреевне вдруг показалось в темном углу строгое лицо мачехи, вооруженной связкою ключей. Она покачала головой.

— Просите, умоляйте ее! — сказал учитель.

— Я... я не смею! — грустно и решительно ответила Настасья Андреевна.

Учитель замолчал, печально повесив голову на грудь. Долго они просидели молча. Он первый прервал молчание, сказав:

— Я надеюсь, я даже уверен, что мы еще будем продолжать наши уроки. Я иначе не возьму места, как по соседству вас, с условием, чтоб я мог хоть раз в неделю, хоть раз в месяц приезжать к вам.

— Неужели... да будет ли возможно? — радостно заметила Настасья Андреевна.

— Я всё употреблю; но самое лучшее, если бы...

Учитель тяжело вздохнул и тихо продолжал:

— Если бы ваша мачеха согласилась взять меня хоть в управляющие.

На лице Настасьи Андреевны показался испуг, и она потупила глаза.

— Я на всё согласился бы!..— продолжал учитель, вопросительно глядя на нее.

Она не знала, куда деться, не смела поднять глаз. Учитель молчал.

На лице Настасьи Андреевны выражалось страшное волнение; она, казалось, хотела что-то сказать, но не решалась.

Время между тем шло, свечи давно догорели, и дневной свет освещал комнату. Опомнясь, она с ужасом вскрикнула:

— Боже, уж светло!

— Да, пора укладываться! — печально сказал учитель и медленно вышел.

Настасья Андреевна как прикованная осталась на своем месте. Учитель скоро возвратился, таща запыленную корзину, наполненную нотами. Поставив ее у ног своей ученицы, он сказал дрожащим голосом:

— Вот всё, что я могу оставить вам. Флигель принадлежит вашей мачехе. Прощайте!

Настасья Андреевна страшно побледнела и сжала свои губы, как будто стараясь удержать стон.

— Ах! — сказал учитель.— У меня есть еще одна вещь, которую я, кроме вас, никому, никому не отдал бы!

И он поспешно вышел.

Настасья Андреевна склонила голову на подушку дивана, и из ее груди вырвался стон; но учитель опять вошел в комнату, и она собрала все свои силы, чтоб казаться спокойною.

Учитель подал ей нотный лист с поправками, обделанный в рамку под стеклом. То был факсимиль Бетховена.

Настасья Андреевна не решалась брать: она знала, как дорожил им учитель.

— Возьмите, возьмите! — сказал он.— Вы имеете право иметь его.

Она радостно взяла листок и глазами поблагодарила его, потом робко вынула из кармана нотный листок, тоже исписанный, но весьма тщательно, и, вспыхнув, сказала, подавая его учителю:

— А я... я сочинила прощальный вальс...

Учитель быстро бросился с нотным листком к флигелю и стал его разыгрывать, по временам делая поправки карандашом. Потом он пригласил ее играть в четыре руки (так был написан вальс). Они повторяли его раз десять; учитель хвалил его. Настасья Андреевна была счастлива.

Солнце взошло и осветило утомленные лица играющих. Горничная Настасьи Андреевны вошла в комнату и пугливо сказала:

— Барышня, барыня встает!

Настасья Андреевна вздрогнула, выскочила из-за флигеля, но в ту же минуту опять села и покойно сказала:

— Хорошо!

Горничная вышла.

— На вас будут сердиться: идите! — заботливо заметил учитель.

— Пусть сердятся! — холодно отвечала Настасья Андреевна и с отчаянием прибавила: — Может быть, в последний раз мы играем...

И она поспешила заглушить эти слова громким аккордом.

Горничная опять вошла в комнату, сказав:

— Барыня вас зовет!

— Иду! — твердо отвечала Настасья Андреевна.

И, дождавшись, когда горничная вышла, она схватила руку учителя, с чувством пожала ее и выбежала из комнаты.

Настасья Андреевна была встречена строгим и пытливым взглядом старухи, за которым следовал вопрос:

— Что это значит? вас нужно ждать!

Настасья Андреевна молчала.

— Всё ли готово для вашего брата? — оглядывая ее с ног до головы, тем же тоном спросила старуха.

— Еще с вечера всё было уложено,— отвечала Настасья Андреевна.

— Отчего же вы опоздали к чаю?..— спросила старуха таким тоном, что Настасья Андреевна побледнела.

Приход учителя и брата прекратил тяжелую сцену. Настасья Андреевна занялась чаем.

За минуту до отъезда молодого барина дворня явилась в залу прощаться с ним. Старуха в слезах благословила сына и прочла ему наставление, которое заключилось поцелуями, длившимися с четверть часа.

Когда Настасья Андреевна стала прощаться с братом, которого она в первый раз теперь поцеловала, ей сделалось так грустно, так грустно, что она горько заплакала. Казалось, чувство, столь естественное между братом и сестрой, только теперь пробудилось в ней. Но слезы вдруг высохли, сердце замерло, дыхание стеснилось в груди — при грустных словах: «Прощайте, Настасья Андреевна!», произнесенных учителем; бедной девушке стало так тяжело, так страшно, что она готова была вскрикнуть; но и голос замер. В ту же минуту она вздрогнула, застигнутая пристальным взглядом старухи; поспешно и холодно простилась она с своим учителем.

На крыльце было новое прощанье, новые слезы. Наконец под общий крик «Прощайте» экипаж двинулся со двора.

Настасья Андреевна, не обращая внимания ни на кого, полными слез глазами следила за удалявшимися, и когда ничего не было видно, она с рыданием убежала в свою комнату. Ее позвали вниз, к мачехе. Старуха лежала уже в постели и болезненным голосом сказала ей:

— Вы уж даже не хотите побыть при мне, тогда как я убита разлукой с ним!

— У меня болит голова! — отвечала Настасья Андреевна.

— Голова болит?? — насмешливо заметила старуха и строго продолжала: — А я вся больна, вся убита горем!

Настасья Андреевна села у постели. Старуха охала, морщилась, поминутно подносила платок к глазам. Наконец она прервала молчание и печально сказала:

— Теперь наши едут, бедненькие; я думаю, тоже горюют, как и мы. А-а, ох!

И она тяжело вздохнула, продолжая всё тем же ласково-печальным голосом:

— Книги в целости сдал Эдуард Карлыч? а?

— Да-с! — отвечала Настасья Андреевна и страшно смешалась: то была ее первая ложь.

— Признаться, мне жаль было расставаться с Эдуардом Карлычем: он честный человек.

Настасья Андреевна в недоумении посмотрела на старуху: в первый раз она слышала похвалу учителю, которого старуха обыкновенно называла расточителем.

Разговор опять остановился; старуха прервала его следующими словами:

— Куда-то он, бедненький, денется? есть ли у него место?..

Настасья Андреевна быстро отвечала:

— У него нет места; он просил...

Она не могла докончить своей фразы; губы у ней задрожали, и, объятая ужасом, она привстала со стула, глядя на старуху, которая медленно приподымала голову с подушек и язвительно улыбалась; за улыбкой следовал тихий смех, окончательно оледенивший Настасью Андреевну.

Старуха встала с постели и повелительным жестом указала ей на дверь.

У Настасьи Андреевны подкосились колени; она упала к ногам старухи, которая холодно и с презрением сказала:

— Я вас видеть не хочу!

И опять указала на дверь.

Настасья Андреевна сделала умоляющий жест, но, встретив неумолимо холодные глаза мачехи, с трепетом вышла из комнаты.

С того вечера в продолжение целого месяца Настасья Андреевна не слыхала слова от своей мачехи,— и между тем находилась постоянно при ней. Прощаясь, здороваясь, она брала руку старухи, чтоб поцеловать ее; но всякий раз старуха с сердцем выдергивала свою жесткую руку. Гнев мачехи приводил бедную девушку в отчаяние; она чувствовала невыносимую тоску, худела с каждым днем, наконец слегла в постель. Болезнь падчерицы смягчила старуху, тем более что некому было заниматься хозяйством: выдавать провизию, записывать каждую крошку и вести счетные книги; боль в ногах лишала ее возможности самой всюду присутствовать. Старуха пришла наверх и позволила падчерице поцеловать свою руку, которую Настасья Андреевна облила горькими, нервическими слезами. Болезнь продолжалась с неделю. Настасья Андреевна, еще слабая, встала с постели, полная рвением скорее приступить к выполнению своих обязанностей по хозяйству. Мачеха вздохнула свободнее, и грифельная доска, висевшая у ее постели, каждый день исписывалась

двойным числом приказаний, которые падчерице следовало исполнить по хозяйству в течение дня.

Вечером обыкновенно старуха ложилась в постель, а Настасья Андреевна садилась к столу и под диктовку писала счеты расхода и прихода.

Раз вечером, погруженные в такое занятие, они заслышали вдали звук дорожного колокольчика. Была осень, и очень дождливая; к тому же и час уже довольно поздний; трудно было предположить гостей, которые, впрочем, иначе не ездили к ним, как в торжественные дни. Однако ж колокольчик всё приближался. Настасья Андреевна превратилась в слух, а старуха в недоумении говорила:

— Кто бы мог быть?

Когда звук колокольчика замер у ворот, Настасья Андреевна вся вспыхнула, выскочила из-за стола и бросилась из комнаты, преследуемая удивленными глазами мачехи. Но Настасье Андреевне было не до того: она всё забыла. Сердце ее билось с такой силой, что она не могла дышать; слезы душили ее. Она не понимала, что с ней делается, а между тем переживала минуту, может быть, самую счастливую в своей жизни. Забыв свою робость, с силою сжала она руку учителя, встреченного в прихожей; он отвечал ей таким же пожатием.

Гость был принят хозяйкой вежливо, даже излишне любезно, так что ему в тот вечер не осталось времени поговорить с Настасьей Андреевной, которая не переставала улыбаться и жадно ловила каждое слово учителя. После ужина он пошел спать, а Настасья Андреевна долго еще была задержана старухой, которая очень ласково разговаривала с ней...

Когда Настасья Андреевна вошла в свою мрачную комнату, в которой свободно могла предаться своей радости, она в первый раз в жизни запрыгала, запела, кинулась к комоду, стала доставать бедные свои наряды. Ей хотелось быть завтра лучше, красивее. Но из страху она не решилась выбрать платья понаряднее и только чистым рюшем обшила ворот того же платья, которое носила в обыкновенные дни. Ложась в постель, она так была счастлива, что всё прежнее горе казалось ей сном. Долго она не спала, мечтая о завтрашнем дне.

Рано утром она была пробуждена легким звуком привязанного колокольчика под своим окном, которое было

над крыльцом. Невольно вскочила она с постели и кинулась к окну. Ужас изобразился на ее лице; она дико глядела на телегу, в которую усаживался учитель, плотно закутанный в шинель. Утро было туманное и холодное, осенний мелкий дождь порошил в воздухе. Настасья Андреевна, забыв всякую предосторожность, раскрыла форточку и, высунувшись из нее, хотела кричать; но голосу у ней недостало. Телега тронулась, и Настасья Андреевна в отчаянии бросилась к двери, забыв, что она в ночном туалете. На пороге, лицом к лицу, она столкнулась с мачехой, которая, загородив ей дорогу, строго спросила:

— Куда?

Настасья Андреевна молчала и глядела такими странными глазами, как будто перед ней стояла женщина, которую она в первый раз видела.

— Выпей воды и сядь! — повелительно сказала старуха.

И, взяв Настасью Андреевну за руку, привела к постели, на которую взволнованная девушка упала без чувств.

Опомнясь, Настасья Андреевна открыла глаза и увидела свою мачеху, сидевшую возле нее. Старуха холодно спросила:

— Лучше ли тебе?

— Да-с,— пробормотала Настасья Андреевна.

— Останься в постели! — строго заметила старуха и встала, готовая идти.

Ужас овладел Настасьей Андреевной при мысли, что она узнала тайну ее сердца; она вскочила с постели и, ухватясь за колени мачехи и целуя их, умоляющим голосом закричала:

— Маменька, маменька!

— Что это за сцены? — грозно и пугливо сказала старуха.

— Я виновата! — рыдая, отвечала Настасья Андреевна.

— Знаю, знаю, ты больше его не увидишь.

Настасья Андреевна вскрикнула и закрыла лицо руками.

— Вот до чего довела твоя ветреность!

— О, божусь вам, божусь, он даже не знает! — ломая руки, вскрикнула Настасья Андреевна.

— Замолчите! — строго прервала ее мачеха и быстро

пошла к двери, сказав: — Вы знаете мое мнение о таких девицах!..

И она вышла, оставив свою падчерицу посреди комнаты, на коленях, убитую стыдом и страхом.

Настасья Андреевна долго хворала. Как только она стала поправляться, мачеха объявила ей, что за нее сватается их сосед, и спросила, желает ли она выйти за него.

Настасья Андреевна решительным голосом отвечала:

— Нет.

— Почему? — спросила старуха, сопровождая свой вопрос таким взглядом, что Настасья Андреевна долго стояла потупив глаза; когда она приподняла голову, в лице ее столько было страдания и решимости, что мачеха торопливо сказала:

— Ну, что же?

— Я прошу одного — позвольте мне навсегда остаться при вас; я ни за кого не пойду замуж.

— Это твое твердое намерение?

— Да! — тяжело вздохнув, отвечала Настасья Андреевна.

— Хорошо! я не буду тебя принуждать. Но помни свои слова. Я их не забуду! — торжественно произнесла старуха.

И с этого дня обхождение ее с Настасьей Андреевной сделалось прежнее. Это воскресило Настасью Андреевну; она удвоила свое старанье и заботы по хозяйству. Дав обещание не выходить замуж, Настасья Андреевна сделалась разом как бы пожилой женщиной. Наружность ее приняла характер холодный, даже суровый. Она стала взыскательна, даже строга с людьми. Улыбка не оживляла ее лица; в минуты, когда она долго оставалась за флигелем, черты ее смягчались и как бы слезы увлажали ее глаза; но потом, и очень скоро, лицо ее снова принимало ледяное выражение, которое с годами сделалось в нем почти постоянным.

Глава III

ПРИЕМЫШ

Прошло несколько лет. Настасья Андреевна превратилась не только в зрелую, но даже и сварливую деву. Бережливость и экономию ее можно было назвать скупостью, требовательность порядка — сварливостью. Каза-

лось, дряхлая мачеха оживала во всем блеске в своей падчерице.

Жизнь их не отличалась разнообразием. Казалось, они жили в степи: даже самые близкие соседи не заглядывали к ним. Кроме уездного доктора да приходского священника, других гостей не знала Настасья Андреевна. Брат Настасьи Андреевны, Федор Андреич, изредка приезжал в отпуск повидаться со старухой и с сестрой; но посещения его, при всей любви к нему, мало доставляли радости бедной девушке. Характер его был молчалив и взыскателен; суровость в минуты гнева доходила до крайней степени. Только хлопоты увеличивались: надо было угодить брату, любившему хорошо покушать, и скупой старухе, не любившей лишних издержек. Никогда не допустила бы она и малейшей роскоши, если б не боялась Федора Андреича, который был уже совершеннолетний и мог сам распоряжаться имением своего отца, потребовав отчета у опекунши. К счастию, посещения его были так редки, что строгий порядок не мог поколебаться в доме. По целым годам подушки дивана в гостиной не знали прикосновения человеческой руки; равно и губы хозяек, казалось, забыли о существовании улыбки. Каждая неодушевленная вещь вместе с владетельницами преждевременно старелась.

Наконец случилось следующее происшествие.

В одно зимнее утро Настасья Андреевна, закутанная в кацавейку, обшитую мехом, вподобие горностая, в капоре и теплых больших сапогах, расхаживала по двору с несколькими дворовыми лицами, обозревая кладовые и амбары. У ворот остановились салазки, запряженные тощей клячей; в них сидела женщина в тулупе с ребенком на руках. Появление каждого нового лица, даже из крестьян, было событием в доме. Неудивительно, что Настасья Андреевна тотчас послала ключницу спросить, кого и чего надо приехавшей женщине. Вместо всякого ответа, женщина развязала свой тулуп и поставила на ноги трехлетнего окутанного ребенка, потом сунула в его маленькие красные, как гусиные лапы, ручонки письмо, нагревшееся у ней на груди, двумя пальцами захватила красненький носик малютки; наконец перекрестила его и, подтолкнув на узенькую тропинку, перерезывавшую наискось двор, сказала ему:

— Ну, Петруша, с богом, в ножки, да не забудь, как учила!

Мальчик побежал; верно, ноги его озябли; он падал, но, поощряемый криками женщины, быстро вставал и продолжал бежать. Наконец силы его ослабли; упав в третий раз, он заплакал и не поднимался.

Настасья Андреевна подошла к ребенку, подняла его и взяла на руки. Ребенок, обвив холодными своими ручонками шею Настасьи Андреевны, внятно сказал:

— Моя матушка умерла! — И в ту же минуту прибавил, смотря на ее руку: — Дай же ляле!

Это тронуло и заинтересовало Настасью Андреевну; она подозвала женщину.

С низким поклоном женщина подала ей письмо, выпавшее из рук ребенка. Лишь только Настасья Андреевна увидала адрес, всё лицо у ней вспыхнуло. Она с удивлением оглядела ребенка, который прилежно рассматривал ее меховой воротник и, боязливо дотрагиваясь до него пальцем, повторял вопросительно:

— Кыса?! кыса?..

Настасья Андреевна поставила его на землю и начала читать письмо. Руки у ней дрожали, лицо горело. Дворня с напряженным любопытством следила за ней. Настасья Андреевна быстро надвинула капор на глаза и, не смотря в лицо ключнице, сказала:

— Отведите ее в застольную, а ребенка напойте чаем!

И она быстро пошла было к дому, забыв даже запереть кладовую, двери которой стояли настежь. Люди переглянулись, и глаза их устремились к кладовой, как будто они надеялись в ней найти разгадку тайны. Настасья Андреевна, однако, вернулась, но не затем, чтоб запереть кладовую: она взяла на руки ребенка и что-то тихо сказала принесшей его женщине, которая начала креститься и кланяться вслед удалявшейся барышне.

Ребенок остался не только в доме, но даже в комнате Настасьи Андреевны, которая долго не говорила о нем мачехе и только наконец в день своего рождения в первый раз свела его вниз. Но сухое сердце старухи не оживил и не обрадовал веселый смех ребенка. Она долго не соглашалась взять трехлетнего приемыша, страшась расходов, которые казались ей огромными. Но, увидя слезы Настасьи Андреевны и в первый раз услышав упреки, наконец позволила ребенку прикоснуться алыми губками к своей руке. С того дня Петруша сделался членом семейства. Настасья Андреевна заменила ему заботливую няньку

и нежную мать. Она обшивала его сама, сама одевала, словно боясь, чтоб прикосновение другой руки не испортило его; горничные пожимали плечами, замечая, как иногда Настасья Андреевна бегала и пряталась, играя с Петрушей. Как приемыш Петруша пользовался положением исключительным. Все в доме любили его, как отвод гнева Настасьи Андреевны, и притом никому не доставалось за него, потому что он вечно был с Настасьей Андреевной, которую называл тетенькой. Под защитою ее Петруша рос весело. Федора Андреича он видел раз в год, приезжавшего повидаться с родными, и был для него совершенно чужим. Петруша любил и знал одну только Настасью Андреевну, которая гордилась этим и ревновала его ко всем, кому он оказывал расположение.

С самых ранних лет и первой наукой Петруши была музыка. Ложась спать, он горько плакал, если Настасья Андреевна не убаюкивала его своей игрой: музыка заменяла ему монотонное убаюкиванье и покачиванье колыбели.

Старуха мачеха видимо дряхлела и наконец, прохворав довольно долго, умерла, распорядившись, чтобы на будущую стирку выдали мыла полуфунтом менее, потому что весеннее солнце помогает белить. (То были последние слова скупой домоводки.)

Настасья Андреевна, оплакав старуху чистосердечными слезами, стала полной хозяйкой дома и своих действий. Но последнее было излишне в настоящую минуту. Она разучилась желать и действовать независимо, по собственному побуждению. И, не получая более хорошо знакомых выговоров и наставлений, она искренно грустила, чувствовала пустоту. Единственной целью остальной ее жизни сделался приемыш, достигший уже того возраста, когда серьезно нужно было думать об его воспитании.

После смерти мачехи Настасья Андреевна получила до ста тысяч, накопленных старухой и отказанных ей по духовному завещанию; кроме того, ей следовала седьмая часть из имения. Но она не взяла ничего, предоставив всё брату, с одним условием, чтоб он не лишал Петрушу своей любви и попечений. Федор Андреич согласился на такое условие с особенной охотою: в то время он брал значительный подряд. Дом и деревня по-прежнему остались под присмотром Настасьи Андреевны. Хотя Федор Андреич вышел в отставку и переехал в деревню, но частые отлучки не позволяли ему входить в хозяйственные рас-

поряжения. Да и не к чему было: Настасья Андреевна заменяла ему самого отчетливого управляющего и самую аккуратную ключницу.

Характер Федора Андреича имел очень много родственного с характером покойной мачехи; в нем не было только мелкой скупости, но эгоизм еще больше; на свои прихоти он не жалел денег. Со смертью мачехи, число знакомых, ездивших к ним, не увеличилось: Федор Андреич, как и покойная старуха, не находил удовольствия в обществе. Вообще он был молчалив, равнодушно холоден с домашними и при случае очень взыскателен; особенно опасно было пренебрегать его привычками, которые играли важную роль в его характере: казалось, он ел, пил и спал по одной привычке; при нарушении их холодное равнодушие сменялось горячностью, переходившею в тяжелый, продолжительный гнев, который обрушивался равно на виновных и невинных.

Настасья Андреевна без ропота выносила незаслуженный гнев брата. Она слишком хорошо была приготовлена к покорности. Впрочем, Федор Андреич вел жизнь кочующую; положительные причины тому не были известны сестре: он упорно молчал о своих делах. Как отъезд, так и приезд его были всегда неожиданны. Случалось, что он уезжал в ночь, не простясь с домашними, и находился в отлучке по нескольку месяцев. Писем Федор Андреич не имел привычки писать и также не изъявлял желания их получать. Часто Настасья Андреевна не знала, в какой части России находится брат. При возвращении в деревню и свидании с домашними он не обнаруживал своих чувств ни словом, ни движением, встречал сестру и приемыша, как будто накануне их видел, целовал их, говорил «здравствуйте» и мало любопытствовал знать, что они делали и как жили без него, а о себе рассказывал еще менее.

Поздоровавшись, Федор Андреич тотчас обращался к делам по деревне и счетам, которые подавала ему сестра на разграфированной бумаге, как самый аккуратный управляющий.

Сначала Настасья Андреевна, по сильной своей привязанности к приемышу, боялась, не женился бы брат; но Федор Андреич так мало обращал внимания вообще на женщин, что она скоро совершенно успокоилась.

Теперь нам следует познакомиться с остальными лицами, которых мы видели в первой главе.

Глава IV

ЕЩЕ БЛАГОДЕЯНИЕ

Однажды, после продолжительного своего отсутствия, Федор Андреич возвратился в деревню в сопровождении шестидесятилетнего старика и миловидной молоденькой девушки. Обстоятельства, которые привели в его дом старика и девочку, доказывают, что и его сердце не было чуждо доброты. Вот они. Во время пребывания по делам в Москве, Федору Андреичу случилось отдавать последний долг одному из своих коротких знакомых. Похороны были пышные, с балдахином, со множеством факельщиков и с бесконечно длинной тропинкой ельнику. Не без громких криков и всхлипываний густая толпа, вся в черном, торжественно шла за бархатным гробом; за ней тянулась бесконечно длинная вереница экипажей. Много тут было и притворно и искренно грустных лиц; но фигура Федора Андреича особенно шла к печальной процессии. Он шел, нахмурив брови и потупив глаза: то было его обычное выражение; он имел привычку на ходу обдумывать свои дела.

Погруженный в свои размышления, Федор Андреич не заметил, что уже приближался к кладбищу. Грубый голос женщины вывел его из задумчивости:

— Ну куда вы, озорники, лезете? не до вечера же нам с покойником стоять здесь!

Федор Андреич поднял голову и очень удивился, увидав, что идет за гробом из простого дерева; гроб выкрашен желтой краской, пышного балдахина нет,— гроб стоит открыто на простых дрогах. Федор Андреич не мог понять, как случилось такое превращение, а между тем оно было очень просто. Идя в задумчивости, он поотстал от толпы, потом машинально дал дорогу бедному гробу. Но узкость улицы не позволяла ехать этому гробу рядом с богатым, он отстал, а экипажи не хотели пустить его вперед, за что женщина, сопровождавшая гроб, горячо перебранивалась с кучерами.

Федор Андреич так был поражен превращением богатого гроба в бедный, что не скоро обратил внимание на другую женскую фигуру, припавшую к гробу. Эта фигура была вся в трауре, и рыдания ее были тихи, но невольно трогали. Федору Андреичу стало досадно: он не любил видеть горе, даже такое, которому мог пособить. И, чтоб

скорей избавиться неприятного зрелища, он присоединился к крикливой женщине, приказывая кучерам дать место проехать. Заслышав повелительный голос, женская фигура подняла голову и полными слез глазами взглянула на Федора Андреича. Несмотря на всю сухость сердца, он почувствовал что-то вроде сострадания.

То была очень хорошенькая девушка лет пятнадцати, с выражением такой отчаянной грусти, что Федор Андреич почувствовал необходимость сказать ей, и как можно скорее, что-нибудь утешительное. И, указав на кареты, он произнес:

— Они сейчас проедут.

— Мы давно ждем,— отвечала девушка, отирая слезы.

И, дернув за воротник крикливую женщину, прибавила:

— Оставь их, Матренушка; мы лучше подождем.

— Ишь вы какие, барышня! этак из-за них, озорников, и обедню здесь простоишь! — гневно отвечала Матренушка и снова начала перебраниваться с кучерами.

Девушка замолчала и, облокотясь на дроги, задумалась. Слезы ручьями текли по ее щекам; но она не замечала этого, погруженная в раздумье. Федор Андреич, присев на доску у забора, куда притиснуло гроб экипажами, смотрел на девушку. Наконец последняя карета проехала, и дроги двинулись; девушка и ее спутница продолжали шествие. Федор Андреич, проводив далеко глазами печальную церемонию, без бархата, карет и факельщиков, но трогающую сердце фигурой молодой девушки, пошел тихо к церкви, чтоб снова присоединиться к пышным похоронам.

Досада изобразилась на его лице, когда, подойдя к паперти, он увидел опять тот же простой гроб и девушку. Спутница ее суетилась, кричала и охала, нанимая внести гроб в церковь. А девушка тоскливо глядела на толпу, окружавшую гроб, и судорожно сжимала свои руки, как бы досадуя, зачем они так слабы, что не могут внести гроб. Но, завидев Федора Андреича, она радостно кинулась к нему и умоляющим голосом сказала:

— Пожалуйста, помогите внести гроб! Матренушка только всё разговаривает.

Федор Андреич сделал было недовольное лицо; но горькие рыдания девушки устыдили его, и он подошел к гробу, прикрикнул на спорящих с Матренушкой и собственноручно понес его с другими в церковь. Гроб

поставили; девушка стала возле него. И когда сняли крышку, она как будто обрадовалась, увидев лицо покойницы, и с любовью начала поправлять помявшийся ее наряд. Пожилое лицо покойницы походило скорее на спящее, чем на мертвое. Ни одна черта на этом кротком лице не была искажена предсмертными муками; только бесконечная грусть разлита была в нем.

Грациозная фигура девушки, одинокость у гроба, молодость, искренняя и тихая скорбь, ласки, расточаемые ею покойнице, подавляемые рыдания — всё это обратило внимание присутствующих на девушку. Как при пышных похоронах жалеешь о покойнике, мало думая о провожающих его, которым он, верно, оставил хорошее утешение, так точно при виде бедных похорон вдвое больнее сжимается сердце за сопровождающих гроб.

Девушка, казалось, забыла всё и всех; она спешила ласкать покойницу, поминутно целуя ее оледенелые руки и лицо, обливая их слезами. Федор Андреич, внеся гроб в церковь, невольно сделался как бы участником в бедных похоронах. К нему обращались с вопросами, и так как спутница девушки исчезла, то ему пришлось сделать некоторые распоряжения.

Началось отпевание; плач, крики огласили церковь, и, после продолжительного прощания, покойников поочередно понесли из церкви с плачем и унылым пением.

Девушка еще в начале панихиды страшно побледнела и впала в какое-то остолбенение. Церковь опустела, пение слышалось еще, но становилось всё тише и тише, наконец совершенно замолкло. Девушка пошатнулась и упала без чувств у гроба.

Федор Андреич уже был в дверях, чтоб идти за богатым гробом, как одна из нищих, стоявших у дверей, дернув его за рукав, сказала:

— Глянь-ка, барин, твоя, что ль, упала?

Федор Андреич, воображая, что нищая просит милостыню, проговорил:

— Бог подаст!

— Да о девушке тебе говорю, ты, кажись, гроб внес, так с ней что-то приключилось.

Федору Андреичу страшно надоели его приключения; он остановился на паперти и смотрел на удаляющиеся богатые похороны, в раздумье —идти ли вперед или назад.

— Посторонитесь! эй, вы! — раздался резкий голос позади него.

То был церковный служитель, пробивавшийся в дверях между нищими; на его руках лежала без чувств девушка.

Федор Андреич подошел к ней. Служитель спросил его:

— Не из ваших ли?

— Нет! — отвечал он, глядя, как служитель своими грубыми руками поддерживал маленькую бледную головку девушки и вопросительно осматривался, куда бы ее положить. Крякнув, он опустил ее на камень, махнул рукой и встал с коленей.

— Куда же ты? — сердито спросил Федор Андреич.

— Мне некогда,— отвечал служитель и пошел.

Федор Андреич глядел на девушку нерешительно. Нищие, как вороны, сбегались к несчастной.

— Кажись, она богу душу отдала! Смотри-ка, Кондратьевна, точь-в-точь алебастровая! — воскликнула одна из нищих.

Кондратьевна была одета в черный коленкоровый салоп и повязана черной косынкой; она с убийственной холодностью нагнулась к лицу девушки и будто с сожалением смотрела на нее, и между тем жилистая рука старухи скользнула в карман платья девушки.

Хромой нищий, мальчишка, запыхавшись, подскочил тоже к толпе, стуча своим костылем, и крикнул:

— Небывалая покойница — пешком сюда пришла! А зачем платок тащишь! — прибавил он.

— Ай-ай! — раздалось в толпе нищих.

Кондратьевна стала браниться с хромым, который замахнулся было на нее костылем и задел за девушку.

Федор Андреич кинулся к толпе, грозным голосом разогнал нищих. Одна Кондратьевна замешкалась, заботливо прикрывая украденным платком лицо девушки.

Федор Андреич оттолкнул Кондратьевну, сбросив платок с лица девушки, и, сев подле нее, приложил руку к ее сердцу; потом он торопливо приказал принести воды и уксусу, обещая заплатить. Когда было окроплено водой лицо девушки и смочена уксусом ее голова, она медленно открыла глаза, тяжело вздохнула и, невнятно прошептав: «Мне спать хочется», опять закрыла глаза.

Тихое дыхание, детское выражение лица девушки возбудили сильное сострадание в Федоре Андреиче: он, не шевелясь, просидел с полчаса над нею.

Явилась Матренушка, но не освободила Федора Андреича. Поохав над девушкой, она побежала в церковь, чтоб нести гроб к могиле. Когда его понесли из дверей при громких рыданиях Матренушки, девушка вздрогнула, быстро открыла глаза и, дико вскрикнув, рванулась к гробу. Федор Андреич удержал ее, боясь, чтоб она не помешала нести гроб. Но силы девушки так были истощены, что она не могла встать с колен и, оставаясь в этом положении, горько зарыдала. На холодном лице Федора Андреича явилось сострадание; он с нежностью уговаривал девушку, которая в отчаянии ничего не видела и, прильнув к нему на грудь, продолжала рыдать. Она рыдала горько и долго, так что грудь заныла у Федора Андреича. Наконец рыдания стали тише и тише и понемногу совсем замолкли. Девушка впала в забытье.

Федору Андреичу в первый раз в жизни пришлось быть в таком положении. Слезы и рыдания потрясли его так сильно, что он принял живое участие в девушке и терпеливо ждал возвращения Матренушки.

Матренушка явилась с кладбища и, всхлипывая, упрашивала Федора Андреича покушать кутьи, которую она держала в стакане.

— Ну что плакать-то! отвези-ка скорее свою барышню домой да уложи в постель,— наставительно сказал Федор Андреич и, взяв девушку на руки, понес к своей карете.

— Ах, батюшка, что ты делаешь! — в испуге вскрикнула Матренушка и заслонила ему дорогу.

— Что ты, с ума сошла? пусти! — сказал Федор Андреич.

— Как можно, батюшка! какая карета? Ишь, что у меня осталось, а дома и гроша нет.

И Матренушка, развязав узел носового платка с медными деньгами, стала считать их.

— Садись, дура! — сердито заметил Федор Андреич.— Тебя не заставят платить.

— Ах, родной ты, бог тебя наградит,— кланяясь низко, захныкала Матренушка.

Федор Андреич бережно положил в карету девушку, которая по временам медленно открывала глаза, чтоб тотчас снова закрыть их.

Матренушка с гордостью раздавала свои гроши нищим, приговаривая: «Молитесь за рабу божию Евдокию».

— Садись скорее! — крикнул Федор Андреич, выходя из кареты.

Матренушка раза два споткнулась, наконец влезла в карету, говоря:

— Это ничего, батюшка: устала маленько моя барышня.

— Какое устала! она просто больна.

— Да как и не заболеть, прости господи! ведь уж как возились-то с покойницей. Денно и нощно сидели у ее кровати. Да как и умерла уж, всю обмыла, да сама еще, никак, и читала над ней.

— Что она, дочь, что ли, покойницы? — спросил Федор Андреич, глядя, как Матренушка укладывала головку девушки на свой салоп.

— Нет, внучка! — отвечала Матренушка.

Взяв в зубы гребень, выпавший из головы девушки, и завертывая как попало густые волосы своей барышни, она в то же время продолжала:

— Да, кажись, очень дальная; но по чувствам не уступит и сродной. Нечего греха таить, заплатила покойнице сиротка за ее хлеб-соль.

— Так у ней даже никого родных нет? — спросил Федор Андреич.

— Ни души, опричь при смерти больного старика, сожителя хозяйки-покойницы.

— Кто они такие? Кажется, очень бедные?

— И не приведи господи! иной день... да что тут рассказывать: чай, подивились, какие похороны-то!

Федор Андреич, спохватившись, что задерживает больную, захлопнул дверцы и крикнул кучеру ехать; а сам пошел пешком.

Так как экипажей было много, то карета не скоро выбралась на простор; когда она догнала Федора Андреича, задумчиво шедшего, Матренушка высунулась и закричала ему:

— Спасибо тебе за сироту!

Но за шумом экипажей Федор Андреич не расслышал слов Матренушки; он подумал, что девушке хуже, приказал кучеру остановиться и, подойдя к окну, спросил:

— Что с ней?

— Да ничего, батюшка, кажется, опочивает.

— Так зачем же ты кричала? — с сердцем спросил Федор Андреич и привстал на подножку, чтоб посмотреть на больную. Сострадание ли выразилось на холодном

лице Федора Андреича, или так просто вздумалось Матренушке, только она умоляющим голосом сказала:

— Батюшка... родной, не оставь сироту!

— Да что я могу сделать, глупая! — отвечал Федор Андреич.

— Да помоги ты хоть нам старика-то в больницу отвезти. А то она, сердечная, изведется с горестей.

— Да как его фамилия?

— Самсонов, батюшка, Яков Петрович Самсонов!

— Так, значит, хоронили Авдотью Степановну? — поспешно спросил Федор Андреич и в волнении схватился за ручку кареты.

— Ах, господи, так она вам знакома! — радостно воскликнула Матренушка.

Через две минуты Федор Андреич сидел в карете и расспрашивал Матренушку о господах, в особенности о старичке.

Дорогой девушка очнулась и очень удивилась, увидав себя в карете и в сопровождении незнакомого лица.

— Ишь мы, по-господски теперь с похорон едем! — с гордостью заметила Матренушка, и, указывая на Федора Андреича, она продолжала: — Вот они изволили знать вашу бабушку.

— Вы ее знаете? — радостно спросила девушка, обратясь к Федору Андреичу, и заплакала, прошептав: — Она умерла!

— Перестаньте плакать, успокойтесь, вы можете захворать, а на ваших руках есть еще больной,— сказал Федор Андреич.

Девушка поспешно вытерла слезы и, принужденно улыбнувшись, сказала:

— Разумеется, глупо! Я не буду больше плакать. А вы знаете дедушку?

— Как же! Но вы, вы меня помните? — спросил Федор Андреич.

Девушка устремила на него свои выразительные глаза и закачала головой.

— Я вас видел очень маленькой; вы так изменились, выросли,— я бы ни за что вас не узнал.

Девушка продолжала глядеть на него и как бы отыскивала в недалеком своем прошедшем время, когда знавала его.

— Ну, не говорил ли вам дедушка иногда о родственнике своем, Федоре Андр...

— Ах, боже мой! так это вы! — пугливо воскликнула девушка, и ее лицо покрылось краской, а в глазах блеснул гнев; она тихо продолжала: — К вам дедушка писал три письма, даже я...

— На то была причина, что я ничего не писал вам. Меня не было в деревне.

— А потом? — заметила девушка.

— Как только я узнал обо всем, то сейчас же поехал в Москву.

Федору Андреичу показалось совестно сознаться перед девушкой, что он не хотел отвечать своему родственнику. Он лгал ей.

— Теперь поздно! — с упреком сказала девушка; но вдруг голос ее изменился, и она умоляющим голосом прибавила: — У дедушки ничего не осталось: всё взяли!

— Будьте покойны: я всё сделаю, что от меня будет зависеть.

Радостная улыбка оживила лицо девушки.

Федору Андреичу больной дедушка приходился двоюродным братом по женской линии. Мачеха Федора Андреича не очень уважала своих бедных родственников и редко упоминала о существовании их, в то время как с богатыми вела аккуратную переписку, описывая свое несчастное вдовье положение с сиротами. Но она дурно разочла. Богатые родственники равнодушно приняли Федора Андреича, когда он приехал в Москву служить, и ни в чем не пожелали помочь ему. А забытый и пренебреженный бедный родственник радушно принял его, обласкал, ссудил деньгами и, несмотря на разность лет, был ему самым нежным братом,— даже раз выручил его из беды, внеся за него деньги, проигранные им. Но, по холодности своей натуры, Федор Андреич легко забыл доброго родственника, и когда получил отчаянное письмо, в котором брат описывал ему нищету свою, застигшую его неожиданно, Федор Андреич даже ничего не отвечал; то же было и с другими письмами. Он сохранил только одно — именно письмо внучки, которая тихонько писала к нему о бедном состоянии своего дедушки. Оно поразило его оригинальностью своей: в нем было столько детского и вместе с тем так много справедливых и гордых упреков.

Федор Андреич застал своего двоюродного брата в самом горестном положении. Будучи искусным ходатаем по

тяжебным делам и в то же время человеком беспримерной честности и доброты, брат его взялся за процесс одного бедного человека; в выигрыше процесса не было сомнения, и по доброте своей старик употребил много денег, занимая на свое имя, так как никто не хотел верить тяжущемуся. Процесс уже подходил к концу, как вдруг тяжущийся скончался, разбитый экипажем, наехавшим на его дрожки. Наследники получают почти выигранное дело, передают его другому. Доверчивому ходатаю не только не уплатили расходов по делу, но даже обвинили его в каком-то дурном поступке. Началось дело. Самсонов в отчаянии захворал и поручил отписываться другому; попался ему человек не очень добросовестный, который и довел его до нищеты. Дом продали на уплату долгов; мебель и вещи пошли на леченье. Неожиданно скопившиеся несчастия так потрясли жену стряпчего, что она, не дождавшись своего мужа, первая поспешила слечь в могилу. Самсонов, верно, последовал бы за нею, если б не Федор Андреич, который не пожалел денег на его лечение.

Когда старик начал поправляться, Федор Андреич предложил ему и его внучке убежище в своем доме. Старик с радостью согласился.

При первой встрече с родными гостями Настасья Андреевна, сама не зная почему, возненавидела Аню. Может быть, сначала то была бессознательная вражда старой девы к молоденькой и хорошенькой девушке. Но потом заботливость брата о гостях, какой ни она, ни приемыш никогда не видали и даже не подозревали, чтоб он был к ней способен,— довершила остальное. Настасья Андреевна сделалась сурова и мелочно требовательна к Ане, и, верно, Ане пришлось бы плохо, если б не Федор Андреич да не хитрый Петруша, с первого же дня подружившийся с Аней.

Старичок страдал, когда Настасья Андреевна нападала на его внучку. Но делать было нечего: им некуда было деваться. Аня понимала очень хорошо свое положение и, зная, что ее слезы огорчают дедушку, старалась как можно равнодушнее принимать незаслуженные упреки и выговоры Настасьи Андреевны; но такое благоразумие еще более подстрекало Настасью Андреевну: она прибегала к самым мелочным мерам и часто метко попадала в своего врага.

Известно, что переход из детства сопровождается желанием казаться старше своих лет. Настасья Андреевна была неумолимо строга к туалету Ани, которым распоряжалась по поручению брата. И Аня со слезами надевала пелеринку, которую давно уже стыдилась носить, считая себя взрослой девушкой; но всего ужаснее было ей расстаться с своими прическами, которые она так искусно умела разнообразить каждый день.

Слез Ани Настасья Андреевна боялась: они поднимали грозу в доме. Если Федор Андреич замечал, что у Ани красные глаза, он тотчас требовал, чтоб она сказала ему причину. Таким образом, узнав раз о несправедливости Настасьи Андреевны, он назвал ее «сварливой бабой». С той минуты Настасья Андреевна всеми силами своей души возненавидела Аню и искала неутомимо случаев мстить ей, не рассуждая о беззащитности своего врага. Но, к счастью Ани, Федор Андреич стал реже отлучаться из деревни и сроки его отсутствия не были продолжительны.

Против своего обыкновения, он стал проводить вечера в гостиной, где играл в карты или шашки со старичком, а иногда требовал, чтоб Аня читала ему вслух какую-нибудь книгу или газету. Эти семейные картины наполняли сердце Настасьи Андреевны ревностью, почему не ее приемыша заставляет он читать, и под предлогом хозяйства она бежала к себе наверх, чтоб не слыхать приятного голоса Ани, который раздражал ее... Зато старичок сладко засыпал под голос своей внучки. Петруша присутствовал тут же и, будто слушая, сам с собой играл в шашки. Один Федор Андреич, медленно покуривая из маленького чубука с огромной пенковой трубкой, слушал внимательно и часто поправлял Аню, если она торопилась и не так выговаривала слова.

Удар был еще ужаснее для Настасьи Андреевны, когда ее брат стал заботиться о неоконченном воспитании Ани, в то время как давно была пора думать о воспитании Петруши.

В дом был взят гувернер. Петрушу с Аней засадили за уроки. Так как Петруша был резвый мальчик, то Аня, очень понятно, оказывала больше успехов, чем он, и часто получала похвалы от Федора Андреича, а Петруша — выговоры. В глазах Настасьи Андреевны всё принимало другой вид: она вообразила, что беззаботная Аня

помышляет очернить Петрушу в глазах его благодетеля, а учитель потому только хвалит ее, что она перед ним кокетничает. И раз, присутствуя при выговоре, который прочитан был Петруше его благодетелем, Настасья Андреевна не выдержала и стала защищать своего приемыша.

— Вы, братец, всё его браните, а не хотите обратить внимания, с кем больше занимается Селивестр Федорыч. Всякий отстанет, если только с одной будут заниматься.

Федор Андреич сердито заметил, что пристрастие ее ослепляет.

— Господи! так небось к ней не пристрастен никто! Уж я давно всё вижу, да не хотела говорить вам! Я чаще вашего заглядываю в классную.

После этого разговора Федор Андреич стал посещать классную, что имело неблагоприятные последствия: Петруша подвергался наказаниям еще чаще и строже. Настасья Андреевна каждый раз, как начинался класс, подслушивала у дверей и, подметив что-нибудь за Аней и учителем, перетолковывала по-своему. Наконец Аня стала конфузиться учителя, преследуемая обидными и несправедливыми намеками Настасьи Андреевны.

Это не укрылось от Федора Андреича, и он уволил Аню от классов. А сам учитель, верно догадываясь о причине частых сцен в доме и боясь потерять место, отправился в город на неделю и, пробыв там две, явился с женой. Искусная сваха помогла ему. Через три дня по приезде его явилась к учителю очень пожилая женщина в сопровождении какого-то молодого мужчины и объявила, что она пришла переговорить с ним, узнав его желание. После расспросов, сколько он получает жалованья и какой его характер, пожилая женщина сказала, что у ней есть племянница двадцати семи лет с десятью тысячами приданого, которую она желает устроить, собираясь сама предпринять дальнее путешествие. Вскоре учитель стоял под венцом с девушкой, очень неуклюжей, с некрасивым, но смиренным лицом.

Таким образом, мы познакомились теперь со всеми лицами, которых увидели в начале повести, и даже узнали несколько о Федоре Андреиче, которого не было на нашей сцене при поднятии занавеса.

Глава V

ХИТРАЯ ВЫДУМКА

Аня и Петруша остались в саду. Он сидел верхом на деревянных перилах террасы в задумчивом положении. Аня, стоя неподалеку, бросала кверху носовой платок, играя им, как мячиком.

— Ну, лови, Петруша! — сказала Аня, кинув платок к Петруше.

Он ничего не слыхал и оставался в задумчивой позе.

Подымая упавший платок, Аня насмешливо спросила его:

— Скажи, пожалуйста, Петруша, о чем ты так задумался? Верно, боишься, что Настасья Андреевна пожалуется *ему?*

— Вовсе и не думал! — обидчиво отвечал Петруша.— Если бы даже и пожаловалась... ну, что мне могут сделать??

— Как же? — с удивлением спросила Аня.

— Разумеется! ну, что сделают?.. побранят!.. велит сидеть у Селивестра Федорыча!..

И, помолчав, он с грустью продолжал:

— Нет, Аня! я думал, отчего она меня не хочет послать нынче в город, чтоб держать экзамен. Ведь опять целый год надо будет сидеть в классной с Селивестром Федорычем да проходить зады. В то время как все мои товарищи учатся, я... я один только бью баклуши в этой куцей курточке!

И Петруша с сердцем рванул курточку, так что она затрещала; глаза его наполнились слезами, и он засвистел, вероятно желая скрыть их.

— Ну, кто у тебя и бывает? один Федя! — заметила Аня.

— Он-то меня и злит! — с горячностью подхватил Петруша и с возрастающим жаром продолжал: — Поступил в класс — и нос поднял, говорить со мной не хочет, что ни скажу ему — подсмеивается, ты, говорит, на руках у нянюшек. А сам мне по плечо, да и годами моложе.

И, переменив голос, он с восторгом воскликнул:

—Ах, Аня! что он мне рассказывал! как они весело живут! играют, курят!

— Ну, а как узнают? — спросила Аня.

— Кто же может узнать! Селивестра Федорыча нет там, чтоб всё переносить. А товарищи не выдадут и сухим из воды вытащат. Да погодите, я уж поставлю на своем: я буду, буду в пансионе нынешний год!!

Последние слова Петруша говорил, обратясь к дому, как будто кто-то его слушал в окне.

Аня засмеялась.

— Чему ты смеешься? — с сердцем спросил Петруша.

— Над тобой!.. ха-ха-ха!.. у! как разгорячился. И играть будет, и курить будет... ха-ха-ха!

— Буду, всё буду делать, что захочу, как переселюсь в город! — топнув ногой и разгорячась, воскликнул Петруша.

— Да в том-то и вся сила, когда-то еще переселишься? — поддразнивая, заметила Аня.

— Клянусь тебе, очень скоро! — торжественно произнес Петруша и прибавил таинственно: — Я уж знаю, что надо сделать.

Аня перестала смеяться и с любопытством спросила:

— А что?

— Скоро состареешься — не скажу!

— Пожалуйста! — умоляющим голосом сказала Аня.

— Я, пожалуй, скажу, только с условием.

— Какое?

— Танцуй со мной при Феде, а ему откажи, если он будет просить тебя. А то он меня всё дразнит, что ты на меня как на мальчишку смотришь...

Аня, помолчав, нетерпеливо сказала:

— Ну, скажи же, что ты сделаешь?

Петруша огляделся кругом и, понизив голос, сказал таинственно:

— Помнишь, по какому случаю *он* рассердился, хотел меня отправить в город? Да тетенька разнежничалась!

— Ну, помню! что же? — с напряженным любопытством спросила Аня.

— Не понимаешь? — с удивлением, в свою очередь, спросил Петруша.

Аня покачала головой.

— Я...

Петруша опять огляделся и тихо продолжал:

— Я перепишу черновое письмо Феди, что он у меня оставил, и выроню при *нем*, будто нечаянно.

— Так что же?

— А вот увидишь, что будет,— весело отвечал Петруша и, схватив Аню за руку, потащил ее за собой, прибавив: — Побежим в нижний сад.

Аня сначала упиралась, но потом пустилась бежать ровно с Петрушей и спросила его:

— А кому писал Федя письмо?

— К Танечке,— отвечал Петруша.

— И она ему пишет?

— Разумеется!

Она замолчала и продолжала бежать. Петруша усилил свой бег и сказал:

— А ты будешь писать ко мне, когда я уеду отсюда?

— Это зачем?

— Так!

— Нет-с, вы уж лучше попросите Танечку, чтоб она вам обоим писала.

— Трусиха! — заметил Петруша и, выпустив ее руку, пошел шагом.

— Вовсе не из трусости!

— А из чего же?

— Так!

— Значит, тебе меня не будет жаль? — с упреком заметил Петруша.

— Пойдем к лодке, Петруша! — взяв его за руку, поспешно сказала Аня.

— Зачем?

— Нарвем цветов; я их ужасно люблю.

— Ну пойдем!

И они как стрелы пустились бежать,— перебежав мостик, повернули по берегу речки, которая прихотливо изгибалась узкою лентою, окаймленною с двух сторон широкими листьями болотных лилий. Прибежав к одному из кустов, Петруша взвалил себе на плечи два весла, которые скрывались там, и медленно пошел к лодке, стоявшей невдалеке. Он проворно прыгнул в нее и отвязал ее от колышка, покрытого изумрудным мхом.

Лодка заколыхалась, и из-под зеленой тины блеснула вода. Петруша с ловкостью перекинул конец весла на берег, а другой придержал рукой. Аня, приподняв высоко платье, чтоб его не замочить, стала тихонько пробираться по веслу, которое вертелось во все стороны.

— Какие у тебя маленькие ножки! — заметил Петруша.

Аня, потеряв баланс, закачалась.

Если бы не ловкость Петруши, она упала бы в воду; но он схватил ее за руку и с силою притянул в лодку. Он смеялся. Аня тоже смеялась.

Лодка тем временем отчалила от берега и тихо прорезала себе дорогу в зелени, оставляя за собой ленту воды, которая уменьшалась постепенно и наконец исчезла.

— Смотри, весло забыли! — кричала Аня.

— И с одним накатаемся.

. . . .

Петруша стоя правил одним веслом и насмешливо глядел на нее.

Легкий туман стал подниматься из реки, которая становилась шире и чище, а лес, окаймлявший берега с обеих сторон, густел и темнел. Петруша и Аня плыли молча; последняя смотрелась в воду, опускала руки в нее и так ехала, производя ими легкий плеск.

— Петруша! — неожиданно окликнула она задумавшегося своего вожатого.

— А? — спросил пугливо Петруша.

Эхо повторило их. Это Аню очень заняло, и она, смеясь, стала повторять на разные голоса имя Петруши и прислушивалась к эхо.

— Отчего, Петруша, лес повторяет, что я ни скажу? — спросила Аня.

— Это — эхо,— глубокомысленно отвечал Петруша.

— Вот хорошо! я и без тебя знаю, что эхо! — насмешливо и передразнивая его голос, отвечала Аня и с важностью продолжала: — Нет, ты мне растолкуй, отчего и как?

Петруша молчал.

— Не знаешь?

— А ты знаешь? — с досадою спросил Петруша.

— Нет! но мне не стыдно! я не буду курить и писать письма!— Аня сопровождала свои слова лукавыми взглядами.

— О, тогда я всё узнаю; а теперь чему научиться с Селивестром Федорычем? разве как сушить васильки, чтоб перемешивать с табаком и потом курить их.

— Да тебе будет скучно там одному! На лодке нельзя кататься и рвать таких цветов.

И Аня нагнулась сорвать одну из лилий; но корень был крепок, и она только возмутила поверхность воды. Петруша, бросив весло, сорвал ей его.

— Еще и эту, и эту! — говорила Аня Петруше, кото-

рый наклонял лодку во все стороны, собирая цветы, разбросанные по реке, и говорил:

— Чего мне будет жаль, так тебя, Аня: она тебя замучит попреками.

— Уж, право, не знаю, что я ей сделала! она меня ужасно не любит,— с грустью сказала Аня.

— Ты пиши ко мне, если уж она очень...

— Что же ты сделаешь?

— Я...

Петруша призадумался и потом отвечал:

— Я скажу ей, что не буду ее любить.

— Ах! не говори ты ей этого! — воскликнула Аня в испуге и тихо заплакала.

— О чем же ты плачешь, Аня? — недовольным голосом спросил Петруша, и, отнимая ее руки от глаз, он вкладывал в них цветок.

— Страшно! — всхлипывая, отвечала девушка.

— С чего тебе страшно? — глядя вокруг, спросил Петруша.

— Я останусь одна: она меня с дедушкой будет бранить всякий день.

— Ну так я останусь, не плачь! Посмотри, какой чудесный цветок.

Так утешал Петруша свою спутницу.

Аня взглянула на цветок, понюхала его и немного запачкала себе нос. Петруша залился смехом и, сорвав себе лилию, напачкал тоже свой нос.

Они гримасничали в лодке, смеялись; вдруг Аня призадумалась и сказала:

— Знаешь что, Петруша: сорвем по цветку, высушим их, и когда ты приедешь побывать, я спрошу свой, а ты у меня свой. И если кто потеряет его, тот должен целый год исполнять всё, что ни приказывают.

— Хорошо; спасибо! — отвечал Петруша, взяв поданный ему цветок, и прибавил:— Я его в историю положу.

Болтая, они не заметили, что стемнело. Аня первая пугливо сказала:

— Однако, Петруша, вернемся назад; пока еще доедем, а может, нас хватятся.

Но как ни спешил Петруша, когда лодка причалила к месту, где они сели, уже совсем смерклось. Аня с Петрушей бегом пустились к дому, и лишь только завидели его, как оба в один голос пугливо заметили:

— Огонь в гостиной!

— Не приехал ли он? — сказал Петруша.

И, подойдя ближе к дому, стал на скамейку. Аня последовала его примеру. Приподнявшись на цыпочки, она заглянула в окна и потом, быстро присев, дрожащим голосом сказала:

— Ах, уж и стол накрыт!

Петруша, стоя на скамейке и придерживаясь за плечи Ани, говорил:

— Он ходит по комнате: значит, сердит! — И, соскочив со скамейки, он продолжал: — Смотри, Аня, скажи, что сидела у себя в комнате.

— Хорошо; ну, иди же; я приду потом, — отвечала Аня.

И они разошлись.

В зале был уже накрыт стол для ужина. Старичок сидел в своих креслах и, прильнув к стеклу, высматривал в темноте сада свою внучку и Петрушу, которых искали по всему дому и ждали ужинать. Федор Андреич, рассерженный поздним отсутствием Петруши и Ани, расхаживал в зале и ворчал на свою сестру, зачем она не смотрит за ними и позволяет девушке в такой поздний час отлучаться из дому. Настасья Андреевна своими словами, казалось, еще сильнее раздражала гнев брата. Фигура его, и без того серьезная, сделалась мрачною. Он был небольшого роста, но необыкновенно широк в плечах, с плотными руками и ногами. Его лицо далеко не принадлежало к числу приятных; густые с проседью волосы, торчавшие вверх, придавали его строгим чертам что-то мрачное; а густые брови, почти сросшиеся вместе, увеличивали суровость выражения его черных блестящих глаз и большого носа. Он носил небольшие усы с проседью, которые скрывали его толстые губы. Цвет лица его был красноватый и не лишенный здоровья. Одет он был в синеватого цвета венгерку с высоким стоячим воротником, который упирался в его полный подбородок и делал еще шире его лицо.

Появление Петруши нарушило молчание, воцарившееся в зале. Федор Андреич встретил его следующими словами:

— А, насилу явился!

Петруша поцеловал у него руку.

— Вы заставляете ждать себя... Где ты был?

И лицо Федора Андреича становилось всё мрачнее.

— Я катался на лодке! — робко отвечал Петруша.

— Я ведь тебе запретил? как же ты смел! — грозно спросил Федор Андреич.

— Я ему позволила: он хорошо играл сегодня! — подхватила Настасья Андреевна.

Ее брат, нахмурив брови, отвечал:

— Прекрасно, ты его отпустила; а где же Аня?

— Я не знаю-с! — поспешно отвечал Петруша.

— Разве она не с тобой каталась? — с удивлением спросил Федор Андреич.

— Нет-с! — запинаясь, проговорил Петруша.

В ту минуту Аня, слегка смущенная, вошла в залу.

— А-а-а, сударыня!.. где вы изволили быть? — торжествующим голосом спросила Настасья Андреевна.

— Я сидела наверху!

— Неправда: я сама была в вашей комнате.

— Верно, я...

— Поди поздоровайся,— перебил ее старичок.

Аня подошла к Федору Андреичу, поцеловала его в щеку.

— Боже мой! посмотрите на ее платье,— вскрикнула Настасья Андреевна и, кинувшись к Ане, стала повертывать ее во все стороны.

Торопясь домой, Аня забыла о своем платье, и роса вымочила его.

Федор Андреич выразительно посмотрел на Петрушу, погрозив ему, и сквозь зубы сказал:

— Так ты один катался?

— Я одна гуляла в саду! — побледнев и умоляющим голосом сказала Аня, обратясь к Федору Андреичу, который отвернулся от нее и настойчиво требовал, чтоб Петруша сознался в своей лжи.

Но Петруша упорно молчал. Этим временем Настасья Андреевна накинулась на Аню, которая заплакала.

Федор Андреич, оставив Петрушу, обратился к плачущей и грозно закричал:

— Вы, кажется, сговорились меня злить сегодня. Одна плачет, другой лжет!

— А она разве не солгала вам? — подхватила Настасья Андреевна, бросая яростные взгляды на Аню.

— Настасья Андреевна, моя Аня не лгунья! — обидчиво заметил старичок.

Внучка кинулась к своему защитнику и, скрыв свою голову на его плече, горько зарыдала. Дедушка утешал ее и шептал:

— Тише, не плачь: он пуще рассердится.

Федор Андреич заходил скорыми шагами по комнате: то было признаком гнева.

Настасья Андреевна шепталась с Петрушей, делая ему выразительные жесты.

— Да перестанете ли вы, сударыня! — грозно топнув ногой, сказал Федор Андреич, остановясь перед Аней.— Вы плачете, как будто бог знает что с вами сделали. Прошу перестать: вы знаете, я не люблю слез!

Последние слова были сказаны гораздо громче.

Старичок вытер слезы у внучки и сказал ей тихо:

— Попроси прощенья.

— Я не виновата! — отвечала Аня всхлипывая.

— Капризная девчонка! — заметила Настасья Андреевна и, крикнув лакея, приказала подавать ужин.

В глубоком молчании все уселись за стол, в том числе и гувернер с женой, сошедший сверху. Раз двадцать он кланялся, а жена его приседала хозяину дома, пока они были замечены им.

— Вы продолжаете сердиться? отчего вы не кушаете? — нахмурив брови, сказал Федор Андреич Ане, которая сидела, понурив голову, и ничего не ела.

Старичок толкнул ее ногой. Аня, не слышав вопроса хозяина, вопросительно посмотрела на своего дедушку, который уткнулся в свою тарелку и прилежно кушал.

— Отвечайте же,— вас спрашивают! — дрожащим от гнева голосом сказала Настасья Андреевна.

— Что вам угодно? — спросила Аня.

— О чем вы так думаете, что ничего не слышите? — язвительно спросила Настасья Андреевна и готовилась продолжать выговор, но, остановленная взглядом своего брата, быстро сжала губы.

Встали из-за стола. Аня подошла проститься с Федором Андреичем, сказав грустно:

— Покойной ночи-с!

Федор Андреич взял Аню за руку, поцеловал ее в лоб и ласковым голосом произнес:

— Забудьте всё и спите спокойно.

Аня с теми же словами подошла к Настасье Андреевне. Они обе едва коснулись губами до щек друг друга; последняя наградила Аню гневным взглядом. Со старичком Аня прощалась без слов. Она нежно поцеловала его в щеку, потом в руку и опять в щеку, как бы желая показать присутствующим свои чувства к нему.

— Дедушка, я вас провожу и зайду к вам,— шепнула она старичку.

Старичок крепко поцеловал свою внучку и перекрестил.

— Прощайте, Петрушенька! — сказала Аня, проходя мимо него.

Петруша стоял у окна и глядел в мрачный сад. Эти слова вывели его из задумчивости; он молча поклонился Ане и с нежностью поцеловал старичка, который отвечал ему таким же поцелуем и тоже его перекрестил.

— Прощай, брат! — пожимая руку Федора Андреича, сказал старичок, сопровождая слова свои благодарным взглядом.

— Прощайте! — вдруг веселым голосом отвечал Федор Андреич и, сделав общий поклон, ушел из залы.

Все побрели по своим комнатам, исключая Настасьи Андреевны, которая осталась собирать остатки белого хлеба в корзинку и долго еще копалась внизу, запирая водку, вино по разным чуланам.

Через час всё в доме спало глубоким сном; только в кабинете Федора Андреича еще виден был огонь.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава VI

ПИСЬМО

Кабинет Федора Андреича уборкой своей не отличался от других комнат. Мебель была в нем самая необходимая: железная кровать, у которой стоял маленький столик, заваленный губернскими газетами, бронзовый подсвечник с зеленым колпаком, освещавший комнату, комод старинный с бронзовой оправой, несколько стульев соломенных, новейшей работы бюро и у окна вольтеровское кресло, в котором задумчиво сидел Федор Андреич. В его руках был неизменный его коротенький чубучок с огромной пенковой трубкой. Но он не курил в эту минуту, а, поддерживая голову одной рукой, смотрел в раскрытое окно в темный сад. Он сидел так неподвижно, что его можно было принять за спящего, если б из-под густых бровей не сверкали его блестящие серые глаза. В этом положении провел ночь Федор Андреич; лишь только занялась заря, он лениво встал, как бы сожалея о промчавшейся ночи, выбил свою недокуренную трубку и, набивши новую, вышел из своего кабинета и очутился на террасе. Утренний воздух дал ему почувствовать без сна проведенную ночь; усталый, он уселся на отсыревшие ступеньки террасы.

Утро было свежее; зелень и даль неба покрыты были легким паром, который, медленно подымаясь, разрывался местами. Птицы, чирикая, скакали по песку дорожек, порхали на кусты, собирая капли росы, или, весело щебеча, пролетали над головой Федора Андреича в свои гнезда, свитые в крыше террасы.

Но его ничто не развлекало: он сидел в неподвижном положении, и трубка опять была забыта. Солнце вспыхнуло, осветив все предметы; птицы громче запели, послышалось мычание коров, ржание лошадей; вдали пахнуло дымом затопленной печки. Но пробуждение дня не могло вывести из задумчивости Федора Андреича. Наконец он вдруг встрепенулся. Над его головой раздался стук открытого окна; сонная Аня, с распущенными волосами, с ярко горящими щеками, закутанная в белое одеяло, появилась в окне. Она, щурясь, глядела на солнце, прямо светившее ей в лицо, зевнула, вздрогнула и, плотнее закутавши свои плечи одеялом, легла на окно. Аня глядела неопределенно на небо, на зелень в саду, следила внимательно за птичками — и вдруг скрылась с окна, но через минуту опять появилась, вооруженная зонтиком, которым слегка стукнула в соседнее окно, и спряталась.

Через несколько минут соседнее окно раскрылось с шумом, и сонное лицо Петруши с <вс>клокоченными волосами показалось в нем. Аня выглянула из своего и залилась смехом. Петруша, зевая, спросил:

— Ну, чему смеешься?

— У, какой ты страшный!

Петруша, догадавшись, оправил свои волосы и спросил ее:

— А ты давно встала?

— Давно, давно! — протяжно отвечала Аня и зевнула сладко.

Петруша последовал ее примеру и сказал:

— Что же ты меня не разбудила прежде?

— Не хотела.

— Значит, солгала: верно, сама проспала; а уж как вчера божилась, что встанет рано-рано, чтоб идти гулять!

Аня лукаво улыбнулась и, потягиваясь, сказала:

— Какой я страшный сон, Петруша, видела!

— Ну, верно, не страшнее вчерашнего вечера: каково нас поймали? и всё твое платье!

— Мне так было страшно за тебя! — перебила его Аня.

— А мне за тебя: думаю, расплачется и всё расскажет.

— Вот мило! ты думаешь в самом деле, что я девочка! — обидчиво заметила Аня и с уверенностью продолжала: — Нет, что бы ни случилось со мной, я ничего не сказала бы.

Аня поддерживала свое личико; оно было полузакрыто распущенными ее волосами, концы которых висели из окна и качались в воздухе.

— Знаешь, Аня, тебе бы так носить волосы,— заметил Петруша.

— То есть не чесаться? — смеясь, подхватила Аня, и, закинув голову кверху, смотря на небо и щуря лукаво глаза, она прибавила: — Ну а так хорошо?

— Не шали: упадешь! — строго заметил Петруша Ане, которая мотала головой. — Пойдем гулять... Как бы теперь хорошо покататься на лодке.

— Мне не в чем! мое платье с вечера взяли замывать.

— Надень мое! — смеясь, сказал Петруша.

— Ха-ха!

Петруша в минуту свесил ноги на крышу и болтал ими.

— Не делай этого, бога ради: ты знаешь, какая гнилая крыша. Вон сколько дыр на ней.

И вдруг она пугливо устремила глаза в одну из них и, замахав рукой, скрылась из окна. Петруша стал ее звать и, соскочив на крышу, подошел к ее окну. Аня закричала ему с ужасом:

— Он встал, сидит на террасе.

Петруша пугливо прокрался назад. Оба окна вскоре тихо закрылись. Но Федор Андреич всё слышал и видел, и детские выходки Ани и Петруши ему видимо не понравились. Он совершенно сдвинул свои брови и кусал губы, крутя жестоко свои усы.

Чай и завтрак подавали в этот день в кабинет Федору Андреичу. К обеду стол накрыт был в зале. Все, собравшись, ожидали его появления, чтобы начать обедать. Он так был мрачен при появлении, что на лицах всех присутствующих изобразилась тревога, и они вопросительно переглянулись. Молча Федор Андреич принял приветствие домашних, и когда стенные часы с громом и шипением пробили три часа, он заметил про себя:

— Как поздно!

— Не прикажете ли, братец, подавать кушать? — спросила Настасья Андреевна.

— Давайте,— отвечал рассеянно Федор Андреич, и, обратясь к Петруше, который, стоя у флигеля, перебирал ноты, он сердито прибавил: — Ну что же ты стоишь! вели подавать!

Петруша пошел к двери и в ту самую минуту вынул из кармана носовой платок, а с ним вместе выпало письмо.

— Петрушенька, вы что-то выронили! — заметила Аня, заранее приготовленная, что ей нужно было сказать.

Но Петруша как бы не слыхал и вышел в дверь.

Аня подошла, чтобы поднять письмо; но Федор Андреич остановил ее. В то время Петруша вернулся в залу. Федор Андреич молча указал ему на письмо. Петруша, слегка изменясь в лице, поднял письмо и хотел спрятать его в карман.

— Подай его сюда! — таким голосом произнес Федор Андреич, что все в зале вздрогнули.

Петруша тотчас же повиновался. Пробежав письмо, Федор Андреич громко засмеялся, отчего Настасья Андреевна, побледнев, вскочила со стула и с удивлением смотрела на брата, потому что смех был у него предвестником страшного гнева. Всё, что было в комнате, притаило дыхание и следило за мрачным выражением лица Федора Андреича, который, язвительно улыбаясь, сказал:

— Иди за мной!

И пошел из залы. Петруша твердым шагом последовал за ним.

Настасья Андреевна, проводив их глазами, тоскливо и вопросительно глядела на всех, как бы прося объяснения, и, остановив свои глаза на смущенной Ане, спросила:

— Что это значит?

Аня покачала головой.

Даже безжизненное лицо Селивестра Федорыча пришло в волнение, а его жена сильно закашлялась.

— Что такое Петруша сделал? — спросил старичок Аню с участием.

Она отвечала со вздохом:

— Не знаю, дедушка.

— Опять какие-нибудь шалости! и где усмотреть за ним? — тоном оправдания проговорил учитель.

Лакей явился в залу с миской супу и поставил ее на стол.

— Доложи барину, что суп подали! — свободнее вздохнув, сказала Настасья Андреевна.

Но лакей скоро возвратился, донеся ей, что барин ничего не отвечал. Настасья Андреевна приказала вынести

миску из залы и вышла; она скоро возвратилась еще в большем волнении, брала вязанье в руки, бросала его, поминутно смотрела на часы и тоскливо на дверь.

Через томительных полчаса явился в залу Федор Андреич; он был бледен, губы его судорожно сжаты; глаза сверкали таким огнем, что все, как бы ослепленные их блеском, потупили свои.

— Что же вы не обедаете? — раздражительным голосом спросил Федор Андреич, взглянув на стол.

— Мы ждали вас, братец! — нетвердым голосом отвечала Настасья Андреевна.

— Велите скорее давать!

Когда опять подали суп, Настасья Андреевна робко сказала лакею:

— Попроси Петрушеньку...

— Не нужно! — перебил ее Федор Андреич.

Настасья Андреевна остолбенела, с разливательной ложкой в руках, и глядела на своего брата, который, судорожно постукивая ножом по столу, исподлобья глядел на всех.

— Вы его наказали? — придя в себя, спросила Настасья Андреевна.

— Да! он сегодня без обеда,— резко отвечал ей брат, и она принялась разливать суп.

Федор Андреич ужасно капризничал за столом, ворчал на сестру, что не всё в порядке, громко бранил лакея, подававшего кушанье...

— Боже мой, что с ним? — в недоумении шептала Настасья Андреевна.

Обед тянулся долго, хотя никто почти не ел, кроме Селивестра Федорыча; но и тот видимо конфузился от случайно падавших на него гневных взглядов хозяина.

После обеда, казалось, гнев Федора Андреича поутих; но он всё еще хмурился и, сидя в гостиной на диване с трубкой в зубах, постукивал ногой, глядя в даль сада.

Аня и Настасья Андреевна заняты были работой, а старичок, забыв свой послеобеденный сон, сидел, понурив голову, за шахматным столиком. Тяжелая и подавляющая тишина царила в комнате, в которой была раскрыта дверь на террасу в сад, как бы для сравненья этих людей, заключенных в комнате, с птицами, вольно летающими повсюду, с бабочками, порхавшими по кустам, с мухами, кружащимися бессмысленно в воздухе. Иногда в комнату залетала большая муха: жужжа неистово, она

тоскливо билась по стеклам и радостно вылетала опять в сад.

Наконец послышалось мерное дыхание Федора Андреича, и голова его облокотилась на спинку дивана; трубка сжата была в руке, которая покоилась на ручке дивана.

Настасья Андреевна на цыпочках вышла из гостиной и отправилась к кабинету брата, где сидел Петруша. Она постучалась в дверь.

— Кто? Аня? — спросил Петруша изнутри.

— Нет, это я; отвори!

— Я заперт.

— Господи, господи! что ты такое сделал? что за письмо и к кому?

Петруша молчал.

— Говори же! — строго продолжала Настасья Андреевна.

Петруша всё молчал.

— Скажешь ли ты мне!..— Не дождавшись ответа, Настасья Андреевна с сердцем продолжала:— Поделом тебе, и прекрасно, что тебя наказали: ты упрямый мальчишка!

И она возвратилась в залу; но ее приход, как он ни был осторожен, пробудил брата; подозрительно посмотрев на Настасью Андреевну, он сказал:

— Верно, навещать ходили? да я принял меры против вашего баловства.

И он показал ключ от двери своего кабинета.

Томительно длинно прошло время для Ани от обеда до чаю. Федор Андреич вышел из гостиной, и она кинулась в сад, чтоб подышать чистым воздухом. Поравнявшись с окном кабинета, она услышала сердитый голос Федора Андреича и следующие слова:

— В последний раз спрашиваю, к кому писал письмо?

Ответа не слыхала Аня, и когда хлопнули дверью, она, припрыгнув, закричала:

— Петруша!

Петруша выглянул из окна; глаза его были заплаканы, но он улыбался и торжествующим голосом сказал:

— А каково я их всех поддел!

Аня с участием спросила:

— Петруша, ты, кажется, плакал? за что он тебя оставил без обеда?

— Вовсе не думал плакать! Выйдут же наконец из терпения и пошлют меня в город.

— Не хочешь ли ты есть?

Вместо ответа, Петруша, указав рукой вдаль, поспешно присел.

Аня, повернув голову по указанию Петруши, увидела Федора Андреича, гуляющего по саду; она побежала в залу, где Настасья Андреевна уже сидела за самоваром. Она встретила Аню следующими словами:

— Где это вы изволите бегать?.. из-за вас в доме целый день тревога!

— Я была в саду.

— Так извольте идти опять туда: вас сам Федор Андреич пошел искать; просите его кушать чай.

Аня побежала искать Федора Андреича, но столкнулась с ним на террасе.

— Куда? — строго спросил он.

— К вам-с! — отвечала Аня.

— Это зачем?

— Вы искали меня.

— Да; а где вы были?

— В саду.

— Сад велик! где именно?

Аня замялась, но вдруг поспешно отвечала:

— Я рвала ягоды.

— Сырые-то? ай-ай-ай!

И Федор Андреич покачал головой, взял Аню за руку и пристально глядел ей в глаза. Она покраснела как мак, потупила глаза, и сердце у ней застучало от страху. Она страшилась, что он видел ее у окна, где был заключен Петруша.

— Вы любите меня? — протяжно спросил Федор Андреич...

— Да-с... очень...— не вдруг проговорила Аня.

Это вызвало недоверчивую улыбку на губы Федора Андреича. Он наставительным голосом сказал, держа ее за руку:

— Вы уж большая девица: вам не следует вставать до свету, чтоб болтать с глупым мальчишкой, которому надо учиться. Все эти шалости вчера и сегодня нейдут к вам... но бог с ними. Вы, верно, знаете, к кому он изволил писать письмо, а?

Аню как будто бы жгли на медленном огне. Она обрадовалась бы, если б пол обрушился и поглотил ее,

лишь бы не чувствовать прикосновения горячей руки, которая жгла ее, и проницательных сверкающих взглядов Федора Андреича.

— Что же вы? вы, как и он, молчите?

— Я ничего не знаю-с! — заплакав, отвечала Аня; ей было страшно.

— Я ждал этого! — с сердцем сказал Федор Андреич и с силою сжал ее руку, отчего Аня слегка вскрикнула; он оставил ее и стал ходить взад и вперед по террасе.

Аня плакала.

— Братец, чай готов,— сказала Настасья Андреевна, появясь в дверях.

— Прикажите мне сюда подать! — отрывисто отвечал ей брат и продолжал ходить.

— Извольте принести чашку! — обратясь к Ане, сказала Настасья Андреевна, и когда девушка скрылась, она поспешно продолжала:— Братец, простите Петрушу: он и так довольно наказан.

— За его упрямство ему еще не то будет! не просите!.. Я его не прощу!.. — отрывисто, сердитым голосом сказал Федор Андреич.

— Это несправедливо! всё одного наказывать, в то время как другая во сто раз более виновата.

— Да вы не знаете, что он сделал, и заступаетесь. Он упрямый мальчишка!

— Всему научился у ней; прежде он не был таким. Я, я никогда не взяла бы в дом такую упрямую девчонку; она его всему научает: он еще дитя,— с горячностью говорила Настасья Андреевна.

— Хорошо дитя!.. но прошу таких глупостей не говорить в другой раз.

Аня слышала обвинение себе. Оскорбление, это чувство, доселе ей неизвестное, обхватило ее; она вся задрожала, хотела говорить, но не могла,— хотела плакать, но слезы душили ее; поставив чашку на перилы террасы, она кинулась в сад. Сумерки мешали видеть лицо Ани; однако Федор Андреич вернул ее, заметив, что в саду сыро. Аня ушла в залу и, сев у окна, сжала свою голову руками, облокотясь на подоконницу. Она оставалась в этом положении, пока не почувствовала легкого удара по плечу. Старичок стоял возле нее и тихо сказал ей:

— Что с тобой?.. не слышишь, что Федор Андреич тебя зовет?

Аня очень удивилась, что чай был убран и зала темна.

— Иди же читать газету,— с удивлением повторил старичок.

Внучка как бы машинально повиновалась: она вошла в гостиную. Свет свечей резал ей глаза. Федор Андреич сидел один на диване у круглого стола, покуривая трубку. Аня молча села, взяла газету, лежавшую на столе, и стала читать. Но она читала так рассеянно, что Федор Андреич заметил ей, что она, верно, разучилась читать, и приказал прекратить чтение.

Через полчаса в гостиной старичок, храня глубокое молчание, играл в карты с Федором Андреичем, а его сестра расхаживала по террасе, пол которой очень сильно скрыпел. Дверь на террасу была раскрыта. Аня сидела с работой в руках возле старичка, но поминутно задумывалась; стук карт по столу заставлял ее вздрагивать, и она обращалась к своей работе.

Вечер был тих, свечи горели ровно. Вдруг посреди глубокой тишины послышался звонкий голос, полный грустной мелодии. Он пел русскую песню:

Не одна-то во поле дороженька...

Шаги на террасе замолкли, Аня оставила шитье; играющие в карты и все вслушивались в пение.

— Кто это распевает в саду? — с удивлением спросил Федор Андреич и вдруг, усмехнувшись, продолжал: — А, это, верно, он! Слышите, Настасья Андреевна, каким соловьем заливается ваш баловень?

И он стуком карт как бы старался заглушить пение. Оно было так грустно, что у Ани показались слезы на глазах, а старичок сделал ренонс. Последнее очень рассердило Федора Андреича, и он, поворчав на старичка, крикнул своей сестре:

— Да скажите, чтоб он перестал петь!

Пение через минуту затихло.

Подали ужин. Настасья Андреевна, несмотря на свой обычный аппетит, ничего не ела. В половине ужина она сказала:

— Позвольте, братец, послать ему туда ужин.

— Сделайте одолжение! Иван! отнеси Петру Федорычу стакан воды и черного хлеба.

На глазах Настасьи Андреевны показались слезы, и она с упреком взглянула на Аню, которая печально сидела возле своего дедушки. После ужина Федору Андреичу вздумалось продолжать игру. Аня, сказав, что у ней

болит голова, простилась с играющими, чтоб идти спать; но вместо своей комнаты она очутилась в саду и, бросив горсть песку в закрытое окно кабинета, нетерпеливо глядела на него. Петруша открыл окно, Аня произнесла:

— Тс!

— Аня, ты? — спросил Петруша, всматриваясь в темноту сада.

— Я, я, Петруша!

— Смотри, чтоб тебя не увидели.

— Нет: он играет в карты с дедушкой, а она говорит с поваром... Петруша, нельзя ли мне вскарабкаться к тебе?

— Высоко; впрочем, вскочи на карниз: я поддержу тебя.

И Петруша, свесившись из окна, протянул руки. Аня подпрыгнула, ухватилась за них и, как кошка цепляясь по стене, стала одной ногой на карниз и, локтями придерживаясь на оконнице, находилась почти в висячем положении.

— Не упади! — заметил Петруша; и он придерживал ее.

Аня, указывая на стакан воды и хлеб, стоящий у окна, сказала:

— Ведь это он тебе выдумал такой ужин.

И, вынув из кармана своего платья кусок жаркого и белого хлеба и подавая Петруше, прибавила:

— А я вот что тихонько для тебя спрятала.

Петруша как бы нехотя стал есть; но по мере каждого куска он ел с большей и большей жадностью.

Аня глядела на него.

— А какой соус был сегодня за обедом? — жуя, спросил Петруша.

— Твой любимый.

— Ах, жаль! вот ты бы мне его принесла.

— Очень ловко! соус в карман положить! — смеясь, подхватила Аня.— Я и так боялась, что заметят меня. Ты знаешь, как Настасья Андреевна глядит за мной.

— Что она, рада, что я наказан?

— О нет! даже не ужинала.

— Вот хвастунья-то! а как уж грозила мне, как будто в самом деле злая.

— Она тебя любит, Петруша.

— Да я-то ее не буду любить, если она станет привязываться к тебе.

— Ах, Петруша! выпустят ли тебя завтра? мне так скучно.

— Пусть лучше меня продержат здесь с неделю, только бы отвезли в город и отдали учиться.

— Надо проситься.

— Хочет, чтоб я сказал, к кому я написал письмо, когда я сам не знаю!

— Скажи, что к Танечке.

— Ишь какая добрая! чтоб он пожаловался на нее! Лучше я скажу — к тебе.

— Изволь: я согласна! пусть меня наказывают, только бы тебя простили.

Голос у Ани задрожал, и она заплакала.

— Аня, что ты, о чем плачешь? — с участием спросил Петруша.

Плача, Аня отвечала:

— Настасья Андреевна уверяла его, что я всему виновата и что учу тебя лгать ему...

Аня, рыдая, склонила голову на окно.

Петруша с сердцем топнул ногой и, наклонясь к Ане, сказал:

— Полно, не плачь: когда я стану учиться, я не позволю тебя так обижать.

В это время голоса за дверьми заставили их вздрогнуть. Локти у Ани соскочили; она скатилась вниз и, чуть не упав, пустилась бежать к себе в комнату.

Петруша долго не спал и видел, как Федор Андреич просидел всю ночь в креслах у окна, а утром он увидел его в постели во всей одежде.

На другое утро Аня, как ни хитрила, чтоб скрыть свои руки, расцарапанные при падении, но их тотчас заметил Федор Андреич и, сказав: «Куда вы это лазить изволили?», погрозил ей пальцем. За обедом он, неожиданно для всех, объявил, что завтра утром повезет Петрушу в город, что ему нечего делать в деревне.

Настасья Андреевна давно знала, что должна расстаться когда-нибудь с своим любимцем; однако это ей не помешало измениться в лице.

Селивестр Федорыч не доел жаркого и с ужасом глядел на хозяина; его жена закашлялась, как обыкновенно с ней случалось при всяком волнении. Федор Андреич, как бы заметив это, сказал учителю:

— Вы можете остаться у меня, пока не сыщете места.

Учитель встал и отвесил поклон, его жена сделала реверанс, и с новым аппетитом Селивестр Федорыч доел свое жаркое и взял двойную порцию пирожного,— верно, за своего ученика, которому в этот день отнесли обед в кабинет.

В доме сделалась суматоха. Настасья Андреевна из одной кладовой перебегала в другую, считала белье, и какие хитрости ни употребляла, чтоб проникнуть к своему любимцу,— всё рушилось о железную волю ее брата. Ане тоже не было случая переговорить с Петрушей, потому что Федор Андреич целый день сидел у себя в кабинете, а когда смерклось, посадил ее читать. Ужин был подан ранее обыкновенного, и, прощаясь, Федор Андреич объявил, что поедет в город с Петрушей после завтрака.

Настасья Андреевна с вечера заказала любимые кушанья Петруши для завтрака и не очень покойно спала эту ночь.

Глава VII

ОТЪЕЗД

Утром, собравшись к чаю, Настасья Андреевна спросила лакея, стоявшего у двери:

— Что, встал барин?

— Никак-с нет!

— Спит? — с удивлением поглядев на лакея, заметила Настасья Андреевна.

— Никак-с нет! — поспешно отвечал лакей.

— Что ты это зарядил свое «никак-с нет»! Поди, проси кушать чай.

И она стала заваривать чай.

Лакей не двигался с места и, запинаясь, сказал:

— Да... они-с в ночь изволили уехать-с!..

Все присутствующие недоверчиво глядели на сконфуженного лакея.

— Как, уехали?! а Петруша? — воскликнула Настасья Андреевна.

— Они-с тоже! — пугливо глядя на хозяйку, отвечал лакей.

— Как же ты меня не разбудил? — закричала Настасья Андреевна.

— Очень крепко запретил барин никого не беспокоить-с.

Настасья Андреевна опустилась в изнеможении на стул, а все присутствующие менялись удивленными взглядами и пожатием плеч, казалось лишась способности говорить. Посреди-то этой тишины со стола зажурчали ручьи воды. Настасья Андреевна забыла закрыть кран у самовара, заваривая чай. Все заахали, засуетились вокруг стола. Настасья Андреевна шумела больше всех, выбранив всех, начиная от Ани до жены учителя... Когда привели всё в надлежащий порядок и все опять уселись по своим местам за чай, на каждом лице заметно было напряженное усилие разгадать причину неожиданного отъезда хозяина и похищения Петруши.

Селивестр Федорыч находился в волнении, особенно подозрительном при его глубокомысленной неподвижности. Он напевал старичку обидчивым голосом:

— Что же, мной были недовольны, что ли? разве они не знают, что я семерых приготовил к экзамену?

— Уехал! — пробормотала Настасья Андреевна, неопределенно смотря на самовар.

— Не дал ни с кем проститься! — покачивая головой, в свою очередь рассуждал старичок.

Настасья Андреевна, услышав его, подняла голову; глаза ее запылали гневом, и она, задыхаясь, отвечала старичку:

— И даже не дать проститься с той, которая ему заменяла мать!

Руки ее судорожно сжались, и она тихо произнесла, как бы рассуждая сама с собой:

— Кажется, я терпела; но этот поступок...

— Он, верно, боялся слез? — заметил старичок.

— Ах, боже мой! да что я за дура? неужели я стала бы плакать, если его повезли бы учиться! Я давно просила его позаботиться о нем. А тут вдруг, как преступника, засадили в комнату и ни с кем не дали проститься — увезли.

— Круто поступил! — печально сказал старичок.

— Не круто... нет... это просто жестоко! — воскликнула Настасья Андреевна и, как бы испугавшись своих слов, огляделась кругом. Но, встретив сухую фигуру Селивестра Федорыча, она видимо обрадовалась и продолжала, не понижая голоса: — Это всё вы, вы виноваты: вам только бы сидеть у себя да нежничать с вашей женой!

Учитель разгорячился от несправедливых упреков Настасьи Андреевны и с несвойственным жаром сказал:

— Помилуйте, Настасья Андреевна! я обязанность свою исполнял как следует: я занимался с ним ровно восемь часов в сутки, по десять предметов проходил каждый день. Слава богу, я знаю, как должно исполнять свой долг; у госпожи Ломаковой я пятерых приготовил в...

— Убирайтесь вы со своими Ломаковыми! Вы за Петрушей не смотрели, не смотрели! — кричала всё сильнее Настасья Андреевна.

Учитель обижался и ко всем обращался с вопросом: «Чем же я-то виноват?»

— Я бы вас дня не стала держать! вот как вы правы! — произнесла иронически Настасья Андреевна и вышла из залы, захлопнув с силою дверь.

— Что я такое сделал? — жалобно спросил Селивестр Федорыч, обращаясь к старичку, который отвечал ему:

— И, батюшка! полноте! не видите вы, что ли, как она огорчена? Всем поровну досталось от нее сегодня.

Учитель задумался, а его жена не спускала глаз со своего мужа; ее била лихорадка, и слезы текли по щекам.

— Не плачьте! — с участием шепнула Аня, подойдя к жене учителя, которой, казалось, только недоставало этого, чтоб разрыдаться.

— Это, это что? — спросил учитель, глядя с удивлением на свою жену.

— Очень просто: ей больно, что на вас рассердилась Настасья Андреевна,— отвечал старичок.

Но жена учителя уже не плакала и, сделав реверанс стулу, на котором сидела Настасья Андреевна, вышла первая из залы, а за ней и муж.

— Аня, пойдем погулять в сад: здесь что-то душно! — вставая со стула, сказал старичок.

Дедушка и внучка, оба грустные, пошли в сад. Усадив старичка в беседку, Аня пустилась бежать к мостику, но скоро остановилась и пошла лениво; мимоходом и как бы с досадою щипала листья с кустов и бросала на дорожку. Подойдя к молоденькой березе, у которой она недавно была с Петрушей, она остановилась перед ней и долго оставалась в раздумье. Потом, вынув из кармана перочинный ножичек, она вырезала число и год на дереве.

Долго она ходила по саду, как бы кого-то всё искала,— была у речки, пробовала кататься на лодке, и видно было, что ей неловко и грустно.

Она возвратилась в беседку и нашла старичка сладко спящим на скамейке. Сорвав огромную ветвь акации, она села возле него и стала обмахивать мух с лица спящего, пристально глядя ему в лицо. Мысли ее обратились к прошедшему — к той веселой и свободной жизни, какую она вела у доброго старичка: невольно родилось сравненье с теперешней жизнью. Она припоминала ту легкость на душе, когда, бывало, усевшись между двумя старичками под вечерок, она читала им романы, как потом она им разливала чай и как весело ей было ложиться спать. И когда дошла она до смерти бабушки, сердце у ней сжалось и вдруг пришла ей мысль: что, если и дедушка умрет, с кем она останется? Это так испугало Аню, что она разбудила старичка. Открыв глаза, он пугливо спросил:

— Что тебе, Аня, что?

— Ах, дедушка, мне скучно! — отвечала внучка.

— Что же мне делать, голубушка моя! — протирая глаза, ласково отвечал старичок.

— Не спите!

— Да ведь так только вздремнул.

И он сладко зевнул.

— Ну хотите, я принесу сюда шашки, и мы будем играть.

— Ты разве умеешь?

— Умею: недаром же я сижу всё возле вас, как вы играете с ним.

— Ну давай!

Аня побежала к дому и в аллее видела Настасью Андреевну, которая расхаживала скоро и поминутно подносила к глазам платок.

Под вечер Аня стала веселее, потому что целый день провела одна с дедушкой: всё было тихо, никто ее не бранил, никто на нее враждебно не глядел; она говорила, что ей приходило в голову, ела за столом, сколько ей хотелось, потому что Настасья Андреевна не сходила сверху со дня отъезда Петруши.

Аня, пользуясь этим, отобрала себе пробор, завила пукли и возилась с ними по нескольку часов в день. Стоя перед зеркалом, она напряженно рассматривала себя, будто совершенно постороннюю особу, и наконец решила, что она недурна собой, хоть и желала много перемен в своем лице. Во-первых, более бледности и таких огромных глаз, что верно б сама испугалась, если б желание вдруг исполнилось.

В несколько дней она как будто возмужала. Движения ее стали плавны, она не бегала по саду, а тихо расхаживала по дорожкам; даже ее мысли вращались на совершенно новых предметах.

В ожидании ужина усталая Аня после продолжительной прогулки отдыхала на диване в гостиной; у стола читал старичок газету. Дверь была открыта на террасу; но Ане было жарко: она откинула густые пукли от разгоревшихся своих щек, сняла пелеринку с своих пышных плеч и оставалась в полулежачей позе.

— Не закрыть ли дверь на террасу? — смотря на пылающие щеки своей внучки, спросил старичок.

— О нет! мне и так жарко; я далеко зашла, всё думая да думая, потом бегом бежала домой.

— Дурочка, о чем же это ты так думала?

— О Петруше! я ужасно рада, что его увезли отсюда.

— Чему же ты рада? — с удивлением спросил старичок.

— Да помилуйте! ну что ему было здесь-то делать, шалить?..

— Умно рассуждаете! — раздался голос: в дверях террасы стоял Федор Андреич.

Аня и старичок очень испугались неожиданного появления его и стали его расспрашивать, как он явился.

— Просто всего изломало меня от езды. Я вышел у лесу из коляски да и пришел пешком,— ласково пожимая руку у старичка, отвечал Федор Андреич, и, обратясь к Ане, он продолжал:— Что же вы не здороваетесь со мной? ведь мы давно не видались.

И он поцеловал ее в лоб и погладил по плечу.

— Уф! — упав на диван, произнес Федор Андреич и, проведя рукой по лбу, вдруг пугливо оглядел комнату и поспешно спросил:— А где сестра?

— Наверху-с! — отвечала Аня.

— Здорова?

— Кажется! — неутвердительно отвечала Аня.

Но Федор Андреич, не слушая ответа, обратился к старичку и, потирая руками, спросил:

— Ну а как вы без меня проводили время?

— Да вот, как видишь, скучали,— отвечал старичок, и говорил искренно, потому что без карт и партии шашек ему страшно длинны казались вечера.

— А вы? — обратясь к Ане, спросил Федор Андреич.

— Да вот играла со мной в шашки: ведь она умеет играть! — с гордостью сказал старичок.

— Хорошо, сыграем... сыграем...

И Федор Андреич с удивлением глядел на Аню и продолжал:

— Да что это вы как-то нарядны сегодня?

На Ане было ее будничное ситцевое платье с открытым лифом и рукавами; но несколько диких роз приколото было к корсажу. Пукли, падавшие на ее плечи, при слабом освещении, делали ее туалет очень роскошным.

Аня сконфузилась и поспешила накинуть на плечи пелеринку; закинув пукли назад, она спрятала их под гребенку. Всё это было делано необыкновенно быстро; но, срывая свой букет с лифа, она слабо вскрикнула, уколовши руку.

Федор Андреич с упреком сказал:

— К чему всё это вы измяли! Я только так заметил, вот вы и наказаны...

И, заслышав шаги в зале, он подмигнул старичку, прибавив шепотом: «Идет!»

Настасья Андреевна вошла в гостиную; брат поздоровался с ней и, подавая ей письмо, сказал:

— Петруша вам всем посылает поклон, а вам письмо.

Настасья Андреевна тут же, распечатав его, стала читать; но руки у ней задрожали, она стала щуриться и наконец быстро вышла из гостиной.

За ужином Федор Андреич поразил всех любезностью своей; он даже пожал руку учителю и его жене и отвечал поклоном на ее скорый реверанс. Лица у всех были веселы, кроме Настасьи Андреевны, которая после ужина объявила брату, что желает с ним переговорить.

— С большим удовольствием! — отвечал Федор Андреич; но его лицо противоречило словам.

Войдя в гостиную, Настасья Андреевна заперла дверь в залу, заглянула на террасу и, став посреди комнаты, молча глядела на брата, как бы не решаясь говорить. Но Федор Андреич не заметил этого и покуривал свою трубку, делая кружочки из дыму.

— Братец! — дрожащим, но полным упрека голосом начала Настасья Андреевна.

Федор Андреич поднял голову и равнодушно посмотрел на сестру, которая раскрыла рот, чтоб говорить, и вместо того залилась слезами. Может быть, с детства он не видал ее плачущею; но он спокойно продолжал гля-

деть на сестру. Прошла минута в молчании. Федор Андреич первый нарушил его, сказав:

— Вы еще долго будете плакать?

— Вы... вы жестоко поступили со мной! — всхлипывая, отвечала ему сестра.

— Это в чем?.. что увез шалуна?.. не дал ему проститься ни с кем? — насмешливо спрашивал Федор Андреич и строго продолжал: — Мне нужно было проучить его — это ему было наказанием.

— Наказывая виноватого, вы забыли, что оскорбляете...— раздражительно перебила его Настасья Андреевна.

— Полноте! что за оскорбление! — нахмурив брови, резким голосом заметил ей брат.

Настасья Андреевна замолчала и кротко спросила:

— Петруша приедет после экзамена?

— Нет! я его намерен проучить за его упрямство, и он до Рождества не будет дома. Он это знает.

Настасья Андреевна гордо подняла голову и твердым голосом сказала:

— Братец, так я поеду в город к нему!

— Не нужно-с! — сердито отвечал Федор Андреич.

— Я... я завтра поеду! — отчаянным голосом сказала Настасья Андреевна.

Глаза ее засверкали и встретились с не менее блестящими глазами брата. Они переглянулись, как бы измеряя силу друг друга.

— Вы можете делать, что вам угодно! — вставая, холодно сказал Федор Андреич.

— Я еду! — пробормотала едва внятно Настасья Андреевна.

И они разошлись по разным дверям. Настасья Андреевна, уходя в залу, оглянулась на своего брата, который мерными шагами вышел на террасу.

Глава VIII

ГРОЗА

Сборы к отъезду Настасьи Андреевны произвели большую суматоху в доме. Это был ее первый выезд из деревни с тех пор, как она родилась в ней. Сама она ходила как потерянная; ей было дико, что она пошла против воли Федора Андреича, которому с детства привыкла

повиноваться. Но любовь к приемышу так была сильна в ней, что она не побоялась прогневить брата, лишь бы только повидаться с Петрушей, благословить его на новую жизнь и дать ему наставление, как вести себя в ней.

Накануне отъезда Настасьи Андреевны Аня всю ночь трудилась над письмом к Петруше, которое посылалось тихонько с человеком, сопровождавшим Настасью Андреевну. Много труда стоило Ане изложить письменно все происшествия после его отъезда. Она раз восемь переписывала письмо и наконец, рассердясь, запечатала его своим колечком.

Ключи были оставлены Федору Андреичу, а он передал их Ане, которая и заняла роль хозяйки.

Отсутствие Настасьи Андреевны ни на кого не имело грустного впечатления; напротив, все были веселы за столом, даже жена учителя решилась говорить. Федор Андреич сам подчинился веселой молодой хозяйке, у которой были большие упущения по хозяйству; но детский испуг, вызвавший краску на щеки, без того уже розовые, и желание загладить предупредительностию ошибку — обезоруживали угрюмого хозяина и расправляли его нахмуренные брови.

Выдался день, что у Ани всё хозяйство шло наизворот,— Федор Андреич рассердился; хотя гнев его обрушился на повара, но Аня тихонько поплакала. Следы слез были открыты Федором Андреичем, и, вместо всяких упреков, он предложил ей ехать кататься.

Так как для живого характера Ани в деревне не было развлечений, то она с радостью приняла предложение и побежала одеваться.

Но туалет ее не был многосложен. Дорожного зимнего капора ей не хотелось надеть, а летней шляпки не было, и она, накинув белый кисейный вуаль на голову и взяв зонтик, сошла на крыльцо. Федор Андреич со старичком хлопотали около рысака, запряженного в длинные беговые дрожки.

— Вы не трусливы? — спросил Федор Андреич, садясь осторожно на дрожки и собирая вожжи.

— О нет! — гордо отвечала Аня.

— Помните, что ноги надо держать осторожнее, когда будем на гору въезжать.

— Я знаю-с,— садясь проворно, сказала Аня.

— Ну, пускай! — сказал Федор Андреич кучеру, дер-

жавшему под уздцы лошадь, которая быстро рванулась с места.

— Тс-тс! — произносил Федор Андреич, осаживая ее и заставляя идти шагом, пока раскрывали ворота.

Старичок с беспокойством следил за лошадью и, когда выехали из ворот, закричал:

— Аня, ноги, ноги! братец, осторожнее!

Аня весело кивала головой, как бы поддразнивая старичка, который долго оставался на крыльце, приложив руку к глазам.

Лошадь горячилась; но Аня была совершенно покойна, не потому, что была уверена в искусстве Федора Андреича, а скорее по детской беспечности и желанию чего-нибудь нового. Проезжая деревню, Аня радушно отвечала на низкие поклоны баб и мужиков, высыпавших смотреть на барина.

— Ну, куда хотите? — спросил Федор Андреич, выехав за околицу.

— В лес! ах, пожалуйста, свезите меня в лес! — отвечала Аня и несколько тише продолжала: — Мне говорили, что там много ягод!

— А кто это вам сказывал?

— Дуня!

— А-а-а!

Они ехали по узенькой дорожке, проложенной между золотистой рожью. Солнце начинало садиться и, яркими своими лучами рассыпаясь по чистому небу, манило в бесконечную даль, где чернелся лес, сквозь который, как зарево пожара, просвечивалось оно. Дорога была гладкая. Федор Андреич усилил бег лошади и спросил Аню:

— Не боитесь?

— Нисколько! напротив, очень весело.

— Если так, то держитесь крепче: я пущу лошадь во всю рысь.

Аня слегка обхватила Федора Андреича рукой, а другою уцепилась за подушку дрожек.

— Крепче, крепче держитесь! — твердил Федор Андреич и пустил лошадь.

Лицо его ожило; он с напряжением следил за лошадью, прищелкивал языком и, казалось, весь перешел в вожжи, которые держал, как ученый кучер.

Аня же, поджав свои ноги, держась за Федора Андреича и приложив свою голову к его плечу, звучно

смеялась и в то же время щурилась от быстроты мелькавших перед ней колосьев ржи.

Въехав в лес, Федор Андреич утишил бег лошади, повернул голову к Ане и, поцеловав ее в лоб, спросил:

— Ну что?

От неожиданной ласки Аня покачнулась назад; дрожки, наехав в ту минуту на кочку, подбросили ее, как мячик, кверху, и она очутилась на земле.

Страшный крик вырвался из груди Федора Андреича. Он бросил вожжи, соскочил с дрожек и кинулся к Ане, которая уже стояла на ногах и, дрожа всем телом, силилась улыбаться. Она не столько испугалась своего падения, сколько крика Федора Андреича и его бледности.

— Не ушиблись ли вы? — нетвердым голосом произнес Федор Андреич.

— Мне ничего! — пугливо отвечала Аня, очищая свое платье и собирая свои волосы, рассыпавшиеся при падении. Она стала искать гребенку свою, но собрала только мелкие куски и, держа их в руках, со слезами глядела на них.

Федор Андреич, заметив сломанную гребенку, рассердился:

— Вот ваши шалости, вот до чего они вас доводят! Ну что вы теперь будете делать с вашими волосами?

Аня поспешно разняла их на две косы и стала заплетать.

Федор Андреич молча ждал окончания, и когда Аня, забросив свои косы назад, взглянула на него, гнев уже исчез с его лица. Она робко сказала:

— Я вас рассердила?

— Признаюсь, вы хоть кого из себя выведете.

Тут только он хватился лошади; но ее не было видно.

— Боже мой! где она? чтоб не сломала себе ноги! — в отчаянии воскликнул он и чуть не бегом пустился, свистя пронзительно.

Невдалеке послышалось ржание. Федор Андреич пошел тише и свободно вздохнул. Аня первая открыла дрожки, которые, зацепясь колесом за молоденькое дерево, стояли боком, а лошадь спокойно щипала дубовые листья с отростков и, махая хвостом, отгоняла докучливых комаров, усевшихся у ней на спине.

Федор Андреич заботливо осмотрел лошадь и дрожки и, найдя, что всё было в целости, вывел лошадь на дорогу и сел на дрожки, сказав Ане:

— Извольте садиться; теперь уж некогда делать прогулки: пора домой.

И он посадил Аню вперед и, когда лошадь тронулась с места, прибавил:

— Не бойтесь: я тихо поеду; но всё-таки держитесь за меня, а то опять упадете!

— Я уж не упаду-с,— отвечала Аня, уклоняясь.

— Вздор! сидите смирно! — резко сказал Федор Андреич.

И он пустил лошадь маленькой рысью.

По лицу Ани можно было заключить, что ей не нравилась заботливость Федора Андреича; она кусала губы, вертелась и вдруг вскрикнула:

— Стойте, стойте!

Федор Андреич остановил лошадь и тревожно спросил:

— Что такое?

Аня соскочила с дрожек и, сказав: «Я забыла зонтик», пустилась бежать назад.

— Экая шалунья! — сердито сказал Федор Андреич и крикнул громко:— Назад! назад!

Аня остановилась и тихо пошла к дрожкам.

— Назад! — повторил Федор Андреич, и когда Аня подошла к нему, он спросил своим сердитым голосом, страшно хмуря брови: — Куда вы так бежали? а?

— Взять зонтик!

— И для такой дряни стоит бежать за версту?.. Садитесь! — повелительно прибавил Федор Андреич.

Аня села, и ей стало страшно одной в лесу с сердитым Федором Андреичем, у которого лицо никогда еще не казалось ей так угрюмо, а глаза так блестящи, как теперь. Сердце у ней застучало, и она готова была бежать от него.

— Держитесь крепче за меня! — отрывисто сказал Федор Андреич, давая свободу лошади; но Аня не решалась дотронуться до его руки.

— Что же вы боитесь! я не укушу! — раздражительно заметил Федор Андреич.

Подъезжая к дому, он насмешливо спросил:

— Ну что, съел я вас?

И когда старичок встретил их, Федор Андреич сказал:

— Ну трусиха же ваша внучка, чуть шеи не сломала.

— Господи! как? что? — тревожно воскликнул старичок, обращаясь к своей внучке, которая, поцеловав его крепко, отвечала:

— Ничего, я не ушиблась!

— Какая жара сегодня! — заметил Федор Андреич и, сев на крыльцо, вытер платком лицо, горевшее, как раскаленное железо.

Аня о чем-то задумалась и машинально следила за лошадью, которую кучер проваживал по двору.

— Уж не изволите ли вы сердиться? — спросил Федор Андреич, окинув Аню пристальным взглядом.

— Я устала,— ответила она и ушла.

— Ее надо почаще брать с собой... ужасная трусиха, да и моцион ей нужен! — провожая глазами Аню, заметил Федор Андреич.

— Странно! а на вид такая храбрая,— в недоумении отвечал старичок.— Спасибо,— с чувством прибавил он,— спасибо, что ты о ней заботишься, как родной отец.

— Разве я ей не родня? — обидчиво сказал Федор Андреич.

— Больше, чем родной! Но она девушка добрая: она оценит твое расположение к ней. Мы чувствуем всё, всё, что ты для нас делаешь.

И у старичка слезы дрожали на ресницах.

— Что это! как вам не стыдно! Я, слава богу, и чужих пригрел в своем доме. Вы увидите впоследствии мое расположение к вам. Я не люблю вполовину делать добро. Вы стары, а ей нужна опора.

— Я даю тебе право, или, лучше, ты его уже приобрел своими благородными поступками: устрой ее судьбу.

После этого разговора они пошли в гостиную и застали Аню в слезах, сидящую на ступеньке террасы.

Гнев охватил Федора Андреича; он заходил по террасе, бормоча: «Вот мило — плакать каждую минуту!» И потом требовал, чтоб она сказала причину.

— Я сломала гребенку и потеряла зонтик! — всхлипывая, отвечала Аня.

— И вы из таких пустяков плачете, как будто вас теснят здесь, а?

— Она глупенькая! — перебил старичок.

— Зачем же она не смеется, а чуть что-нибудь — хнычет? Знайте, сударыня! я вам в последний раз

говорю, что не терплю, когда в моем доме плачут. Слышите?

И Федор Андреич пошел в сад.

— Ну что ты его сердишь?— садясь к Ане, сказал старичок.

Внучка, положив ему голову на колени, продолжала плакать.

— Перестань, Аня; ну стоит ли о гребенке так плакать.

— Ах, дедушка, я совсем не о том плачу!

— Так о чем же?

— Я его боюсь.

— Чего же его бояться? что ты? он так нас любит.

— Не знаю; я его боюсь.

И она крепко прижалась к старичку и плакала; старичок, не зная, чем утешить ее, сказал:

— Посмотри-ка, Аня, какая бабочка красивая летит,— чудо!

Аня заплаканными глазами взглянула на порхавшую бабочку, долго следила за ней и наконец пустилась ее ловить.

Старичок свободно вздохнул и, улыбаясь, глядел на бегающую свою внучку, бормоча:

— Дитя еще; немудрено, что боится его.

После чаю Федор Андреич пожелал сыграть с Аней партию в шашки. Они уселись в гостиной.

— Ну-с, почем прикажете? — шутливым голосом спросил своего партнера Федор Андреич, расставляя свои шашки.

— На деньги я не хочу играть,— сухо отвечала Аня.

— Отчего?

— У меня их нет.

— Выиграете, так будут.

— Нет! я не хочу! — капризным голосом отвечала Аня и, перестав расставлять шашки, сложила руки.

Федор Андреич нахмурил брови.

— Нехорошо, нехорошо! — строгим голосом заметил Ане старичок, поставил за нее шашки и с несвойственною ему строгостью сказал:— Играй!

Аня не без удивления повиновалась старичку.

Игра длилась до ужина, и Аня осталась победительницей, выиграв несколько партий у Федора Андреича, который принес из кабинета двадцатипятирублевую бумажку и, подавая ей, сказал:

— Вот теперь вы можете не плакать о ваших потерях. Пошлите в город нарочного, чтоб он вам купил гребенку.

— Много! — заметил старичок.

— Надо же ей иметь свои деньги: она не дитя! — сердито сказал Федор Андреич и, обратясь к Ане, которая, покраснев, не брала денег, прибавил:— Возьмите же!

И он поспешно отошел от стола.

— Возьми скорее, а не то опять рассердится,— шепнул старичок, сунув в руки Ане бумажку.

К самому ужину приехала Настасья Андреевна. Она была не в духе. Усталость от дороги, холодная встреча брата, полное равнодушие его к Петруше, о котором она рассказывала,— всё обрушилось на Аню, которая, к довершению беды, имела неосторожность занять место Настасьи Андреевны за столом. Настасья Андреевна стала придираться к ней за разные мелочи и наговорила ей довольно колкостей. Аня, не видав ее давно, почувствовала более храбрости и оправдывалась очень смело. И когда кончился ужин, Настасья Андреевна подняла страшный шум. Брат положил конец, послав Аню спать, а Настасье Андреевне строго заметив:

— Если кто виноват в беспорядках в доме, так, я думаю, вы, потому что хорошая хозяйка не должна бросать всё, чтоб скакать к упрямому мальчишке.

Эти слова глубоко поразили Настасью Андреевну. Она всю жизнь свою посвятила хозяйству, гордилась титлом хорошей хозяйки и воображала, что никем не может быть заменима в доме брата. Федор Андреич подобными упреками довел ее до того, что она созналась в своем проступке и попросила у него прощенья.

Аня в то время, трепеща от страха и радости, читала письмо от Петруши, который также подробно писал ей о своем положении и молил ее при каждом случае писать к нему.

Переписка завязалась, потому что случаев было много пересылать письма. Беспрестанно ездили подводы в город за разными необходимостями, которых оказывалось очень много с тех пор, как Петруша жил в городе; узлы разных варений и солений отсылались к нему каждый раз заботливой хозяйкой.

Боясь Настасьи Андреевны и ее брата, Аня придумала следующую хитрость. Петруша должен был писать свои письма не только на имя дедушки, но даже всё письмо будто бы к нему, а уж она должна была пони-

мать, в чем дело. А так как дедушка был слаб зрением, и притом от слабости у него дрожала рука, то Аня предлагала свои услуги и писала под его диктовку, а чаще сочиняла всё письмо сама. Хитрость удалась: никто не подозревал, что Аня с Петрушей ведут переписку.

Игра в шашки с Федором Андреичем вменилась в обязанность Ане. Впрочем, скука выкупалась частыми выигрышами: у Ани накопилось до ста рублей — сумма огромная, на которую она не могла придумать, что бы купить.

Прогулки также повторялись почти каждый день, но были для Ани невыносимы, потому что ей приходилось быть одной с Федором Андреичем: Ане было неловко с ним говорить, а он сердился, что она ничем не довольна.

Раз, в назначенный час, дрожки стояли уже у крыльца, когда начали собираться тучи. Настасья Андреевна и старичок заметили Федору Андреичу, что ехать не совсем приятно: сейчас пойдет дождь. Но их замечание только рассердило его, и он ускорил свой отъезд, побранив Аню за медленность. Аня чуть не со слезами села на дрожки, потому что лицо Федора Андреича было мрачнее самой тучи, медленно расстилавшейся по небу. Душный перед грозой воздух давил грудь Ани. Они поехали молча.

Послышались вдали глухие удары грома. Аня сказала:

— Вы слышите? гром!

Федор Андреич, вместо всякого ответа, пустил лошадь во всю рысь. Он о чем-то всё думал и часто пугливо глядел на Аню, как будто дивился присутствию девушки, которая вызывала его из задумчивости каким-нибудь движением.

Стал накрапывать редкий, но крупный дождь. Аня опять нарушила молчание, заметив, что идет дождь.

Но ничто не заставляло Федора Андреича повернуть назад; он ехал всё прямо, как бы без всякой цели. Удары грома становились всё чаще и явственнее, а небо всё обложилось тучами, так что прежде времени совершенно стемнело. Молния быстро, как змея, взвилась по небу; лошадь приостановилась. Федор Андреич вздрогнул, а Аня слегка вскрикнула. Не успели они прийти в себя, испуганные молнией, как оглушительный раскат грома разразился над их головами. Лошадь рванулась

и помчалась. Аня обхватила за шею Федора Андреича и закрыла глаза.

Долго мчала лошадь Федора Андреича; он потерял фуражку; жесткие с проседью его волосы стояли дыбом, глаза страшно сверкали, а густые брови совершенно сдвинулись. Аня, вся вымоченная дождем, дрожала не столько от холоду, сколько от страху. Федор Андреич остановился в первой деревне, чтоб переждать дождь и дать ей обсушиться. Они вошли в пустую избу, только что выстроенную. Аня должна была, за неимением другого платья и белья, надеть русскую рубашку и сарафан, принесенные хозяином избы, и превратилась в красивую крестьянку.

Заботы Федора Андреича об Ане исполнялись как бы с сердцем, и малейшее уклонение от них с ее стороны раздражало его.

На дворе стояла такая буря и темнота, что не было возможности пуститься в дорогу. Федор Андреич после чаю приказал принести сена и сам приготовил постель для Ани. Чистое полотенце в головах служило вместо подушек. Аня с радостью бросилась на сено, потому что ей так было тяжело и страшно.

Ветер выл на дворе, и дождь стучал в окна мрачной избы, освещенной одной сальной свечой, перед которой сидел Федор Андреич. Лицо его было красно, против обыкновения, глаза сверкали и были устремлены постоянно на Аню, которая притворилась спящею.

Настала глубокая ночь. Федор Андреич только тогда изменил свое положение и, встав со скамьи, заходил по избе,— то подходил к окну и смотрел в него, нетерпеливо барабаня по стеклу, то подходил к Ане и, наклонясь, глядел на нее, верно желая знать, спит ли она. Тогда у бедной Ани замирало сердце, и дыхание останавливалось.

Наконец он потушил свечу. Аня чуть не вскрикнула: пока она видела знакомое лицо, ей не так было страшно, но тут ей показалось, что она лежит в могиле. От малейшего шелеста волосы дыбом подымались у ней, и холодный пот выступал на лбу. Она напрягала зрение, чтоб различить что-нибудь в темноте. Но страх ее так увеличился, что ей стали казаться какие-то видения. Она творила молитву, и вдруг ей показалось, что она уже чувствует чье-то дыханье. Аня дико вскрикнула.

— Что! что такое? — спросил Федор Андреич.

— Мне страшно! огня зажгите, огня! — говорила Аня, смешивая слова с рыданиями.

— Господи! что это за детство! не даст заснуть! где вы?

И Федор Андреич приблизился к ней и, взяв ее за руку, сказал:

— Ну чего вы испугались?

— Зажгите огня: мне страшно! — кричала Аня.

Огонь был высечен, и у Ани как бы отлегло на сердце. Федор Андреич, обводя свечой избу и остановясь на бледной и дрожащей Ане, сидящей в углу на сене, сердито сказал:

— Ну как вам не стыдно! точно дитя!

И, поставив свечу на стол, он бросился на скамью.

Аня только тогда задремала, как начало рассветать. Проснувшись утром, она прямо встретила глаза Федора Андреича, стоявшего перед ней; он сказал:

— Насилу-то проснулись! я вас будил. Вставайте: пора ехать домой.

Трудно описать тревогу, какую наделало отсутствие Федора Андреича и Ани. Всю ночь старичок и Настасья Андреевна не ложились спать, ожидая их каждую минуту.

При свидании с дедушкой Аня так обрадовалась, что долго душила его своими поцелуями. Федор Андреич остался очень недоволен беспокойством домашних об их отсутствии и сказал своей сестре:

— Вы воображали, что я должен скакать в бурю и рисковать сломать себе шею, чтоб поспешить к вашему ужину. Разве не могли без меня лечь спать?

Весь этот день он по-прежнему провел у себя в кабинете.

Глава IX

БАЛ

С переселением в город для Петруши открылась новая жизнь, не лишенная горя. Федор Андреич дал ему на содержание довольно незначительную сумму. Самолюбие не позволяло ему отставать от товарищей: скоро он наделал долгов; нужно было платить или задолжить вдвое. Петруша решился на последнее, хотя знал очень хорошо строгость Федора Андреича; но надежда на любовь

Настасьи Андреевны немного успокоивала его. Однако, как ни была хороша и разнообразна жизнь между товарищами, Петруша скучал по деревенской жизни, по Настасье Андреевне, которую очень любил. Он также желал видеть Аню, которая своими письмами несколько напоминала ему его деревенскую жизнь.

Незадолго перед праздниками посылали нарочного в город, и Аня спешила окончить письмо к Петруше. Она сидела возле старичка, который дремал, и очень проворно скрыпела пером. Она описывала свое нетерпение видеть его, разные сцены свои с Настасьей Андреевной, хвалила ее брата, рассказывая, как он за нее заступается иногда.

Она так была углублена в свое занятие, что не обратила внимания на замолкнувшие в зале шаги Настасьи Андреевны, которая, подкравшись сзади, через ее плечо схватила письмо.

Аня вскрикнула и, закрыв лицо руками, склонилась к столу.

Старичок вздрогнул и с удивлением смотрел на радостное лицо Настасьи Андреевны, которая, потрясая письмо в воздухе, сказала:

— Наконец я имею улику всем вашим козням! А, вы изволите вести переписку, отвлекать мальчика от наук, чтоб на него сердились, чтоб его наказывали, жаловаться на меня!

Лицо у ней покрылось яркой краской, и она с минуту читала письмо.

— Отлично! Прекрасно! вас обижают здесь... Вы поселяете раздор во всем доме. Но теперь всё выведено наружу, довольно вы хитрили, и вам придется снова нищенствовать, как прежде. Вам здесь более нет места!

И она вышла из залы.

Аня и старичок, как оглушенные громом, слушали Настасью Андреевну, и, когда она вышла, Аня с ужасом воскликнула:

— Господи, что нам будет!

— Чего ты испугалась! — весь дрожа, сказал старичок.— Ну есть ли правда в том, что нагородила глупая и дерзкая женщина?

— Неужели она в самом деле подозревает, что мы ссорим Петрушу с ним?

И Аня горько зарыдала.

— Полно! она погорячилась!.. Какие и против кого мы делали козни?

Как ни успокоивал старичок свою внучку, но ужас объял его при мысли, что если они должны будут оставить дом: куда ему деваться с внучкой?

В то же самое время в кабинете хозяина происходила не менее неприятная сцена. Торжественно войдя в комнату, Настасья Андреевна подала письмо своему брату, сидевшему за счетами, и радостно сказала:

— Наконец я нашла случай уличить и вывести всё наружу. Вот где источник всех неприятностей в доме... Читайте, и вы увидите, как опутывают неопытного мальчика, чтоб навлекать на него ваш гнев и самим выигрывать в ваших глазах. Я давно подозревала переписку старика с Петрушей. Я боялась за него.

Федор Андреич пробегал письмо; брови его нахмурились страшно; смяв письмо, он бросил его на пол, а сам, вскочив со стула, заходил по комнате.

В первый раз Настасья Андреевна обрадовалась признакам гнева в своем брате и продолжала тем же упрекающим голосом:

— Я вам всегда говорила, что Петруша не виноват. Вот как вам платят за вашу хлеб-соль. Они поселяют раздоры между...

— Какие раздоры? кто поселяет? — неожиданно остановясь перед Настасьей Андреевной, грозно перебил брат.

— Братец! — пугливо пробормотала Настасья Андреевна, попятясь назад; но брат наступал с гневом и повторял:

— Говорите, кто... кто поселяет раздор, кто??

— Я ничего...— оторопев и запинаясь, бормотала Настасья Андреевна.

— Для чего же вы пришли сюда?.. для чего вы всё это наговорили?? какие раздоры?? — и несколько тише он прибавил:— Насчет глупого письма прошу не беспокоиться: я его не возьму к празднику.

— Боже мой, он опять виноват остался! — с ужасом воскликнула Настасья Андреевна.

И, полная гнева, она гордо сказала:

— Я вижу, братец, что вы опутаны кругом хитрой и лицемерной девчонкой.

— Замолчите!! — так сильно воскликнул Федор Андреич, что рамы задрожали в комнате.

И Настасья Андреевна кинулась в испуге к двери, на которую указал ей брат; но он остановил ее и с убийственной жестокостью сказал:

— Сохрани вас боже, если вы осмелитесь намекнуть ей о ваших глупых подозрениях.

Настасья Андреевна сделала умоляющий жест и, встретив сверкающие гневом глаза брата, с рыданием вышла из комнаты.

Аня и старичок немало были поражены молчанием с обеих сторон о письме. Одно их поразило — это отсутствие за столом Настасьи Андреевны и полное равнодушие ее брата, как будто они сговорились. Он был очень любезен с Аней и со старичком, припоминал свое житье в Москве и заключил следующими словами, обращенными к старичку:

— Я никогда не забуду всех одолжений ваших в то время. Они спасли меня, может быть, от многих несчастий. И, пока я буду жив, дом мой будет вашим.

Старичок до слез был тронут благодарностию Федора Андреича.

И когда дедушка и внучка остались одни, первый наставительно сказал:

— Нет, нам следует всё вытерпеть от нее. Бог с ней, он хозяин дома и не думает так об нас: зачем же нам подымать ссору между братом и сестрой...

Оставался один день до праздника, а за Петрушей не посылали. Из намеков Настасьи Андреевны Аня могла догадаться, что ее письмо тому причиной. Это ее ужасно опечалило: она так желала видеть Петрушу; к тому же посреди стариков Ане было очень скучно.

В первый день праздника — то было Рождество,— возвратясь после обедни, все сидели за чаем в глубоком молчании. Явился деревенский священник поздравить с праздником. Он отслужил молебен и с удивлением спросил:

— А где Петрушенька ваш? Я что-то его не вижу?

Настасья Андреевна с упреком посмотрела на брата, который покойно отвечал:

— В городе, батюшка!

— Как... в такой великий праздник и не в доме своих родных?! ведь вы его сыном своим признали! — воскликнул священник.

— Он наказан! — отвечал недовольным голосом Федор Андреич.

— Братец! простите его! — умоляющим голосом произнесла Настасья Андреевна и, обратясь к священнику, в отчаянии прибавила: — Хоть вы, батюшка, попросите за него.

Старичок и Аня находились в сильном волнении.

— Что за такой превеликий грех, Федор Андреич, мог сделать он?

— Ослушание, батюшка!

— Братец, в чем же он вас ослушался? — с упреком заметила Настасья Андреевна и прибавила, глядя на Аню: — Следовало бы наказать тех, кто не стыдится ссорить...

— Побойтесь бога! — воскликнул обиженно старичок.

И, с несвойственной ему горячностью, схватив Аню за руку и подведя к побледневшему Федору Андреичу, он сказал:

— Встань перед ним на колени и проси за того, за кого тебя оклеветали!

Аня, рыдая, упала на колени перед Федором Андреичем, который сердито поднял ее и с презрением произнес:

— Стыдитесь... разве вы способны!

Старичок, указывая на образ, торжественно произнес:

— Пусть он будет свидетелем, что ты не поселяла раздора.

Голос у старичка прервался, и он заплакал. Аня бросилась в объятия к нему и тоже зарыдала.

— Полноте, полноте! — повторял Федор Андреич, разнимая Аню и старичка.

И, поцеловав того и другую, он медленно произнес, смотря на свою сестру:

— Однажды навсегда требую от всех присутствующих здесь — ни одним словом, ни взглядом не обижать тех, кого я призрел в своем доме.

— Аминь! — заключил священник.

— В доказательство, что на меня никто не имеет влияния, извольте послать лошадей в город!

Настасья Андреевна от радости оторопела; Аня же с увлечением кинулась к Федору Андреичу и с жаром поцеловала его, после того сама сконфузилась и стояла, потупив глаза.

— В такой великий день помиритесь все,— сказал священник, смотря на Настасью Андреевну, которая подошла мерными шагами к брату и сказала:

— Простите меня, братец.

И они поцеловались.

— Простите нас, если мы невольно огорчили вас,— сказал старичок, подходя к Настасье Андреевне.

Все перецеловались, исключая учителя, стоявшего в продолжение всей сцены прижавшись в углу, и его жены, обильно проливавшей слезы.

— Да простит вас всех господь, и да снизойдет на ваши главы мир и тишина! — так заключил священник семейную сцену, после чего все свободнее вздохнули.

Приезд Петруши в деревню произвел всеобщую радость; даже Федор Андреич довольно ласково его принял, расспрашивал о его занятиях и жизни. Петруша вырос и возмужал в несколько месяцев, как его не видала Аня; он ей уже казался совершенным молодым человеком, а не тем Петрушей, с которым она любила бегать по саду и даже ссориться для разнообразия. Она вспомнила разговор на лодке, как Петруша доказывал, что, когда он поживет в городе, она к нему изменится: да, он был прав! Но Петруша так был рад возвращению своему в деревню, что Аня осталась для него всё той же Аней, и, только боясь гнева Настасьи Андреевны, он старался украдкой говорить с ней.

Накануне Нового года приехали гости к Петруше: Федя, бывший товарищ его детства, и Танечка, воспитанница Фединой матери.

После длинного и скучного обеда, в отсутствие Федора Андреича, удалившегося отдыхать в свой кабинет, Петруша упросил Настасью Андреевну сыграть вальс, и под тихие звуки, чтоб не разбудить хозяина, две юные пары закружились по зале. Старичок, Селивестр Федорыч и его жена были зрителями.

Петруша, кружась с Аней, тихо разговаривал.

Но вдруг танцы прекратились. В дверях стоял Федор Андреич и глядел на танцующих.

— Продолжайте, продолжайте! — сказал он довольно весело и сел на стул.

Заслышав голос брата, Настасья Андреевна прекратила игру: танцующие, начавшие было вновь кружиться, тотчас же остановились.

— Зачем остановилась? играй,— заметил ей брат и, взяв Танечку от Феди, сделал круг вальса.

Всё остолбенело от удивления и не верило глазам. И когда он посадил Танечку на место, отвесив ей низкий поклон, старичок засмеялся.

— Чего вы смеетесь? вы, кажется, в самом деле считаете меня стариком. Сыграйте-ка, сестрица, мазурку... знаете, старинную: по той мне легче.

И, взяв Аню, он пустился выплясывать со всеми старинными ухватками, становился на колени, вывертывался из ее рук.

Со всех сторон сыпались восклицания удивления.

— Живей, живей! — топая ногами и каблуками и носясь по зале, твердил Федор Андреич.

Угрюмое лицо его мало смягчилось, он скорее был неприятен в своей ненатуральной веселости. При окончании фигуры он приподнял Аню за талию и, прокружив ее в воздухе, посадил на стул, а сам, бросившись возле и вытирая платком лицо, сказал задыхаясь:

— Уф, устал! — и, обратясь к учителю, повелительным голосом прибавил: — Ну что же, берите даму.

Селивестр Федорыч засмеялся и искал глазами, где бы найти даму; но две дамы имели уже кавалеров, оставалась одна его жена.

— Что же, начинайте! — повторил Федор Андреич шутливо.— Берите вашу жену.

— Ну а я уж один потанцую,— смеясь, сказал старичок, и, выступив на средину залы и приподымая свой халат, как дамы платье, он неповоротливо вертелся перед сухой фигурой учителя, тащившего нехотя за собой свою жену, которая, конфузясь, пятилась назад.

Смех раздался в зале. Старичок притряхивал плечами и прищелкивал языком. Федор Андреич приказал зажечь старинные канделябры, стоявшие вечно в гостиной, на ломберных столах; свечи в них с незапамятных времен не зажигались и только каждый год подвергались омовению. Мрачная зала осветилась и наполнилась музыкой, смешанной с говором, шарканьем и смехом. Вся дворня сбежалась в переднюю и глядела с удивлением на господ и залу, в которой, с тех пор как она была выстроена, в первый раз раздались смех, говор и танцы. Федор Андреич приказал даже подать какое-нибудь угощение для танцующих, а для себя, старичка и учителя — вина, и, расхаживая по зале, угощал всех. Если Настасья Андреевна уставала играть, он сочинял в антрактах разные игры.

Пробило двенадцать часов: начались поздравления и целования. Федор Андреич со всеми перецеловался, даже с учителем и его женой.

Ужин был шумный и поздно встали из-за стола.

Прощаясь с Аней, Федор Андреич спросил:

— Вам было весело сегодня?

— Да-с; благодарю вас! — отвечала Аня и с жаром поцеловала его в щеку, а он, взяв ее голову в обе руки, осыпал поцелуями. Петруша стоял возле, ожидая очереди проститься с Федором Андреичем, который и его удостоил поцелуем.

Первый день, с тех пор как Аня поселилась в доме Федора Андреича, она ложилась спать такой счастливой и веселой, что долго не могла заснуть от волненья.

На другое утро мрачность вступила в свои права, и Федор Андреич по-прежнему хмурил брови.

Глава X

ДОЛГ.— ПРОГУЛКА

Праздники прошли быстро. Петруша должен был ехать в город. При прощанье он объявил о своем долге Настасье Андреевне, у которой ужас и гнев были первым порывом; но мольбы и отчаяние Петруши смягчили ее, и она обещала ходатайствовать за него у своего брата, потому что у ней самой в руках не было ни гроша.

Прощанье Петруши с Аней было трогательно: они плакали оба, клялись думать каждую минуту друг о друге и расстались до следующего праздника.

Уныние настало в доме после отъезда Петруши. Аня часто плакала.

Настасья Андреевна, как ни сбиралась объявить тайну Петруши своему брату, не находила удобной минуты; но, получив письмо от Петруши, где он просил ее поспешить высылкою денег, она решилась сказать всё брату, несмотря на его недовольное лицо в тот вечер.

Он играл с Аней в шашки, старичок следил за игрой, а Настасья Андреевна вязала чулок.

— Братец...— начала она нетвердым голосом.— Петруша, уезжая, просил меня...

— О чем? — не отрывая глаз от игры, спросил ее брат.

Настасья Андреевна с минуту помолчала и наконец сказала:

— Просить у вас прощенья.

— В чем? — и, взяв шашку, он прибавил, обращаясь к Ане: — Прозевали!

— Он очень, очень раскаивается и дал мне слово никогда этого не делать.

— Опять!.. Ну, вы просто рассеянно играете! — хмурясь, сказал Федор Андреич Ане и продолжал: — В чем же он раскаивался?

— Он не виноват: приятели...

— Верно, уж долги появились? — перебил сестру Федор Андреич.

— Не сердитесь, братец; я его жестоко бранила.

— Хорошо, хорошо! — недоверчиво произнес Федор Андреич и спросил: — А сколько?

Настасья Андреевна нетвердым голосом произнесла:

— Триста!

Аня и старичок с ужасом переглянулись.

— Гм... каково?.. У меня нет денег платить за него долги, и так он дорого стоит,— покойно и решительно отвечал Федор Андреич и, обратясь к Ане, прибавил: — Ну-с, о чем вы думаете?

Аня поспешно подвинула шашку.

— Братец, он дал расписку, и срок кончился,— тоскливо заметила Настасья Андреевна после некоторого молчания.

— Мне-то что за дело! вольно мальчишке верить.

— Это будет пятно на его чести.

— Кто велел ему ее пятнать!

Холодность, с какою говорил Федор Андреич, отняла всякую надежду у сестры; она пришла в отчаяние.

— Братец, я прошу эти деньги дать для меня; неужели вы мне откажете?

— Откажу, потому что вы их просите на баловство и поощрение мотовства...

И, горячась, он продолжал:

— Да скажите мне, пожалуйста, вы просили у нашей покойной мачехи для меня денег? давала она мне столько, как я ему даю на содержание, а?

— Он молод и в первый раз...— заметил старичок.

— Я тоже был молод, однако никому не давал расписок.

— Может быть, дурные товарищи,— опять сказал старичок.

— И у меня были тоже товарищи... Впрочем, напрасно его оправдывать... Мне всё равно... Я сказал ему, что

не буду за него платить долгов, когда привез его в город, и не заплачу.

И Федор Андреич углубился в игру. Никто его не смел более беспокоить, и партия длилась в глубочайшем молчании. Аня проиграла.

— Желаете отыграться? — спросил Федор Андреич.

— Извольте! только с условием! — весело отвечала Аня.

Она давно заметила, что ее веселое расположение часто смягчало суровость его, и теперь не ошиблась: он довольно ласково отвечал:

— Говорите, какое?

— Я скажу, если выиграю.

— Что за тайны! говорите прежде.

— Не скажу.

— А я не согласен играть.

— Я ожидала этого! — с тяжелым вздохом сказала Аня и привстала со стула.

— Кажется, вы изволили надуть губы? Садитесь.

Партия долго тянулась. Аня обдумывала каждый шаг, но перевес всё-таки был на стороне Федора Андреича, который подшучивал над горячностью Ани.

Но вдруг Федор Андреич сделал такую ошибку, что старичок с жаром воскликнул:

— Да что вы сделали?

— Эх! скажите, какая рассеянность! — с досадою сказал Федор Андреич.

— Да как это вы? что с вами сделалось! как вы этого не видали? — приставал к нему старичок.

Он наконец недовольным голосом сказал:

— Ну что вы заахали! разве нельзя ошибиться?

— Выиграла! — с силою ударив шашкой по доске, воскликнула Аня и, забив в ладоши, стала прыгать по комнате.

Настасья Андреевна и старичок не без удивления посмотрели на развязность Ани, до сих пор вечно застенчивой при Федоре Андреиче. А он был углублен в игру, как бы обдумывая проигранную им партию.

— Ну-с, извольте сказать ваше условие,— сказал он.

— Я завтра его скажу,— небрежно отвечала Аня.

— Как завтра? — с удивлением спросил Федор Андреич.

— Очень просто — завтра!

И она присела перед ним.

— Хитра! надула старого филина! — заметил Федор Андреич, подмигнув старичку.

Настасья Андреевна так улыбнулась язвительно, что Аня закусила губу.

На другой день утром, за чаем, Федор Андреич встретил Аню вопросом:

— Ну-с, какое условие?

— За обедом скажу,— отвечала Аня, здороваясь с ним.

— Вы, кажется, подсмеиваетесь надо мной,— хмурясь, заметил Федор Андреич и быстро вышел из залы.

— Как мило! и что за дерзость так шутить со старшими! — язвительно сказала Настасья Андреевна.— Вы его сердите своими глупостями и лишаете других возможности говорить о деле.

Этот упрек подействовал на Аню: она догадалась, что Настасья Андреевна желала опять говорить с братом о Петруше. Извинясь перед ней, она попросила позволения отнести чай Федору Андреичу в кабинет. Она важно вошла к нему и, с недовольным видом поставив чашку на стол, пошла назад.

— Подождите; куда торопитесь? — сказал Федор Андреич.

Аня, остановясь посреди комнаты, повернула к нему одну только голову.

— Подойдите!

Аня медленно подошла.

— Вы сами догадались принести мне чай?

Аня покачала головой.

— А вы разве сами не могли догадаться?

— Если бы мне не приказали Настасья Андреевна и дедушка, я к вам ни за что бы не пошла.

Федор Андреич улыбнулся такой смелой откровенности. Аня никогда еще так фамильярно с ним не обходилась.

— Отчего? — спросил он.

— Я сердита на вас! — отвечала она.

Федор Андреич засмеялся; смех его был такой редкостью, что Аня испугалась; храбрость ее исчезла, и она вновь чувствовала неловкость перед ним.

— А за что вы на меня сердитесь?

Аня, с минуту помолчав, отвечала:

— За то, что вы проиграли и стараетесь показать, что рассердились на меня, чтоб не заплатить своего проигрыша.

— С чего вы взяли? вы, право, забавны! Извольте же говорить ваше условие, и я его исполню, если только оно возможно.

— О, конечно, оно очень возможно! — радостно воскликнула Аня и нерешительно прибавила: — Заплатите долг за Петрушу.

Федор Андреич вскочил с своего места; лицо его запылало гневом, и, топнув ногой, он грозно сказал:

— Извольте идти; я таких глупостей не намерен исполнять.

Аня так испугалась в первую минуту, что ноги у ней задрожали; но вдруг она гордо сказала:

— Я вас потому прошу об этом, чтоб опять не подумали, что мы с дедушкой строим козни.

Федор Андреич посмотрел пристально на Аню, молча подошел к бюро, вынул оттуда деньги, отсчитал триста рублей и, подавая их Ане, сердитым голосом сказал:

— Извольте передать от меня Настасье Андреевне.

Аня, полная гордости, вручила деньги Настасье Андреевне, которая ужасно обрадовалась им. Они тотчас же были посланы к Петруше.

Этот случай так ободрил Аню, что она совершенно изменила свое обращение с Федором Андреичем; особенно замечала она свое влияние, если не было Настасьи Андреевны в комнате. Тогда она капризничала и выпрашивала всё, что ей хотелось. Настасья Андреевна с ужасом стала замечать перемену в Ане, которая уже не слушалась ее более. Она по ночам читала романы, чесала голову, как ей хотелось, не надевала более передников. Впрочем, Ане уже было семнадцать лет.

Иногда Аня оставалась одна с угрюмым Федором Андреичем; тогда она походила на маленькую болонку, запертую в одну клетку со львом. Чувствуя инстинктивно громадную силу зверя, собачонка, однако ж, лает на него, теребит его за гриву, вызывая на бой, а потом от одного его сердитого взгляда прячется, дрожа, в угол и визжит. Так-то и Аня. Иногда она трепетала при одном взгляде Федора Андреича, а то вдруг смело противоречила ему.

Петруша и Аня продолжали вести переписку, благодаря деньгам, которые постоянно проигрывал ей Федор Андреич. К тому ж все в доме любили Аню и в тяжкие минуты прибегали под защиту ее. Это льстило Ане, и она употребляла всё свое искусство, чтоб поддержать свою

роль в их глазах. Следующего рода вещи стали повторяться. Любимая чашка Федора Андреича была разбита одним из лакеев. Никто не знал, как сказать о том ему, и ждали бури в доме. И точно, когда Настасья Андреевна подала своему брату чай не в его любимой чашке, он грозно спросил:

— Что это значит?

Молчание было ему ответом; бледность лакея, стоявшего в углу залы, изобличила виновного.

— Кто разбил чашку? кто? — привставая со стула и всё более и более горячась, говорил Федор Андреич.

— Это я виновата! — вдруг, встав со стула, сказала Аня.

Ужас и удивление изобразились на лицах присутствующих; ждали грозы. Но Федор Андреич проговорил что-то сквозь зубы, сел на свое место и стал пить чай из поданной ему чашки.

Настасья Андреевна, видя такое влияние Ани над своим братом, страшно досадовала, но в душе не могла не сознаться, что оно было благодетельно для всех в доме, тем более что характер брата стал еще раздражительнее и придирчивее и одна Аня своей болтовней и звучным смехом развлекала его и имела доступ к нему в самые страшные минуты его гнева.

Ане льстило ее влияние, и она заметно изменилась в обращении со всеми; ей уже казалось, что она не из милости живет в доме, а по какому-то праву.

Петруша приехал на Пасху. Аня встретила своего товарища игр холодно. Ее гордая осанка, шелковое платье, покровительный тон так поразили Петрушу, что он не верил, что это та самая бедная девочка, с которой он бегал по саду, которая, провожая его, горько плакала, прося его защиты. Петруша не знал даже, как и говорить с ней; если он ее по-старому называл «Аня», она гордо выпрямлялась и, с недоумением поглядев на него, не удостоивала даже ответом.

Настасья Андреевна, смотря на Аню враждебными глазами, насказала о ней Петруше ужасов. Петруша глубоко был огорчен, тем более что Аня в своей надменности гораздо сильнее нравилась ему, чем прежде, в своей покорности. Он уехал в отчаянии, оставив письмо Ане, полное упреков, заслуженных и незаслуженных.

При чтении письма Аню бросало то в жар, то в холод; когда она дочла до того места, где Петруша, по наущенью

Настасьи Андреевны, упрекал ее в намерении выжить всех из дому, она вскрикнула пугливо, потом с недоумением разорвала письмо на мелкие кусочки и долго плакала.

В течение нескольких дней потом она была грустна, услуживала Настасье Андреевне, которая по своей жесткости не могла смириться, а только вновь вызывала Аню на бой.

В доказательство, что все ее желания выполняются, Аня пожелала учиться ездить верхом. Седло было выписано из Москвы, лошадь куплена, и Аня, торжествуя, разъезжала всякий день на прогулки в сопровождении Федора Андреича.

Трудно передать всю мелочность войны, какую вели две женщины в этом доме. И каждая удача как с одной, так и с другой стороны еще более разжигала их вражду.

Настасья Андреевна из экономии требовала удаления учителя, который, пользуясь молчанием хозяина, каждый день сходил к столу и к чаю. Федор Андреич согласился. Аня довела распоряжения Настасьи Андреевны до самой последней степени и почти накануне отъезда учителя упросила Федора Андреича оставить его, под предлогом, будто она желает брать у него уроки. Учитель был оставлен.

Настасья Андреевна так была уязвлена этим поступком Ани, что грозилась ей оставить дом брата. Может быть, она и исполнила бы свою угрозу, но мысль о будущности Петруши заставляла ее принести не первую жертву.

На каникулы явился Петруша. Он похудел, был бледен и избегал Ани, что ужасно оскорбляло ее, тем более что он очень нравился Ане с тех пор, как румянец исчез с его щек и вместо детской веселости в глазах появилась грусть.

Ане было жаль его, и в то же время ей не хотелось первой начать объяснение. Она холодность свою заменила кокетством, но таким тонким, что нужно было дивиться ее искусству, которое можно было бы приобрести в большой практике, а не в деревне, где, кроме старика дедушки да угрюмого Федора Андреича, она никого не видала. Петруша стал менее дичиться своей подруги детства.

Раз, во время послеобеденного отдыха Федора Андреича, Аня пожелала ехать верхом и предложила Петруше

сопровождать ее. Лошади были оседланы, по приказанию Ани, и они поскакали в лес. Аня была довольна случаем показать свою ловкость и смелость. Она скакала не переводя духу; канавки, плетни не останавливали ее. Петруша молча следовал за ней.

— Знаете ли, что вы очень похожи на Федора Андреича: он, решительно как и вы, всё молчит, когда катается со мной? — сказала Аня, останавливая свою лошадь всю в пене.

— Вы знаете очень хорошо, почему я молчу,— с упреком отвечал Петруша.

— Оттого, что вам наговорила на меня Настасья Андреевна? — перебила его Аня.

— Ах! пожалуйста, не говорите этого. Когда она была виновата против вас, я разве оправдывал ее? — с горячностью возразил Петруша.

Аня вспыхнула, ударила хлыстом лошадь и помчалась; она скакала долго и очень была поражена, не видя Петруши за собой. Она вернулась назад. Петруша ехал шагом и о чем-то думал. Аня подскакала к нему и с запальчивостью сказала:

— Почему вы отстаете!

— Лошадь очень устала, и я боюсь ее замучить: она не моя.

Аня сконфузилась и предложила, доехав до лесу, привязать лошадей, чтоб дать им отдых.

Когда подпруги были ослаблены и лошади привязаны к дереву, Аня сказала:

— Петруша, пойдем сбирать васильки для Селивестра Федорыча, как мы, помнишь, прежде делали, чтоб его задобрить.

Петруша очень был поражен такой переменой; он глядел с удивлением на Аню, которая, взяв его за руку и потупив глаза, продолжала:

— Петруша, ты на меня сердишься?

— Нет, Аня; но ты сама очень изменилась.

— Ах, Петруша, что же мне делать? я готова всё сделать, чтоб только она на меня так не смотрела! Я всё знаю: она наговорила на меня, будто я...

— Аня, я сам вижу! — с упреком перебил ее Петруша.

— Ну, скажи мне, что я должна делать?

— Не знаю,— только не быть такой.

Равнодушие, с которым говорил Петруша, сначала так рассердило Аню, что она заплакала; потом она вытерла слезы и, гордо подняв голову, торжественно сказала:

— Петруша... дашь ли ты мне слово защищать меня и моего дедушку: тогда я ничего не буду делать против нее.

— Ты помнишь, Аня, как я всегда за вас заступался; я тогда был еще мальчишка.

— Если так, Петруша, забудь всё, не сердись на меня более; прости же меня!..

Аня остановилась.

— Ах, Аня... как мне больно было, как ты вздумала, чтоб я тебе говорил «вы»!— с жаром подхватил Петруша.

И, усевшись на траву, они стали передавать друг другу все страдания свои. Оба поплакали; но скоро звучный смех огласил лес.

Они, припоминая старое время, стали бегать и догонять друг друга.

Полные радостью примирения, они вернулись домой. Федор Андреич был ужасно разгневан самопроизвольным распоряжением. Он встретил Петрушу следующими словами:

— Милостивый государь! как вы осмелились взять мою лошадь?

— Это я приказала оседлать,— самонадеянно отвечала Аня за оторопевшего Петрушу.

Федор Андреич пуще прежнего сдвинул свои брови, но кротче отвечал:

— А вы, сударыня, как смели распоряжаться?

Аня вспыхнула; она давно уже не слыхала таких жестких слов.

— Я не знала,— обидчиво отвечала она,— что не могу распоряжаться своей лошадью.

— Своей — как угодно, но не другими! — запальчиво произнес Федор Андреич.

Аня замолчала, и так как она имела характер мстительный, то с вечера подбила Петрушу идти гулять рано утром. И, чтобы придать решимости Петруше, она насмешливо сказала:

— Может быть, ты боишься его: помнишь, как он за нашу прогулку засадил тебя к себе в кабинет?.. Впрочем, он тогда рассердился, что был вечер, а мы теперь пойдем утром. Да и тебе ведь уж двадцать лет.

— Больше — двадцать один! — с гордостью сказал Петруша.

Рано утром Аня, взяв с собою булку, а Петруша — книгу, отправились на дальнюю прогулку. Они доехали в лодке до ближайшей деревни, там выпили молока, долго гуляли в лесу, читали книгу и вернулись домой после утреннего чаю.

Встревоженные лица домашних известили их о готовившейся буре; но Аня смело подошла здороваться с Федором Андреичем, который сидел на террасе и медленно курил трубку. В присутствии своей сестры и старика он старался придать своему голосу более твердости, но не умел: видно было, что гнев душил его.

— Где вы это изволите пропадать? — спросил он.

— Мы гуляли.

— Как же вы смели без спросу?

— Мы ходили пешком,— насмешливо отвечала Аня, не замечая умоляющих жестов старичка.

— Вот, братец, вы видите, как она вам отвечает: что же вы хотите, чтоб я делала? Она дошла до такой дерзости...

— Я никому не позволю быть дерзким со мной! — в гневе закричал Федор Андреич.

Аня побледнела; но при взгляде на торжествующее лицо Настасьи Андреевны кровь хлынула ей в голову, и она с необычайной смелостью сказала:

— Я дерзостей никому не делаю своими прогулками; но никто не может мне их запретить!

Послышались со всех сторон восклицания удивления. Федор Андреич, казалось, сам онемел от слов Ани, которая гордо глядела на всех.

— Вы... вы воображаете, что над вами нет старшего, а?.. — задыхаясь и едва сдерживая гнев, спросил Федор Андреич.

— Нет! кроме моего дедушки! — отвечала Аня.

Старичок побледнел и в отчаянии воскликнул:

— Аня, Аня!

— Каково! а? слышите, братец! что она думает о себе! Она, кажется, воображает, что играет первую роль в доме,— жужжала Настасья Андреевна своему брату, который, повесив голову, сидел, как бы о чем-то думая. Он долго оставался в этом положении. Все, объятые страхом, разошлись, оставив его одного.

В этот день Федор Андреич не выходил из своего кабинета, а на другое утро все в доме были поражены его неожиданным отъездом: он уехал в ночь.

Глава XI

ОПЯТЬ ПИСЬМО

Аня очень скоро ощутила отсутствие Федора Андреича и с ужасом увидела, до какой степени расположение его было необходимо ей: Настасья Андреевна не замедлила выказать свою власть над беззащитной Аней и ее дедушкой. Целые дни проходили в попреках, в колкостях, которые приводили гордую Аню в отчаяние, особенно после той свободы, которой она наслаждалась так недавно. Петруша впал в немилость у Настасьи Андреевны за его расположение к старичку и заступничество за Аню и скоро уехал. Его отъезд был страшен для Ани: она оставалась совершенно одна. Но, к счастью, возвратился скоро Федор Андреич. Аня, увидев его, так ему обрадовалась, что бросилась ему на шею и долго плакала. Но как она была удивлена: Федор Андреич совершенно изменился к ней, даже к старичку, с которым сухо поздоровался и ничего не говорил. Он сидел бо́льшую часть времени у себя в кабинете, а если и выходил в залу, то был до того угрюм, что Аня не решалась произнести сло́ва; слезы ее потеряли всякую силу; он даже был жесток в такие минуты своими вопросами:

— Чем еще вы недовольны?

Туалет Ани износился, даже не было у ней башмаков,— Федор Андреич как бы не замечал, а Настасья Андреевна ждала, когда Аня попросит, чтоб иметь случай прочесть ей наставление и высчитать, сколько на нее тратят. Но Аня решилась терпеливо выносить всё — для своего дедушки, который от беспрестанных домашних неприятностей стал часто прихварывать.

С каждым приездом Петруша больше сближался с Аней. Детская их дружба теперь, когда они уже были в полном расцвете жизни, начала принимать характер серьезный. Это не укрылось от Настасьи Андреевны, и, в отмщение своему любимцу, она перестала присылать ему разные хозяйственные мелочи. Даже деньги он получал

уже не через нее, а должен был сам просить их у Федора Андреича, который обращался с ним с убийственною холодностью.

Всё это раздражало Петрушу; он часто стал ссориться с Настасьей Андреевной, которая всё приписывала и без того угнетенной Ане. Аня же давно бы покинула этот дом, если б не дедушка, умолявший ее потерпеть и уверявший, что скоро Федор Андреич перестанет сердиться и всё опять пойдет хорошо.

Но время шло. Раздоры вспыхивали из малейших пустяков. Петруше перестали посылать деньги; он жил в долг.

Всё это наконец вывело из терпения Аню: она написала ему письмо, где логически изложила печальную перспективу их любви, просила его забыть о ней и требовала, чтоб он повиновался желаниям Настасьи Андреевны.

Аня потеряла все силы; бодрость духа исчезла у ней в каждодневных стычках с Настасьей Андреевной; она похудела; нервы ее до такой степени раздражились, что она от всяких глупостей плакала как сумасшедшая.

Посланный, которому она тихонько отдала письмо Петруше, должен был, по распоряжению Настасьи Андреевны, возвратиться на другое утро. Но настал вечер, а он не являлся; волненье Ани доходило до страшной степени, так что Федор Андреич заметил:

— Вы, кажется, сегодня чем-то очень заняты.

— Праздностью, как всегда,— подхватила Настасья Андреевна.

— Отчего вы совершенно оставили музыку? хоть бы ею иногда занялись! — продолжал Федор Андреич, верно смягчась бледностью Ани. Аня хотела было сказать, что ей запретила играть Настасья Андреевна, но смолчала; зато как же она была награждена! ее враг язвительно отвечал:

— Из лености!

— Извольте-ка заниматься,— сказал Федор Андреич и, обратясь к старичку, насмешливо прибавил: — Прикажите вашей внучке хоть чем-нибудь заниматься, а то она от праздности всё только хнычет.

— Федор Андреич! — с упреком возразил старичок.

— Она ведь ничьей власти не признает здесь, кроме вашей,— продолжал тем же язвительным тоном Федор Андреич.

Эта фраза тысячу раз была повторяема им с тех пор, как Аня имела безрассудство сказать, что, кроме дедушки, никто не может приказывать ей.

Аня, вся вспыхнув, быстро подошла к флигелю, судорожно отбросила крышку, взяла два аккорда и чуть не воплем заглушила их.

С минуту сидящие в комнате молча вслушивались в рыдания девушки, которые полны были отчаяния. Старичок, победив опасение прогневить Настасью Андреевну и ее брата, пошел утешать свою внучку.

Лицо Федора Андреича приняло суровое выражение. Искоса поглядев на свою сестру, которая стала упрекать Аню в капризах, он сказал:

— Всё ваше пустословие... замолчите!

Настасья Андреевна пугливо и вопросительно уставила свои глаза на брата: она думала, что он уже никогда не примет Аню под свою защиту.

— Перестаньте! мне ужасно надоели все ваши слезы!

И, встав с своего места, он стал ходить по комнате.

Аня замолчала; в ту минуту дверь отворилась, и посланный в город, несколько пошатываясь, вошел в комнату. Аня радостно встрепенулась.

— Отчего ты так долго не являлся? — обратясь к нему, спросила Настасья Андреевна.— Пил где-нибудь? а?

— Ну что ты его спрашиваешь, пил ли он? разве не видишь, он на ногах не стоит?.. — заметил Федор Андреич.

Лакей пробормотал: «Виноват» — и, еще более шатаясь, пошел к двери.

— Подай счеты! — остановив его, сказала Настасья Андреевна.

Лакей сунул в карман руку и подал письмо вместо счета.

— Это что? письмо? — вертя его в руках, бормотала Настасья Андреевна, потому что оно было без адреса. И вдруг, как бы озаренная вдохновением, она сорвала печать. Аня как безумная кинулась к Настасье Андреевне, воскликнув:

— Не читайте: это ко мне.

И она взяла письмо.

Федор Андреич перестал ходить.

— Как вы смели вырвать у меня из рук письмо, а? — гневно проговорила Настасья Андреевна и, обратясь к брату, продолжала: — Братец! я у вас прошу защиты против

дерзостей этой интриганки: она, она ссорит Петрушу со мной, чтоб он женился на ней.

Аня окаменела. Федор Андреич взял у ней из рук письмо, подошел к свече и стал читать; вдруг лицо его побагровело, и он залился смехом, от которого Аня кинулась к дедушке, как бы под защиту; лакей вздрогнул, а Настасья Андреевна пугливо произнесла:

— Братец!

Федор Андреич вырвал Аню из объятий старичка, вывел ее на средину комнаты, разорвал на мелкие кусочки письмо, затоптал его ногами и сказал страшным голосом:

— Видите, сударыня, видите... и помните, что скорее я позволю назвать себя дураком, чем соглашусь на такую нелепость!

И он вышел из комнаты.

Аня вновь кинулась к слабому своему дедушке, а Настасья Андреевна, испугавшись гнева своего брата, забыла весь гнев свой к Петруше, стала подбирать клочки письма, дрожащими руками складывала их на столе, и крупные слезы, падающие на них, припечатывали их к столу.

В письме своем Петруша умолял Аню успокоиться и обещал приехать на днях, чтоб просить ее руки.

В ожидании Петруши Аня ничего не пила, не ела. Настасья Андреевна находилась в сильном волнении, старичок также,— словом, все, кроме Федора Андреича; но его спокойствие было страшнее самого гнева.

Наконец приехал Петруша в самый обед. Федор Андреич приказал вести его прямо в кабинет свой, отчего Настасья Андреевна страшно побледнела. Ее брат, не торопясь, окончил обед, за которым один только и ел. Лишь только он удалился в кабинет, как Аня и Настасья Андреевна, будто сговорясь, кинулись за ним и стали слушать у дверей.

Сначала разговор шел обыкновенным тоном; потом голоса стали возвышаться. Голос Федора Андреича гремел и слышался в зале, отчего старичок, зажав уши, творил молитву, а лакеи, собиравшие со стола, стояли, разинув рты, как окаменелые, кто с тарелкой, кто с салфеткой.

— Так твое намерение неизменно? — кричал Федор Андреич.

Голоса Петруши не было слышно за гневным восклицанием:

— Так вон же из моего дома!!

Настасья Андреевна, дико вскрикнув, кинулась в кабинет и встретилась на пороге с Петрушей, бледным как полотно. Он, дрожа всем телом, с чувством поцеловал у ней руку и сказал:

— Прощайте: меня гонят отсюда.

— Проси, скорее проси прощенья,— загораживая ему дорогу, сказала Настасья Андреевна.

— Я не могу! — отвечал Петруша и, поцеловав свою благодетельницу, пошел. Остановясь перед полумертвой Аней, прислонившейся к стене, Петруша прибавил:

— Если вы любите меня, то через два года я буду просить руки вашей у дедушки, как у единственного человека, смеющего располагать вами.

И он вышел из передней.

Настасья Андреевна, упав на колени перед братом, стала молить его о пощаде своему приемышу.

Аня, едва дойдя в свою комнату, упала без чувств на пол и долго бы пролежала без помощи, если бы Федор Андреич, рассерженный до последней степени упреками своей сестры за расположение его к Ане, не явился к ней, чтоб выслать ее из своего дома.

В первый раз он вошел в комнату к Ане с тех пор, как она заняла ее. Мебели в комнате другой не было, кроме кровати из простого дерева, такого же стола и двух плохих стульев: под разными предлогами, Настасья Андреевна отобрала всю мебель, бывшую прежде в комнате.

В первую минуту Федор Андреич не обратил внимания, где жила призренная им сирота; увидав Аню, которая лежала как мертвая на полу, он остановился как вкопанный, устремив на нее свои сверкающие глаза. Первый день его знакомства с ней живо представился ему. Тогда он бросил взгляд вокруг себя и, увидав кругом такую бедность, покраснел. Постояв несколько минут в каком-то недоумении, он наконец бережно положил Аню на постель и кинулся сзывать весь дом на помощь. Верховые поскакали за доктором, за лекарствами. Дни и ночи Федор Андреич проводил у постели Ани, которая находилась в опасности. Когда же опасность миновалась, заботливость и предупредительность его еще усилились. Он сам ходил на кухню, когда готовили для больной суп или желе, и всякий день утром приносил ей какой-нибудь подарок.

С Настасьей Андреевной он перестал говорить, устранил ее от хозяйства, и она сидела у себя в комнате, ни во что не вмешиваясь.

В это время она так изменилась, что не было сомнения в жестокой болезни, разрушавшей ее; но она молчала, как бы желая, чтоб другие догадались и подали ей помощь. Но Федор Андреич равнодушно глядел на добровольное заключение сестры в комнате, приписывая его капризу.

Оправясь от болезни, Аня упросила Федора Андреича, который совершенно изменился в обхождении с ней и с стариком, помириться с сестрой. Он исполнил ее желание и пошел сам к ней в комнату. Но мало пользы принесло это. Брат и сестра при каждой встрече возобновляли взаимные упреки и после каждой сцены всё более и более удалялись друг от друга.

Глава XII

РАЗВЯЗКА

Тем временем Петруша весь предался занятиям, видя в труде единственное средство спасти Аню, которая казалась ему заключенною красавицею, а себя воображал он рыцарем, готовым освободить ее. Благодаря деньгам, которые тайно посылала ему Аня от имени Настасьи Андреевны, он мог жить покойно и, совершенно помирясь со своей благодетельницей, вел с ней переписку. С Аней также. В продолжение года Аня виделась с Петрушей не более двух раз, и то на самое короткое время. Разлука окончательно определила их отношения; им казалось, что любовь их беспредельна, а препятствия связали их навсегда неразрывными узами. Петруша уже считался женихом Ани; он просил ее руки у старика, который хотя и дал слово, но хранил его в тайне от Федора Андреича.

Аня была полной хозяйкой в доме; но это уже ей не льстило, а напротив — совесть ее мучила, что она заняла место Настасьи Андреевны, которая слегка смягчилась к ней, узнав, что она посылала деньги Петруше.

Наконец Петруша окончил ученье самым блестящим образом и явился в дом. Он был принят радостно всеми, а Федором Андреичем учтиво, даже с каким-то страхом. Видимо избегая разговора с Петрушей, он сел на лошадь и только поздно вечером вернулся. Его ждали к ужину: даже Настасья Андреевна сошла вниз и заняла свое обычное место. Когда он вошел в залу, все удивились страшной перемене в его лице: оно, против обыкновения, было

бледно, глаза лишены всякого блеску. Он во весь ужин ни с кем не говорил ни слова и, казалось, ел машинально, не обращая ни на что внимания. Встав из-за стола, он хотел было уйти; но Петруша остановил его следующими словами:

— Завтра я должен быть в городе, чтобы переговорить о месте, которое мне предлагают.

Федор Андреич пугливо посмотрел на Петрушу, который продолжал:

— Так как я вам обязан всем, то прошу у вас позволения жениться.

— Нет! нет! это невозможно! — почти умоляющим голосом отвечал Федор Андреич.

— Братец! я... я всё простила им и дала слово и мое благословение,— гордо заметила Настасья Андреевна.

— Не противься, брат: они давно любят друг...— начал было старичок, но был прерван гневным голосом Федора Андреича:

— Вздор! это только каприз... да, это один их каприз! — И, простонав: «Боже мой! они убьют меня!», он сел на стул и закрыл лицо руками.

Все окружили его, кроме Ани, которая, уткнувшись в окно, не переводила дыхания, слушая решение своей судьбы. Молчание длилось с минуту, Федор Андреич отвел от лица руки и, посмотрев на окружающих, с иронической улыбкой, едва слышным голосом произнес:

— Я согласен!

Слова эти произнесены были таким тоном, что произвели не радость, а общий испуг. Он продолжал, обращаясь к Петруше:

— Мне нужно... я должен переговорить с тобой.

И он ушел с Петрушей в гостиную, притворив дверь.

Остальные лица молчали в тревожном ожидании. Прошло много времени. Аня и Настасья Андреевна долго боролись со сном; наконец сон одолел — они задремали; старичок давно уже сладко спал.

Поздно ночью дверь из гостиной тихо раскрылась, и Федор Андреич вышел с Петрушей. Лица обоих были бледны, встревожены; но они дружески глядели друг на друга; руки их были сжаты. Увидя Аню и Настасью Андреевну, Петруша хотел было подойти, но Федор Андреич умоляющим жестом остановил его; они обнялись, и Петруша выбежал из комнаты. Аня и Настасья Андреевна пуг-

ливо вскочили с своих мест; но Федор Андреич стоял спиною у дверей, как бы защищая их; лицо и вся его фигура столько выражали страдания, что Аня и Настасья Андреевна бросились к нему, тихонько отвели его от дверей, посадили на стул. Он как ребенок повиновался всему, бросая на них блуждающие взгляды.

Скрып ворот и топот лошадей заставили его вздрогнуть; он радостно вскочил со стула и убежал в кабинет, оставив в совершенном недоумении Аню и Настасью Андреевну... Узнав об отъезде Петруши, они не знали, что думать. Но на другое утро Настасья Андреевна получила письмо от своего приемыша. Петруша поручал ей Аню, молил ее забыть все враждебные чувства к ней и объявлял, что по непредвиденным обстоятельствам едет на Кавказ; если Аня, писал он, через два года не выйдет замуж, то он вернется, чтоб быть ее мужем,— но что теперь он не может изменить своего решения.

Это известие сразило равно как Аню, так и Настасью Андреевну. Последняя поехала в город, чтоб самой проводить Петрушу.

Федор Андреич дал сестре значительную сумму денег на отправку Петруши.

Аня столько выстрадала в короткое время, что не чувствовала сил перенесть новое испытание. Но письмо Петруши, наполненное мольбами не покидать старичка и Настасью Андреевну, которую из города привезли полумертвую, подкрепило ее. Аня получила позволение ходить за больной; но в раздражительные минуты Настасья Андреевна изливала на ней всю желчь. Она упрекала ее за все несчастия свои, даже за погибель своей молодости, так печально проведенной. Зато Федор Андреич еще никогда так не был внимателен к Ане. Он предупреждал все ее желания, как бы стараясь загладить происшедшее. Но для Ани стало всё невыносимо: она теперь стыдилась своего влияния и на все угождения Федора Андреича отвечала холодно. Это раздражало его, и он начал жаловаться старичку на неблагодарность его внучки.

Нового рода сцены начались для Ани; она плакала теперь так же горько от внимательности того, чей суровый взгляд приводил ее в отчаяние в прежние времена. Аня убегала Федора Андреича; он делал ей сцены; даже старичок оскорблялся упрямством своей внучки и делал ей выговоры:

— Он тебе отец; ты должна любить его больше, чем меня; без него что мы?.. И мне на старости лет должно идти просить милости из-за всех капризов твоих...

Упреки старичка были страшнее всего: Аня решилась победить непонятное чувство, вследствие которого, когда она желала улыбкою благодарить Федора Андреича за внимательность к ней, губы ее как бы лишались способности улыбаться, а глаза выражали досаду.

. . . .

В один зимний вечер Аня читала газету в гостиной. Федор Андреич сидел возле нее. Старичок дремал на своих креслах в зале; но в этот вечер ему что-то не спалось, и он глядел на бледную свою внучку, которая прямо сидела против него. Две свечи, горевшие на столе, резко освещали ее и Федора Андреича. Багровый цвет его лица и сверкающие глаза составляли совершенную противоположность с бледностью Ани и ее грустно-томными глазами. Федор Андреич через плечо Ани следил за ее чтением; но его глаза большею частью были устремлены на лицо читавшей. Долго смотрел на них старичок, долго с возрастающим беспокойством всматривался он в лицо Федора Андреича, как будто читая роковую тайну в его глазах, жадно прильнувших к Ане. И вдруг страшная мысль озарила старичка. Он всё понял и весь встрепенулся,— лицо его выразило мучительный испуг. Старичок поспешно встал и вошел в гостиную; но его прихода не слышал Федор Андреич.

Старичок окликнул его. Федор Андреич вздрогнул и закрыл лицо руками.

— Аня, поди, тебя спрашивает Настасья Андреевна! — поспешно сказал старичок.

Аня вышла; но она скоро вернулась, потому что Настасья Андреевна спала. Подходя к гостиной, она была поражена необыкновенно громким и резким голосом своего дедушки, который, завидя внучку, сказал:

— Поди отсюда!

Федор Андреич кинулся к ней и, схватив ее за руку, в испуге сказал:

— Что вы хотите делать... я не пущу ее... я имею на нее такое же право, как вы... я...

Аня, полная ужаса, вырвала свою руку от Федора Андреича и бросилась к старичку...

...Федор Андреич, ударив по столу кулаком, громовым голосом закричал:

— Так я вам противен! хорошо же! Я вас тоже не могу видеть. Мне, наконец, стала невыносима такая жизнь! — говорил Федор Андреич, мечась по комнате.

Старичок увел Аню, ничего не понимавшую, но дрожавшую от страха.

Через полчаса, переговорив что-то с больной, он вышел оттуда в слезах и послал к ней Аню. Она вошла в полуосвещенную комнату Настасьи Андреевны, которая была вся в белом, что придавало еще более суровости чертам ее исхудавшего лица. Она сидела на постели и судорожно сжимала свои худые руки.

Аня робко приблизилась к постели больной, которая указала ей на стул, стоявший возле. Аня повиновалась. После некоторого молчания больная начала дрожащим голосом:

— Завтра рано утром вы уедете отсюда...

Аня в испуге бросилась на колени и в отчаянии воскликнула:

— Что я такое сделала? Боже, что я такое сделала?!

— Встань, встань! ты ни в чем не виновата! Это всё я... я всему причиной. Это моя глупая ревность погубила вас всех!

И больная упала на подушки и зарыдала.

Аня кинулась целовать иссохшие руки Настасьи Андреевны, которая не отняла их на этот раз; отвечая пожатием, она твердила:

— Люби Петрушу, он через год вернется, будьте счастливы...

— Позвольте мне остаться возле вас... — умоляющим голосом сказала Аня.

И ей казалось в эту минуту, что Настасья Андреевна так же ей близка и дорога, как ее покойная бабушка.

— О нет, нет! сохрани тебя боже! Я не сегодня, так завтра могу умереть; дедушка твой тоже не из долговечных; ты останешься одна... О нет! скорее отсюда, скорей уезжайте!

Аня рыдала.

— Не плачь... твои слезы напоминают мне его,— помню, как он просил меня, чтоб я любила и не оставляла тебя. Но что я смогу сделать! О, господи, господи! лучше уж прекрати мои страдания!

И, притянув Аню к себе, она перекрестила ее, поцеловала в лоб и проговорила:

— Вот тебе мое благословение; передай ему его, как увидишься с ним. Прощай; я уже не увижу вас больше... Уйди отсюда: мне очень тяжело...

Аня, рыдая как безумная, вышла из комнаты.

Старичок на все расспросы Ани, почему он оставляет дом, твердил одно:

— Бог нас не оставит. Узнаешь всё потом.

Они целую ночь не спали, хотели было укладывать вещи, но, за что ни брались, всё было чужое, и тогда Аня сказала с необыкновенною твердостью:

— Дедушка, нам нечего укладывать; лучше отдохните: дорога будет длинная, если мы поедем так далеко, как вы говорите.

На другой день, рано утром, старинный рыдван стоял у крыльца. Старичок и Аня с узелками в руках спускались по лестнице, прощаясь почти на каждой ступеньке с дворней. В передней они столкнулись с Федором Андреичем, который попросил отъезжающих войти в залу.

Затворив дверь и помолчав с минуту, Федор Андреич нетвердым голосом сказал:

— Я вижу, что вы серьезно хотите выполнить ваше намерение? Куда вы едете и чем будете жить?

Старичок и Аня взглянули вопросительно друг на друга; они в первую минуту своего решения не подумали об этом.

Федор Андреич продолжал, обращаясь к Ане:

— Своими капризами что вы готовите вашему дедушке? опять нищету, голод!

Аня молчала. Тогда он обратился к старику и с упреком продолжал:

— А вы — в такие лета и так неблагоразумны. Ну что вы ей готовите? Что ожидает девушку в ее лета, посреди нищеты и труда, к которому она разве готовилась?

— О, я буду день и ночь работать! — воскликнула Аня.

Федор Андреич улыбнулся и язвительно сказал:

— Хорошо-с, вы будете работать: зачем же вы не делали этого прежде, когда ваш дедушка и вы сами чуть не умирали с голоду? Что, вы нашли тогда средства к существованию?..

— Мы всё помним и не забудем, что для нас было сделано,— прервал его старичок.

— Полноте! Я не для того говорю, чтоб высчитывать мои благодеяния... Но я хочу вразумить вас, что в жизни

не часто бывают такие случаи, чтоб вас спасали от нищеты. Я призрел вас, я хотел сделать ее счастливой.

Федор Андреич говорил кротко, так что старичок стал колебаться.

— Я хотел ей предоставить всё свое имение,— продолжал с жаром Федор Андреич.

Аня пугливо поглядела на него, а старичок заметил:

— У вас есть наследники, а мы не имеем на имение никакого права.

— А разве она не может сделаться моей наследницей? От вас будет зависеть сделать ее счастливой. Я дал вам слово устроить ее и готов даже жениться, чтоб...

Аня дико вскрикнула и умоляющими глазами смотрела на старичка, который, тяжело вздохнув, отвечал:

— Я не могу ее приневоливать, тем более что она любит другого.

— Боже мой, да вы, кажется, сами превратились в мальчишку, что так рассуждаете! Он молод, беден и, может быть, оставил уже свое намерение. Да к тому ж отдать ее замуж за человека, который сам из милости питается? Вы потворствуете тому, что поведет их к общей гибели!

Федор Андреич страшно горячился.

— Я предпочту всё, но только не буду ничьей женой, кроме его! — гордо сказала Аня.

Федор Андреич замолчал, долго и проницательно глядел на Аню, потом прошелся по комнате несколько раз и, остановясь вновь перед ней, торжественно сказал:

— Я всё употребил, все меры, даже, может быть, глупые, чтоб предотвратить нищету и несчастия от вас. Вы всё отвергли!.. — Губы его судорожно улыбнулись, и он язвительно продолжал: — Теперь помните, что уже двери моего дома заперты для вас, а кошелек мой — туго завязан. Прощайте!

И он раскрыл дверь, в которую, дрожа всем телом, вышли два несчастные существа, приготовлявшиеся идти смело навстречу нищете и труду.

Настасья Андреевна выслала им денег на дорогу. Федор же Андреич ничего не дал и даже не сказал, чтоб они взяли что-нибудь из белья и платья. Он насмешливо глядел, как они усаживались в рыдван. Когда экипаж двинулся, старичок выглянул, чтоб поклониться и поблагодарить в последний раз хозяина, но вздрогнул и спрятался: так язвительна была его прощальная улыбка.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава XIII

ПРАЧКА

В одной из отдаленных улиц города NNN, в глубокую осень, вечером часов в десять, молодой человек, плотно закутанный в серую шинель, медленно прохаживался около покачнувшегося забора, посматривая на противоположный чистенький двухэтажный домик, верхний этаж которого был ярко освещен. В запотевших окнах его поминутно мелькали разряженные фигуры.

В подвале топилась лежанка, и оттуда также выходил яркий свет, отражаясь в лужах, стоявших на кирпичном тротуаре, который приходился в уровень с низенькими окнами. Разительную противоположность представлял средний этаж, тускло освещенный лампадами, теплившимися у икон в богатых ризах. Окна его по первое стекло были завешены кисейными занавесками; печально и одиноко стояли на них горшки ерани и густою тенью рисовались на стеклах.

Около часа неизвестный господин в шинели ходил как маятник против дому, казалось не замечая ни диких визгов ветра, смешанного с лаем собак, ни мерного дождя, ни скрыпения старых заборов, ни шипения торчавших за ними голых дерев, которые при каждом порыве ветра гнулись во все стороны и своими прутьями колотили по забору. Наконец он быстро перебежал на другую сторону улицы и стал смотреть в окно подвала. С первого взгляда низенькую и широкую комнату можно было принять за корабль: веревки были растянуты по всем направлениям ее и висевшее на них белье покачивалось, как паруса.

Убранство комнаты не отличалось роскошью: огромная кровать с ситцевыми пологами, возле нее сундук, окованный железом, небольшой шкап, один полуразвалившийся стул, большой и маленький стол — вот и всё. И, однако ж, в комнате было тесно. Платяные корзины, одна на другой, стояли на полу; юбки, тугие, как пергамент, висели по стенам. Корыто с синей водой помещалось на сундуке, и утюги валялись где ни попало.

За небольшим столом сидела худая женщина лет под сорок, с головой, повязанной по-купечески. В движениях ее было что-то судорожное; на ее желтом и костлявом лице резко отражались следы тяжелого труда. В ее быстрых карих глазах и в большом рте с узенькими губами было много желчи. Она хлебала щи из большой деревянной чашки и за каждым глотком с какою-то злобою бросала ложку далеко от себя.

На скамье, в простенке между двумя окнами, за небольшим столом, гордо и беспечно сидел пожилой человек в ситцевом архалуке, с плотно остриженной головой, с небольшими усами, торчавшими кверху, и с серебряной серьгой в левом ухе. Трудно было уловить черты его лица, которое всё состояло из крупных складок и походило на сплоенное жабо. Глаза едва виднелись из-под густых бровей и напухших век. При каждой ложке он страшно разевал рот. Помещавшийся подле него на столике кот, весь черный как смоль, с жадностию следил за каждым глотком своего хозяина, облизывался своим розовым языком и то щурил, то таращил свои злые, с зеленым блеском, зрачки. Другой кот, дымчатый, обнаруживал более спокойствия: поджав все четыре лапки, он лениво открывал по временам заспанные глаза, осматривал каждый предмет и, остановясь на нагоревшей свече, стоявшей против ужинающего, апатично закрывал их.

На оконнице, очень высокой от полу, сидел еще третий кот — серо-желтый. Он был тощ и жалок, робко смотрел на хозяина, подергивал ушами и беспрерывно менял положение.

Подбежав к окну подвала, молодой человек высунул было руку, чтоб постучать в стекло, но, как бы испугавшись холоду, пугливо спрятал ее под шинель и побрел к воротам. Он постучал в дверь подвала, где ужинали.

— Кто там? — отвечал ему крикливый женский голос.

— Это я! — робко сказал молодой человек, высунув голову в дверь и по-прежнему закрывая лицо воротником шинели, поднятым выше головы.

Женщина привстала и ладонью начала вытирать губы.

— Мое белье готово? — поспешно спросил молодой человек, входя.

— Нет! да я ведь в четверг обещала! — с неудовольствием заметила женщина, подходя к двери.

— Хорошо-с, хорошо-с! — быстро отвечал он и захлопнул дверь.

— Ишь ты, как приспичило!

Она не успела договорить, как дверь снова раскрылась и тот же робкий голос спросил:

— Катенька наверху?

— Спит!.. на что вам? — довольно резко спросила она.

— Прощайте, прощайте! — пробормотал едва внятно господин в шинели и скрылся.

— Чего ннна...дддо? — жуя, спросил ужинающий.

— А тебе на что? — крикливо отвечала женщина, садясь снова на свое место.— Вишь, нелегкая носит по ночам таскаться за бельем! — прибавила она себе под нос.

В подвале квартировала прачка Настасья Кирилловна с сожителем своим отставным унтер-офицером Куприянычем и двенадцатилетней дочерью Катей. Судьба Настасьи Кирилловны не всегда была так печальна: в молодости она была стройна и хороша собою и жила с бабушкой, женщиной небедной, но сварливой и строгой, которая никак не хотела выдать ее замуж,— может быть, не желая лишиться попечений внучки. Несмотря на строгость и зоркость бабушки, молодая мещанка, к несчастию своему, умела провести ее, и когда полк вышел из города, отчего Настя стала горевать и худеть,— старухе донесли о проделках внучки. Старуха лишила ее наследства и скоро умерла.

У Насти явилось много женихов: подозревали, что у ней есть деньги. Но она всем отказывала и, сделавшись первой прачкой в городе, дни и ночи работала, лишь бы скопить что-нибудь своей дочери Кате, которую любила с редкой нежностью.

Раз прачка простудилась и слегла; слезам ее не было конца. Мрачные мысли не давали ей покою. «Ну что, если я умру,— думала она.— Катя останется сиротой».

Вероятно, этот страх решил судьбу Куприяныча, который уже не раз сватался за Настю через сваху. Свадьба

была слажена, как только прачка оправилась. Она решилась выйти замуж для своей Кати, потому что будущий муж имел капитал, по словам свахи, и желал иметь жену для одного порядка, по его собственным словам. Но каков был ужас молодых, когда на другой день после свадьбы они узнали, что оба ошиблись в своих надеждах: Куприяныч, обманутый слухами, ходившими по городу, рассчитывал тоже на капитал прачки. Но Куприяныч не оробел: он твердо сказал, что знать ничего не хочет, женился для спокойствия и не намерен работать!

Слезы и ссоры не замедлили украсить их жизнь. Прачка скрепя сердце вынула небольшую сумму, скопленную пóтом и кровью для своей дочери, и уплатила долги по свадьбе. Забот и трудов у ней вдвое прибавилось, потому что Куприяныч целые дни лежал на раскаленной лежанке с своими котами, которых так уважал, что не позволял никому до них дотрогиваться. Несмотря на отсутствие моциона, аппетит его был удивителен. Впрочем, очень понятно: жизнь его текла мерно и ровно,— ни забот, ни тревог он не знал. На Катю он смотрел как на вещь, необходимую в его доме. Раз ему пришла мысль вмешаться в воспитание Кати: он хотел ее наказать, но мать пришла в такое негодование, что Куприяныч махнул рукою, и его любовь сосредоточилась на котах.

Однако ж он любил их неодинаково: серо-желтый худой кот был вечно в загоне. Куприяныч кормил его так плохо, что бедный кот принужден был прибегать к краже, за что прачка беспощадно колотила его, довольная случаем выместить свою злобу, которую питала против кошек вообще.

Вероятно, вследствие чрезмерного голода серый кот решился последовать примеру своих товарищей и робко вскочил тоже на стол. Куприяныч замахнулся на него ложкой и проворчал:

— Ишь, туда же!

Бедный кот с ужасом соскочил со стола и кинулся на окно, возле которого сидела прачка; вероятно думая разжалобить ее, он нежно мяукнул.

— Я те помяукаю! уж придушу когда-нибудь! — грозно крикнула прачка.

Несчастный кот кинулся под кровать, но, увидя, что погони нет, тихонько взобрался на горячую лежанку — покушение, за которое уже не раз ему доставалось,— и,

усевшись на засаленную подушку, начал наблюдать за своими гонителями.

— А что Катя не ужинает? — спросил Куприяныч, глядя в глаза черному коту.

Прачка резко отвечала:

— Спит; разве не слыхал, как она сверху пришла?

— Нет!.. а что?

— Да, говорит, там гости, в карты играют, а деньги так и валяются по столу!

И прачка злобно усмехнулась, потом сердито нахмурила брови и тяжело вздохнула.

— Вот, а ты зевай да жди денег! Не правда ли, она дура? — прибавил, улыбаясь, Куприяныч, обращаясь к черному коту, который облизнулся и подвинулся ближе к нему.

— Да что ты меня учишь? — грозно закричала прачка.— Слава богу, ни за кем еще не пропадали деньги! Уж, кажись, домовые хозяева хуже всяких жидов, даром что богатые да руки склавши сидят, а небось зажилить хотели два рубли! Ведь получила же!!

И лицо прачки всё задрожало; она сердито оттолкнула чашку со щами и, сложив руки, судорожно сжала их, как бы стараясь усмирить свое волнение.

— Слышь, отжилить хотели! а еще дом свой! — заметил Куприяныч дымчатому коту, который в ответ сладко зевнул.

— Да что за дом! знаем мы, как им достался: у племянника отжилили... мне Сидоровна всё рассказала! Намеднись я принесла наверх белье — горничная пьет кофей в кухне. Я и говорю: нельзя ли денег? «Обождите»,— говорит. Ну, нечего делать! Если б не ласкали Катю, и дня бы не стала ждать. А то, словно барышню, сама ее завьет и читать посадит.

Прачка улыбнулась, но на одну минуту; лицо ее снова приняло сердитый вид, и она продолжала:

— Да и то сказать, чем моя Катя хуже ее?

Краска выступила на желтом лице прачки, и она, подумав, с ужасом сказала:

— Ну, а как я умру?.. что с ней будет?

И прачка задумалась, покачивая головой. Потом она гневно обратилась к мужу с упреком и сказала:

— Небось ты и себя-то не сумеешь прокормить?.. Сиротка!

Прачка вытерла слезы.

Куприяныч подмигнул котам и, указывая головой на жену, сказал:

— Ишь, плачет... Ну что расплакалась! — прибавил он, повернув голову к жене.— Лучше дело делай.

Прачка грозно привстала и презрительно закричала:

— Ах ты дармоед, лежебок! тебе лишь бы с своими котами лежать. Да ты смотри у меня: я их всех передушу!

Прачка горячилась. Куприяныч равнодушно выносил гнев своей сожительницы и с любовью гладил по спине черного кота, который вытягивался, приподнимая заднюю лапку, и обнюхивал чашку.

Куприяныч поддразнивал жену:

— Ишь, душить?!

— Да, задавлю! — кричала прачка.

— Только ударь! — грозно и мерно произнес Куприяныч, выразительно подняв руку.

В ту минуту на постели послышался детский лепет; занавеска раздвинулась: выглянула сонная испуганная головка хорошенькой двенадцатилетней девочки. Девочка пугливо произнесла:

— Мама, мама!

— Спи, спи, я здесь! — кротко произнесла прачка, и на ее лице не было уже и тени злобы.

Личико скрылось за занавеской. Прачка села на прежнее место, облокотилась рукой на стол и подперла голову. Куприяныч вытаскивал говядину из щей и кормил котов.

— Куприяныч! — вдруг произнесла прачка кротко.

— Что? — лениво отвечал муж.

— Знаешь что? — Лицо прачки прояснялось, по мере того как она продолжала.— Не попросить ли мне его милость устроить мою Катю? Ведь Семен Семеныч не раз говаривал мне, что его барин такой добрый, уж скольких пристроил! они теперь не хуже верхней живут. А чем моя Катя хуже, а?

Куприяныч всё свое внимание сосредоточил на котах, любуясь, как они опускали свои лапки в чашку и потом облизывали их.

— Ну что же ты молчишь? — обиженным тоном спросила прачка.

— А мне что за дело! Твоя дочь!

Прачка вспыхнула. В то же время взор ее упал на стол, и она увидела страшное зрелище: серый кот лизал чашку, из которой она ела. Прачка схватила его за уши,

подержала на воздухе и с наслаждением брякнула об пол, сказав:

— Ах ты окаянный!

На мяуканье кота Куприяныч пугливо оглянулся и сердито заметил:

— Ну что расходилась?!

— Ну не грех ли тебе поганить посуду? Я их до смерти заколочу!

— Полно же озорничать! — уже смотря прямо на свою жену, сказал Куприяныч, и лицо его слегка сгладилось; серебряная серьга запрыгала в ухе.

Прачка стиснула зубы, бросила робкий взгляд на кровать и неожиданно повернулась спиной к грозному Куприянычу. Поправив светильню у лампады, нагар которой, упав в масло, жалобно зашипел, она прибрала немного в комнате и зевнула. Раздевшись, она осторожно улеглась возле своей дочери, продолжавшей крепко спать, перекрестила ее и долго еще, засыпая, шептала:

— Господи, господи, да будет воля твоя!..

А Куприяныч тем временем любовался, как его коты лизали чашку. Наконец и он начал зевать, прокричал котам:

— Ну, налево кругом! — и, быстро схватив чашку, опрокинул ее.

Коты поскакали со стола. Куприяныч погасил свечу и улегся. Постелью его была раскаленная лежанка, на которой без затруднения можно было бы зажарить жаркое. Но он только крякнул от удовольствия.

Через несколько минут храпенье обитателей подвала смешалось с мерным стуком дождя, падавшего на кирпичные тротуары, и с мурлыканьем котов. Лампада уныло освещала подвал и серого кота, который, почувствовав себя на свободе, везде лазил, всё обнюхивал; наконец, устав, улегся на глаженом белье, уложенном в корзину, и своим мурлыканьем присоединился к общему концерту.

Прачка уже видела сон, что Катя ее выросла и, одетая в богатое шелковое платье, танцует с офицерами; сама же она сидит в хорошем обществе и пьет самый крепкий кофий.

А между тем молодой человек, закутанный в шинель, всё еще продолжал ходить около дома. По временам он садился у забора и приклонял к нему свою голову. Долго сидел он, не чувствуя, что шинель его намокла и отяжелела. Наконец шум внутри двора заставил его вздрогнуть;

он одним прыжком очутился у калитки и тоже стал стучать. Калитка раскрылась, начали выходить разные господа, по-видимому весело убившие вечер,— молодой человек пропустил всех, заглядывая каждому в лицо. С шумным говором и хохотом разошлась вся компания в разные стороны, сопровождаемая отчаянным лаем собак.

— Ну что стал, свой, что ли? — спросила баба, закутанная в истертую ситцевую кацавейку, и готовилась запереть калитку.

— Сидоровна! — торопливо произнес господин, закутанный в шинель.

— А, это вы, батюшка! — сказала радостно Сидоровна.

— Я.

— Ишь, грех какой: не спознала тебя и испужалась. Родимый ты мой, ведь день-деньской наработаешься, а ночью то и знай, что ворота отворяй да затворяй.

Молодой человек не слушал Сидоровну: он смотрел на удаляющихся гостей.

— Вот тебе! — сказал он, всунув что-то в черствую руку старухи.

Сидоровна спрятала деньги и, кланяясь, сказала:

— Благодарствуй, батюшка, спасибо.

— Все ушли? — дрожащим голосом спросил он.

— Прах их знает! да, чай, уж скоро заблаговестят, опять иди отворять ворота.

— Ну а ты узнала, что я тебе велел?

— Как же, батюшка, как же.

— Ну?

— Вправду мне сказывала Олена Петровна: день-деньской сидит у них!

Молодой человек вздрогнул.

— Слышишь,— сказал он,— никому ни слова, не бери даже денег; я тебе дам больше, только не говори никому.

Голос его прервался, и он кинулся на другую сторону улицы.

Сидоровна посмотрела вслед ему, покачала головой и, зевая, захлопнула калитку.

Свет постепенно убавлялся в окнах верхнего этажа, наконец остался в одном крайнем окне. Кто-то подошел к окну,— стора быстро скатилась, и настал мрак. Молодой человек обнаружил признаки совершенного отчаяния; голова его упала на грудь, шинель скатилась с его плеч. Ветер дул ему в лицо, и крупные капли дождя, смешанные

со слезами, текли по его лицу. Глухие всхлипывания надрывали его грудь.

Ветер выл, выл, наконец, как бы утомясь, начал стихать. Уныло прозвучал первый удар колокола к заутрене. Молодой человек встрепенулся и поглядел на все стороны. Однообразный звон гудел по пустынным улицам, ничем не заглушаемый. Вдали начали раздаваться тяжелые шаги и кашель спешивших к заутрене. Вдруг скрыпнула калитка в доме, против которого находился молодой человек. Он привстал и не спускал глаз с калитки: кряхтя, вышла оттуда сгорбленная купчиха, вся в черном, ведя за собою седого старика в высокой меховой шапке, который торопливо постукивал своей палкой, как бы щупая прочность места, куда заносил ногу. Господин в шинели при виде стариков с ужасом кинулся бежать, как будто увидел что-то страшное.

Глава XIV

КОФЕЙНАЯ БЛИЗ ТЕАТРА

Молодой человек, которого видели мы в предыдущей главе, был актер на театре того города. Хотя он и занимал роли первых любовников, но его фигура не отличалась стройностью. Рост был хорош, но на сцене он как-то приседал и гнулся и оттого казался маленьким и горбатым. Глаза его были мутно-зеленоватые, с выражением грусти и бесконечной доброты; волосы густые, но почти желтые, одного цвета с лицом. Черты лица были, впрочем, правильны; но одутловатость портила всё. Робкий взгляд и неловкие движения придавали всей фигуре первого провинциального любовника бесцветность, в которой, однако, было столько жалкого, что вы невольно чувствовали к нему сострадание. Шестилетнее пребывание при театре не пошло ему впрок: на сцене он был так же робок и неловок, как в первый свой дебют; за кулисами — словно чужой между шумной толпой провинциальных актеров и актрис, где самые горячие дружеские излияния идут рядом с враждою и завистью; ни ссориться, ни льстить он не умел. С ним же все обходились с презрением, сознавая бессознательно его благородство, которое они понимали односторонне: по их мнению, оно заключалось в том, чтоб не расславлять чужих тайн, не клеветать, не перебивать дороги у собрата.

Впрочем, он сам избегал дружбы с товарищами, которая особенно горяча бывала в первых числах месяца, когда получалось жалованье; начинали льстить: «Ты, брат, лихо сыграл свою роль!», предлагали выпить за успех, а потом, когда приходило к расчету, льстец незаметно исчезал или притворялся до такой степени подгулявшим, что его нужно было свезти еще домой на извозчике. С молодыми актрисами он также не мог сойтись; они считали унизительною даже вежливость с собратами своими по ремеслу,— перед бенефисом только делались ласковее, приглашали актеров обедать, поили в уборной своей чаем, а на другой день после бенефиса снова едва им кланялись. Если же актер, еще неопытный, приходил к обеду, то хозяйка вслух замечала о наглости людей, которые ходят без зова, обносила его вином и отворачивалась, если он спрашивал ее о чем-нибудь. Эти очень обыкновенные истории навсегда отбили у него охоту бывать где-нибудь, кроме кофейной, куда собирались все актеры и театралы.

Жалованье его было так незначительно, что едва доставало ему на скудный гардероб. На чужой счет жить он не умел. У него никогда недоставало духу навязываться в трактире к какому-нибудь купцу или театралу и платить за угощение домашними тайнами актрис. И если его угощали иногда молодые купцы, то единственно из любви к искусству. Он не решался также поправить свои дела, женившись на хорошенькой актрисе, чтоб жить роскошно... Не хотел также посвятить себя самолюбивым прихотям богатого одинокого купца, вооружая против него всех под видом правды и беспредельной своей дружбы, отвергая иногда даже довольно значительный подарок, в надежде, что бескорыстная дружба со временем оценится в каменный дом. Сколько нужно забот и ловкости, чтоб богатый купец только у него одного крестил детей и дарил крестнику на зубок ломбардные билеты в несколько тысяч! Он также не решался идти по дороге других молодых своих товарищей, которые проигрывали в один час вдвое больше, чем получали в год жалованья, пили с утра до ночи, угощая других, и еще хвастали...

Ему всё это было дико,— может быть, вследствие того, что он готовился быть купцом и сидеть в лабазе! Он был сын одного богатого купца. Старик был строг и держал своего сына взаперти до двадцати лет. Он не смел отлучаться на полчаса из родительского дома и почти не видел людей. Как вдруг старик скоропостижно умирает, сын

остается единственным наследником. Молодой купчик поверил достояние свое дяде, а сам принялся жуировать. Приятели налетели со всех сторон к богатому наследнику. Разгул и карты сделались единственным его занятием. Его познакомили с актерами, которые ели, пили на его счет, занимали у него без отдачи. Актрисы тоже не упускали случая поживиться от него. Наконец дела пришли в такое расстройство, что долгам его не было счета. Дядя всё молчал и давал сам ему взаймы денег.

Неаккуратность в платеже и слухи о разорении озаботили его кредиторов, которые вдруг потребовали уплаты. Молодой купчик сам испугался своих долгов: он кинулся к дяде просить помощи, но тот тоже требовал уплаты долга. Ему грозила тюрьма: так были плохи его дела. Дядя сжалился над племянником и пощадил его. Друзья молодого разорившегося купчика, как жаворонки осенью, отлетели далеко-далеко; он очутился один, без денег, больной от разгульной жизни. Много вынес он унижения и горя. Вином заглушал он свою грусть и угрызения совести, не дававшей ему покоя, что так глупо было прожито отцовское наследство. Дядя видеть его не хотел, вероятно боясь, что племянник будет просить у него денег. Он ошибся: разорившийся купец был горд и только в забытьи, во время пирушки, вдруг, воображая себя всё еще богатым, желал вмешиваться в игру, шумел и важничал; его отталкивали, называли нищим,— он заливался слезами, просил денег у всех присутствующих, чтоб отыграть свое богатство. Грубые насмешки были ответом несчастному; он метался в отчаянии, осыпаемый колкостями. Раз в такую минуту к нему подошел утешитель; он сам был уже навеселе; но речи его так были красноречивы, что разорившийся купец кинулся в объятия утешителя и на груди его рыдал, жалуясь на людей; то была первая жалоба его на ближних своих. Под общий смех, пошатываясь, они вышли из кофейной. Утешитель привел несчастного к себе на квартиру; долго они говорили о людях и других предметах. На другое утро, проснувшись, оба они дивились, как разорившийся купец попал в комнату актера.

Остроухов был талантливейший актер в городе и любим публикой; но невоздержность делала его жалким. Голос его был постоянно хриплый, память исчезла: ролей он никогда не знал. Содержатель театра держал его единст-

венно для обстановки пьес и дельных советов, которые он иногда давал молодым актрисам и актерам.

Утром, за бутылкой, Остроухов подал мысль разорившемуся купцу вступить в актеры. Через несколько месяцев на театре появился дебютант Мечиславский: купчик скрыл свою настоящую фамилию Демьянов, страшась дяди, который пришел в негодование от такого поступка и торжественно лишил своего племянника наследства. День дебюта был замечательным днем в жизни Мечиславского. Театр был полон, каждый желал посмотреть на дебютанта, которому во время оно многие льстили, обыгрывая и обманывая его. Благодаря бывшим друзьям промотавшегося купчика рукоплескания не умолкали. Его вызывали несколько раз; вызывая и хлопая, друзья думали поквитаться с погибшим через них и радовались, что совесть их теперь навсегда очищена.

Остроухов чуть не прыгал от радости за кулисами. Он знал роль Мечиславского наизусть и повторял ее за ним,— приходил в отчаяние, если тот не так читал, и кричал из-за кулис на сцену: «Громче! больше жару, махни рукой, ударь, да ударь сильнее в грудь!» А актерам и актрисам, стоявшим за кулисами и болтавшим между собой, он сердито замечал:

— Тише, ради бога, тише!

Но его замечания только разжигали говорящих; они нарочно страшно шумели, зная очень хорошо, что тем заглушают голос дебютанта, и без того робкого, и отвлекают его от своей роли.

После спектакля Мечиславский сидел в кофейной, где некогда его знавали сначала в богатстве, потом в унижении; теперь снова ему жали руки, поздравляли с успехом, угощали его и пили за его здоровье.

Каждый из окружавших его теперь, казалось, гордился сознанием, что если бы не его содействие в разорении, то талант погиб бы в лабазе.

Остроухов условился с содержателем театра, который, зная критическое положение дебютанта, долго не соглашался дать ему порядочное жалованье. Мечиславский подписал контракт и принял звание провинциального актера. Жизнь за кулисами не полюбилась Мечиславскому: он неохотно шел в театр и скоро стал равнодушен к вызовам и рукоплесканиям. На него находили минуты страшного отчаяния, особенно после разгула. Он проклинал своего друга Остроухова, зачем тот втянул его в эту

кипящую жизнь, где вечно шум, смех, клеветы, зависть, лицемерие. В эти минуты он сознавал вполне свое ничтожество, и его отчаяние доходило до страшной степени. Припадок оканчивался обмороком, а на другой день Мечиславский, очнувшись, ничего не помнил; только тоска долго его душила, и он не выходил из дому. Остроухов, приписывая всё это частому разгулу, стал сдерживать себя и своего друга. По-видимому, последний начал свыкаться с жизнью провинциального актера: припадки сознания реже повторялись.

Но тут случилась другая беда: Остроухов поссорился с содержателем театра. Мечиславский не хотел расстаться с своим другом, и, составив довольно жалкую труппу, они стали разъезжать по ярмаркам. Удачи не было. К счастию, нашелся благодетель, который предложил Мечиславскому съездить с ним в Петербург, чтоб посмотреть игру столичных актеров. Вернувшись через три месяца и застав Остроухова в самом бедственном положении, Мечиславский уговорил своего друга поступить вновь на театр города NNN, имевший уже более средств. Город NNN радостно принял любимца своего Остроухова и его друга Мечиславского, в котором произошла большая перемена. Он перестал кутить, начал заниматься своими ролями, раньше всех приходил на репетицию и даже поссорился с кем-то за кулисами. Эта перемена в Мечиславском, однако ж, не была никем замечена за кулисами: в то время внимание всех было устремлено на вновь прибывшую молодую актрису Любскую, с появлением которой сцена ожила, и за кулисами происходили целые драмы и комедии. Соперница ее, актриса Ноготкова, особенно покровительствуемая одним богатым любителем театра, женщина лет двадцати, недурная собою, не могла вынесть, что Любская играет ее роли. Нужно заметить, что театр был поддерживаем многими богатыми людьми этого города, которые во что бы то ни стало желали соперничать с столичными театрами и хвастали, что у них на театре есть отличные артистки. Содержатель театра был человек грубый, необразованный; он сначала держал труппу паясов, потом кочующих актеров, с которыми бродил по ярмаркам; наконец, заехав в город NNN, он вошел в долю с любителями театра, которые проживали состояние свое на эту страсть, и основался там постоянно с своею труппою. В городе NNN даже составился балет; а это большая редкость в провинции.

Любская была стройна, хороша собою, особенно манеры резко отличали ее от прочих актрис своею грацией. Как актриса, она еще не была замечательна; но учила свои роли, обдумывала их, слушала с благодарностью замечания опытных актеров, а не смеялась им в глаза, как другие самонадеянные актрисы.

О ней никто ничего не знал; приехав в город, она явилась сама к содержателю театра и объявила ему, что желает дебютировать. Он представил ее любителям театра, которые остались в восторге от новой дебютантки, тем более что она умела не только читать свои роли, но даже правильно писала, знала немного иностранные языки. Театр был полон всегда, когда она играла. Но не прошло недели, как Ноготкова начала интриговать, и Любская подверглась преследованиям. Ей не давали нового костюма, в то время как Ноготковой шили дорогие платья. Лучшие роли тоже давались опять Ноготковой, а те пьесы, где Любская имела успех, совершенно исчезли с репертуара. Дошло раз даже до того, что Любской подставили шатающуюся скамейку, на которую ей нужно было лечь: она упала,— дикий хохот Ноготковой раздался за кулисами и изобличил ее благородный поступок. Если публика принимала Любскую хорошо, что почти было всегда, то Ноготкова, стоя за кулисами в великолепном платье и в брильянтах, топала ногами, грозила кулаками и страшно бранилась. Содержатель театра спешил успокоить Ноготкову каждый раз, когда Любскую больше вызывали: он грозился выгнать Любскую с своего театра, но, страшась любителей театра, довольствовался мелочным притеснением. Часто Любская, играя веселую и беззаботную девушку, глотала слезы и по окончании сцены, убежав в уборную, горько плакала. Иногда, выведенная из терпения, она сама сердилась и кричала не менее Ноготковой. Все были против Любской, зная, что Ноготкова имеет больше влияния. Каждый рассчитывал на ее покровительство, исключая Остроухова и Мечиславского, которые защищали угнетенную и за то страдали не менее ее.

Мечиславскому и Любской приходилось часто играть вместе. Публика рукоплескала им в горячих сценах изъяснений в любви. Мечиславский начал обнаруживать талант, так что благодаря его одушевлению игра самой Любской стала развиваться. Вне сцены, однако ж, Мечиславский по-прежнему был робок и молчалив, особенно с Любской.

Любская не последовала привычке, принятой в кругу актрис и актеров, говорить друг другу «ты», она ограничилась только Остроуховым. Со всеми остальными она была далека.

Остроухов не мог понять, что делается с его другом: в Мечиславском с некоторых пор началось болезненное волнение и раздражительность. На репетиции он забывал иногда твердо заученную роль, обо всё спотыкался, и если приходилось обнять Любскую, то он не решался или так неловко это делал, что обрывал ей кружева, наступал на платье.

Ноготкова первая приметила странности Мечиславского и, зная, что ничто так не вредит молодой актрисе, как ее склонность к собрату, распустила слухи, будто Мечиславский влюблен в Любскую и пользуется ее расположением. На другой день почти весь город говорил об этом. Услужливые актрисы и актеры из любви к искусству сплетничать, под видом участия и дружбы, силою навязали Любской и Мечиславскому сплетни Ноготковой. Первая, пожав плечами, улыбнулась этому, как вещи невероятной, зато последний в первый раз вышел из себя и чуть не побил услужливого вестника закулисных сплетней.

Остроухов наконец догадался о состоянии Мечиславского, который с каждым днем делался мрачнее и мрачнее, не ел, не пил, всё сидел дома.

— Ну что ты делаешь? А? не стыдно ли? — так начал Остроухов, после неудачных усилий затащить Мечиславского обедать в трактир.— Ты поверил дуракам... да уж ты не тово ли?.. Да, брат, опоздал!

Остроухов подмигнул.

Мечиславский весь вздрогнул и резко спросил:

— Как?.. что?..

— Тьфу пропасть! ну что таращишь глаза! — с досадою сказал Остроухов, робко поглядывая на своего друга.— Ну что тут такого! дело обыкновенное; вот, слава богу! Что, она не такая же актриса, как и все?

— Ты знаешь его? — глухим голосом спросил Мечиславский, стараясь придать своему бледному лицу спокойствие.

Остроухов медлил ответом, смотря в лицо своему другу. Вдруг, махнув рукой, он со вздохом сказал:

— Поди в нашу кофейную: он там играет на бильярде. Высокий и красивый такой.

— Отчего ты раньше мне не сказал? — сжимая кулаки и стиснув зубы, закричал Мечиславский.

— А на что? — с упреком спросил Остроухов.

Мечиславский, ничего не отвечая, оделся, взял фуражку и вышел.

— Обедать, что ли? — глядя с участием вслед Мечиславскому, спросил Остроухов, но не получил ответа и махнул отчаянно рукой.

Содержатель кофейной дорожит близостью театра. До пробы, после пробы, во время спектакля и после — всегда публика, особенно бильярдная. В провинции это то же, что фойе французского театра. Тут зарождаются слава и падение актрис и актеров. Закопченные стены бильярдной слышат каждый день самые сокровенные тайны актрис. В такую кофейную спешат молодые купчики покутить с актерами, которые, прибежав с репетиции, поспешно едят и пьют на их счет и снова убегают за кулисы; сочинители драм, водевилисты — первые с важностию декламируют стихи из своих драм, вторые говорят не иначе как плоскими остротами и каламбурами из своих водевилей и поют всем и каждому свои вновь сочиненные куплеты. Туда же забегают отогреться полузамерзшие вздыхатели без капиталов после часового дежурства у подъезда, где выходят актрисы. Туда бежит и зевака развлечь себя и послушать сплетней, чтоб разнесть их потом по городу и в те дома, которые редко посещают театры.

В бильярдной всегда шумно. Известные игроки с важностью следят за игрой своего собрата с новичком. Говор, стук киев не умолкают. Табачный дым слоями стелется по комнате. Иногда только, в очень интересные представления, бильярдная отдыхает, и маркер, играя сам с собой, уныло мурлычет нараспев: «Два и ничего! тридцать и ничего!» Есть актеры, так привыкшие к шуму, что часто учат роль в бильярдной, и если не сбиваются, то, значит, она хорошо заучена.

Мечиславский пробрался прямо в бильярдную и, сев в угол, стал рассматривать играющих на бильярде. Высокий, красивый мужчина, с кием в руке, принимал важные позы после каждого своего удара, как бы приготовляясь к снятию своего портрета. С ним играл актер, лицо которого было испещрено черными бородавками; он резко отличался своими унизительными ужимками от гордоплавных движений своего партнера. Мечиславский не

спускал глаз с играющих, как вдруг позади его раздался сиплый голос:

— Здравствуй, Федя!

Мечиславский неохотно повернул голову: перед ним стоял небольшого роста господин с опухшим лицом; важно драпируясь в коротенький плащ, почти детский, и прищуривая глаза, и без того едва видные из заплывших век, он важно сказал:

— Послушай, какой я сочинил сюжет для своей новой драмы! чудо! — И господин с опухлым лицом, гордо закинув голову, продолжал: — Слушай же, и для тебя есть роль хорошая!.. Объявлена война; жених идет в поход; он приходит прощаться с своей невестой, которая страшно его любит, плачет, не пускает его. Раздается у окон бой барабана. Невеста падает в обморок. Жених, в отчаянии, бежит. Вдруг удар грома; молния ударяет в окно, разбивает его. Раскаты грома усиливаются, ветер воет, окно горит, наконец, стена в пламени, занавес опускается... А что, эффектно? а? — И сочинитель драмы самодовольно смотрел на Мечиславского, который машинально кивнул головой, не спуская глаз с играющих.— Первый акт будет называться «Прощанье и Буря»!.. Второго действия я еще не обдумал; но зато последнее... о-о-о! просто чудо!.. Эй, рюмку! — закричал он вошедшему слуге и, снова обратясь к Мечиславскому, с жаром продолжал: — Поле сражения, слышен бой барабанов и стрельба за кулисами... вдруг...

— Извольте! — проворно крикнул слуга сочинителю, который, выпив несколько рюмок сряду под счет слуги: раз и два, продолжал свой рассказ:

— Поле сражения, из-за кулис бегут русские и неприятель. А что лучше — турки или французы? — И, не дождавшись ответа, сочинитель продолжал: — Турецкий костюм живописнее на сцене. Но вот что плохо: ведь ваш режиссер не любит меня,— он уронит мою драму. А, да я отдам ее в бенефис Ноготковой! Поле сражения должно быть очень хорошо обставлено: солдаты, раненые и мертвые, валяются по сцене... недурно бы и лошадей разбросать. Ну да уж куда ни шло! Восемьсот выстрелов, кроме пушек,— вот главное! Ну, слушайте дальше: на руках своих офицеры тащат юнкера, раненого. Их окружают другие офицеры. Сражение выиграно. Офицер рассказывает о храбрости молодого юнкера, который был в походе его другом и грудь свою подставил под пулю, предназна-

ченную ему. Все приходят в умиление. Является доктор. Хотят осмотреть рану, расстегивают мундир. О, ужас — женщина!

«Владимир! — слабо говорит девушка.— Я твоя Ольга!»

«Ольга!» — кричит с ужасом Владимир.

«Я умираю! прости!» — и она подает ему обручальное кольцо.

Жених в отчаянии кричит: «И я тоже!» — хватает шпагу, прокалывает себя и падает возле своей невесты. Все плачут, слышен бой барабана... Ура! Множество солдат является на сцену с пленными. Вдали пожар и колокольный звон. Занавес опускается! — торжественно окончил сочинитель драмы и крикнул: — Эй, Петруша, анисовки!

И затем он начал сиплым голосом декламировать стихи, махая руками и с жаром ударяя себя в грудь.

Мечиславский ничего не слыхал: он жадно прислушивался к словам видного мужчины, который, рассказывая что-то, упомянул имя Любской. Сочинитель драмы в то время, держа рюмку в руках, важно декламировал, а слуга, стоя с подносом возле него, смеялся, осматривая изорванный локоть его фрака. Весь театр и всё, что принадлежит к нему, знало несчастного сочинителя драм, которые творились в несколько дней, по заказу актрис и актеров. В случае нужды сочинителя запирали в комнату, лишали сапогов, давали перо, бумагу и чернила да графин водки в день для вдохновения. И драма в пяти действиях с прологом в несколько дней являлась в свете, а потом и на сцене. Труды автора мало ценились актерами и актрисами. Рублей двадцать пять, данных в разное время по мелочам и с нотациею, что его драма ни гроша не стоит,— вот и всё награждение, какое получал сочинитель за свои труды. Он был принимаем актерами и актрисами только тогда, когда бывал нужен им, а в другое время его грубо выгоняли. Впрочем, эти господа и с лучшими авторами так поступали. Если хотите взять деньги, то надо быть очень осторожным: давая свою пьесу бенефицианту, нужно заранее сделать условие, а не то вместо денег получите в подарок булавку с фальшивыми бирюзами.

Сочинитель драмы, переговорив со всеми, опять подсел к Мечиславскому.

— Скажи-ка, Федя, неужели Любская пленилась этим молодцом, а?

И он указал на видного мужчину, который, в ту минуту проходя мимо, громко сказал, обращаясь к двум молодым людям:

— Господа! вечером к Любской: я дома.

Сочинитель драмы страшно засмеялся. Мечиславский вскочил с своего места и как вкопанный остановился, дико глядя на всех. Лицо его приняло мрачное выражение, которое, впрочем, скоро сменилось обычным кротким взглядом.

Мечиславский, склонив голову на грудь, задумался. Он думал о положении провинциальных актрис. Самолюбие женщины страшно раздражено на этом поприще. Туалет есть часть ее славы; а небольшого жалованья недостанет даже и на мытье тонкого белья!

Остаться твердою посреди вечного соблазна мудрено. Мечиславский судил по себе и знал, что сценическая жизнь требует роскоши и удаления всех мелочных забот.

— Глупа она! — начал сочинитель драмы.— Право, глупа! ведь он в дружбе с Ноготковой тож! Жаль, а тут может выйти драма! — И сочинитель начал декламировать стихи:

Отдай Гирея мне — он мой!

Мечиславский вздрогнул, провел по лицу рукой и кинулся из бильярдной.

А сочинитель воскликнул с жаром:

Но знай: кинжалом я владею:
Я близ Кавказа рождена!!!

Глава XV

ПРОБА

Во время репетиции внутренность провинциального театра представляет жалкий вид. Партер и ложи темны и пусты; самая сцена освещена тускло — свечами оркестра или лампами. Голубоватый дневной свет, пробивающийся в каждую щелку, ложится полосками по неровному полу; кулисы обнажены; вместо парусинных дерев или дверей и окон видна одна грязная лестница, упирающаяся в потолок сцены, который весь усеян разными блоками, веревками, свернутыми парусиновыми облаками; тонкие доски, как висящие мосты, перекинуты в разных направ-

лениях; по ним, покачиваясь, ловко перебегают плотники или декораторы с иголками и лоскутами парусины для починки порванной пещеры или облака; пропитанные маслом ламповщики лениво лазят по лестницам, приготовляя к вечеру лампы. Шум, гам во всех углах; таскают с одного места на другое декорации, выбирают нужную мебель в бутафорской. Бутафорская — небольшая шумная комната у самого оркестра, наполненная чучелами, чашками, канделябрами, мебелью и всеми принадлежностями уборки комнат; тут же ход в суфлерскую, то есть стул на возвышении: сядьте — и ваша голова очутится в широком отверстии, выходящем на сцену; туда также сажают под арест провинившихся хористов, а иногда даже и актеров. Остальное пространство под полом занято громадными колесами, рычагами, веревками. Плотники стучат топорами под шумные распоряжения машиниста, поминутно бегающего то наверх, то со сцены под пол.

Под этим-то громом и сумятицей идет репетиция какой-нибудь кровавой драмы или воздушного балета. Из фойе слышны пение, шарканье и задыхающийся голос, повторяющий: раз, два, три! Актеры и актрисы в разнообразных костюмах, кто в шубе, кто в сюртуке, кто в чепчике, кто в шляпке, кто закутанный в шерстяной шарф, шмыгают из кулисы в кулису. Главные актеры с ролями ходят по сцене в разных направлениях и, нахмурив брови, протверживают свои роли, которые держат у носу, с трудом разбирая их в темноте. Слышен страшный крик: «Место! место!» Тащат кулису; в то же время пронзительный голос декоратора раздается на сцене:

— Слева! № 1: тень!

Люк раздвигается до половины. Появляется голова рабочего и тотчас исчезает. Если ошибутся, декоратор бежит вниз с страшными угрозами.

Наконец действующие лица репетируемой пьесы собрались на сцену. Режиссер поминутно смотрит на часы и кричит:

— Господа, помните: пять минут осталось, только пять минут!

Дело режиссера обставлять пьесу, стоять за кулисами, выпускать хористов и актеров на сцену по ходу пьесы, которую он держит в руках, высылать актера, когда его вызывают. На репетиции он главное лицо: вычитает из жалованья, если актер не явится в назначенный час, делает выговоры.

— Все ли собрались? — кричит режиссер.

— Любской, Остроухова и Орлеанских нет,— отвечает суфлер из своей будочки.

Репетиция замедляется.

Между тем за кулисами две низшего сорта актрисы хвастают друг перед другом. Одна говорит:

— Мне вчера купил шляпку.

— А мне заказал салоп в двести рублей,— отвечала другая.

— Да, счастливые! — раздается вдруг поощрительное восклицание третьей женщины, которая, пользуясь темнотою, подслушивала.

К ним присоединился актер с неприятными ужимками, с лицом, испещренным бородавками. Поцеловав ручки хвастающихся и каждой наговорив множество лести, он спросил у одной из них:

— Ну а здоровье Василья Сергеича?

— Да, проказник! тебе на что? — было ему ответом; и слова эти сопровождались презрительным взглядом.

— О, какие вы злые! а я-то как старался, ей-богу: всякий день всё только про вас и твердил ему!

— Да, несчастная! воображаю! — воскликнула опять актриса.

Актер отошел и, обращаясь к другой кучке актрис, горячо споривших, заметил, указывая на прежнюю свою собеседницу:

— Как вздернула нос-то!

— Кто? а? — в один голос спросили все.

— Купоркина! — отвечал актер.

— Правда, что Василий Сергеич хочет на ней жениться? — вся побагровев, спросила одна из них; прочие громко засмеялись.

— Чему вы здесь смеетесь?

Этот вопрос был сделан худенькой женщиной в коротеньком платьице, закутанной в большой платок, которая вдруг подскочила к толпе.

— А, здравствуйте!

И актер, украшенный бородавками, вытянул губы, чтоб поцеловать ей руку.

— Ай, девицы... ай, урод! — с сердцем закричала худенькая женщина и затопала ногами.

— Ну, виноват, виноват; а я вам хорошую новость хотел сказать: Бунин влюблен в вас до безумия; говорит: буду просить руки!

— Да, счастливая Настя! да, девицы! — воскликнуло несколько женщин разом.

Худенькая женщина самодовольно улыбнулась, ухватилась за кулису и начала делать батманы, стараясь задеть ногой актера, который, хохоча, гримасничал и ломался.

— Место, место! — крикнули два мужика, тащившие двухэтажную избу. Актрисы шумно разбежались.

На противоположной кулисе ссорились две молоденькие танцовщицы; вокруг них составился кружок.

— Ты думаешь, что он купец, так я тебе позволю вперед лезть, чтоб тебя все видели! Это мое место! — кричала белокурая очень недурная собой женщина; но гнев портил ее миниатюрное личико.

— Да, девицы, да, счастливая! шутка ли, какая важная особа! — отвечала другая танцовщица.

— Тише, господа, тише! — кричал режиссер, а сам прикладывал ухо, чтоб тоже послушать ссору, которая, может быть, кончилась бы трагически, если б в ту минуту не спустилась сверху дверь и не разлучила ссорящихся.

Сцена всё больше и больше наполнялась. Ноготкова, наряженная безвкусно, сидела на стуле у будки суфлера — место очень почетное. За кулисами больше ни о чем не говорили, как о новой шляпке Ноготковой.

— Да, счастливая, да, урод, да, девицы!! — раздавалось во всех углах и на все тоны. Актер с бесчисленными бородавками, присев перед Ноготковой, дивился и умилялся, нахваливая ее туалет.

— Экая красавица! всё на ней хорошо!

— Что же, пора? — крикнула Ноготкова.

— Любской еще нет! — отвечало несколько голосов разом из темных кулис.

— Я не намерена ждать всякую дрянь! — презрительно проворчала Ноготкова.

Актер с бородавками обрадовался случаю и начал передавать разные сплетни насчет Любской. Ноготкова громко смеялась. Запыхавшись, пришла толстая старая женщина, небрежно одетая, ухватками и лицом очень похожая на торговок, продающих картофель; впрочем, амплуа, которое она занимала, соответствовало ее характеру и фигуре. Ее фамилия была Деризубова. Она подскочила к актеру, сидевшему перед Ноготковой, и со всего размаху ударила его в спину, закричав:

— А ты, пострел, везде поспел!

Эта грубая шутка всех рассмешила. Актер с бородавками упал в ноги Ноготковой и заохал под общий хохот.

— Здравствуй, Машка! — дружески кивнув головой, сказала Деризубова Ноготковой и в ту же минуту стала осматривать ее туалет со всех сторон, делая отрывистые вопросы: — Что дала? аль подарили?

Ноготкова страшно преувеличивала ценность своих вещей,— слабость довольно обыкновенная у актрис: они думают возбудить зависть одних и приобресть уважение других, хвастаясь дороговизною подарков.

Появление Любской с Остроуховым привело в волнение всю сцену: каждый спешил посмотреть, как Любская одета. Простой ее наряд никому не понравился.

Режиссер встретил их следующими словами:

— Вы опоздали, с вас штраф!

— Две минуты,— отвечала Любская, смотря на свои часы.

Это возбудило шепот и перемигивание. В кулисах слышались восклицания: «Да, счастливая! какие маленькие — в четвертак!»

— Да как они ей достались? просто дура!

— Всё равно! — отвечал режиссер.

— Вы ошибаетесь: штраф положен за пять минут! — возразил Остроухов.

— Ишь какой! так и есть, как бы не так! — подхватила Деризубова, подбоченясь.— Мы-то чем хуже ее? небось ни минуты не заставляем ждать.

— Начинать, начинать! Дамы и гости, выходите! — закричал режиссер.

С середины сцены хлынул народ — стало просторнее. Из-за кулис появилось с одной стороны несколько хористок в разнородных костюмах с работою в руках; с другой — небритые, в сюртуках, хористы.

— Сделайте одолжение, дайте мне стул,— вежливо сказала Любская, обращаясь к кому-то из мужчин, стоявших за кулисами.

— Помилуйте, вы всю сцену заставите! — подхватил режиссер.— Нельзя! — крикнул он в кулису.

Ноготкова, постукивая ногой, насмешливо глядела на Любскую, которая, покраснев, отвечала горячо:

— Другие же сидят! — и она указала на Ноготкову.

— Мало ли что, голубушка! то другие! — сказала Де-

ризубова, гримасничая, и, подщелкнув языком, прибавила: — Знай наших!

Любская закусила губы и искала глазами стула за кулисами; вдруг из первой кулисы, совершенно темной, появилась фигура со стулом. То был Мечиславский; он неловко поклонился Любской и подал ей стул.

— Гляди-ка, Маша! Вот-то лабазник! — сказала Деризубова. Хохот раздался в некоторых кулисах.

Любская побледнела и хотела было идти к Деризубовой; но Мечиславский остановил ее, спокойно сказав:

— Пусть их тешатся своими грубостями. Оставьте их!

— Здоровы ли вы? — спросила Любская, глядя на бледное лицо Мечиславского.

Ничего не отвечая, он поспешно скрылся опять за кулису.

(То было то самое утро, которое встретил он под окнами знакомого нам дома.)

Хотели было начать репетицию; но оказалось, что Орлеанских нет. Это были муж с женой — первые актеры, хотя супруга имела единственный дар: так кричать, что за кулисами все боялись ее; а на сцене в патетических местах ей иногда даже удавалось голосом своим производить эффект. Она вмешивалась во все сплетни, вечно ссорилась и через своего мужа имела голос у содержателя театра и любителей. Она льстила тем, в ком видела выгоду, и тотчас начинала притеснять их, как только добивалась своей цели. Несмотря на то что у ней было огромное семейство, она имела претензию на молодость и красоту. Как драматическая актриса, играя часто герцогинь и разных важных дам, она приобрела привычку ходить с необыкновенной торжественностию — мерно, тяжеловесно,— глядеть важно; но не очень чистые поступки и льстивые слова не соответствовали ее величавой осанке.

Остроухов встретил Орлеанских объявлением о штрафе, которым угрожал режиссер всем опоздавшим.

— Что! штраф?! — грозно повторила Орлеанская, подходя к режиссеру.

Режиссер нежно улыбался и ловил руку Орлеанской, чтоб поцеловать, приговаривая:

— Ей-богу, совладать нельзя: все хотят тянуться за вами!

Орлеанская самодовольно улыбнулась, презрительно посмотрела на всех присутствующих и засмеялась громко.

Режиссер забил в ладоши: все расступились. Орлеанская, понюхав табаку, удалилась в глубину сцены. Ноготкова встала и пошла за нею; они поздоровались. Орлеанская выступила медленно, с страшным топотом, вероятно думая сообщить своей походке величие герцогинь (она должна была играть роль герцогини), и прочла монолог; Ноготкова читала свой, поминутно останавливаясь, и если суфлер ей подсказывал, она кричала:

— Ах, надоел! я знаю! не сбивай!

Явился Орлеанский с ролью в руках; он стал на колени перед герцогиней (то есть своей женой) и сделал вид, будто подает бумагу.

— Встань! — важно сказала герцогиня.

Орлеанский начал читать свою роль; в то время жена его разговаривала с Ноготковой о шляпке и о Любской.

— Герцогиня! Итак, спеши! — кричал суфлер.

Орлеанский заметил своей жене, чтоб она или болтала, или репетировала.

— Что ты меня учишь? Я свою роль знаю, по мне хоть и не репетировать.

Однако ж Орлеанский окончил сцену как следует, а жена, назло ему, пробормотала свою кое-как. Орлеанский должен был прийти поцеловать руку у герцогини, чего он не исполнил, потому что супруга его в то время стояла к нему спиной и болтала. Он пошел было вон со сцены, но вдруг остановился и спросил режиссера:

— А с вашей стороны дверь будет?

— С левой! — отвечал ему режиссер.

— Да помилуйте, я должен спиною повернуться к герцогине... что вы?

— Что делать! декорации старые: не приходится дверь иначе, как налево.

Репетиция приостановилась, потому что Орлеанский долго спорил с режиссером об двери.

Когда настала минута репетировать Любской с Мечиславским, последний пришел в сильное волнение; в голове его закружилось, в ушах зазвенело.

— Герцог! Я исполнил долг свой! — кричал ему суфлер.

Но волнение Мечиславского возрастало. Он не спал всю ночь и слишком много выстрадал в несколько часов. Силы видимо изменяли ему. Заметив возрастающую бледность его лица, Остроухов подскочил к нему, и Мечиславский, пошатнувшись, упал без чувств на руки своего друга.

— Что с вами? — с испугом спросила Любская.

— Ничего, так; дурно ему,— сказал Остроухов.

Но слово «Пьян! пьян!» раздавалось всюду.

Режиссер подошел и сказал Мечиславскому:

— С вас штраф и под арест, по приказанию Ивана Артамоныча.

— Какой штраф! смотри, он, может быть, уж не дышит! — гневно сказал Остроухов. И, обращаясь к кулисам, закричал: — Братцы, пособите!

— Надо доктора! скорее доктора! — кричала Любская, заглянув в посинелое лицо Мечиславскому.

— Выспится! всё пройдет! — смеясь, заметила Деризубова.

Мечиславского отнесли в уборную. Сделалось смятение. Во всех кулисах только и говорили, что об Мечиславском и Любской. Но скоро сцена очистилась; в оркестре начали настроивать инструменты. Пол улили водой; забегали танцовщицы в коротеньких платьях. Заиграла веселая музыка, и зашаркали.

Мечиславский и Любская были совершенно забыты.

Глава XVI

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ТЕАТРАЛ

В одиннадцать часов утра, в комнате, довольно пышно убранной, сидел за туалетом господин важной осанки, очень пожилых лет. Камердинер страшно суетился около своего барина, который, вымывшись десятью сортами мыла, вылил банку жидкости на свое лицо, отчего желтизна исчезла, а вслед за тем выступил на щеках нежный румянец. Брови были слегка подкрашены, остатки седых волос густо были смазаны черным фиксатуаром и все торчали кверху, с целью скрыть лысину, которая едва виднелась, как пруд, заросший травою. Обвислый подбородок подтянулся черным высоким атласным галстухом, а воротнички рубашки врезались в его щеки и тем скрыли не одну морщину. Корсет придал пышности его изумительно выпрямленной талии. И когда туалет был окончен, камердинер мог с гордостью сказать, что труды его увенчались полным успехом, потому что господину с важной осанкой смело можно было убавить несколько лет. При вступлении

в кабинет первым делом господина с важной осанкой было посмотреться во все зеркала, которых было тут девять, и потом уже усесться на диван за круглый стол, на котором был сервирован кофе. Кабинет своей меблировкой очень походил на самого владельца. Хотя всё уже было подержанное, но с первого взгляда казалось роскошно и эффектно: везде позолота, бархат; но всё это, начиная с цвета лица господина до серебряного сервиза, из которого он кушал кофе, всё было фальшивое, исключая только попугая, заключенного в клетке, да огромной черной собаки, лежащей на бархатной подушке у топившегося камина. Слегка высохшие цветы на окнах, картины в позолоченных и закопченных рамах, статуэтки, почерневшие от времени,— всё вместе было как-то уныло, так что становилось не только жаль самого владельца этого кабинета, но даже собаки и попугая его.

Впрочем, письменный стол один имел отпечаток жизни: на нем стояло до десяти женских портретов в характерных костюмах с эффектными позами. По столу валялись башмачки танцовщиц, браслеты, сухие цветы, перчатки, а под стеклянным колпаком на бархатной красной подушке лежала женская ножка из гипсу. Тут же стояла коллекция бабочек. Он уверял, что сам ее составил.

Пока господин с важной осанкой пил кофе, у него перебывало множество просителей, в том числе и кредиторы. Надо было изумляться любезности и ловкости, с какою обходился он со всеми, так что почти все без исключения оставались им довольны; кредиторы, обезоруженные и как бы пристыженные его любезностью, сами же просили извинения, что беспокоили его.

В числе просительниц была и знакомая нам прачка с дочерью. Катя понравилась важному господину, и он обещал пристроить ее куда-нибудь.

Потом явилось несколько молодых людей, из разговора которых можно было сейчас догадаться, что они принадлежат к числу самых страстных театралов. Все сплетни кулис и даже партера — всё было передаваемо наперерыв друг другу. Когда коснулись Любской и Мечиславского, господин с важной осанкой оправил важно галстух, может быть, чтоб скрыть некоторое волнение, и равнодушно сказал:

— Господа, я нахожу, что вы уж слишком черните ее, хоть я и не из числа ее поклонников.

Гости выразительно переглянулись между собою, потому что, как им были известны тайны кулис, столько же

тайны театралов были доступны каждому, кто желал их знать. Весь театр, даже почти весь город, знал, как господин с важной осанкой ухаживал за Любской, но не достиг ничего. Сначала он подсылал своего камердинера и его приятелей в театр, когда играла Любская, чтоб аплодировать ей и вызывать до пяти раз, потом сажал их, чтоб шикать. Всем были известны многочисленные меры, перепробованные им, и его равнодушию мало верили.

— Я вас уверяю, что это правда,— с жаром подхватил молодой человек в необыкновенно узком платье и с лицом, усеянным угрями.

— Фи, фи! какое злословие, господа! в наше время мы заглушали такие слухи, а вы их распускаете.

— Дашкевич хочет его вызвать на дуэль,— проговорил молодой человек с угрями.

При этом имени лицо господина с важной осанкой заметно искривилось; но он сладким голосом сказал:

— Я его считаю за порядочного человека: если б даже слухи были справедливы, он не стал бы драться со всяким. Он уже доказал свое благородство в истории с нашей милой пери.

На последние слова было сделано ударение довольно сильное, так что некоторые улыбнулись, взглянув на молодого человека с угрями, который, запев себе под нос, замолчал.

В третьем часу господин с важной осанкой, надев шляпу и натянув перчатки на свои руки, унизанные кольцами, обошел дозором все зеркала и у каждого нашел что-нибудь поправить в своем безукоризненном туалете. Собака, попугай и камердинер следили за каждым движением своего хозяина, и когда он вышел из кабинета, попугай пронзительно вскрикнул, как бы обрадовавшись, и стал качаться на кольце; собака вытянулась и улеглась на полу. Вернувшись в кабинет, камердинер с важностию занял у стола место своего барина и стал допивать холодный кофе.

Господин с важной осанкой был из числа любителей театра, хотя, кроме советов, он уже ничем не мог помогать содержателю его, потому что имение его было в долгу и он сам едва мог поддерживать свои разорительные привычки. Но он имел голос между любителями театра, вследствие чего актеры и актрисы дорожили его покровительством.

Калинский — так звали господина с важной осанкой — некогда был богат, когда-то хорош собой; но всё это было

в прошедшем. Один Калинский еще воображал себя молодым человеком, красивым и богатым, хотя воображать последнее было довольно трудно, потому что кредиторы часто напоминали ему противное. Но всё-таки с помощью ловкого камердинера Калинский обделывал свои дела и жил роскошно, судя по наружности.

Калинский молодость свою провел не столько с пользою, сколько с удовольствием; он ухаживал тогда за актрисами, ставил на карту большие куши, услаждался дорогими винами и решительно не заметил, как прошла не только его молодость, но даже как с годами прибавилось долгов на его большом, но уже заложенном имении. Продав часть своего имения, он не мог оставаться жить в столице, где страдало его самолюбие, где начинали уже говорить о красоте и победах других молодых людей, хвалили ценный подарок, сделанный актрисе не им, а каким-нибудь купцом. В провинции Калинский ожил вновь, сделался предметом разговора всех, и где недоставало ему денег, он употреблял хитрости, интриги, так что в ту минуту, когда мы познакомили его с нашими читателями, Калинский смело шел, не останавливаясь, к достижению своей прихоти или удовлетворению своего самолюбия и не задумывался ни перед какими средствами, лишь бы иметь успех. Любская имела в лице Калинского самого злейшего врага; он был главною пружиною неприятностей между Любской и Ноготковой; равно и в публике он устроивал всегда так, что если Любская играла вместе с Ноготковой, то последнюю непременно лишний раз вызывали, а Любской даже шикали, хотя шиканьем он только сердил публику, которая с досады принималась рукоплескать Любской. Он также научил содержателя театра, раболепствовавшего перед всеми любителями театра, потому что они делали ему большие вспомоществования, не давать пьес, в которых Любская имела успех. Ноготковой шили для новых ролей новые костюмы, а Любской перешивали старые. Трудно передать все мелочи, которые самого агнца в состоянии рассердить, а не только женщину раздражительную и самолюбивую...

Через неделю после визита своего к Калинскому прачка решилась идти просить Любскую о ходатайстве: так как Калинский много расспрашивал Катю о Любской, то прачка надеялась, что он для Любской похлопочет о Кате.

— Здравствуйте, Олена Петровна! — низко кланяясь,

сказала прачка, войдя в одиннадцать часов утра в кухню к Любской.

— Ну, здравствуй! — отвечала небрежно женщина лет тридцати, с лицом, бровями, ресницами, губами, глазами и волосами пепельного цвета. Роста она была очень высокого и неимоверно сухощавого сложения, грудь впалая, руки длинные, плечи сутуловатые, которыми она поминутно передергивала. К довершению прелестей, одна щека у ней припухла, что придавало ее лицу какое-то постоянно гордое, саркастическое выражение.

Она была горничная Любской и в эту минуту распивала кофе.

— Олена Петровна, матушка, будь моей Кате второй матерью.

— Ну, что нужно? — грубо перебила горничная прачку.

— Замолви словечко: скажи, что, мол, сударыня, пришла прачка.

— Что учишь-то! разве не умею говорить, что ли? Чего ты хочешь?

— Попросить вашу барыню, чтоб она замолвила словечко об Кате.

И прачка умильно глядела на горничную, которая презрительно отвечала:

— А! небось теперь: «Олена Петровна, мать вторая!» — а то, не спросясь никого, полетела... туда же — хочет, чтоб дочка актрисой была!

— Матушка Олена Петровна, посуди сама: ну что я, бедная, ну куда я ее пристрою?

— А отчего она не может быть прачкой аль горничной? чем мы хуже ее? Не в свои сани садишься!

Прачка тяжело вздохнула и с покорностью отвечала:

— Олена Петровна, ведь я ей мать. Ну как не пожелать своему детищу счастья?

— Великое счастье — кривляться! — с презрением воскликнула горничная и вслед за тем грубо прибавила постучавшемуся в дверь: — Ну, кого еще несет?

Дверь раскрылась: показалось лоснящееся лицо небольшого мужчины средних лет, опрятно одетого.

— Ах, Семен Семеныч! — передернув плечами, закатив под лоб свои пепельного цвета глаза и заморгав быстро ресницами такого же цвета, нежно воскликнула горничная.

Семен Семеныч был камердинер Калинского. Он с утонченною учтивостью расшаркался с горничной и с прачкой,

у которой осведомился о здоровье мужа, на что получил ответ:

— А что ему, батюшка, делается! лежит себе да возится с негодными котами.

— Ваша барыня спит? — спросил, улыбаясь, Семен Семеныч.

— Хороша барыня! — насмешливо отвечала горничная и с любопытством спросила: — А вам на что, Семен Семеныч?

— Вот-с!

И Семен Семеныч показал письмо, лукаво улыбаясь.

— Ну уж... право... вы ведь знаете, как она мне грозила, если я буду с вами знакома.

— Ничего-с! тут вот-с насчет ихней Катеньки сказано-с!

— Ах, боже ты мой, родной, ну как его милость...— завопила прачка.

— Ну что горланишь! — сказала горничная и, закатив глаза, обратилась к Семену Семенычу: — Вы уверены, что из этого письма ничего не выйдет?

— Не извольте сумлеваться: я лукавствовать с вами не стал бы,— отвечал Семен Семеныч и подал горничной небольшой из серой бумаги мешок, сказав нежно: — Не угодно ли полакомиться, Елена Петровна?

— Ах-с, я и так бы... зачем? — жеманясь, проговорила горничная.

Семен Семеныч, вскрыв его, поднес горничной, лукаво глядя на нее, и сказал:

— Отведайте: по вкусу ли?

— Что это, ах... как это можно... какой вы, право! — радостно восклицала горничная, схватив мешок. И, вынув из изюма кольцо с бирюзой, она надела на свой костлявый длинный палец.

— Золото-с, с настоящей бирюзой-с! — проговорил Семен Семеныч.

Дверь в сени с шумом раскрылась: ввалился чрезвычайно высокий мужчина в фризовой шинели и басом прокричал:

— Завтра репетиция «Дочери-преступницы», в одиннадцать ровно!

— Ну что вопишь, словно режут!

— Да ведь надо же, так требуется, Олена-матушка.

— Ну, мужлан!

— Дай водочки!

— Как же! здесь не кабак.

— Ишь, злая!

И, подразнив горничную, высокая фигура с шумом скрылась. Затем явился краснощекий молодой человек с приятной улыбкой, одетый очень чисто, с узлом под мышкой. Вежливо раскланявшись с горничной и со всеми в кухне, он скоро пробормотал:

— Насчет-с герцовских платьев!

— Спят,— отвечала горничная.

— Я подожду-с: нужно примерить-с.

— Поздно легла.

— Так позвольте оставить; я зайду через час.

— Хорошо.

Не прошло минуты, как ввалился кучер и медленно произнес:

— Карета приехала, сидят.

— Какая карета! не знаешь, что ли, что наша по утрам не ездит теперь в ваших корзинках? Да покажи записку!— крикнула горничная.

Кучер подал лоскуток бумаги, на котором было написано с десяток фамилий актеров и актрис, которых следовало ему забрать и привезти в театр на пробу.

— Потрудитесь, Семен Семеныч,— передергивая плечами, сказала горничная, подавая камердинеру бумажку.

Семен Семеныч прочел и объявил, что даже фамилия Любской не написана.

— Да я ведь почем знаю? Дали записку сегодня: поезжай! я был вчера здесь, ну и думал, что и сегодня надо.

— То-то вы, простота! а кабы я разбудила!

Раздался колокольчик из комнат, и горничная, распростившись с гостем и взяв от него письмо, пошла на зов. Прачка затянула свою песню: «Устрой мою Катю: я за тебя век буду бога молить» и так далее.

Глава XVII

ЗАКУЛИСНАЯ СПЛЕТНЯ.— ПРАЧКА УСТРОИВАЕТ СУДЬБУ СВОЕЙ ДОЧЕРИ

Письмо Калинского было содержания очень обыкновенного между провинциальными актрисами. Под видом преданности к Любской он извещал ее, что один господин, прикидывающийся преданным ей, в день именин поднес

Ноготковой <браслет>, да еще с надписью, хотя взятой с известного памятника, но всё-таки оскорбительной для нее, если она считает его в числе своих друзей. Надпись следующая:

Завистниц имела,
Соперниц не знала.

Любская в волнении едва могла дочитать письмо. В ее голове быстро пронеслись слова и взгляды актрис за кулисами, которых она не брала на себя труда объяснить. А поспешность, с которою Дашкевич оставил ее вчера утром, не дав положительного ответа, куда он так торопится, подтверждала слова Калинского. В глазах потемнело у Любской, и она, как статуя, оставалась в неподвижности. Ничего не может быть ужаснее в жизни женщины, как узнать о торжестве своей соперницы, сознать его, и, к довершению всех мучений, перед множеством людей, которые, как докучливые комары в летний жаркий день, кусают вас со всех сторон своими ядовитыми насмешками, и нет средств укрыться от них: они найдут место пропустить свое жало.

Недоумение Любской недолго продолжалось. Она поспешно оделась и явилась на репетицию. Это присутствие духа и смелость явиться в такую минуту за кулисы доказывали, каким характером обладала Любская. Она знала обычай Ноготковой на другой день именин являться на репетицию, даже если она не участвовала в ней, во всем, что было подарено ей, а в случае и куплено самою, но выдано за подарки. И не ошиблась: она застала Ноготкову разряженную как куклу; толпа актрис и актеров разглядывала ее наряд и хором хвалила всё. Несмотря на быстрый переход от утреннего света к темноте сцены, Любская тотчас же заметила массивный браслет на руке своей соперницы, которая с убийственною улыбкою поправила его.

Как ни считала себя Любская выше мира, в котором находилась, однако колени у ней задрожали, когда она увидела браслет, переходящий из рук в руки актеров и актрис. Последние восклицали:

— Да, счастливая!.. Да, весело!.. Да, девицы!..

— Не правда ли, хорошенькая вещица? — спросил ее актер с бесчисленными бородавками на лице.

Любская выхватила у него браслет и готова была бросить его в темный оркестр; но восклицания присутствую-

щих образумили ее; дрожа всем телом и силясь улыбнуться, она осталась с поднятой рукой, как бы любуясь браслетом издали, и потом молча вручила его актеру с бесчисленными бородавками, который спросил:

— Ну что, хорош?

Любская молча кивнула ему головой.

— Надпись есть.

И актер с бесчисленными бородавками громко и торжественно прочел:

Завистниц имела,
Соперниц не знала.

А. Д.

Любская почувствовала в эту минуту прикосновение чьей-то руки: то был Остроухов, приближения которого она не заметила. Остроухов тихо шепнул ей:

— Иди отсюда: ты не вынесешь этой пытки.

Любская кинулась в темную кулису и, прислонясь к ней, тихо зарыдала.

— Тише, ради бога, тише: ты им подашь еще более поводу тешиться над собою.

Любская пугливо огляделась и дрожащим от гнева голосом спросила:

— Все знают?

— К несчастью, ты узнала последняя.

— Как?! — с ужасом и негодованием воскликнула Любская.— Неужели всё было ложь?

— Как видишь,— грустно отвечал Остроухов.

— Вы знали прежде?

— Да.

— Зачем же мне ничего не говорили?

— Ты так гордо держишь себя с нами, то есть с Федей.

— Он здесь? Боже, где он? — пугливо воскликнула Любская.

— Его здесь нет: он что-то болен.

Любская свободно вздохнула.

Парусинные кулисы, где говорила Любская с Остроуховым, заколыхались слегка. Остроухов приложил палец к губам, переменил разговор и тихо шепнул Любской:

— Смейся!

Любская засмеялась.

— Громче! — шепнул Остроухов и стал болтать разный вздор.

Смех Любской привлек многих актрис и актеров к ку-

лисе. Любская с Остроуховым смеялись на всю сцену, так что режиссер закричал:

— Говорю вам: штраф! тише! тише!

Уходя с пробы, Остроухов пожал Любской руку и с гордостью сказал:

— Если ты будешь так продолжать, вспомни меня — ты сделаешься замечательной актрисой.

Эта похвала вызвала слезы, которые изобильно текли по щекам Любской; выражение ее лица и всей фигуры было так убито, что Остроухов, сажая ее в карету, строго сказал:

— Неужели ты не имеешь гордости и приходишь в отчаяние от таких вещей, на которые должно отвечать смехом, как ты и сделала. Знаешь ли, что веселость твоя лучшее и самое верное мщение?.. Будь весела, поезжай куда-нибудь, где бы тебя могли видеть веселой,— одним словом, сделайся актрисой сегодня не за кулисами, не на сцене, освещенной лампами, а при дневном свете.

— Мне скучно! мне тяжело! — проговорила Любская, закрывая лицо руками.

— Вздор! ты должна быть сегодня веселой!

И, захлопнув дверцы, Остроухов велел кучеру ехать в модный магазин на главной улице города, сказав Любской:

— Ради бога, купи к завтраму себе какую-нибудь обновку. Проба в двенадцать часов.

Любская, поплакав в карете, скоро перестала, как бы вспомнив советы Остроухова. Она купила себе новую шляпку и возвратилась домой.

Но на лестнице она была испугана прачкой, которая, упав ей в ноги, загородила дорогу и завыла.

— Что такое? что? — пугливо спросила Любская.

— Сделайте милость, матушка! заставьте богу...

— Да скажи, что тебе? — нетерпеливо воскликнула Любская.

— Съезди ты, мать родная, благодетельница, к его милости!

— К кому?

— К Лиодору Алексеичу Калинскому; его милость намеднись пообещал определить мою Катю, а сегодня понесла ему белье: я, говорит, не могу; госпожа Ноготкова сама изволила заезжать ко мне и просить о своей какой-то родственнице. Ведь она человек богатый; а я, я-то где возьму деньги учить мою Катю?

И прачка завыла.

Слезы действовали неприятно на Любскую; она с жаром просила прачку перестать.

— Сами знаете, девочка умная: за что пропадет! А где мне взять? шутка ли — сколько корзин должна перегладить, перестирать! ну где мне и прожить-то долго...

Прачка готовилась еще пуще завыть.

— Не плачь, пожалуйста: я сейчас же поеду сама к нему,— сказала Любская и стала защищаться от прачки, которая, вознося ее доброту, ловила у ней руку, чтобы поцеловать...

Калинский тотчас же был уведомлен о предстоящем ему визите чрез своего камердинера, который находился у Куприяныча в гостях, когда прачка вбежала домой с сияющим лицом.

В ожидании Любской Калинский изыскивал себе эффектную позу. Сначала сел в кресле с книгой и приказывал собаке положить голову ему на колено. Наконец предпочел сесть у письменного стола, разбросав по нем бумаги и книги, и углубился в занятия, как только заслышал звонок в передней.

Камердинер, с шумом раскрыв дверь, возвестил прибытие Любской. Калинский с минуту оставался как бы пораженным, потом радостно кинулся к ней и, усаживая ее на диван, воскликнул:

— Боже! чему я обязан счастьем видеть вас у себя?

— Я думаю, очень обыкновенному случаю для вас: я, как и другие, приехала к вам с просьбой,— отвечала Любская.

— Приказывайте! — наклонив почтительно голову отвечал Калинский.

— Я прошу вас определить очень хорошенькую девочку.

Калинский задумался.

— Я вас умоляю,— не без кокетства произнесла Любская: она жаждала случая хоть чем-нибудь отмстить своей сопернице.

— О! для вас я готов изменить своему слову! — восторженно воскликнул Калинский.

— Поверьте, что совесть ваша будет вознаграждена: вы сделаете истинно доброе дело.

— Я забуду всё, чтоб угодить вам. Это цель моей жизни...

Калинский остановился, заметив легкое содрогание Любской, которая гордо взглянула на него; с минуту они пытливо глядели друг на друга.

— Вы сердитесь на меня? — спросил Калинский.

— Кто? я? за что? вы опять заговорили по-старому? — покойно отвечала Любская.

— Нет!

— За письмо?..

Любская засмеялась.

— Как вы веселы! — с удивлением заметил Калинский.

— Отчего же мне скучать?.. Я окружена людьми, которые заботятся обо мне, исполняют мои...

— О, я вижу, вы по-прежнему меня не понимаете и всё толкуете в дурную сторону...

— Мое мнение изменится, если вы исполните мою просьбу.

— Для этого я готов принести всё в жертву!

Любская встала.

— Вы бежите,— с грустью заметил Калинский.

— Вы, кажется, были заняты: я боюсь...

— Как вы злы! неужели вы не знаете, что вас видеть для меня...

— А много говорит ваш попугай? — перебила его Любская.

— Он забавен, а главное — ужасно привязан ко мне; впрочем, я любим всеми, кроме...

— Вы, как Робинзон, окружены зверьми,— сказала Любская, указывая на собаку.

— Да, это верное животное и очень привязанное ко мне.

— Зачем же она на веревке? — спросила Любская.

Калинский смешался, но тотчас же отвечал с приятной улыбкой:

— Она ревнива ко мне.

Любская улыбнулась, попросила, чтоб отвязали собаку, и сказала:

— Я вас уверяю, она ничего не сделает, по крайней мере мне.

Не скоро удалось Калинскому освободить свою собаку: она не давалась ему, и когда наконец ошейник был снят, кинулась под диван и заворчала.

Любская кусала губы от смеху, потому что Калинский весь побагровел, нежными словами выманивая собаку,

которая рычала всё сильнее; попугай присоединился к ней своим криком.

— Они сегодня меня бесят! впрочем, это понятно: они никогда не видали у меня в кабинете дамы.

— И потому их ревность не имеет границ,— перебила Любская и, еще раз повторив просьбу свою, раскланялась и вышла.

Экипаж ее не успел еще отъехать от крыльца, как по всей квартире Калинского раздался вой собаки и крики попугая.

Калинский сердито кричал своему камердинеру, тащившему собаку за шиворот из-под дивана:

— Скажи собачнику, что гроша не дам, если не приучит ее лежать на подушке без привязи и не отвадит лазать под диван.

И он принялся наказывать вызолоченной палочкой своего попугая.

По возвращении домой душевное напряжение Любской разрешилось отчаянием, которое не было тихо и безвыходно: нет! рыдания ее были гневны; краска на лице, взгляды и движения доказывали, что для ее горя есть еще облегчение; известно, что ничего нет страшнее тихой скорби.

Любская написала к Дашкевичу письмо и приказала отдать, когда он приедет, а сама заперлась в спальне.

В то самое время, когда для Любской всё окружающее казалось печальным и мрачным, прачка находилась наверху блаженства: Семен Семеныч явился к ней с извещением, чтоб она везла Катю в ученье. Прачка бросила недоглаженную юбку, ахала, смеялась, кидалась во все углы, собирая узелок для своей дочери, и поминутно восклицала:

— Господи! господи! чем я ей заслужу?

Или:

— Вот и моя Катя будет в карете ездить и шелковые платья носить!!

— Я приду домой завтра? — приставала Катя к матери с вопросами.

— Глупенькая, скорее надень чистые чулки да пойдем проститься к верхней барыне.

— Я надену и новый платочек?

— Да, да! Куприяныч! попотчуй водочкой-то Семена Семеныча!

И прачка сунула в руку камердинеру красную бумажку.

Он с любезностью поклонился.

— Ну, прощайте,— сказала прачка.

— С богом-с,— отвечал Семен Семеныч.

Прачка уже взялась за ручку двери, как остановилась и воскликнула:

— Что это, я, кажись, от радости рехнулась! Катя, простись с отцом да помолись богу!

И прачка усердно стала молиться.

Катя последовала примеру матери.

— Ну, прощайся! — сказала прачка, толкнув Катю к Куприянычу.

Катя нехотя подошла к нему и тихо сказала:

— Прощайте!

— С богом, прощай! — отвечал равнодушно Куприяныч и в первый раз поцеловал Катю в лоб.

— Перекрести! — заметила прачка своему мужу.

Он перекрестил.

Прачка сняла с шеи маленький серебряный образок и, благословив дочь, схватила ее за голову, прильнула к ней губами и заплакала. Катя, не понимая, впрочем, о чем плачет мать, тоже заплакала, и рыдания наполнили подвал.

— Полноте-с, о чем тут плакать, сами изволили желать! — заметил Семен Семеныч.

Куприяныч ничего не говорил. Он пожимал только плечами и насмешливо глядел на свою жену.

Прачка ничего не слушала; она дрожащими руками крестила свою дочь, целовала ее голову, даже руки и длинные косы, и, прижав девочку к своей высохшей груди, твердила:

— Катя, не забудь свою мать, не забудь ее!

Семен Семеныч, видя, что слезам прачки не будет конца, сказал:

— Что это-с вы ребенка-то пугаете: ведь они заробеют!

— Ах, батюшка, будет ли она счастлива! — воскликнула прачка и рыданием заглушила свои слова.

— Ну ведь у ней опухнут и покраснеют глаза; скажут еще, что болезнь какая,— нетерпеливо отвечал Семен Семеныч на вопрос прачки о судьбе дочери.

Прачка прекратила свои рыдания, перекрестив и поцеловав в последний раз дочь, вытерла ей слезы, пугливо поглядела ей в лицо и нетвердым голосом сказала:

— Ну, пойдем!

И прачка печально вывела за руку свою дочь из подвала.

В кухне Любской был большой беспорядок. На плите кипел бульон; недоглаженное платье было забыто горничной, которая, важно облокотясь на доску, кричала страшно. Перед ней стояла маленькая женщина в шелковом салопе и в шляпке с помятыми цветами. То была горничная Ноготковой. Денщик с нафабренными усами, с гордой осанкой, стоял в шинели, навьюченный чубуками, фуражкой, саблей и сюртуком.

Сидоровна, вся в лохмотьях, с веревкой в руке, жалась в углу у дров, только что ею принесенных.

Разговор был горячий между горничными и денщиком. Они не скоро заметили приход прачки, ее дочери и Семеныча. Елена Петровна встретила последнего радостным восклицанием; но камердинер не заметил ее и прямо адресовался с вопросом к денщику:

— Переезжаете?

— Да, мы любим по-походному: сегодня здесь, а завтра там.

И он указал на горничную Ноготковой, которая отвечала:

— Да я не то что Олена Петровна: я воли вам не дам-с.

— Ну так мы приступом возьмем.

Смех раздался в кухне.

— Прощайте, Олена Петровна,— начала прачка, толкая Катю, которая протянула губы к горничной.

— Это куда разрядилась? — спросила горничная Любской.

— Учиться,— с гордостью отвечала Катя.

— А глаза что красны: мать, что ли, била?

— Ах, Олена Петровна! когда же я ее била? — обидчиво заметила прачка.

— Мы пришли проститься с вашей барыней.

— Некогда — плачет! — отрывисто отвечала горничная и подмигнула денщику, который самодовольно закрутил усы.

Семен Семеныч лукаво улыбнулся и шепнул горничной Ноготковой:

— Чай, и ваша скоро заплачет?

— Наша не из таких: она плакать не станет, а глаза выцарапает.

И она обратилась к Олене Петровне и озабоченно продолжала:

— Так розовое наденут? Ну и наша розовое, только с иголочки. Прощай, Оля! Заходи кофейку испить.

Горничные дружно поцеловались и расстались.

— Важнеющая особа! — заметил денщик, провожая глазами горничную Ноготковой.

— Да, только язык-то длинен! — с сердцем заметила Олена Петровна.

Прачка обратилась к ней с вопросом:

— Нельзя ли доложить?

— Отвяжись ты от меня! — грубо закричала Олена Петровна. И, закатив глаза под лоб, она обратилась к денщику и нежно сказала: — Прошу лихом не вспоминать нас. Заверните когда-нибудь вечерком.

Денщик гордо раскланялся и ушел.

Сидоровна и ему отвесила всегдашний раболепный поклон, на который обыкновенно никто из приходящих и уходящих не отвечал ей.

Через полчаса Катя сидела на скамейке в спальне у Любской, которая переплетала густые косы будущей актрисы.

В кухне Сидоровна раскладывала на столе карты на будущую участь Кати. Прачка, пригорюнясь, то радостно улыбалась, то тяжело вздыхала, наблюдая предсказание засаленных карт Сидоровны, которая вечно носила их за пазухой.

Куприяныч один был равнодушен к будущности Кати. Он бегал со щипцами по комнате, бросался на пол, ловя желто-серого кота, который в зубах держал мышонка. Наконец Куприянычу удалось поймать за хвост серого кота и выхватить из его зубов жертву. Он кинул мышонка к черному коту и напряженно следил за движениями своего любимца, который, царапнув лапкой мышонка и понюхав его, медленно отошел.

В то время воротилась прачка с грустным лицом; Катю же повезла сама Любская. Куприяныч начал доказывать жене, как полезно и необходимо иметь кошек в доме, и, показывая мышонка, лежавшего, поджавши лапки, сказал:

— Небось всё перегрыз бы, ведь мог попортить дорогую рубашку аль платье какое. А вот мой *чернушка* его цап-царап.

Прачка так была огорчена разлукой с дочерью, что только махнула рукой. Муж стал приводить в порядок свою постель, готовясь улечься.

Завидя смятое платье Кати, прачка снова заплакала, но скоро с сердцем вытерла слезы своей сухой рукой и занялась глаженьем.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава XVIII

ЖИЗНЬ КОЧУЮЩЕГО АКТЕРА

Общая квартира Мечиславского и Остроухова состояла из двух комнат. Первая темная комната была обращена в сени и прихожую, а светлая — в спальню, кабинет и приемную.

Светлая комната была замечательна простенками необыкновенной ширины, как будто располагались строить за́мок, а не двухэтажный дом. Окна широкие, но низенькие, бросали зеленоватый свет на все предметы,— может быть, потому, что вместо штор и ширм их украшали огромные зеленые бутыли с желудочной водкой, славившейся своей целебностью; автор ее был сам Остроухов.

В громадном простенке стоял большой стол с откидными по́лами; на нем красовался зеленоватый маленький самовар с чайником на макушке. На круглом ржавом подносе, с маленькой решеточкой кругом, стояли два стакана; один в бисерном чехле.

Напротив стола, у стены, находился массивный турецкий диван, обтянутый тиком, во многих местах разодранным, откуда виднелась другая материя, а местами и третья, так что диван напоминал возвышения, образующиеся наносами, по которым можно вычислить столетия. За диваном, в углу у печки, стоял маленький простого дерева комод с рассохшимися ящиками и тут же маленький туалетный ящик с зеркалом.

По другой стене тянулась длинная кровать с коротенькой периной и небольшими кожаными подушками, напоминавшая детей, выросших из своего платья. Под кроватью

валялись сандалии дружно с туфлями, вышитыми шерстью. Возле кровати — ломберный раскинутый стол, на нем запыленные роли, парики, бритвы,— всё пересыпано нюхательным табаком и пылью.

Остроухов даже не имел и зеркала, а какой-то кривой кусочек, обделанный в пеструю бумажку.

Противоположная стена от двери до окна была завешана разного рода платьями: тут висел французский кафтан с блестками, греческая рубашка, испанский плащ рядом с засаленным халатом, шубой и другими платьями.

Когда Остроухов возвратился с пробы, посадив Любскую в карету, он застал Мечиславского, лежащего на диване с ролью в руке. По нахмуренным бровям и взглядам исподлобья можно было догадаться, что Остроухов чем-то недоволен. Его умное лицо, разрисованное морщинами, имело обычное выражение утомления и грусти. То и другое в настоящую минуту выражалось еще резче. Но Мечиславский не обратил внимания на своего друга: он слишком был погружен... только не в чтение роли. Бледное лицо его по временам вспыхивало; глаза то блистали гневом, то увлажались слезами.

Выпив обыкновенную порцию желудочной, Остроухов бросился на свою кровать и, заложив руки за голову, начал поглядывать на Мечиславского. Наконец он окликнул его после долгого молчания:

— Федя, а Федя!

Мечиславский так вздрогнул, что роль выпала у него из рук.

— Ну что, брат, чего испугался? кажется, осторожно окликнул! — недовольным голосом заметил Остроухов.

Мечиславский немного смешался и неохотно спросил:

— Да что тебе нужно?

— Затвердил ли ты роль? ведь завтра играть ее,— с упреком отвечал Остроухов.

Мечиславский пугливо посмотрел на своего товарища и покачал головой.

— Нехорошо, братец! что нехорошо, так нехорошо! На меня нечего смотреть, что я своей роли не знаю; память стала слаба,— коли и запнусь, гримасой поправлю, да со старика и публика не взыщет: она ко мне привыкла... Ну а ты? твое дело другое! ну, как запнешься в сцене, где слова должны кипеть? Придется смотреть на свою возлюбленную и в то же время ухо подставлять к суфлеру — не годится! Да и ее можешь сбить.

Мечиславский, как пристыженный школьник, громко стал читать свою роль.

— Ведь, право, ты какой! например, завтра в одной сцене надо драться, а ты небось хоть бы чубуком попробовал!

— Да отвяжись! завтра на репетиции могу научиться.

— Ну, так! на последней-то? оно так! с тобой и станут возиться! Ну-ка, валяй!

И Остроухов быстро вскочил с кровати, сбросил сюртук и, засучив рукава рубахи, вооружился рапирой, стоявшей в углу у печки с чубуками и кочергой. Нападая на Мечиславского, он закричал:

— Защищайся, злодей!

Мечиславский оттолкнул рукой рапиру от своей груди и с досадою сказал:

— Да полно!

Остроухов пожал плечами и, став посреди комнаты, принялся фехтовать один. Морщины на лице его разгладились, утомленные глаза вспыхнули огнем, словно в пылу действительной драки; через минуту он вдруг остановился, весь вздрогнув, лицо его побледнело, глаза с ужасом устремились к полу, будто в самом деле перед ним лежал убитый им человек; отбросив рапиру, он тихо опустился на колени и, щупая с содроганием пол, отчаянным голосом произнес:

— Он мертв!

Мечиславский с жадностью следил за Остроуховым, который с одушевлением разыграл всю сцену из роли своего друга.

Окончив сцену, Остроухов отер рукавом рубашки пот с лица и хриплым голосом сказал:

— Устарел: голосу не хватает выдержать всю сцену! Разве подкрепиться?

И он подкрепился.

Мечиславский стал читать свою роль с жестами, выходами и уходами. Остроухов, лежа на своей кровати, закинув руки за голову, делал Мечиславскому замечания, заставлял его повторять раза по два некоторые монологи и наконец довел своего друга до изнеможения. Мечиславский бросил на половине свою роль.

— Ну что, осовел? ведь я игрывал эту роль, как был молод. Правда, тому давно-давно! когда я был молод.

Остроухов тяжело вздохнул.

— Право, Федя, я как погляжу на молодых людей, так

нынче... право, жаль: ну точно мокрые курицы ходят. Например, я скажу про себя: как был молод — веришь ли? — так всё и кипело... И чего я не видал на свете!

— И что же вышло из этого? — спросил насмешливо Мечиславский.

Остроухов на минуту задумался и вдруг, вскочив с кровати и комически раскланиваясь, произнес с приятной и скромной улыбкой:

— Ваш покорнейший слуга.

Мечиславский отвечал улыбкой на выходку своего товарища, который, кряхтя, улегся опять на свое место и, рассуждая сам с собой, продолжал:

— Ну, пусть я имею слабость; но ведь я всё-таки имею, как и другие люди, сердце, совесть, честь! Не верят, думают, уж я совсем пропал.

— Мало ли что о нас другие думают! — заметил Мечиславский.

— Оно резонно, да обидно, когда через какую-нибудь свою слабость, которая, кроме меня (Остроухов с жаром ударил себя в грудь и продолжал), никому вреда не приносит... а тут всякий смотрит на тебя с презрением.

— Ты что-то сегодня в дурном расположении,— сказал Мечиславский.

— И не думал, а так, к слову пришлось. Ты меня знаешь: я ведь не охотник хныкать да людей винить, в чем сам виноват.

— А если они виноваты, так что тогда?

— А зачем сам так слаб, что позволяешь себя обижать, а? Ну, про себя я не говорю: я стар; а ты?

— Ну а ты?

— Я другое дело: ты вот был богат.

— Да сплыл!

— А я так и не сплывал; и где взять мне было амбиции на всё, что я пережил, чему подвергался? Небось ты вот актер, а что видел, где был? А я-то, братец, разве только у самоедов не увеселял. Вот оно какая штука! Ты думаешь, чай, я вот так и сделался актером? Как же! Я в оркестре в барабан колотил, потом выучился на флейте, потом сделался суфлером. Да и дебют-то мой был курьезный. Я выступил на сцену в первый раз в медвежьей шкуре. И наконец-то сделался актером. Уф! страшно вспомнить!.. Выходя в чужой шкуре, мне казалось всё нипочем, а как пришлось в своей, так ноги не держат, в горле так странно, словно бутылку масла выпил. К тому ж замешалась

любовишка: и за нее, бывало, боишься, и за себя,— ну, право, чуть не умер. И как чудно я сделался актером! оно, право, подивишься случаю. Сначала я и не думал, что у меня есть талант, хоть часто, когда сидишь, бывало, в суфлерской будке и подсказываешь роль, так вот и казалось, что сам бы лучше сыграл. Ну, вот раз приехала наша труппа в один город, наняла сараи и стала их превращать в театр. Всё было уже готово; вот я раз вышел с пробы,— у самых сеней меня останавливает женщина чисто одетая и в шляпке, но мне совершенно незнакомая и очень красивая. «Не надо ли вам актрисы?» — спросила она меня, ну в точь как мужики, бывало, спрашивали, когда устроивали сарай: «Не надо ль плотника?» Я, признаюсь, улыбнулся такому странному вопросу моей незнакомки; она гордо сказала:

— Я дам денег тому, кто похлопочет, чтоб меня приняли актрисой.

Я поглядел на нее еще пристальнее и окончательно убедился, что она очень хороша собой. Я было спросил ее, кто она, что она, да получил ответ:

— А на что вам? ведь оттого я не сделаюсь лучше? Скажите мне, хотите ли вы учить меня и выпустить на сцену? Если так, то я с завтрашнего же дня начну.

— Извольте, я дам вам роль, и когда выучите, приходите сюда и спросите меня; я пройду с вами.

— Да я читать не умею! — печально отвечала незнакомка.

— Как же вы хотите быть актрисой? — с упреком воскликнул я.

— Очень просто: у меня память очень хорошая; почитайте мне роль, а там я понемногу стану учиться читать.

Мне всё это показалось так странным, что я из любопытства одного согласился, не думая, что от этого вся моя будущность зависит. Незнакомка правду сказала: бывало, два раза прочтем роль, она уж запомнит. Таланту было бездна. В разговоре ничего не понимает. а начнет читать роль свою, ну просто не наслушаешься. Подымет ли руку, повернет ли голову — просто статуя. Я учил ее тихонько от всех и сам учился и, когда всё было готово, предложил содержателю театра дать некоторые сцены из «Отелло». Содержатель театра был грубый человек, но — спасибо — уступчивый и сговорчивый. Ему сначала не понравилось, что я хочу оставить суфлерство: я отлично умел подсказывать актерам, которые, бывало, едва на ногах стоят.

Но я кое-как всё уладил, насулил содержателю, что заслужу ему. «Ну, говорит,— так и быть, пошел на сцену. А ошикают тебя да твою ученицу, так я тебе задам». Однако дело обошлось как нельзя лучше: хоть мы дурно играли, но намазанная моя рожа, глаза страшные да красота моей ученицы всё выкупили, и уж нас вызывали, вызывали! У меня роли Десдемоны и Отелло так перепутались в голове, что я едва мог находиться, что мне говорить. Наши дебюты произвели шум в городе, и театр ломился от зрителей. Содержатель театра бегал как потерянный от радости и поминутно вешался мне на шею, говоря, что я его первейший друг. Я переменил совершенно обращение с ним, да и со всеми; оно, знаешь, как увидишь, что нужен человеку, от которого зависишь, так спокойнее станешь; да и голова-то как-то задергивается сама кверху.

— Ну, она выучилась читать, была хорошая актриса? — спросил Мечиславский.

— Такая вышла актриса, что и я-то через нее понял многое. Раз играли мы вместе, и она так побледнела и так у ней глаза засверкали, что я задрожал как лист перед ней, а ведь знал, что только по роли.

Мечиславский перебил его опять вопросом:

— Она добрая была до тебя?

— Известно как: пока не стала ездить в карете; впрочем, не жди хорошего от женщины, если в ней сильны гнев да ненависть: тут...

И Остроухов махнул рукой.

На лице Мечиславского, казалось, блеснуло удовольствие. Он спросил:

— Так она тебя не любила?

— Да еще неизвестно, могла ли она кого любить. Я такой своенравной женщины не видывал; много она испортила у меня крови, побился я с год с ней, а потом и бросил всё.

— Что же, она жаловалась на тебя, как ты ее бросил?

— Экой ты простофиля! — с сердцем сказал Остроухов.— Я бросил всё: это значит, я образумился и не поскакал за нею, когда она отправилась на другой театр. Да я-то сам глуп был; а всё молодость! эх, сгубил я себя ни за грош! — печально воскликнул Остроухов и повернулся навзничь, что было в нем признаком дурного состояния духа.

Мечиславский окликнул его; Остроухов быстро пере-

вернулся, вытянувшись в доску, потом опять лег навзничь с такою же ловкостью и повторил эту штуку до трех раз.

Мечиславский с упреком сказал ему:

— Ну что ты кривляешься, как мальчишка!

— Не кривляюсь, братец, а припоминаю то, что мне доставляло громкие рукоплескания.

— И охота была брать такие роли?

— Чудак ты! Оно известно: теперь я обегу такую роль. А на ярмарках, знаешь, как сбор лучше, так и нам лучше,— тут лишь бы шла публика, готов невесть что сыграть. О костюмах нечего и говорить: нужен французский кафтан, наряжают в испанский плащ. Раз я какого-то английского герцога отхватал в костюме из «Отелло», и ничего: аплодировали, даже никто не рассмеялся. Ну уж декораций и не спрашивай: нужна пещера, ставят избу. Раз я играл очень серьезную роль; после трагического монолога мне надо бежать, я ткнулся в дверь — она не подается, я в другую — она только нарисована. Я стал, не знаю, что делать. Актриса должна по роли говорить: «Боже, он ушел!», а я и не думал уходить,— публика смеется. Я подумал-подумал, да скок в окно. Забили в ладоши, вызвали меня; я повторил выходку — еще стали вызывать; и если бы я хотел тешиться, меня бы раз двадцать вызвали, так что из трагедии кровавой вышла комическая сцена. И содержатель театра придумал, чтоб на другой день в одной маленькой пьесе все действующие лица входили и уходили не через дверь, а через окно... А на вашем театре всё как следует: и провалиться хорошо, и дверей много, зато какие вещи делаются: ведь актеры-то друг друга за полушку продадут. Поди, послушай-ка актеров, как они честят своего брата какому-нибудь богачу, любителю театра; а всё из страха, чтоб он не вздумал угостить тоже и другого. У нас, напротив, одного позвал, валят все остальные с ним: «Угощай, коли любишь искусство!» Бывало, как выезжать из города, и пойдешь отыскивать, кто заложил платье,— уж знали кутил,— выкупишь, заплатишь. А здесь умирай хоть с голоду, поди попроси побогаче актеров да актрис, ну-ка попробуй... Да и сами-то актрисы не так были далеки от товарищей, и угостят так, без видов всяких. Может быть, потому, что меньше баловства им, да и самих-то было две-три, да и обчелся. Понадобится старуха, так актеры занимали роли. Бывало, одна другой всё отдаст, коли нужна на сцену вещь какая... А здесь каждая норовит унизить

остальных своим нарядом и уж ни за что румян не даст другой, не то что вещь какую. А как начнется у них вражда, так просто пропадай! Вот, например, Орлеанская пользуется почетом здесь, а она просто злодейка. Если счесть, что она на своем веку наделала, так не поверишь. Я уж не говорю о домашней жизни: закрывай глаза, что там делается! А вот у ней была смазливая сестра, поступила на театр. В нее был влюблен до безумия один учитель; хорошо! дело было слажено, учителю дала слово девушка, что за него выйдет замуж. Но после нескольких дебютов, в которых она была принята чересчур уж хорошо, что и губит молодых актрис, Орлеанская взбаламутила смазливую девушку, стала ее целовать, звать к себе жить и доказывать, что она не должна выходить замуж за какого-нибудь учителя, что с ее лицом она может и богатой быть и за князя выйти, и тот, говорит, в тебя влюблен и этот.... Приходи, говорит, ко мне. Девушка, по незнанию жизни, и отказала учителю. Боже ты мой! он свету невзвидел, чуть у нас руки не целовал, чтоб мы поговорили да урезонили ее. Вот я ее и стал усовещевать: она, знаешь, и подалась. Учитель под собой ног не слышит от радости, стал сочинять ей романс, что она чудное созданье, да не успел окончить его, как смазливая девушка снова подняла нос, нарядилась в бархатную кацавейку с золотыми кистями, которыми за версту отгоняла от себя порядочных людей, поигрывая ими. Орлеанская как коршун сторожит ее и кричит на всю сцену, что она скоро породнится с богатым барином. Учителя не только не пускали в дом, так даже около ходить. Бывало, уведешь его от сраму, а то Орлеанская вышлет своего повара гнать его. Смазливая девушка в коляске с Орлеанской стала разъезжать, ролей учить не хочет, готовясь уж в княгини. Учитель стал заговариваться, и его, бедного, засадили в комнату: он так и зачах; умирая, просил ее приехать проститься, да Орлеанская не пустила... она бы не прочь.

Остроухов не замечал, что его рассказ об учителе производит сильное впечатление на Мечиславского, который наконец тревожно спросил:

— Что же, она вышла замуж?

Остроухов горько улыбнулся.

— Как же, как же, но только не за князя, а за актера.

— Как?

— Да так; известно, сулил ей только, а приехал дядя его да прямо к ней. Вы, говорит, думаете, он богат, да я,

говорит, всё ему даю, а вот узнал, что он стал шалить, так и гроша не дам. А племянничек уверил ее, что у него горы золотые. Девушка в слезы,— говорит, меня обманули. А дядя в ответ: зачем верили! И увез своего племянника. Она осталась без коляски, да еще должна была кое-какие долги заплатить. Орлеанская сухая вышла из воды, заперла несчастной двери своего дома да еще за кулисами да в уборной честила ее. В то время здесь один актер собирал труппу для себя, чтоб ехать на ярмарку; нужна была ему красивенькая актриса, он женился и уехал. Однако расчел плохо: она, тово уж, знаешь, покашливала от всех этих историй, да еще в дороге простудилась, и последовала за учителем.

Остроухов прошелся по комнате, как бы припоминая что-то, и, подойдя к окну, предложил рюмку Мечиславскому, сидевшему повеся голову; тот отказался. Остроухов выпил один. Кряхтя и потирая руки, он начал ходить по комнате скорыми шагами, бормоча под нос.

— Если тебе было так хорошо в кочующей труппе, скажи на милость, зачем же ты ее оставил? — вдруг спросил Мечиславский.

Остроухов, остановясь против Мечиславского, горестно покачал головой и еще печальнее произнес:

— Мне всё опротивело, и я метался как потерянный.

— А меня винишь, что я опустился.

— Я... я дело другое. Ты вот, может быть, мухи не обидел, а я... я низкий человек! — с силою воскликнул Остроухов, и глаза его дико засверкали.

— Что ты, полно! — пугливо произнес Мечиславский.

— Так не сравнивай себя со мной!... Я... я лучше всех знаю, чего заслуживаю. Разве бы я мог дойти до такого состояния...

И он закрыл лицо руками.

— Ну что ты пустяки говоришь! С тех пор как я тебя знаю, небось, что ты дурного сделал?

— Совесть, совесть; надо спросить ее! Я вот уж несколько лет задобриваю ее; но она, она, верно, слишком была возмущена, что покою нет.

— Да что ты такое сделал? — с любопытством спросил Мечиславский.

— Я... ничего ровно для многих людей, но... слушай... Я никому еще не повторял этой истории. Ты, может быть, не так строго меня осудишь... Я хотел жениться, тому лет двенадцать,— она была актриса, хорошенькая, моло-

денькая, и была не прочь выйти за меня. Мне кажется, она любила меня... да! надо любить, чтоб отказаться от богатства. Но она, как и я, много уже видела горя в жизни, и потому мы были оба раздражительны и необузданны в своем гневе. Между нами были частые вспышки, и надо тебе заметить, что в такие минуты были мы оба страшны: мы чувствовали страшную ненависть друг к другу; как я, так и она были готовы на всё, чтоб досадить и уязвить другого. Раз обманутый в любви, я был подозрителен и ревнив. В одну из наших ссор недобрые люди воспользовались, чтоб расстроить нашу свадьбу. Они так возбудили мою ревность, что я забыл себя. К тому ж, когда мне передавали сплетни, я выпил много вина и как помешанный кинулся в театр, где она играла, чтоб удостовериться в своих подозрениях. И спрятавшись за кулису, я следил за ней; мне только казалось, может быть, что ее выразительные глаза устремлены всё на одно кресло, где сидел мой богатый соперник, преследовавший ее своею любовью. Но она всё отвергла из любви ко мне. Я, однако ж, не верил ей в эту минуту, и чем более следил за ней, тем более ревность моя разгоралась. И когда занавес стали опускать, мне показалось, что она сделала ему знак. Занавес не успел стукнуться об пол, как я... неистово кинулся к ней... и...

Голос у Остроухова замер; он глухо продолжал:

— Раздался всеобщий крик. Она, как бы не веря сама себе, дико глядела на всех и вдруг с ужасом кинулась от меня бежать. Я не мог сдвинуться с места, я не смел поднять глаз. Меня вывели из этого положения актеры, присутствовавшие тут — одни с одобрением, другие с негодованием. Я кинулся к ней. Вбегая на лестницу, я споткнулся обо что-то: то она лежала без чувств, в костюме, с открытой головой; как она была на сцене, так в сильный мороз и прибежала, бедняжка, домой... Я плакал, рвал на себе волосы, да этим не помог. Она лежала без чувств и, когда открыла глаза, то, завидя меня, вздрогнула и снова закрыла их. Всю ночь я простоял на коленях у ее постели, спрятав голову от стыда и угрызения совести. К утру щеки ее стали пылать, всё лицо передергивалось, и разразилась она бредом, и таким страшным, таким страшным! Она то плакала истерически, зачем я ее ударил, то пряталась от меня, крича, что я хочу повторить опять то же; одним словом, пытка была для меня так сильна, что она-то меня и довела до несчастной моей слабости. Она

была молода, и силы взяли верх над болезнью. Первый раз, придя в память, она ничего не помнила и ласково глядела на меня. Но припомнив, что было до болезни, она прогнала меня с отвращением. С этой минуты я махнул рукой на всё и дошел до того, что меня за два дня до представления запирали в бутафорскую, чтоб я прошел роль. С тех пор голос у меня стал пропадать; я постарел, обрюзг и занял роли комические. Женщин я боялся, да, признаться, и всех людей. Но потом память моя стала свыкаться с моим проступком, да и слабеть от излишнего пристрастья к вину. Я сделался опасно болен. В продолжение всей болезни, без моего ведома, за мной ходила одна из наших актрис. Жалость ко мне... нет, она любила меня... заставила это сделать. Она была не в первой молодости, много испытала неудач в жизни и ко мне, верно, привязалась, как к человеку потерянному. Я был тронут ее заботами обо мне. Но и тут мне была неудача: такой ревнивой женщины я не видывал,— впрочем, может быть, потому, что она любила меня. Но я сам себе казался так ничтожен, что даже не хотел верить, чтоб кто-нибудь мог питать ко мне порядочное чувство. Она ссорилась со мной, когда я пил лишнее. Мне стали скучны ее слезы. Я убегал ее — она пуще меня ревновала. По правде сказать, я особенно ни за кем не ухаживал, а разве под веселый час побалагуришь. Нет, не верит. Ну, чем образумишь, коли что вобьет себе в голову женщина? Поехала наша труппа на ярмарку. Была зима, и суровая. Восемь повозок тащилось по степям, с кулисами и гардеробами. У меня была особая кибитка, и всё она устроила, чтоб я не ехал вместе с быстроглазой актрисой, к которой она меня ревновала,— а быстроглазая, как назло, всё вертится перед нами, как, бывало, остановимся на станции. Проехали мы с полдороги — ну, просто мука: замучила меня ревностью. Я крупно поговорил с ней утром, а к вечеру остановились пить чай на постоялом дворе. Она удивила меня: перестала коситься, стала поить чаем и сама ну подливать мне рому в чашку. Было холодно, и я погрелся. Сели мы в кибитку последние; наши уехали вперед. Она меня крепко поцеловала, как часто делывала. Я, покалякав с ней, завернулся с головой в шубу да и заснул. Я проснулся: кругом было тихо, снег валил страшный, ямщик пел, лошади едва тащили кибитку. Мне как-то просторно показалось около. Я рукой ищу ее, где она... Мороз пробежал по коже. Я крикнул ямщику: «Стой». Кибитка ста-

ла. «Где хозяйка?» — крикнул я ямщику. «Не могу знать»,— с удивлением отвечал ямщик и, не доверяя мне, пошарил рукой в снегу, который завалил пустое место. Я с ужасом всплеснул руками и тут догадался, что значило и подливанье рому и последние ласки. Я велел догонять наши кибитки, всё еще питая надежду, не пошутила ли она. Но ее там не было. Мы все вернулись на постоялый двор, ища по дороге ее: может быть, думали, не выпала ли как, хотя дорога была гладка как зеркало. Часа два я бегал по большой дороге, крича ее; но ответа не было. Кибитка поехала. Я остался на постоялом дворе и два дня ждал ее: думаю, может вернется. Но потом приехал за мной содержатель театра. Мы с ним с горя выпили чайку с ромом. Я очнулся, когда уж мы прибыли на место.

Остроухов горько усмехнулся и сказал:

— Ну, что скажешь ты теперь обо мне?

И, не получив ответа от своего друга, он лег ничком на кровать. Тишина настала в комнате.

Вдруг послышались всхлипывания.

Мечиславский вздрогнул и подошел к своему другу, стал его уговаривать; но тот продолжал плакать, повторяя:

— Федя, тяжело! я погибший человек.

Голос его совершенно ослаб, всхлипывания стали тише и тише, наконец затихли. Мечиславский с грустью глядел на своего друга, и слезы блистали в его глазах.

Глава XIX

ПЕРЕД СПЕКТАКЛЕМ

На другой день Остроухов проснулся довольно рано. Он смутно помнил прошедший день. Он чувствовал тяжесть во всем теле, голова была особенно тяжела; но это не помешало ему погрузиться в раздумье об Мечиславском, который после бессонной ночи только что заснул. Его сон был тревожен, судя по краске на его бледных щеках, нахмуренным бровям, сжатым судорожно губам и по отрывистому дыханию.

Остроухов, сидя на своей кровати и оглядывая свою комнату, в первый раз был поражен ее неопрятностью и даже нищетой. В эту минуту он походил на человека, который вдруг открывает в женщине, виденной им ежедневно в продолжение нескольких лет, особенную черту, прежде не замеченную. Так точно и Остроухов сидел долго

в каком-то удивлении. В то утро солнце бросало яркий свет сквозь тусклые и запыленные стекла и, играя пыльным лучом, падало прямо на лицо спящего Мечиславского. Остроухов соскочил с кровати и, взяв шерстяное одеяло с постели, долго возился, чтоб занавесить им окно. Но так как оно было дыряво, то лучи пробивались и, словно назло Остроухову, пятнами освещали его друга. Усевшись на кровать, Остроухов рассуждал сам с собой, глядя на спящего: «И сон-то твой лишен приятности: солнце режет тебе глаза, если вздумает осветить нашу каморку. Разве так надо ему жить? Надо, чтоб его окружала роскошь, чтоб он мог весь погружаться в искусство. Я дело другое — на сцене я разыгрываю людей ничтожных, шутов или погибших; публика аплодирует мне за верное изображение их, не зная того, что, сойдя со сцены, я сниму только лохмотья или шапку паяса, смою белилы, а возвращусь домой всё таким же погибшим человеком. Он же занимает роли людей чистых, с гордой душой, не знающих других страданий, кроме страданий своего сердца. Он должен весь быть совершенство и нежность, пред ним все преклоняются, он герой на сцене. И, сойдя с нее, он возвращается в ту же комнату, как и я! Глуп был я, когда, зная всё, обвинял его в бесталанности. К тому ж его любовь... да, он любит, и так любить только могут люди, для которых любовь делается жизнью; отними ее — и жизнь погибла. Боже, за что он погибнет! что я могу сделать для тебя?» — И старый актер со слезами глядел на спящего, лицо которого выражало страдание. Слабый крик вырвался из груди Мечиславского, и он застонал.

— Федя, Федя! пора на пробу,— сказал нетвердым голосом Остроухов, наклоняясь к лицу спящего, на лбу которого выступил пот крупными каплями.

Мечиславский открыл глаза и, с удивлением посмотрев на Остроухова, пугливо спросил:

— Что тебе надо? что случилось?

— Да ничего: ты что-то во сне стонал.

— А, спасибо!.. Мне снилось страшное.

Мечиславский вытер пот со лба.

— Ну, вставай; напьемся чайку, да и на пробу.

— Да что-то рано! — отвечал Мечиславский, потягиваясь, и, увидав занавешенное окно, в недоумении спросил: — Это что?

Остроухов сконфузился и после минуты молчанья отвечал:

— Да солнце бутыль очень нагревает, а...

— Ты как нежная мать о ней хлопочешь! — сказал Мечиславский.

Остроухов обиделся и с упреком посмотрел на своего друга.

За чаем Остроухов рассказал ссору Любской с Дашкевичем и причину ее.

Надо было видеть волнение, с каким слушал его Мечиславский; он, не подымая глаз, едва только мог сказать:

— Я думаю, она очень огорчена.

— О нет! ведь она только назло Ноготковой показывала вид, будто интересуется им!

— Неужели! — радостно вскрикнул Мечиславский и, потупив глаза, стал пить свой чай, обжигая им рот.

Остроухов иронически глядел на своего друга. Покончив чай, они отправились на пробу.

Мечиславский сделался необыкновенно весел, репетировал свою роль с одушевлением, примерил платье к вечеру, чего с ним прежде никогда не случалось, и, возвратясь домой, стал фехтовать на рапире.

Остроухов зубрил свою роль и сердился на своего друга, что он мешает ему учить ее.

Пообедав, он лег отдыхать перед спектаклем, а Мечиславский, расхаживая по комнате, проходил вполголоса свою роль наизусть, потом стал собирать узлы. Он выдвинул из-под кровати плетенную из белых прутьев корзину, положил туда белье, свой маленький туалет, роль Остроухова, парик со стола и лег на диван.

Проснувшись, Остроухов потянулся и, зевая переливами, сказал:

— Федя, смерть испить хочется: нет ли у нас кваску?

— Есть бутылка, да я думал взять ее в театр.

Остроухов выпил чуть не всю бутылку, от удовольствия крякнул и стал одеваться. Одевшись, он велел захватить Мечиславскому его вещи и вышел из комнаты.

Перейдем теперь к Любской. Как актеры молодые и старые, так и актрисы перед спектаклем отдыхают, иные и спят, для приобретения сил к вечеру. Любская лежала на диване; горничная собирала узел. Это не то что актер, платье которого большею частью остается в уборной. Нет, актрисе иногда надо до десяти платьев везти с собою; а сколько белья, шпилек, булавок, белил, румян! да и не перечтешь всего! Горничная, собрав узел, оставила одну Любскую, которая, кажется, только того и ждала, потому

что тотчас же, уткнувшись в подушку, стала плакать. Она не заметила прихода Остроухова, который почти всегда приходил к ней не с главного хода. Он постоял с минуту, кашлянул тихо. Любская вздрогнула и подняла голову.

— Что это, матушка моя, еще не наплакалась?.. Ну, полно глазки-то тереть, есть о чем, небось золотце потеряла!

— Да я совсем не о том плачу: я не дура,— обидчиво отвечала Любская.

— О чем же?

— О том... о том, что я была слепа, что я поверила ничтожному человеку.

И она опять заплакала.

— Эх, зато зорче будешь! а оно тебе не мешает.

— Что еще вы знаете! — в отчаянии воскликнула Любская.

— Полно! Я пришел к тебе по одному важному дельцу.

— Что вам угодно?

— А вот что...

Остроухов замялся.

Любская нетерпеливо глядела на него.

— Видишь ли, вот вы... вы ничего не видите... Ты ведь женщина порядочная; иначе я не стал бы и говорить с тобой.

— Да что же? скажи скорее.

— То... что вот вы все без исключения плачете о пустяках и не видите истинно плачевного. Небось вы сейчас подметите, кто об вас страдает в партере, и не замечаете, что творится возле вас на сцене.

Любская с удивлением произнесла:

— Я ничего не замечала, право.

— Тем хуже: человек гибнет, а ты даже не удостоила обратить...

— Кто? что такое? что вы говорите? — поспешно перебила Любская.

Остроухов отвечал:

— Тебе не нравится: оно, конечно, актер... фи! — презрительным голосом сказал Остроухов.

Любская пугливо посмотрела на Остроухова; лицо ее как бы вдруг озарилось какою-то мыслию, от которой оно вспыхнуло, но тотчас же покрылось бледностью. Тихо и невнятно она произнесла:

— Неужели Мечиславский?

Остроухов произнес выразительно:

— Ага!!

Любская как бы в негодовании заходила по комнате, судорожно ломая руки.

Остроухов нахмурил брови и гордо сказал:

— Я вижу, вы оскорбились: оно, разумеется, он...

Любская зарыдала.

Остроухов замолчал и, махнув рукой, сказал:

— И дернуло меня впутаться в такое дело! Ну, перестань, я так... ну, полно!

Любская рыдала как безумная.

— Карета приехала! — сказала вошедшая горничная.

Остроухов схватился за голову и с негодованием воскликнул:

— Ах я старая башка! что я наделал! и забыл, что ведь она должна сегодня такую большую роль играть! — и, обратясь к Любской, которая платком душила свои рыдания, прибавил: — Я дурак, я вовсе не думал, что говорил. Прости, ну, прости!

И он с искренностью протянул руку. Любская подала ему свою.

— Ну, вот люблю, не злущая,— тихо произнес он и, сказав: «Прощай», ушел в большом волнении.

В шестом часу сцена еще была темна и пуста; изредка проходила актриса с громадными узлами в уборную, и за ней кучер проносил огромную корзину с платьями. Зато уборные были ярко освещены. Говор, смех, толкотня представляли странную противоположность с пустынной сценой. Большею частью в провинциальных театрах уборные бывают общие, для двух-трех одна. И только привилегированные актрисы получают особую уборную. Иногда ее украшают роскошно, и тогда с завистью подходят и заглядывают в нее прочие актрисы, а хористки даже понижают голос, проходя мимо такой уборной.

Но мы обратимся к общей уборной. Это была большая комната без окон, а с узкими отверстиями, чуть не у потолка, в виде окон. Посредине трюмо, освещенное двумя лампами, прибитыми высоко к стене. Сбоку зеркало и ломберный стол, тоже с двумя лампами по бокам. На противоположной стороне диван и стол; двери огорожены ширмами, которые служат и вешалкой для платьев.

Некоторые актеры и актрисы бродили уже около уборных, подсматривая, где пьют чай.

...Орлеанская явилась первая в уборную с родственницей своего мужа, которую она называла Саша.

Лицо Саши ясно доказывало трудность исполнять подобную роль у взыскательной актрисы, какою слыла Орлеанская. Тучное ее тело было облечено в широкий и чрезвычайно нескладный капот. Волосы были в папильотках, что делало ее сердитое и еще не совсем разгулявшееся после сна лицо не очень привлекательным.

Поджав ноги, она сидела на диване за чаем и допивала шестую чашку, с шумом прихлебывая.

Напротив нее сидела Деризубова и вторила ей, держа блюдечко пятью пальцами. Саша разбирала узел, выставляя на стол белилы, румяны и разные принадлежности туалета. Вдруг она вскрикнула и с ужасом глядела на пустую коробочку, где лежали только две булавки.

— Что, забыла? — крикнула Орлеанская.

Саша замялась.

— Ну, так! вот корми, одевай, трудись для них, а они сидят себе сложа руки и ничего не помнят.

Орлеанская на этот раз была несправедлива перед своей родственницей. На руках ее лежал весь дом и дюжина детей, которых Орлеанская и не видала никогда, потому что, любя тишину, не допускала детей за три комнаты до своей.

— Я сейчас займу у кого-нибудь,— робко проговорила Саша.

— Не нужно-с, вы бы еще пошли хныкать да канючить по чужим уборным, когда у меня всё есть.

— Ты слышала об Любской? — сказала Деризубова.

— Да, да, ха-ха!

Орлеанская громко засмеялась; в то время из рук Саши выпала баночка, за что Орлеанская страшно раскричалась и опять заключила фразой:

— Вот корми ее, обувай.

На глазах Саши блеснули слезы, которые она пугливо скрыла, уткнувшись в картонку лицом, будто бы ища чего-то.

Прибытие Любской отвлекло от Саши внимание Орлеанской. Любская поклонилась со всеми, и с Сашей даже, но только одна Саша отвечала ей на поклон как следует. Орлеанская презрительно кивнула головой; Деризубова произнесла выразительно:

— Здравствуйте.

И она стала перешептываться с Орлеанской, которая с наглостью залилась смехом на всю уборную.

Горничная Любской, разбирая ее узлы и картоны, гордо смотрела на Сашу, разглаживавшую косу, привязанную к спинке стула, стоявшего у трюмо.

Перешептывание Орлеанской и Деризубовой было прервано стуком в дверь уборной.

— Кого несет? — закричала грубо Орлеанская.

— Я, маменька, это я, голубушка, моя герцогиня! — выглядывая из-за ширм, сказал актер с бесчисленными бородавками на лице.

— А, Ляпушкин! — произнесла покровительственным тоном Орлеанская, у которой актер с раболепством поцеловал руку, за что получил щелчок той же самой рукой.

— Ах ты повеса! — крикнула Деризубова и, вскочив с своего места, прижала Ляпушкина в угол стены и тут начала его бить, приговаривая: — Вот тебе, вот тебе, не повесничай!

— Матушка, родная, не буду, дай перевести дух! — пищал жалобно Ляпушкин, страшно гримасничая.

Орлеанская хохотала во всё горло. Саша и горничная улыбались; одна Любская морщилась: видно было, что на нее нехорошо действовала эта сцена.

— Ай да Матрена! поделом ему! — вытирая слезы, сказала Орлеанская.

— Уф, устала! — сказала Деризубова, махая руками, как извозчики в мороз на улице, и прибавила: — Налей-ка мне чашечку.

— И мне тоже, маменька! — заметил Ляпушкин.

— Который раз пьешь сегодня? — спросила Орлеанская.

— Ей-ей, еще первый, маменька. Ну, кто у нас добрее вас? Вы не то что другие; вы сами всех угощаете.

Ляпушкин подмигнул на Любскую, сидящую у зеркала с полотенцем в руке. К счастию, что половина лица ее была уже забелена, и потому не так заметно было вспыхнувшее на нем негодование.

— Пей, на...— сказала Орлеанская, сунув небрежно стакан чаю в руки Ляпушкина, который нежным голосом сказал:

— Я возьму сухарик?

И взял пять целых.

Орлеанская села у трюмо и тоже стала белиться и румяниться. Саша стояла перед ней, подавая ей то одну баночку, то другую.

Деризубова с Ляпушкиным, опустошив весь чайник, сахар и сухари, скрылись незаметно из уборной.

Орлеанская, по мере окончания туалета, ворчала всё сильнее и сильнее на Сашу,— зачем крепко косу ей привязала, не так пукли взбила,— и заставляла ее перечесывать голову, аккомпанируя любимой фразой:

— Ну за что вас кормить, одевать!

Любская представляла совершенный контраст: она одевалась, не произнося слова, как будто ей было тяжело говорить, и только жестами или глазами указывала на вещь, какая ей была нужна. Зато ее горничная была полна негодования, и по морганию ее пепельных ресниц и фырканью можно было заключить, что она горела желанием сгрубить Орлеанской. Но представился случай, и горничная обнаружила совершенно противное. Орлеанская так рассердилась на Сашу, что оттолкнула ее от себя и, обращаясь к горничной Любской, ласково сказала:

— Милая, пришпиль мне мантию. Она ничего не умеет сделать.

— Извольте-с! — с услужливостью отвечала горничная и стала ей прикалывать мантию; Саша тем временем плакала.

Орлеанская грозно говорила:

— Плачь, плачь! — и истинно герцогской поступью вышла из уборной, прибавив: — Извольте взять питье и зеркало.

Колокольчик пронзительно прозвонил у дверей уборной, и Орлеанская поспешила выйти. Любская с участием заметила плачущей, что не следует ей огорчаться, потому что Орлеанская постоянно воевала в уборной. Саша, казалось, утешилась этим доводом и, взяв графин с питьем, булавок, зеркало, румян, последовала за Орлеанской.

Горничная разразилась негодованием на Орлеанскую, доказывая, что она за пятьдесят рублей не стала бы одевать такую капризную. Прозвонили второй раз в колокольчик. Любская сказала своей горничной:

— Скорее, скорее!

В уборной Ноготковой Ляпушкин и Деризубова упивались чаем и пожирали сухари. Ноготкова, мурлыча под нос свою роль, проводила тушью брови и сказала:

— Ну, скорее, мне пора одеваться!

Ляпушкин, чуть не захлебываясь, допил стакан чаю и, вытирая губы руками, подошел к Ноготковой и сказал:

— Красавица моя, маменька золотая!

— Ты его хорошенько! — заметила Деризубова.

Ляпушкин, гримасничая, на цыпочках вышел из уборной. Прозвенел пронзительно колокольчик у двери уборной, и голос режиссера раздался: «На сцену, на сцену!»

— Я не одета еще! — закричала Ноготкова.

Деризубова крикнула тоже:

— Слышишь, она не одета.

— А, мое почтение-с, Дарья Петровна,— входя в уборную, сказал режиссер и прибавил: — Да вы успеете: вам во втором акте выходить.

— Ах да! — произнесла Ноготкова и опять занялась своими бровями.

Мечиславскому прикалывал портной банты на башмаки, а Остроухов румянил его.

— Довольно! — заметил Мечиславский.

— Как довольно? в последнем акте больше эффекту произведешь, как сотрешь румяны.

Прозвонил тот же колокольчик, и тот же голос прокричал: «На сцену, господа, на сцену!»

В уборной всё засуетилось: кто бросил последний взгляд в зеркало, кто торопился надеть шляпу, кто натягивал перчатки.

. . . .

Глава XX

ТОРЖЕСТВО ЛЮБСКОЙ И МЕЧИСЛАВСКОГО

За четверть часа до поднятия занавеса сцена была освещена и наполнена народом, все участвующие в пьесе и не участвующие ходили по сцене, кричали, смеялись и очень часто ссорились. В этот вечер давали трагедию с бесчисленным множеством действующих лиц и актов. Режиссер страшно суетился по сцене, расставляя воинов и придворных дам. Орлеанская величественно и тяжеловесно расхаживала по сцене с ролью, а за ней следовала Саша, придерживая ее шлейф. По временам Орлеанская понюхивала табак, брала зеркало из рук своего пажа, долго глядела на свой нос и подбеливала его. Молоденькие актрисы, танцовщицы, как мухи на сахар, слетались со всех

сторон к кружку занавеси, чтоб посмотреть в партер, и друг перед другом хвастали.

— Место! место!! — повелительно прокричал режиссер и, заглянув за занавес, три раза ударил ногой об пол.

Музыка заиграла, и со сцены разбежались все, исключая тех актрис и актеров, кому следовало остаться.

Орлеанская усаживалась на стул. Саша расправляла ей шлейф.

— Пора... место, господа! — кричал режиссер Орлеанскому, который с жаром рассказывал другому актеру, как он сшиб в среднюю лузу желтого.

Режиссер, кинувшись за кулисы, отчаянным голосом закричал: «Место!», и с последним аккордом музыки занавес медленно взвился.

В пьесе всех холодно принимали, исключая Мечиславского и Любской. Первый играл с таким одушевлением, что все за кулисами выразительно переглядывались. В этот вечер его фигура как-то была хороша. Он не горбился, не приседал, держался прямо и гордо глядел на всех. Грустное состояние духа шло очень к роли Любской, и рукоплескания не умолкали, когда они были на сцене. Орлеанская бесилась и, стоя на сцене, чуть не вслух бранила публику. Ноготкова тоже страшно злилась.

В последнем акте обыкновенно два любящие сердца, скрывавшие свою любовь, наконец открывают ее друг другу. Мечиславский так разыграл эту сцену, что рукоплескания несколько секунд потрясали театр и «браво» раздавалось на разные голоса. Любская, в объятиях своего возлюбленного, рыдала непритворно, тронутая игрой Мечиславского, который в восторге осыпал поцелуями ее голову.

Любская первая опомнилась и шепнула Мечиславскому:

— Вам начинать; пора, пора!

Мечиславский едва мог опомниться; он не находил нити своей роли, не слыхал суфлера, который чуть не вылез из своей будки, подсказывая ему. Поза, лицо так шли к роли любовника, обезумевшего от счастия, что публика приняла молчание Мечиславского за рассчитанное и осыпала его аплодисментами.

...С начала сцены Остроухов, стоя у парусинной двери, смотрел в щель и, как будто его слышал Мечиславский, бормотал одобрительно: «Хорошо, живее, ниже возьми, не хватит голосу окончить монолог. Браво!» Наконец он смолк и, прильнув головой к парусине, отрывисто дышал; губы

его судорожно дрожали, и по морщинистым щекам текли ручьями слезы...

Не дали опустить занавеса, как публика стала вызывать Мечиславского и Любскую; режиссер, как бы не слышав, выпустил одного Мечиславского. Публика требовала Любскую. Режиссер опять хотел выпустить одного Мечиславского, который, к удивлению всех, назвал режиссера интриганом и не хотел идти без Любской. Нечего было делать: уже начавшая раздеваться Любская вышла с Мечиславским. Вызов повторился. Любская, раскланиваясь с публикой, сказала тихо Мечиславскому:

— Приходите пить чай.

И они разбежались по своим уборным. Любская разделась очень скоро, под страшные крики Орлеанской и слезы Саши. Ноготкова не раздевалась, а рвала от злости платье и, топая ногами, кричала на режиссера, зачем он ей не дал роль Любской.

— Да вы ведь сами не хотели ее взять, помилуйте!

— Так не сметь повторять эту пьесу: я больна, слышите, я больна! Слава богу, что Карп Семеныч болен (так звали содержателя театра), а то вам бы досталось.

Режиссер махнул рукой и вышел от Ноготковой, ворча себе под нос.

— Велика штука Карп Семеныч! мне стоит открыть все его штуки Калинскому, так ему достанется.

Мечиславский чувствовал себя как-то странно; он как бы всё смутно понимал, шум и крики публики гудели еще в его ушах; ему хотелось смеяться; в то же время он чувствовал, что слезы дрожат на его ресницах. Пот катил градом с его лица; ему было душно, а от внутренней лихорадки руки и ноги его дрожали.

В уборной набралось множество народу, в том числе и Калинский, который благодарил Мечиславского от лица всех любителей театра. Мечиславскому пожимали руки, осыпали его похвалами. Многие делали ему предложение идти в кофейную театра, чтоб там покончить торжество, но Мечиславский от всего отказался.

— Оно и лучше; ты, брат, устал, дома выпьем чайку да покалякаем,— заметил Остроухов.

— Я... мне нужно зайти, ты захвати мой узел,— не очень свободно отвечал Мечиславский.

— А ты куда? — с удивлением спросил Остроухов, на что не получил ответа от своего друга; но он недолго мучился разгадкой, следя за Мечиславским, который тща-

тельно смыл белилы и румяны с своего лица, долго повязывал галстух перед зеркалом, пробирал пробор с десять минут, и все-таки пробрал криво, потому что гребенка как-то подпрыгивала на его голове. И когда он поспешно выбежал из уборной от докучливых поклонников чужой славы, Остроухов улыбнулся и, надевая шубу, сказал:

— Значит, у ней есть сердце.

Когда Остроухов вернулся домой, ему как-то не захотелось пить одному чай; клокотавший самовар сердил его,— он закрыл его крышкой. Курить ему также не нравилось. Тускло горевшая свеча бесила его, и он раздваивал светильню, чтоб она ярче горела.

Он улегся было на свою кровать, но тотчас же вскочил и стал прохаживаться по комнате. Его страшно тревожила мысль: отчего он, не менее владевший талантом, не имел в своей жизни такого торжества? И он, как бы желая испытать свои силы, драпируясь в свой изодранный халат, с жаром и жестикуляцией прошел некоторые сцены из роли Мечиславского. В одном монологе он вдруг остановился и, с грустью покачав головой, тихо побрел до своей кровати и лег, уткнув голову в подушку. Мрачные мысли толпились в его уме. Счастливый его друг не выходил у него из головы; ему казалось, что он видит его сияющего от блаженства. Он вспомнил свою молодость, и ему казалось, что он не потерял еще способности страстно любить. И, постепенно впадая в дремоту, он погрузился в сладкие грезы: ему живо чудилось, что он молод, лежит в душистой траве, в саду; воздух чист и ароматен; ветерок нежно ласкает его лицо, на котором и следов нет морщин. Кругом гигантские деревья, с необыкновенно широкими листьями, с пестрой зеленью, тихо склоняясь по прихоти ветра, нежно что-то шептали. Повсюду, куда он ни посмотрит, везде являлись огромные влажные цветы и как бы томились своим благоуханием и красотой. Какие-то странные птицы, с золотыми перышками и все искрясь, порхают над его головой, нежно и сладко напевая. По траве прыгают и порхают какие-то блестящие мухи с огненными крылышками. Львы и другие красивые звери дружно играют между собой. Всё так радостно вкруг его. Вдруг всё засуетилось: птицы радостнее запели, звери заржали, и в каком-то голубоватом облаке явилась перед ним женщина. Он вглядывается и от радости задыхается: это его бывшая невеста — так же молода, так же хороша. К ней ласкаются

страшные звери, у которых сделались вдруг человеческие лица.

Он кидается к женщине; но она ловко взлетает на дерево и манит его к себе, качаясь на ветке, окруженная птицами, которые, щебеча, порхают вкруг нее. Он хочет влезть на дерево; но по мере того как он поднимается, дерево растет всё выше и выше, сад исчезает под его ногами, облака копошатся внизу; он едва различает воздушный образ своей невесты, как вдруг его кто-то берет за руку, и он быстро полетел в густые облака, которые становятся всё прозрачнее; наконец он ясно видит огромную залу и посреди возвышение; множество людей, богато одетых, при появлении его раболепно преклоняют колени; он смело идет к возвышению, на котором сидит опять его невеста, держа лавровый венок, он становится на колени и преклоняет голову. Надев его, он с ужасом глядит кругом: богатая зала исчезла и превратилась в сцену, вместо невесты его перед ним Орлеанская в костюме герцогини,— она злобно улыбается. Вокруг разряженные дамы, в которых он узнает актрис, в народе — фигурантов; все смеются и шепчутся. Он хочет бежать из залы — ему заслоняют дорогу; однако он после борьбы проталкивается, бежит по какой-то длинной сцене; за ним гонятся все с криками и смехом. Хохот Орлеанской покрывает всё... Вот он достигает дверей; но у них открывается люк, и он, желая перескочить, падает в него...

Глава XXI

ВЕЧЕР У ЛЮБСКОЙ

Любская возвратилась домой усталая и в тревожном состоянии духа. Она отдала горничной приказание подать чаю, когда приедет Мечиславский. Это привело в негодование Елену Петровну; она зафыркала и кричала в кухне, что дня не останется жить, потому что Любская стала принимать Мечиславского. И когда тихо позвонили у двери, горничная не двигалась с места, бормоча презрительно:

— Померзни, померзни.

Заслышав звонок, Любская пришла в сильное волнение, лицо ее побледнело; глаза устремились к двери; но дверь, как бы томя ее, не раскрывалась, потому что горничная хотела поморозить Мечиславского, а он не решал-

ся звонить еще раз и терпеливо ждал. Кухарка, сжалясь, впустила его; тогда горничная, выхватив у ней из рук свечку, крикнула:

— Не в свое дело не суйся!

— Дома?.. — робко спросил Мечиславский, снимая свою шинель.

— Идите.

И горничная грубо раскрыла дверь в темную комнату и, не посветив гостю, заперла ее за ним, а сама с сердцем толкнула ногою его шинель, оставленную на стуле.

Любская вышла к нему со свечой в руке, которая дрожала, обличая волнение Любской.

Они молча раскланялись. Любская пригласила гостя идти за ней. Они вошли в небольшую комнату, убранную очень просто; указав на стул гостю, Любская села на диван. Как хозяйка дома, так и гость равно находились в затруднительном положении, судя по их взглядам и краске, которая на мгновение покрыла их щеки, чтоб потом сильнее выказать их бледность. Любская первая прервала молчание, однако не словом, а звоном колокольчика, стоявшего на столе; на зов явилась горничная.

— Подай чаю!

Горничная, кинув презрительный взгляд на гостя, важно вышла.

Любская наконец сказала:

— Вы открыли нашу тайну.

— Как? кому? — пугливо воскликнул Мечиславский, взглянув ей в лицо в первый раз с той поры, как пришел.

— Он знает всё,— с упреком отвечала Любская.

— Клянусь вам, я никому не заикался! — смело возразил Мечиславский.

Шумно появилась горничная с подносом и, небрежно поставив его на стол, гордо удалилась. Чай был без сахару, совсем холодный; горничная рассчитала рассердить Любскую и уже причитывала в своей голове грубые ответы; но напрасно: ни Любская, ни гость не дотронулись до чаю. Они снова молчали и видимо тяготились этим оба.

— Вы слышали, как кричала Орлеанская, что публика глупа, потому только, что не аплодировала ей? — спросила Любская.

— Да она, кажется, на всех сердится,— отвечал гость.

— Но вы сегодня играли удивительно: я бы вас не узнала по голосу, так он был силен и в то же время мягок. Вам надо обратить внимание на себя: вы будете хорошим

актером. Будьте развязны, как сегодня. Я в первый раз еще видела актера, который, казалось, не говорил заученные слова, но как будто сам их изобретал, смотря по своему положению... Знаете ли... что ваша игра сделала на меня такое впечатление, что я решилась ехать отсюда?

Последние слова Любская произнесла тихо.

Мечиславский вздрогнул и с ужасом глядел на Любскую, которая, потупив глаза, продолжала:

— Я хочу учиться, я хочу сама быть чем-нибудь. На провинциальном театре я далеко не пойду. К тому ж разного рода притеснения выводят меня из всякого терпения... Впрочем, я хотела бы знать ваше мнение: как вы думаете?

Любская нетерпеливо глядела на Мечиславского, но он, уткнув глаза в фуражку, ничего не отвечал; она продолжала:

— Сплетни мне надоели.

— Они везде одинаковы! — глухим голосом произнес Мечиславский.

— О нет! здесь они страшны! Мне противно входить в театр... Нет, я не могу, я не останусь здесь! — с горячностью и сквозь слезы говорила Любская.

Слова ее были прерваны страшным звоном в колокольчик.

— Кто бы это? — пугливо проговорила Любская и, заслышав шум в передней, кинулась к двери, ведущей в темную залу. Зала тускло осветилась при появлении горничной со свечой в руках; за ней шли двое мужчин. Любская слабо вскрикнула, захлопнула дверь и страшно побледнела.

— Кто там? — вскочив с места, спросил Мечиславский.

— Калинский и...

— Я уйду, примите их.

— Нет! пусть они вернутся домой, я их не приглашала. Я даже им запретила посещать мой дом.

Лицо Любской дышало гневом, и когда горничная вошла в комнату, нарочно распахнув дверь за собой, и громко произнесла: «Гости-с!», Любская с минуту не знала, что делать и что отвечать. Мечиславский привстал; но она, удержав его за руку, гордо сказала горничной:

— Проси! — и, обратясь к Мечиславскому, прибавила задыхающимся голосом: — Вы увидите, как я их приму.

Калинский вошел первый, раскланявшись с Любской, взял за руку Дашкевича, стоявшего позади его, и сказал с любезнейшею улыбкой:

— Я взял всю ответственность на себя. Мы не могли удержать нашего восторга к вашей игре и поспешили изъявить вам свою глубочайшую благодарность.

Любская выслушивала их стоя; глаза ее искрились, и насмешливо-презрительная улыбка дрожала на ее губах.

Калинский тотчас же обратился к Мечиславскому, пожал ему с чувством руку и продолжал:

— Вы гордость нашей сцены, мы оценим вполне ваш талант.

— Вы прекрасно играли сегодня! — крутя усы, прибавил Дашкевич, обращаясь к Любской, которая, измерив его глазами, отвернула голову, так что Дашкевич закашлялся.

Несмотря на то что Любская не приглашала их сесть и сама стояла, Калинский продолжал говорить, поминутно рассыпаясь в похвалах то Любской, то Мечиславскому, а Дашкевич расхаживал по комнате.

В эту минуту горничная внесла поднос с чаем и лукаво глядела на Любскую, которая от негодования медленно опустилась на свое место; гости с развязностью последовали ее примеру, с чашками чаю в руках.

— Не угодно ли сухариков? а сливочек? — лепетала горничная, закатывая свои пепельные глаза и как бы стараясь любезностью загладить холодность своей госпожи.

— Вы знаете, что я исполнил ваше приказание,— вполголоса сказал Калинский, придвигаясь к Любской.

— Благодарю вас! Вы сделали доброе дело, определив эту девочку,— громко отвечала Любская.

— Я рад, что угодил вам, зато подвергся гневу одной дамы,— лукаво улыбаясь, уже громче произнес Калинский.

— Да, она очень сердится на вас! Впрочем, ей поделом.

Дашкевич не докончил и запил свою фразу чаем, от которого поперхнулся, причем облился, вскочил и стал отираться платком. И всё это произошло от одного взгляда Любской, брошенного на него.

Мечиславский задыхался; его глаза горели гневом и медленно переходили от Калинского к Дашкевичу.

Любская, заметив это, подвинулась к нему ближе и сказала ласковым голосом:

— Я вам и не досказала всего анекдота.

— Мы, кажется, вам помешали своим приходом,— заметил Калинский.

Любская ничего не отвечала и начала говорить, как бы оканчивая начатый прежде рассказ.

Калинский встал и, кланяясь, с особенным ударением произнес:

— Мы боимся узнать, может быть, лишнее.

— О нет! у актрис не может быть тайн. Мне кажется, все знают, что они даже думают.

— Впрочем, в сию минуту я точно знаю, что вы думаете,— смеясь, сказал Калинский.

— Что ж! ничего нет проще, как угадать мои мысли, потому что я даже не стараюсь их скрывать.

Дашкевич, поклонясь, вышел в залу. Калинский, пожав руку Любской, прошептал нежно: «Жестокая!» — и, отвесив поклон, вышел из комнаты.

Любская схватила себя за голову и, сжимая ее, простонала:

— Боже мой, боже мой!

Мечиславский кинулся запереть дверь, чтоб уходящие не слышали рыданий Любской, которыми разразилась она.

— Я не смел; но один ваш одобрительный взгляд, и я бы вытолкал их из вашего дома!

— Нет! я ни за что не останусь здесь! — говорила Любская, сдерживая свои рыдания.

— Вам надо ехать, и как можно скорее! — заходив по комнате, отчаянным голосом сказал Мечиславский.

Любская вытерла слезы и, с участием посмотрев на Мечиславского, умоляющим голосом сказала:

— Помогите мне всё устроить. Я продам всё, заплачу долги и навсегда оставлю этот город. Я посвящу себя одной сцене. Я буду покойна, никого не стану принимать.

— С богом! — решительно произнес Мечиславский и быстро вышел из комнаты.

Он шел долго и всё прямо, не обращая внимания ни на что. Он вышел за город и остановился тогда только, как ноги его стали вязнуть в грязи; ветер крутил воротник его шинели; мелкий снег порошил в воздухе. Мечиславский долго стоял на одном месте, как бы соображая, где он. То было поле за городом. Он так устал, что, возвращаясь, должен был присесть у заставы на камень и просидел на нем до рассвета. Медленными шагами побрел он домой.

В то время Остроухов уже проснулся, но еще не мог успокоиться, взволнованный своими грезами. При шорохе дверей он поспешно закутал голову в дырявое одеяло,

из-под которого мог делать свои наблюдения. Он ждал встретить Мечиславского с сияющим лицом и чуть не вскрикнул, увидав своего друга с бледным, даже посинелым лицом; волоса его на висках смокли, сапоги и шинель были в грязи. Остроухов онемел и не знал, что ему делать. Мечиславский, только что сбросив с себя шинель, кинулся на диван не раздеваясь. Остроухов откинул одеяло и сел на кровать. Он долго глядел на своего друга, который в свою очередь притаился спящим, чтоб не отвечать на вопросы. Остроухов опять лег; и так два друга пролежали молча до самого утра, и когда свет осветил их утомленные лица, они пугливо переглянулись и, как бы сговорясь, повернулись друг к другу спиной.

Глава XXII

ТЕАТРАЛЬНЫЙ БАЛОК И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Горничная Любской сдержала слово не служить более у такой актрисы, которая принимает Мечиславского. В двенадцать часов на дворе стояли ломовые роспуски, на которые Сидоровна с извозчиком усердно таскала тяжелые сундуки, комоды и перины. Фигура горничной была замечательна в этот день, потому что даже ее пепельное лицо слегка подернулось краской; она отрывисто дышала и поминутно передергивала плечами, командуя Сидоровной и извозчиком и перебраниваясь с кухаркой, еще накануне задушевной своей приятельницей.

Для людей этого класса ничего нет оскорбительнее, как их выезд из дому без брани и шуму. Горничной не удалось покричать с своей барыней, потому что Любская предупредила ее и утром сама вынесла ей паспорт и деньги, сказав при свидетелях, чтоб она сейчас же оставила ее дом.

С секунду горничная стояла, как пораженная громом, закатив под лоб свои пепельные глаза, и, с плачем кинувшись за удалявшейся Любской, закричала:

— Что, я воровка, что ли... что вы меня гоните??

— Ты мне более не нужна! — покойно отвечала Любская.

— Я сама хотела вас оставить,— фыркая и вытирая слезы, сказала горничная и с наивностью прибавила: — Извольте осмотреть мои комоды: чего доброго, что про-

падет — скажете: я взяла; так чтоб знали уж, кто из гостей...

Любская приказала кухарке осмотреть сундуки и захлопнула за собой дверь, не желая дослушивать речь горничной. Горничная подняла спор с кухаркой; шум был страшный, так что прачка и Куприяныч выскочили из своего подвала и очень удивились ломовому извозчику, приведенному Сидоровной.

Когда всё было уложено на роспуски, горничная, с зеркалом под мышкой, явилась на дворе и крикнула извозчику, чтоб он ехал, бросая прощальные выходки кухарке, которая, высунувшись из форточки, тем же отвечала ей.

— Прощайте, Олена Петровна; небось немало вывозите доброго-то! даром что жаловались на госпожу-то! — заметил насмешливо Куприяныч.

— Прощай, Кирилловна,— протягивая свои пепельные и дрожащие губы к прачке, сказала горничная и, презрительно посмотрев на Куприяныча, прибавила: — Хоть бы ты ему язык-то привязала.

— Ну а тебе так уж подлинно следует привязать его!— грубо отвечал Куприяныч, причем у него запрыгала серьга в ухе — всегдашний признак его гнева.

Горничная плюнула и, как рыцарь, стала в оборонительное положение, защитив свое лицо зеркалом. Прачка удержала поднятую руку своего мужа, чем воспользовалась горничная и шмыгнула под ворота. Прощальные приветствия были не очень лестны для отбывшей: каждый произнес недоброе слово. Даже флегматическая Сидоровна, стоя на дворе и вытаскивая занозу из своей ладони, которая уподоблялась в крепости спине черепахи, бормотала:

— Хоть бы спасибо сказала за труды, экая злущая!

Прачка с мужем, узнав подробно историю отбытия горничной, удалились в подвал, продолжая честить Елену Петровну. Жизнь супругов со дня определения Кати текла ровнее; прачка не ожесточалась против котов своего мужа и даже иногда кормила серого, вспоминая, что Катя любила и ласкала его. Раздражительность прачки уменьшилась, когда Катя была наконец пристроена, за что прачка день и ночь благословляла Любскую.

Несмотря на эти благословения, над головою Любской и Мечиславского сбиралась гроза. На другое утро после визита Калинского и Дашкевича не только за кулисами

и между театралами, но и по всему городу ходила нелепая история о Любской и Мечиславском. Все о них толковали в театре, даже портные и ламповщики. Но эта история была только прелюдией к грозе: против них готовился умысел, в главе которого находились Дашкевич и Ноготкова. По этому-то случаю последняя давала у себя бал, на который были приглашены все молоденькие актрисы. Квартира Ноготковой преобразилась для этого дня. Из залы была вынесена лишняя мебель ради простора для танцев; спальня уничтожена и обращена в игорную комнату, где расставляли ломберные столы. Оркестр музыки был составлен из музыкантов театра, которые не имели права выходить из отведенной им крошечной комнаты. В назначенный час, именно в десять, еще никто не являлся из дам. Съезжались одни театралы и кандидаты в них. Ноготкова, отягченная браслетами, кольцами, с развязностью принимала гостей.

Наконец стали появляться дамы, наряженные в пух, хотя каждая утром говорила на репетиции, что ни за что не оденется по-бальному, а поедет в темном шелковом платье. Но вышло иначе: никто не явился в темном, а все в креповых платьях, в цветах; каждая, одевшись, сидела дома, выжидая, но ни одной не удалось приехать позже других, потому что и другие приняли те же меры.

Хозяйка принимала дам очень сухо, выговаривая, что они так поздно приехали.

— Да, несчастная, с чего она взяла, что мне весело ехать к ней.

— Да, страсти!

— Да, счастливая!

— Вот еще!

Такие восклицания сыпались в кругу здоровавшихся актрис.

Начались танцы, так серьезно, как будто наложен был штраф на всех, кто улыбнется или заговорит.

Ноготкова хлопотала, чтоб подавали угощение. Лакеи были в белых перчатках и галстухах, в чулках и лакированных башмаках. Они, равно как и столовое серебро и другие украшения, не принадлежали Ноготковой, а были присланы каким-то богатым театралом. Ни один актер не был приглашен, исключая режиссера; но и тот, как можно было заметить по таинственным разговорам с хозяйкой, удостоился такой чести по особенным причинам.

Актриса, по фамилии Дубровина, явилась в первом

часу, в сопровождении своего поклонника, и своим появлением произвела большое волнение в зале: все актрисы досадовали, зачем им не пришло в голову так же поздно явиться. Театралы в свою очередь перешептывались между собой.

Но какая нужда до толков: Дубровина торжествовала, что перехитрила своих подруг, которых утром уверяла, что ни за какие блага не поедет к Ноготковой.

Когда волнение, произведенное приездом Дубровиной, поутихло, в зале настала прежняя тишина. Дамы сидели, как наряженные куклы, не считая приличным делать своим кавалерам вопросы, даже и отвечая отрывисто, как будто сердясь. Не посвященные в тайны театралы и влюбленные дрожали, не смея говорить с предметом своего сердца, а заслуженные театралы также не пускались в любезности, опасаясь рассердить героиню своего сердца. Следовательно, всё было принужденно и скучно.

Позже всех явился Калинский; надо было удивляться его находчивости: он не только поговорил со всеми дамами, но даже некоторых из них заставил говорить, а не произносить одни бессмысленные восклицания, которые сделались в их кругу многозначительны до такой степени, что без них не раскрывала рта актриса.

Калинский, дружески пожимая руки мужчинам, достиг до гостиной, где втроем совещались режиссер, Дашкевич и Ноготкова. Завидев Калинского, Ноготкова не без волнения сказала:

— Завтра всё готово!

Калинский пожал руку Ноготковой, любезно погрозил ей пальцем и, обращаясь к Дашкевичу, сказал:

— Вот изобретательная женщина. Я уверен, что наказание будет ужасно.— И Калинский пожал руку Дашкевичу, проговорив протяжно: — Bonsoir.*

Режиссер низко и почтительно поклонился Калинскому, который и ему сказал какое-то приветствие, на что еще ниже поклонился режиссер. Они толковали между собой долго и много. Дашкевич в волнении крутил усы, режиссер с неимоверною покорностью всё твердил:

— Я готов-с, я на всё готов-с.

Один Калинский наружно сохранял спокойствие и небрежно слушал Ноготкову, любуясь своими руками, украшенными колечками.

---

* Добрый вечер *(франц.)*

За ужином Калинский и другие мужчины много шумели, дамы по-прежнему молчали, ничего не ели и по временам перебрасывались шариками из хлеба. Режиссер ел страшно, как будто его несколько дней томили голодом.

Дашкевич провозгласил тост за неразрывность дружбы всех находящихся за столом, Калинский же — за здоровье хозяйки и всех прекрасных ее подруг. То была великая минута: безмолвные поклонники устремляли взоры на владычиц сердец своих и залпом выпивали вино.

Прощаясь с гостями, Ноготкова благодарила мужчин за посещение и повторяла всем: «Так завтра», а дамам, небрежно кивая головой, ласково говорила: «Вам ложу оставят».

Когда дамы разъехались, Ноготкова с некоторыми оставшимися гостями удалилась в комнату, где играли в карты, и стук ими по столу сменил музыку в квартире. Дашкевич играл в доле с хозяйкой дома, которая осталась в таком выигрыше, что покрылись все расходы бала.

На другое утро кандидаты в театралы поднесли ей дорогую серебряную вазу.

Вечером почти все лица, присутствовавшие на балу, были в театре; актрисы сидели в ложах, а театралы в креслах. Не было только Калинского. Ноготкова играла в тот день вместе с Любской. Мечиславский был болен; но режиссер принудил его играть. Пьеса была нелюбима публикой, роль у Любской была маленькая. Сцены с Мечиславским шли очень дурно, потому что он поминутно кашлял; его совсем не было слышно: так тихо он говорил. Когда занавес опустился, стали страшно вызывать Ноготкову; раздались аплодисменты. Потом закричали Любскую и Мечиславского. Режиссер долго не выпускал их, чему все дивились. Дело в том, что он приказал заставить все кулисы и потом уже пошел в уборную, крича: «Госпожа Любская на сцену!»

— Я уж раздета! — отвечала Любская, удивляясь, что ее вызывают.

— Идите, а не то штраф!

Любская накинула шаль и кинулась из уборной. Хриплые голоса слышались в партере, крича: «Любскую и Мечиславского». Они взялись за руки и вышли из боковой кулисы на сцену, но лишь только они появились, послышались свистки и даже кто-то закричал: «Вон!» Занавес, как нарочно, не опускался. Любская, сначала с силою сжав руку Мечиславскому, бросила ее и кинулась со сцены, но

кулисы все были заставлены; она металась по сцене под страшное шиканье, смех публики и слабые рукоплескания тех, кто не был посвящен в заговор и еще оставался в театре. Мечиславский с силою толкнул одну кулису и дал укрыться Любской. Сопровождаемая смехом Орлеанской и Ноготковой, Любская как безумная кинулась в уборную. Там она предалась такому отчаянию, что сбежались многие фигурантки; с ужасом смотрели они на Любскую, которая рыдала и ломала руки. Мечиславский, бледный как мертвец, стоял возле несчастной и, когда она пришла в себя, увез ее домой.

И сам он едва возвратился домой: так в голове его всё перемешалось, ноги подкашивались; он едва мог добраться до дивана и упал на него без чувств. Остроухов в испуге подошел к нему и с ужасом отскочил: Мечиславский лежал недвижен и бледен как мертвый. Остроухов думал было привести его в чувство, лил ему воду на голову, давал нюхать уксусу и наконец кинулся за доктором; он бегал по городу от одного к другому и, подхватив какого-то доктора, только что возвращавшегося домой, повез к себе. Ровно через два часа подали помощь Мечиславскому, который лежал всё в том же положении. Доктор покачал головой, пощупал пульс и спросил Остроухова:

— Вы его брат?

— Нет!

— И не родственник?

— Нет.

— Так я вам должен сказать, что он очень труден! — И преспокойно уселся писать рецепт.

Остроухов остолбенел и, взглянув на бледное и исхудалое лицо Мечиславского, в отчаянии схватил себя за голову и заходил по комнате.

— Извольте рецепт: через два часа по ложке, мушку на левый бок.

— Пропишите ему самое дорогое лекарство,— всё, что нужно; не жалейте денег! — давая деньги доктору, в волнении говорил Остроухов.

— Будьте покойны и надейтесь на бога! — произнес доктор и вышел из комнаты, но тотчас опять заглянул, сказав: — Завтра понаведаюсь.

Остроухов послал хозяйку квартиры, у которой нанимали они комнату, в аптеку, а сам сел возле Мечиславского и не сводил с бледного лица его своих глаз, поминутно застилавшихся слезами. Он так сидел долго; наконец

голова его повисла, и он задремал. Мрачность комнаты придала двум фигурам страшный, страдальческий колорит. Вошла хозяйка с лекарствами и нарушила тишину. Остроухов стал их распечатывать. Тогда только Мечиславский тяжело вздохнул и, открыв глаза, слабо закашлялся.

— Не хочешь ли ты чего-нибудь? — спросил Остроухов, подойдя к больному.

— Я... нет... мне ничего не хочется! — грустно, тихим голосом отвечал Мечиславский и вдруг закашлялся сильно, жалуясь на боль в боку, так что Остроухов поддерживал его голову.— Сходи, пожалуйста, завтра... к содержателю театра и попроси... дать мне вперед жалованье! — задыхаясь, проговорил с большим трудом Мечиславский.

— На что тебе? — с удивлением спросил Остроухов.

— Мне надо; пожалуйста! Я хочу, чтоб она дня не оставалась здесь...

Остроухов подумал, что больной начал бредить, и поднес ему лекарства.

— Разве я болен? — весь дрожа и приподнимаясь, с испугом спросил Мечиславский и, в изнеможении упав на подушки, он жалобно простонал: — Если он узнает... он не даст мне денег; ты скрой от него, скажи, что у меня даже кашель прошел.

— Успокойся, Федя: я уж знаю, что сказать,— растроганным голосом отвечал Остроухов.

— Не говори... не говори ему, для чего мне надо эти деньги.

Мечиславский замотал головой.

Остроухов подал ему ложку с лекарством и сказал:

— Выпей-ка: скорее выздоровеешь.

Больной дрожащей рукой схватил ложку и с жадностью проглотил ее. Силясь улыбнуться, он произнес:

— Я выздоровею?

Остроухов кивнул головой.

— Так дай мне еще! дай!

— Довольно!

— Когда же мне еще принять?

— Через два часа.

— Через два! — повторил с досадой больной и потребовал часы к себе, но закашлялся и долго лежал, ничего не говоря.

Остроухов, по болезни не присутствовавший в тот вечер в театре, не мог понять причины такого состояния своего друга. Правда, он кашлял и жаловался на боль в боку

после своей ночной прогулки за город; но отчего болезнь вдруг так усилилась? и на что ему деньги, к которым он так был равнодушен прежде?

Всю ночь больной тревожился, поминутно будил дремавшего Остроухова, чтоб не пропустить часу, когда надо пить лекарство.

— Ты спишь? — спрашивал больной.

— Нет! а что? — отвечал с раскрытыми глазами Остроухов.

— Не пора ли лекарство?

— Ты недавно принимал.

— Как это можно! уж я лежу, лежу,— и, изменив голос, он продолжал: — Знаешь ли что: мне кажется, я здоров, а только устал. Я завтра сам пойду просить о деньгах... Пусть меня заставляют играть всякий день и что хотят... Да, я всё, всё буду играть... «О чем шумите вы...» — как бы пробуя свой голос, произнес Мечиславский, но закашлялся; после этого он потребовал роль, и, как ни уговаривал его Остроухов успокоиться, больной принялся читать ее; но ему всё казалось темно, ослабевшая рука с ролью падала, глаза сами собой закрывались, и Мечиславский тяжело вздыхал при каждой попытке читать роль.

Глава XXIII

СОДЕРЖАТЕЛЬ ТЕАТРА

Рано утром Мечиславский разбудил Остроухова, посылая его скорее к содержателю театра. Остроухов заикнулся было, что еще очень рано; но больной страшно рассердился и так горько заплакал, жалуясь, что никто его не любит и что одна лень его друга придумывает такие отговорки. Остроухов стал одеваться, чтоб утешить больного, который следил за каждым его движением и торопил его. Когда Остроухов вышел из комнаты, больной свободнее вздохнул и закрыл глаза; он так лежал довольно долго; стук в двери заставил его пугливо приподнять голову, и он слабым голосом спросил:

— Кто там?

— Я... доктор! — высунув голову, отвечал вчерашний доктор.

— А, пожалуйста, войдите! — И лицо больного просияло.

Доктор вошел, потер руки и потом уже подошел к кровати, на которую переложили больного. Он пощупал пульс, сделал гримасу и спросил:

— Вы принимали лекарство?

— О, как же!

— Ну, где вы чувствуете сильнее всего боль?

— Я?.. голова! и здесь!

И больной указал на левый бок.

Доктор сел писать рецепт, а Мечиславский стал разглядывать его лицо, которое не отличалось большой нежностью. Больной несколько раз раскрывал рот, чтоб говорить, но не мог — от боли или страха; наконец он тихо прошептал:

— Доктор, доктор!

— Что вам угодно? — спросил доктор, не отнимая глаз от рецепта.

Больной молчал.

— Верно, чего-нибудь кисленького, пить или кушать?.. Нельзя, нельзя!

— О нет.... я хочу знать только, опасно я болен... или только так...

Доктор подошел к кровати больного, который продолжал с большой расстановкой:

— Я еще не стар...

— Вы женаты?

Мечиславский покачал головой.

— У вас есть мать, отец, дети?

— Нет! но я...

Доктор задумался и в умоляющих глазах больного, устремленных на него, казалось, искал чего-то.

— Вы, верно, сильно простудились? — спросил доктор.

Больной кивнул головой.

— Еще не огорчились ли вы чем?

Мечиславский сжал губы и простонал.

— Успокойтесь, берегите себя, забудьте всё и будьте только покойны.

— Я буду покоен, только скажите мне, скоро ли я встану? — в отчаянии лепетал больной.

Доктор взял его за пульс и сверял с часами. Мечиславский приподнял голову, прильнул запекшимися губами к руке доктора и раздирающим голосом сказал:

— Спасите, спасите меня!

Голова его упала на подушки, и он слабо заплакал. Доктор разорвал рецепт и стал писать другой, потирая

себе лоб. Больной продолжал всхлипывать. Когда он замолк, доктор подошел к кровати, покачал головой и на цыпочках вышел из комнаты.

В это утро содержатель театра находился в сильном волнении: в городе ходили слухи о появлении новой труппы, которая намеревалась дать несколько представлений во время съездов на ярмарку. Богачей бывает в это время много, театры в большой моде — и вдруг, может быть, новая труппа отобьет у него всех любителей театра, а покровительство их давало ему средства иметь постоянный театр, не разъезжая по ярмаркам, как делывал он прежде, с небольшим числом актеров.

Жизнь содержателя театра немногосложна. Он был дворовый человек одного богатейшего и предоброго помещика, имевшего свой театр. По смерти труппа его попала в распоряжение Карпу Семенычу. Карп Семеныч — так звали содержателя труппы — был смышленее всех, несмотря на то что ровно не имел никакого дарования; он подбил некоторых актрис и актеров, захватил тайком костюмы и отправился на ближайшую ярмарку; здесь он дал несколько представлений в сарае, собрал много денег, из которых очень мало уделил актерам, хотя обещал делить с ними барыши поровну. Вышел спор, и труппа разделилась на две. Долго воевали между собой обе труппы, встречаясь в разных городах; наконец Карп Семеныч решился на страшную попытку: он собрал огромную труппу, дал представление в одном городе, где был его соперник, уничтожил своего врага и приобрел славу. Он тут только догадался, что гораздо выгоднее избрать город и иметь постоянный театр. Жребий пал на город NNN, в котором было много любителей театра. Они пожертвовали на сооружение здания и давали большие капиталы на обзаведение и содержание актеров. Через десять лет театр мог существовать своими доходами, и содержатель его имел уже значительный капитал.

Наружность Карпа Семеныча, казалось, не могла бы внушить доверия, каким он пользовался в жизни. Его рост был небольшой, узкие плечи, острый живот, лицо широкое, пухлое и лоснящееся. Маленькие карие глаза бегло копошились; нос широкий, даже несколько приплюснутый. Рот Карпа Семеныча был ужасный; жирная нижняя губа висела на двойном подбородке. К довершению красоты огромную его голову прикрывал чуть не детский черный парик, отчего его лоб был безобразно велик, а его

жирный затылок двумя складками свешивался с галстуха, застегнутого стальной пряжкой.

— Что делать, что делать! — повторял содержатель театра, остановясь против режиссера, который жался в углу, согнув спину, словно отягченный горестью своего хозяина.— И ты еще вздумал затевать ссоры? да я тебя...

— Я тут ни в чем не виноват-с. Если вам угодно принять мой совет...

— Ну что, говори, хитрец! Я ведь знаю тебя: ты горазд выдумать!.. Ну, говори, что придумал?

— Да выписать-с бы какую-нибудь столичную знаменитость.

Карп Семеныч ударил усердно себя в лоб, сказав:

— Ах я тетерев! — и, обратясь к режиссеру, повелительно крикнул: — Строчи!

Режиссер исполнял и должность секретаря у своего хозяина, который владел очень дурно пером; зато слог его был превосходен. Вот образчики писем, какие он сочинял к столичным актерам:

№ 1

«Достопочтеннейший и добродетельнейший
Кузьма Петрович!

Я не в состоянии описать всех тех мук и страданий, какие я ощущаю в сию минуту. Труппа Антипова близко города нашего! Это известие чуть меня не отправило в царство Плутоново. Что мне делать несчастному?!

...Остается одно спасение: это просить вас приехать на это время в город. Всё, всё, что вы ни захотите, я на всё согласен.

Поспешите ответом, мой благодетель и спаситель, и проч.»

№ 2

«Милостивый государь,
достопочтенный и несравненный
Григорий Сидорыч!

Простите великодушно, что я до сих пор не отвечал вам на ваше предложение: тяжкая и продолжительная болезнь тому причиной. Смею умолять вас о драгоценнейшем вашем посещении на мой театр. Вы доставите мне счастье, а публике — восторг и блаженство. До кондиций

со мной и не говорите. Я сам весь ваш, не говоря уже о пустом металле. Доставьте счастье тому, кто привык вас почитать и удивляться вашим высоким достоинствам и прославлять бесценное имя ваше.

Квартирку я вам приготовил... понравится ли она только вам? При ней вы можете иметь прекрасный стол за сходную цену; хозяйка квартиры услужлива; хозяин же смирен... Они будут угождать вам; я их просил об этом чрезвычайно. Итак, спешите, спешите; всё в вашем распоряжении, даже мои разнородцы (так называл содержатель театра актеров) будут вам подвластны: журите их как вздумается... Здесь сходят с ума при одном вашем имени, и я одного только и жажду, чтоб вы прибыли к нам как можно скорее, потому что всюду только и слышишь: „Давай нам несравненного Григория Сидорыча!“ Я не знаю, как и воздать благодарность за высокое блаженство, которое мне предстоит, узреть такого знаменитого и беспримерного гостя.

С чувством невыразимого высокопочитания и благодарности

честь имею пребыть
почитатель до могилы такого гения и проч.»

Остроухов прекратил диктовку, войдя с поклоном в комнату. Карп Семеныч встретил его такого рода приветствием:

— А что тебе нужно, гуляка?

— Я пришел просить вас не о себе! — грубо отвечал Остроухов, но тотчас спохватился и кротче прибавил: — Мечиславский просит...

— Верно, денег? — подхватил содержатель театра.

— Да-с, Карп Семеныч!

— На что ему деньги? а? чтоб гулять с тобой? а?

— Да он болен!.. то есть не так здоров...

Остроухов совершенно потерялся; ему казалось странным: прежде слова содержателя театра, всегда равно грубые, не бесили его, а теперь он должен делать усилие, чтоб не отвечать ему такими же грубостями.

— На-ткось! что я дурак, что стану деньги больным раздавать!

— Он умирает! сжальтесь! — задыхаясь, произнес Остроухов.

— Ха-ха-ха! вот славно — человек умирает, а ему дай вперед денег... ха-ха-ха!.. да вы оба с ума спятили.

Остроухов, весь задрожав, пошел к двери, потом приостановился и произнес нетвердым голосом:

— Если он умрет, я возьму на себя его долг.

Содержатель топнул ногой и отвечал:

— Ах вы голяки, туда же! да я и тебе-то гроша не дам.

Остроухов низко поклонился и сказал с нежностью:

— Карп Семеныч, сжальтесь!

Содержатель театра закинул свою жирную голову назад и презрительно глядел на Остроухова, который потупил глаза и раболепно продолжал:

— Вы добрый человек... Карп Семеныч...

— Да, когда вам нужно, у вас Карп Семеныч делается только тогда добр,— произнес как бы про себя режиссер, но так удачно, что содержатель театра услышал. Он грозно нахмурил брови и решительно произнес:

— У меня нет жалости к таким, как ты.

Остроухов вспыхнул; глаза его засверкали, перебегая от широкого лоснящегося лица содержателя театра к злобному зеленому и испитому лицу режиссера, как бы избирая жертву. Но вдруг, махнув рукой, он кинулся из комнаты. Оставшиеся в ней свободно вздохнули, и содержатель театра нетвердым голосом сказал:

— Он, кажется, совсем рехнулся: его нельзя пускать!— И, обратясь к режиссеру, с сердцем крикнул: — Ну, строчи!

Выйдя на улицу, Остроухов не знал, что ему делать, как и где достать денег, чтоб утешить больного. Он вспомнил о Любской и пошел к ней.

Любская была больна и не вставала с постели. Она рассказала Остроухову подробно всё, как было накануне, и показала письмо от Калинского, в котором он спешил ее уведомить о гнусном заговоре, умолял ее не огорчаться и уверял, что готовит ей триумф.

Случайно или нет, письмо опоздало, и Любская прочла его только по возвращении из театра.

Остроухов, казалось, был подавлен всеми этими происшествиями. Он с ужасом сказал:

— Кажется, все сговорились его убить!

— Что такое? — тревожно спросила Любская.

— Мечиславский болен! — отвечал Остроухов.

— Я думаю, если бы кто был на моем месте, так понял бы...

Любская зарыдала.

— Не плачь! ты лучше скажи мне откровенно: принимаешь ты участье в Мечиславском?

Любская пугливо глядела на Остроухова.

— Говори!

— Я... я уважаю...

— Хочешь ли ты сделать что-нибудь для него?

Любская помертвела и воскликнула, дрожа:

— Чего он хочет от меня?

Остроухов строго взглянул на Любскую, которая потупила глаза.

— Не знаю, что вправе требовать он от тебя...

— Он не имеет права, клянусь! Если вы знаете всё...

Любская замолчала и глядела на Остроухова, который горько усмехнулся и сказал:

— Я ровно ничего не знаю и спрашиваю только небольшого одолжения; если не хочешь сделать для него, так хоть для меня!

— Скажите, я всё готова сделать,— нетерпеливо отвечала Любская.

Остроухов медленно начал:

— Он вчера заболел, и опасно...

— Я сама чуть не умерла от стыда.

— Я призвал доктора, целую ночь не спал, и ему пришла блажь к деньгам: раным-ранешенько послал меня к Карпу Семенычу. Ну он, разумеется, не дал!.. Так я боюсь прийти с пустыми руками: опять станет...

— Так нужны деньги? — поспешно вскакивая с постели, сказала Любская и кинулась к туалету, из ящика которого достала портфель, и в отчаянии воскликнула: — Боже мой, у меня только пятьдесят рублей!

Остроухов тяжело вздохнул.

Любская смотрела на него вопросительно; с минуту они оставались так; но вдруг Любская радостно вскрикнула: «ах!» — и стала шарить в ящиках. Собрав из них несколько футляров с вещами, она подала их Остроухову, говоря:

— Вот, заложите, продайте, делайте всё, что знаете, только исполните его желание. Завтра я постараюсь достать еще денег.

— У кого? — печально спросил Остроухов, разглядывая браслеты и серьги.

Любская не отвечала: она как бы приискивала в голове человека, к кому бы могла прибегнуть, и наконец произнесла:

— У Калинского!

— Глупенькая! это слишком дорого будет тебе стоить. Нет, лучше пусть поплачет он; ты не знаешь, что каждое одолжение твое есть шаг... Нет, он еще сильнее огорчится, если узнает. Не надо; я вывернусь!

— Вот еще шаль! возьмите и ее...

— Спасибо.

И он вышел.

Остроухов избегал чуть не весь город с вещами Любской и выручил за них пустую сумму. Первым словом больного при входе Остроухова был вопрос о деньгах.

Остроухов кивнул головой.

— Дай, дай мне их сюда!

И больной протянул свои дрожащие руки.

Остроухов подал ему двести рублей и сказал:

— На днях обещался еще дать.

— Боже мой, мне нужно еще, и скорее! — жалобно перебил его больной.

— Да на что тебе?

— Я... я снесу ей... они хотят ее погубить... Дай мне сюда весь мой гардероб... Где мои часы...

Глаза у больного засверкали, щеки запылали.

— Ляг, ляг, Федя: я тебе всё подам! — пугливо кидаясь к постели, говорил Остроухов. Он передал больному весь гардероб его. Мечиславский кашлял и не мог говорить, а только жестами показывал, какое платье он хочет.

— Дай мне ножик.

— На что тебе, Федя?

— Дай! боже мой! не расскажешь ему?

— Что ты хочешь делать?

— Я... я хочу спороть галун...

Остроухов нерешительно подал ножницы: больной схватил их и занялся отпарыванием галуна от камзола. Казалось, слабость исчезла; он бодро сидел и всё что-то бормотал тихо. Остроухов побежал за доктором. Тогда больной вдруг вскочил с постели и стал шарить у себя в комоде; он связал узел, положил в него часы, деньги, отпоротые галуны, пуговицы и, заслышав шум за дверью, как вор, пугливо кинулся на кровать с узлом, который спрятал под одеяло, и притворился спящим.

Доктор велел скорее класть ему льду на голову, поставить на затылок мушку. В продолжение этого времени больной то смеялся, то плакал, болтая несвязные фразы. К вечеру он как бы успокоился и лежал смирно.

Остроухов весь погрузился в разгадку, что за тайна была между Любской и Мечиславским, который никогда и не заикался ему, что знавал ее прежде. Вдруг Остроухова озарила мысль: раз они порядком развеселились, и Мечиславский рассказал ему историю, вспоминая которую Остроухов пришел теперь к некоторым темным догадкам.

И мы, оставив ненадолго нить романа, перенесемся в прошедшее и прослушаем рассказ Мечиславского, сохраненный памятью Остроухова.

Глава XXIV

ВЕРБОВЩИЦА

«...Ты помнишь,— говорил Мечиславский Остроухову,— когда я расстался с тобой, не поехав на ярмарку города К***, я сошелся довольно близко с одним богатым купцом, который, во что бы то ни стало, пожелал свезти меня в Петербург, уверяя, что у меня огромный талант, для развития которого мне необходимо видеть столичных артистов. Я не соглашался, потому что не люблю никем одолжаться; тогда он употребил хитрость. Раз, когда мы порядочно покутили, он посадил меня в свой экипаж, и я очнулся, когда уже воротиться было поздно. Приехав в Петербург, я поселился у добрейшей немки, которая пускала жильцов в свою квартиру. Я уходил со двора рано утром, а возвращался ночью. Дела у меня было много. Надо было еще скупить разного старого хлама из костюмов, по поручению Однодушенкова, содержателя труппы в К***, увидеть разные пьесы, списать их. К тому ж бильярд, столичные развлечения, обеды с моим покровителем... Одним словом, я по горло был занят. Раз я возвращался домой очень поздно. Это была вербная неделя. Как теперь помню, ровно в два часа ночи иду я по своему коридору, чтоб войти к себе в комнату, как вдруг слышу смех, такой звучный, такой веселый; я остановился. Кто-то напевал — тра-ла, тра-ла. Я вспомнил, что у меня есть соседи, и заглянул в щелку их двери, неплотно притворенной. Я увидел комнату такую же, как моя, с такою же меблировкой. Один угол отгорожен был ширмой; ,,верно, кровать, как у меня‘‘,— подумал я. В другом клеенчатый диван. В простенке комод; на нем чуть не игрушечный туалет. Шкап простой для платьев; лежанка, как у меня, только с тою

разницею, что у них стояли на ней самовар, кофейник, на подносе чашки, прикрытые салфеткой.

За круглым столом сидел старик лет шестидесяти, в преогромнейших креслах, столько же ветхих, как он сам. Старик был небольшого роста, худенький, закутан в ситцевый халат. На голове белый колпак, на котором покоились огромные очки, приподнятые с носу. Его редкие волосы, как лунь белые, ложились по плечам. Недалеко от него сидела девушка — девушка очень красивая собой. Особенно меня поразила игривость ее черт. Она держала в руках разряженную куклу, вертела ее перед старичком, беззаботно напевая и звучно смеясь. Старичок, как дитя, любовался куклой, кланялся и бормотал:

— Здравствуйте, сударыня, здравствуйте!

— Прощайте! — наклонив голову куклы, со смехом произнесла девушка и, бережно положив ее в сторону, принялась наряжать другую. Старичок в свою очередь занялся укладыванием восковой куклы в люлечку со мхом, сначала намазав ей спину клеем, который стоял перед ним в помадной синей банке. И, укладывая, он приговаривал:

— Ложись, плутишка, ложись.

Стол был завален лоскутками, куклами, искусственными цветами. Занятие девушки и старичка страшно удивило меня. Я сначала думал, что мои соседи не в здравом уме. Но глаза девушки полны были ума и спокойствия, и я, как бы пригвожденный, оставался у двери.

Девушка озабоченно наряжала свою куклу, старичок задумчиво глядел на нее и, как бы сам с собой рассуждая, сказал:

— Ну, как одной...

— Опять за старое! — строго перебила девушка.

Он пугливо принялся укладывать по порядку лоскутки и робко сказал:

— Разве я что сказал? я только хотел сказать, не лучше ли мне...

— Так я вам не позволю! — с горячностью перебила девушка и, гордо подняв голову, протяжно продолжала: — Я лучше их опять отдам!

— Ну, делай как знаешь! ведь ты у меня умница, — отвечал поспешно старичок.

Но, помолчав с минуту, он тихо произнес:

— А что скажут!

— Что могут сказать! Нас в Петербурге никто не знает. Мы можем умереть с голоду здесь — никто не побес-

покоится; смешно же нам страшиться, что будут говорить о нас.

В голосе девушки было столько упрека, что я, который в первый раз видел ее, я покраснел, как будто был в чем-нибудь виноват перед ней. Они замолкли. Я не мог оторвать глаз от головки девушки, которая так хорошо склонилась над своей куклой, бессмысленно таращившей на нее глаза. Не знаю, долго ли я еще простоял бы у двери, если б она предательски не скрыпнула. Я как шальной отскочил от нее, и девушка окликнула:

— Кто там?

Я притаил дыхание. Она быстро привстала; но старичок успокоил ее, сказав:

— Верно, кошка хозяйская бродит.

Точно, в эту минуту я походил на кошку: так тихо прокрался я к себе. Опасаясь зашуметь, я оставался на одном месте и весь превратился в слух. Была уже ночь, кругом всё спало; тишина такая, что я слышал почти дыхание моих соседей, от которых меня отделяла не капитальная стена, а дверь со щелями. Молитвы старика, его прощальные поцелуи с девушкой, кряхтение, позевывание — я всё ясно слышал.

— Ты разбуди меня завтра, как пойдешь,— сказал старичок.

— Хорошо, хорошо, спите! — лукаво отвечала девушка и тихо запела, как бы убаюкивая старичка, который через несколько минут захрапел.

Мне так хотелось опять видеть девушку, что я, заметив щель у двери, ведущей к соседям, вскарабкался на комод, стоявший возле, и стал глядеть. Девушка очень проворно убирала куклы; брови ее слегка сдвинулись, что, однако, ей не мешало напевать песенку. Голос ее так был звучен, так приятен, что мне казалось, я слышу пение самой искусной певицы. Утро забрезжило, а девушка всё еще не оставляла своей работы. И я только по временам отдыхал — и снова глядел в щель. Однако глаза ее сделались меньше, пальцы не так проворно перебирали лоскутки, она вдергивала нитку в иглу продолжительнее, чем прежде, и уже не пела. Вдруг она стала дремать, голова ее упала на грудь, но куклу она всё еще держала в руках.

Свеча, догорев, затрещала и заставила девушку вздрогнуть. Она торопливо принялась за куклу, но ненадолго; медленно перебирала она складки ее платья, и как ни

старалась открывать глаза, но они сами закрывались; девушка в изнеможении склонила голову на стол и заснула.

Я соскочил осторожно с комода; мне стало неловко в моей комнате; я боялся разбудить своих соседей. Но я так был утомлен, что тоже скоро заснул.

На другое утро, выходя со двора, я не мог не приостановиться у дверей моих соседей; в комнате была совершенная тишина. ,,Верно, спят'',— подумал я и отправился разузнавать у моей хозяйки о моих соседях. Но я не много узнал; хозяйка сообщила такие сведения, о которых я сам догадывался: что они очень-очень бедные люди и что девушка живет своими трудами. Я невольно усмехнулся, вспомнив вчерашние ее занятия. Не знаю почему, мне стало жаль девушку, такую красивую и молодую, которая заключена в маленькой комнате и должна вечно трудиться. Особенно ее фраза, что ,,мы можем умереть с голоду и никто не побеспокоится о нас'', резко впечатлелась в моей памяти. Однако я забыл о моих соседях: собственные дела призывали меня. Я долго ходил и ездил по своим делам; наконец, проходя мимо Гостиного двора, я попал в страшную сумятицу. Крик, ссора, брань, писк громких голосов, треск скамеек, которыми были вооружены спорящие,— страшный гвалт! Причина его состояла в том, что каждый желал занять повыгоднее место для верб. Меня это заняло, и я приостановился поглядеть. В ту самую минуту к моим ногам упал небольшой столик и разлетелся вдребезги при громких криках толстой бабы и хохоте толпы. Я не успел еще очнуться, как подбежала ко мне какая-то женщина, одетая очень бедно, но чисто. Шляпка и всё лицо ее были укутаны белым кисейным вуалем. Она поспешно стала подбирать стол; но так как у ней была еще корзина в руках, да и руки дрожали, то дело шло медленно — то ножка выпадала, то доска.

Я кинулся помочь и, подбирая части стола, подавал ей. И вдруг я почувствовал, что горячая слеза упала мне на руку. Мне стало так жаль, так жаль эту женщину, что я готов был поколотить толстую торговку, которая торжественно сидела на своем столе, покачивая ногами, и продолжала еще осыпать насмешками бедную женщину. Я обратился к последней и сказал:

— Позвольте, я вам донесу стол. Где вы хотите стать?

Она пугливо покачала головой и, поклонившись мне, отошла скорыми шагами. Я следил за нею, боясь, чтоб еще

чего-нибудь не вышло. Но она выбрала место такое невыгодное, что, верно, никто не стал бы его оспоривать, и стала складывать стол.

Воображение мое уже нарисовало всю печальную историю бедной женщины. Она, верно, мать семейства, ее ждут проголодавшиеся дети, может быть, умирающий муж. И, пошарив в кармане, я вынул двугривенный и пошел купить у ней что-нибудь для почину. Она так была погружена в улаживание своего стола, что я должен был коснуться ее плеча. Мое прикосновение так ее испугало, что она, бросив всё, отскочила от меня на несколько шагов. Признаюсь, я сам испугался ее движения и поспешил сказать ей, что желаю купить куклу. Она проворно развязала корзинку и, вынув куклу, подала мне. Я отдал деньги и хотел идти, как она остановила меня и, отдавая назад пятачок, сказала:

— Это много!

Голос ее был так свеж, что я невольно заглянул под шляпку; но лицо ее было закрыто вуалем,— только видна была нижняя его часть. Но этого было довольно: я увидел, что вербовщица была очень молода и не могла иметь большого семейства, что, однако, признаться, не уменьшило моего участья к ней, скорее удвоило его. Я забыл о своих делах и стал прохаживаться по вербам, наблюдая, что делает моя вербовщица. Покупателей у ней было мало; она потирала руки: видно было, что зябла. Этим она напомнила мне, что я в холодной шинели и что сырость очень ощутительна. Я пошел в трактир, помнится, стал играть на бильярде и забыл о вербовщице. Но вечером, подходя к дому, где была моя квартира, я завидел мою вербовщицу, которая очень скоро вошла в ворота. Я за ней. И каково же было мое удивление: она вошла на мою лестницу, потом в квартиру немки, где я жил. Тут только я догадался о странном занятии моих соседей. Сердце у меня сильно застучало. И когда я вошел в свою комнату, первым моим делом было взгромоздиться на комод и смотреть в щель двери.

Моя соседка была точно та самая вербовщица, в которой я так нечаянно принял участие. Она сняла с себя шляпку, неохотно отвечала на вопросы старика, который осыпал ее ими, и даже не упомянула о несчастье, случившемся с ней.

Как я провел этот день, не знаю, только поздно ночью я сошел с комода, потому что девушка стала ложиться

спать и у меня недостало дерзости подсматривать более. На другое утро, лишь только я заслышал шорох в комнате соседей, как вскочил и в минуту оделся, нетерпеливо ожидая, когда скрыпнет дверь у соседей. Наконец я услыхал прощанье девушки, поцелуи, и она вышла из дому. Издали я шел за нею. Мне ужасно хотелось помочь ей нести стол или корзину. Но я не смел подойти. Она стала на прежнее свое место, разложила куклы и уселась на маленькую скамеечку, которую принесла с собой. Я следил за всеми покупателями, которые останавливались у ее стола, и не знаю, как и растолковать, что со мной делалось: если останавливался мужчина и долго покупал, кровь бросалась мне в голову; я невольно приближался к вербовщице, у которой лицо по-вчерашнему было закрыто. Я заметил, однако, что почти все, отходя от стола, долго оглядывались на вербовщицу. Я не выдержал и пошел купить у ней что-нибудь.

По всему было видно, что вербовщица узнала меня, потому что пугливо поправила свой вуаль. Я указал на одну куклу, с которою, я заметил, она особенно долго возилась, и спросил о цене:

— Два рубля! — отвечала девушка и, заметив маленький беспорядок в туалете куклы, проворно сняла перчатки и стала оправлять ее. Руки ее были белы и красивы, так что какие-то дамы, подошедшие к лотку, с удивлением осматривали и хвалили их; но вербовщица так была занята, что ничего не замечала. Завернув куклу, она подала ее мне. Не знаю как, но я коснулся ее пальцев. Она быстро надела свои перчатки. Как я ни медлил, однако должен был удалиться. Я давал деньги мальчишкам, чтоб они покупали вербы у моей вербовщицы.

Так прошла вербная неделя. В субботу в последний раз я купил у ней почти все остальные вербы. И, приходя домой, где я уже оставался целые дни, я играл куклами, как дитя. Они меня занимали. Я слышал, как девушка рассказывала старику свои похождения, но обо мне ни слова. Она весело пела, считала деньги, ею вырученные. И мне так было весело, так весело, как никогда не было в моей жизни... Нет, раз только, я помню, когда я был увлечен своей ролью, и вдруг до моего слуха долетели всхлипывания. Мне было так же весело тогда! Но за радостью, говорят, неизбежно следует печаль. Так по крайней мере всегда было в моей жизни.

Утром я сидел за перепиской одной драмы, как услышал стук молотка в дверь, откуда я глядел к соседям. Я вздрогнул; как молния блеснула в уме моем мысль: неужели они догадались, что я подглядываю, и заколачивают мою дверь? Мне стало так страшно, как будто меня живого положили в гроб и заколачивают крышку; каждый удар отзывался в моем сердце. Я слышал разговор соседей.

— Ну, как он дома? — говорил старичок.

— Помилуйте! да его не бывает дома до рассвета,— мне сама хозяйка говорила.

Я не вытерпел, вскарабкался на комод и чуть не упал с него. Щель была заколочена или завешена, но я ничего не видел: темно, темно! и мне казалось, будто у меня разлилась темная вода в глазах. Так мне стало скучно, что я не знал, куда деваться. Соседка моя никуда не выходила; она была весела, болтлива, даже меня смешила, рассказывая свои замечания насчет своих покупателей, когда она продавала вербы. Дни два я уже не видал моей соседки. Она никуда не выходила из дому, ложилась поздно, и по упрекам старичка видно было, что она всё работает. Я не вытерпел, взял перо, взгромоздился на комод и начал свою работу. Сердце у меня забилось от радости: щель была только завешена! Я успел было уже приготовить местечко своему глазу, как услышал крик моей соседки:

— Это что значит?

Я обмер и присел.

— Верно, гвоздь дурно прибила: она и упала,— отвечал старичок.

Я слышал, как моя соседка, став на стул, касалась двери, и я весь дрожал, как будто не двери, а меня самого касалось ее платье.

Я не знал, что мне придумать, чтоб увидеть мою соседку. Неделя тянулась мучительно долго. Я почти жил в коридоре, выжидая случая, когда она пройдет за чем-нибудь в кухню. Но, как назло, старичок занимался хозяйством; я стал с ним раскланиваться и, правду сказать, был и тем доволен. Я ждал нетерпеливо субботы, уверенный, что мои соседи пойдут к заутрене; и точно: с первой пушкой дверь скрыпнула; давно готовый, я выглянул из двери своей. Девушка вела старичка. Я пошел за ними, стараясь, разумеется, чтоб они меня не видали. Они пришли в церковь. Девушка так заботилась и хлопотала около старичка, как будто мать около своего ребенка. Она

велела ему подать стул и усадила его, а сама придвинулась близко к образу со множеством свечей, которые ярко освещали ее лицо. Господи! я только тут увидел, до чего она хороша. Черные ее большие глаза блестели необыкновенно; каждая ее черта дышала смелостью. Ее простенькое белое коленкоровое платье с высоким лифом выказывало роскошные формы. Рюш, собранный около горла, оттенял нежный румянец лица. Старичок был одет по-праздничному. Вместо халата на нем был коричневый старомодный фрак, белый жилет и галстух; его седые волосы лежали на высоком черном бархатном воротнике фрака. Синие узкие панталоны обрисовывали его худые маленькие ноги. Он сидел понурив голову. И если бы не кресты, которые он делал очень часто, его можно было бы принять за окаменелого. Эти два лица так были увлекательны, что почти все заметили их в церкви. Мне казалось, что глаза девушки подернуты были слезами.

Когда церковь наполнилась радостным пением и все начали христосоваться, девушка обратилась к старичку и сказала не совсем твердым голосом:

— Христос воскрес!

— Воистину воскрес! — отвечал старичок дрожащим голосом.

И они с жаром обнялись. Девушка проворно поцеловала руку старичка. И они оба украдкой друг от друга вытерли катившиеся по щекам слезы.

Всё целовалось вокруг меня, а я стоял как оглашенный. Один только нищий, калека, дернув меня за фалду и протянув руку, сказал:

— Христос воскрес, барин!

Я и тому был рад: я похристосовался с ним, дал ему грош и поспешил домой; мне было слишком тяжело. Я растянулся на своей постели не раздеваясь и думал, думал... о чем? сам не знаю. Еще сильнее почувствовал я тоску, когда мои соседи возвратились домой. Они снова похристосовались. Девушка болтала, постукивая чашками. В комнате запахло кофеем. Всё это мне так живо напомнило мое семейство, мое детство, этот праздник, который я всегда встречал с моей матерью, которую так любил, хоть был очень еще мал, когда потерял ее.

Я не вытерпел и решился идти к соседям, но выждал, когда девушка уйдет за чем-нибудь в кухню, потому что при ней у меня недостало бы духу войти в комнату и найтись что-нибудь сказать старичку. Случай скоро пред-

ставился; я воспользовался им. Старичок сидел за круглым столом, в своих креслах, только вместо лоскутков и кукол на столе, покрытом салфеткой, стояли кулич с цветами, пасха, яйцы и барашек из масла. Старичок доставал миндаль из кулича и пожевывал его. Я долго стоял у полураскрытой двери и наконец постучался.

— Кто? войдите, милости просим,— приветливо сказал старичок.

Я вошел, но страшно сконфузился и стоял как дурак.

— Не с соседом ли имею счастие говорить? — привстав, спросил старичок.

Я нашелся сказать только: ,,Христос воскрес!“

Мы три раза поцеловались. Мне стало как бы вольнее, и я извинился, что так смело вошел. Но старичок так был ласков и так рад знакомству, что я успокоился. В ту минуту вошла девушка с кофейником в руках; увидев меня, сидящего на стуле, она остолбенела и вопросительно глядела на старичка, который поспешил сказать:

— Вот наш сосед, пришел поздравить нас с праздником.

По всему было заметно, что старичок был очень доволен моим вниманием; зато девушка очень холодно приняла мое приветствие:

— Христос воскрес!

Она кивнула мне головой и поставила кофейник на стол.

Старичок заметил с радушным доброжелательством:

— Что же ты не христосуешься?

Я протянул руку. За меня как будто кто другой действовал.

Девушка подставила мне непринужденно щеку, которая ярко вспыхнула, когда я едва коснулся ее дрожащими своими губами.

Девушка стала угощать нас кофеем. Старичок ел и пил с большим аппетитом и всё хвалил. Было уже почти светло, а мне не хотелось уходить. Я разговаривал со старичком о Москве, которую он знал хорошо и очень любил. Но я заметил, что девушка стала позевывать; глаза ее были утомлены. Я вспомнил ее труды в эту неделю, в продолжение которой она ложилась с рассветом, и поспешил уйти, прося позволения продолжать знакомство, на что получил радушное приглашение приходить когда угодно.

На другое утро я купил конфект и поднес моей соседке, которая приняла их холодно; зато старичок был

ужасно доволен и, как малютка, занялся разбиранием их и любовался картинками.

С этого дня я всякий вечер посещал моих соседей. С каждым днем я находил более удовольствия быть у них. Есть уж такие женщины, как бы они ни были бедно одеты и как бы ни было бедно в комнате,— они сами собой всё украшают. Маленькая комнатка была всегда опрятна; старичок — в чистом колпаке. Салфетки их были толсты, но чисты. И как мне было смотреть без удивления на эту девушку, когда я знал, что всё держится ее трудами!

Я заметил, что девушка стала грустна; она редко принимала участие в нашем разговоре и всё о чем-то думала.

Когда я уходил от них, то слышал ворчание старика и ее слезы. Мне стало тяжело, я страшился мысли — не я ли виной их неприятностей. Может быть, он думает, что я имею дурные намерения. Но зачем же принимать меня так ласково, как он делал всегда? Все эти размышления натолкнули меня... на что бы ты думал?.. на мысль просить руки девушки. Я знал, что я могу опять поступить на сцену здешнего театра. Одним словом, в голове моей не было других мыслей, как о женитьбе.

Но я медлил, не знаю отчего; мне было страшно произнести даже слово перед ней. И я решился сначала переговорить со старичком. Я не долго ждал. Соседка моя ушла за чем-то со двора; я отправился к старичку. Я сначала всё ему рассказал, всю мою жизнь, мои средства. Старичок был тронут моею откровенностью и принял во мне большое участие. Но лишь только я произнес слово о женитьбе, как он пугливо велел мне замолчать и строго сказал: „Она не может, она не пойдет!" Я в такое пришел отчаяние, что стал говорить бог знает какие глупости. В то время девушка, вся впопыхах, вбежала в комнату, радостно крича: „Письмо, письмо!" Старичок закопошился тоже. Девушка, не замечая меня, сбросила свою шляпку и салоп и дрожащими руками стала срывать печать, а старичок нетерпеливо твердил:

— Читай скорее, скорее! Я говорил тебе, что он честный человек и жив,— прибавил он радостно.

Я понял, что я лишний, и вышел вон. Я бросился с отчаяния на диван. Сердце у меня ныло; я готов был плакать. Не прошло пяти минут, как я оставил моих соседей, в их комнате раздался пронзительный крик, который ме-

ня оледенил. В жилах моих застыла кровь. Я вскочил на ноги и не знал, что делать. Придя в себя, я побежал в комнату к соседям и остановился на пороге.

Старичок сидел в креслах, как я его оставил; только голова его скатилась на одну сторону, глаза были закрыты. Девушка стояла на коленях возле него; обняв старика, она спрятала голову на его груди. Несколько минут я стоял, не зная, подойти ли. Но неподвижность лица старика меня поразила: я подошел к креслу — и с ужасом попятился. Старик не дышал! Я осторожно окликнул девушку; она пугливо вскочила на ноги, осмотрела вопросительно комнату и, остановив свои дикие глаза на старичке, тихо произнесла, погрозив мне:

— Тс!.. он спит, его не надо будить!

И спряталась за ширмы.

Я взял руку старичка, чтоб пощупать пульс: она была холодна как лед. Я кинулся к хозяйке. Почти весь дом сбежался в комнату,— всё ахало, суетилось около старичка; одна только девушка сидела за ширмами неподвижно, зажав уши и устремив глаза на письмо, лежавшее у ней на коленях.

Никакие пособия не возвратили старичка к жизни: удар был силен. К вечеру он уже лежал на столе, одетый в то самое платье, в чем он был у заутрени, накануне Пасхи. Девушка ни с кем не сказала ни слова; она ни на минуту не выпускала письма из рук и, казалось, была равнодушна ко всему, что ее окружало.

Я был убит смертью старика, а более всего страшным состоянием бедной девушки, у которой, я знал, больше родных, кроме старичка, не было. Я без ног был в этот день. Надо было всё устроить, чтоб похоронить старичка. Я знал, что у них не было денег, потому что последнее время моя соседка всё плакала и мало работала. У меня самого было не много, но я всё заказал как следует, как будто старичок мне был близкий родной. Возвратился я домой почти ночью. Проходя мимо комнаты соседей, я было не хотел войти в нее, боясь нарушить сон несчастной. Но всё-таки я заглянул в дверь. Креслы, еще занятые поутру, были пусты, старичок лежал на столе; его лицо смерть мало изменила: оно так же было кротко, как и живое. Девушка, как мне казалось, спала за ширмами. Тишина была кругом,— всё веяло смертью. Свечи,

горевшие у стола покойника, придавали какую-то мертвенность всем предметам. Я осторожно вышел из комнаты, едва сдерживая рыдания, которые надрывали мне грудь. Не знаю, сколько времени я оставался у себя в комнате, в какой-то тяжелой полудремоте, как мне послышался говор в комнате покойника. Я тревожно вскочил и тихо подошел к двери. Девушка, бледная как мрамор, стояла у покойника и как бы с любопытством смотрела ему в лицо. Она по временам расправляла его седые волосы, целовала его охладевшие руки, сложенные на груди,— потом опять молча глядела на него. Ее взгляды так были страшны — не по отчаянию своему, а, напротив, по странному спокойствию. Я увел ее от покойника, оставил ее в своей комнате, а сам остался возле него.

Она не оказывала никакого сопротивления и всему повиновалась; казалось, она не понимала своего страшного положения.

На другой день, когда стали отпевать покойника, девушка как бы только в первый раз догадалась, что старичок умер. Она дико закричала, стала рвать на себе волосы, говорить несвязные слова. Я страшился за ее рассудок. Рассказать вам невозможно страшной картины, как она прощалась на другой день со старичком. Без чувств почти ее оторвали от покойника.

Я поместил ее в своей комнате, а сам переселился в ту, где скончался старичок. Дни и ночи она плакала как сумасшедшая. Я пригласил доктора.

Я был в таком положении, что ни в чем не мог дать себе отчета: одно сознавал ясно, что жизнь моя, каждый мой час, все труды мои — всё принадлежит отныне бедной сироте. Мне казалось, что одно чувство отца руководило мной.

Первые дни она ни о чем не заботилась, потом стала входить в мелочи жизни, стала всё расспрашивать у хозяйки. Узнав, что я всё заплатил и хлопотал, девушка стала ласково обходиться со мной и всё твердила: „Боже мой! чем могу я заплатить вам?“

Я находился в страшном положении: мне нужно было возвращаться домой, а я не мог подумать без ужаса о разлуке с ней. Новое письмо, полученное на имя покойника, решило мою участь. Прочитав его, девушка стала плакать, ломать себе руки, твердя, что она погибла. Я стал ее рас-

спрашивать, в чем дело; она дала мне прочесть письмо. Вот его содержание:

,,Вероятно, вы уже знаете от самого Петруши о его женитьбе. Да, мои слова исполнились. Не прошло году, как он забыл свою невесту и свое слово любить ее одну. Впрочем, я не могу помнить прошедшее: оно равно тягостно для нас обоих. Я еду к вам; забудьте всё; я не хочу и не допущу, чтоб вы более страдали; урок был жесток. Сестра моя вскоре после вас скончалась. Петруша женат. Я совершенно один! Если вы не забыли всего, что я для вас сделал, то, верно, не откажетесь успокоить мои дни на старости''.

Тайна объяснилась мне хотя немного; девушка была влюблена, их разлучили, жених забыл ее. Я должен сознаться, что с радостью прочел это письмо, после которого более не было ей надежды на любовь жениха. Я объявил ей не без затруднения, что если она хочет, то я женюсь на ней и увезу ее к своим родным. Я скрыл от нее, кто я: я боялся, чтобы она не испугалась моего звания. Я обманывал ее, страшась огорчить, сказав истину. Девушка пугливо глядела на меня, как бы не веря своим ушам, и наконец твердо сказала:

— Нет, этого нельзя: я вас не люблю, как должна будет любить вас жена.

Это меня так поразило, что я стал ей рассказывать мою страсть к ней, мое отчаяние, если она не выйдет за меня замуж. Я говорил не помню что, только она слушала меня с участием и наконец сказала:

— Чтоб доказать вам, что я вас не презираю, я выхожу за вас замуж; но знайте, что я вас не люблю. Мое положение заставляет на всё согласиться.

Показались бы страшны эти слова другому, но не мне: я дошел до такой степени, что, кроме обладания ею, ни о чем не помышлял.

Я бросился к привезшему меня купцу, чтобы он ссудил меня деньгами на свадьбу, и начал делать приготовления, обручась с ней в тот же день. Но свадьбе нашей не суждено было состояться. По праву жениха я как-то поцеловал ее и сам испугался бледности, какою покрылось лицо моей невесты. Она долго плакала — это меня рассердило, я сказал ей какую-то грубость и убежал из дому. Возвратясь домой, я не знал, что делал. Мне было совестно на другое утро глядеть на мою невесту, которая без

содрогания, кажется, не могла меня видеть. Чем ближе время приближалось к свадьбе, тем больше плакала она. И раз, застав ее в страшных рыданиях, я сорвал с своей руки кольцо и отдал ей, сказав, что не надену его, пока она сама не даст мне его...»

Вот всё, что хранила память Остроухова. Он помнил, что Мечиславский ничего более не сказал; да Остроухов тогда и не настаивал. Теперь, движимый участием к своему несчастному товарищу, напрасно он ломал голову, припоминая известные ему факты: тайна осталась тайною.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Глава XXV

ТРИ СЕСТРЫ

Рассказав Остроухову встречу свою в Петербурге с вербовщицей (в которой читатель узнал Аню), Мечиславский имел свои причины умолчать о дальнейших приключениях Ани, тесно связанных с его собственными. Но читателю необходимо знать их прежде, чем мы приступим к последовательному продолжению рассказа.

Читатель уже знает, что Аня была несколько дней невестой Мечиславского, знает и то, по какому случаю он возвратил ей кольцо. Когда кольцо, а с ним и свобода были ей возвращены, будто камень свалился с ее сердца. Она не сомневалась, что всё между ними кончено. Очутившись снова в страшном положении, без копейки денег, Аня решилась искать места гувернантки в провинции, желая только бежать из Петербурга, где угрожали ей скорые преследования Федора Андреича. Мечиславский узнал это намерение от хозяйки квартиры и предложил Ане ехать в провинцию с ним вместе. Предложение было сделано так искренно, что она не могла отказать ему. Обрадованный доверенностью Ани, Мечиславский страшно хлопотал, чтоб скорее устроить отъезд, вероятно боясь, чтоб она не раздумала: он не знал, что одного страха встретиться лицом к лицу с бывшим благодетелем своего дедушки было слишком достаточно, чтоб сделать решение Ани непоколебимым.

Через день они уже сидели в кибитке и выезжали из Петербурга, которого Аня совершенно не знала; кроме горьких воспоминаний, ничего не оставляла она в нем.

Дорога была продолжительна, но не утомляла, а, напротив, развлекала Аню. Она чувствовала возвращенье сил, и мрачные мысли не так часто приходили ей в голову. Прошедшее отодвинулось от нее так далеко, как будто лет двадцать тому назад происходило всё случившееся с ней. Во сне еще она возвращалась иногда к нему и, просыпаясь, пугливо озиралась кругом, думая встретить суровое лицо Федора Андреича; но глаза Ани успокоивались на кротком лице молчаливого спутника. В дороге скоро привыкаешь ко всему,— в несколько дней Аня так привыкла к своему положению и к Мечиславскому, что нисколько не поражалась его заботливостью. Впрочем, он так умел заботиться, что она даже не находила случаев благодарить его. Всё делалось им так просто, будто он был дедушкой Ани.

Аня знала, что он едет на ярмарку в город К***, куда труппа его уже прибыла, дает свои представления и ждет его. Но она так мало имела понятия о различии сословий и значении их, что без всякого страха готовилась вступить в новый круг.

Настал конец путешествию; они въехали в небольшой город, околесили его весь и остановились у бесконечного забора в глухой улице. Когда они вошли в калитку, Аня подумала, что перед ней опять новая станция: двор был огромный, вдали под навесом стояли лошади и множество телег и кибиток. Они вошли в темные сени, где куры перепугали Аню, вылетая из-под ног. Мечиславский раскрыл дверь в какую-то кухню; Аня вошла за ним. Русская громадная печь тянулась прямо к окну; между им и печью было маленькое пространство, которое почти всё занимала старая толстая женщина, вооруженная обгорелым ухватом, на который она, сложив свои руки, опиралась подбородком. Лицо толстой женщины поразило Аню. Оно было широко, черно, с крупными чертами; брови — густые, черные, с проседью; глаза — тускло-черные. Большая голова ее была повязана полинялым пестрым бумажным платком. Платье на ней было всё в заплатах; засученные рукава выказывали сожженные и перецарапанные локти. На груди покоился двойной подбородок, скрывавший совершенно горло. Дырявый передник туго стягивал ее талию. И эта фигура была освещена ярким пламенем топившейся печи, в которую она поминутно смотрела, хотя слезы текли у ней из глаз.

Старуха так была занята своей стряпней, что не за-

метила появления гостей. Когда Мечиславский сказал ей: «Здравствуйте, Акулина Саввишна!», она пугливо подняла голову и, как бы не веря глазам, вытерла их своей огромной ладонью и вскрикнула:

— Ах ты батюшки, Федор Лукич! ты ли это, родной?

— Как видите. Акулина Саввишна.

— Я ведь не спознала тебя, ах ты мой батюшка! Мы ведь уж думали, что ты померши.

— Не поминки ли по мне делаете?

— Эх-эх! такой же шутник! нет, по моем родном голубчике...

И старуха сделала кислую гримасу. Но вдруг она пугливо вскрикнула и чуть не юркнула в печь с криком: «Ах, подгорел! батюшки мои, подгорел!»

В то же время из другой комнаты раздались звуки скрыпки, наигрывающей казачка. Аня из любопытства заглянула в дверь, которая была раскрыта, и увидала следующую картину. По кривому полу небольшой комнаты, перед зеркалом, стоявшим на полу, выпрыгивала женщина казачка. Фигура ее была смешна до последней степени. Она была худощава, с талиею длины непомерной, с ногами толстыми и обутыми в красные полусапожки. Платье было подобрано кверху. На голове фуражка. Она танцевала под скрыпку, на которой играл мужчина во фризовой шинели, сидевший между зеркалом и громадным комодом. Аня заглянула дальше и увидала еще женщину, сидящую на кровати, без башмаков, и курящую из огромного чубука. Она была с неубранной головой, в платье, страшно изношенном и похожем на халат. Черты лица ее, по своей резкости, напоминали толстую старуху; но она была худа, отчего лицо ее казалось непомерно длинно. К тому же оно было еще рябое и, однако ж, имело какой-то лоск. Рот был огромный, подбородок клинообразный, глаза без блеска, но черные как уголь; маленькие, густые как щетина, ресницы окаймляли их. Она курила и что-то громко читала; голос ее гармонировал со всей фигурой.

У окна мурлыкала третья женщина, похожая на сидевшую на кровати, только с такими жидкими волосами, что вся коса была зашпилена двумя шпильками, торчавшими, как пики, на голове. Передние три волоска были в папильотках. Она имела талию, кажется, еще худощавее прыгающей женщины, но была одета опрятнее; на коленях у ней были пришпилены подставные пукли, завив-

кою которых она занималась. Не было сомнения, что то были три сестры и дочери старухи, которая кричала:

— Лёна, Мавруша, Настя! Федор Лукич! Федор Лукич!

Три сестры с восклицаниями явились на кухню и стали здороваться с Мечиславским. Одна из них, заметив Аню, кинулась к ней, говоря:

— Это кто?

Аня так сконфузилась, что попятилась назад, не зная, что отвечать.

— Это моя двоюродная сестра; я привез ее из Петербурга и хочу, чтоб она у вас пожила некоторое время.

— А!.. сестра!..— говорили сестры, и каждая измеряла Аню с ног до головы.

Тут Аня еще ближе рассмотрела их лица и убедилась, что нет ничего легче, как принять их одну за другую: так они были похожи между собою.

— Полюбите ее! — сказал Мечиславский.

Все три сестрицы кинулись к Ане и стали целовать ее.

Старуха, вытирая губы, тоже подошла к ней и, низко наклонясь и поцеловав ее, сказала:

— Прошу любить да жаловать. Вот мои дочери. Это Лёна (указывая на сестру в красных полусапожках), а это Настя (с трубкой). А это Мавруша.

Дочери гордо поглядели на Аню и на старуху и попросили Аню войти в комнату, а сами они остались в кухне,— верно, расспрашивать Мечиславского об Ане.

Вошедши в комнату, Аня увидала мужчину во фризовой шинели, тихо игравшего на скрыпке. Она поклонилась ему; но он не отвечал ей на поклон, хотя глаза его были устремлены на дверь.

Аня стала рассматривать комнату, пропитанную запахом курительного табаку, и нашла в ней ужасный беспорядок. Кровать, на которой недавно сидела Настя, была пересыпана табачным пеплом, а другая, стоявшая неподалеку, завалена подушками и перинами и вместо одеяла покрыта двумя дырявыми ситцевыми капотами. Стены и потолок не отличались особенной чистотой, не говоря уже о поле. Мебели было немного: громадный комод с маленьким туалетом, напоминавший слона с сидящим на нем ребенком, старинный шкап со стеклами, тоже оканчивавшийся комодом, два стола и несколько старых кресел, обитых кожей, от времени превратившейся в какую-то рыжую рогожу.

Платья, крахмаленые юбки висели по стенам, украшенным старыми модными картинками, которые приколоты были булавками или прилеплены воском. Стекла у окон, так же как и зеркало, покрыты были пылью, а ерань паутиной.

Аня села на сундук, стоявший у двери, и слушала скрыпку. Вдруг влетели сестры, страшно тараторя, и оступили ее, засыпая вопросами: «Это петербургское платье на вас?», другая кричала: «Почем?», третья, теребя ее за косу, спрашивала: «Своя?»

— Мавруша, погляди, какая гребенка! — сказала Настя и, без церемонии вынув из головы Ани гребенку, воткнула ее в свою косу, которую предварительно расчесала.

Но Мавруша не слушала ее, занятая не менее сестры: она вертела Ане ухо, говоря:

— Нет, Настенька, посмотри-ка, какие серьги!

— Петербургские? а? — спросила Лёна в красных полусапожках.

Аня кивнула головой, совершенно сконфуженная смелостью своих новых знакомок.

— Дайте мне сегодня надеть их,— сказала Лёна.

Аня вынула из ушей серьги и подала ей.

— А мне гребенку! — весело крикнула Настя и снова почесала ею свою голову.

— А мне-то что? — смотря тоскливо на Аню, спросила Мавруша.

Аня поспешила завернуть свою косу и заколоть роговым обломком, полученным в обмен гребенки, из страха, чтоб сестры и косы не попросили у ней надеть. И, желая отвлечь их от себя, Аня спросила о мужчине во фризовой шинели, который продолжал робко играть.

Лёна вместо ответа подскочила к нему и, выхватив у него из рук скрыпку, причем едва не пострадали его зубы, бросила ее на комод и сказала:

— Ну, пошел на печь, Велисарий!

Мужчина во фризовой шинели торопливо встал и, простирая руки вперед, ощупью побрел к двери. Аня тут поняла, почему он не отвечал ей на поклон.

— Держи левей! — крикнула Настя, набивая себе трубку.

Слепой взял левее и стукнулся лбом о косяк. Сестры залились смехом, повторяя:

— Велисарий! Велисарий!

Чтоб прекратить смех, раздиравший Ане уши, она спросила их, кто он такой.

— Нищий! — отвечали сестры.

Сердце у Ани сжалось: она с ужасом подумала, как будет с ними жить.

Не прошло трех минут, как две сестры уже ссорились между собою, а третья — Настя, сидевшая на постели в облаке табачного дыму, поджигала ссорящихся.

Старуха, выглянув из двери, крикнула на них:

— Полно вам! посовеститесь чужого-то!

— Ну что не в свое дело-то суетесь!

И на старуху посыпались восклицания в том же роде. Она поспешно скрылась.

Из жаркого разговора сестер Аня ровно ничего не понимала, но краснела при каждом взрыве их смеха, догадываясь, что была его причиною. Старуха явилась с тарелкой блинов и стала потчевать ее,— достала из шкапа графинчик и рюмку и поднесла ей, упрашивая подкрепиться с дороги. Аня пугливо отказалась. Сестры продолжали ворчать на старуху.

— Ну, ну, раскаркались вороны! — ворчала старуха, ставя на место графин и рюмку, но уже пустую.

— Дайте-ка и нам блинов! — сказала Лёна, подходя к Ане, и, руками взяв блин у ней с тарелки, разом положила его в свой большой рот.

— Накрывайте на стол! — отвечала старуха.

— Мне некогда! — жуя, сказала Лёна.

— И мне тоже! — подхватила Настя, выпуская длинную струю дыма.

— Я не горничная! — обидчиво заметила Мавруша.

— Ну, по мне хоть без обеда будьте! — ворчала старуха, а между тем стала накрывать стол. Впрочем, ей не много было хлопот. Выдвинув на средину комнаты стол, она бросила на него несколько пар вилок и ложек, поставила два стакана, солонку, графинчик,— и через две минуты запах щей смешался в комнате с запахом табаку.

Сестры заняли первое место за столом. Старуха вернулась в сопровождении Мечиславского, который всё это время был в своей комнате наверху. Слепой также пришел к столу, и сестры посадили его между собою. Аня села против них с Маврушей; Мечиславский и старуха — на концах стола. Последняя обнесла Мечиславского, слепого и себя водкой и потом уже разлила щи по тарелкам.

— Что это какие холодные щи сегодня,— заметила Настя, подмигнув Ане, и, толкнув локтем слепого, сказала: — Ешь скорее.

Слепой взял ложку щей в рот и вдруг вскочил и весь побагровел.

Сестры покатились со смеху; Аня тоже не могла не улыбнуться, хоть ей и жаль было бедняка. Мечиславский искоса и сердито посмотрел на сестер.

— Маленькие, что ли? — заметила старуха, подавая кусок хлеба слепому, который, оправясь, сел на свое место и приготовился есть; но сидевшие возле сестры то брали у него хлеб, то ложку. Мавруша отодвинула его тарелку на средину стола; слепой тоскливо искал ложкой по столу, и, чуть касался тарелки соседок, они тотчас кричали на него.

Мечиславский, потеряв терпение, поставил на место тарелку слепому. Но это не подействовало на сестер: они украдкой от него продолжали мучить слепого.

— Не посолить ли? — спросила его Лёна.

— Не надо! не надо! — пугливо отвечал слепой, заслоняя руками тарелку, но Настя с другой стороны высыпала ему всю солонку.

Тяжелый вздох вырвался из груди слепого; он опустил руки, понурил голову и уже не пытался есть. Сестры, довольные результатом своих выходок, насмешливо поглядывали на него.

Щи и блины уничтожались сестрами весьма деятельно. Разговор за обедом шел о театре. После стола Мечиславский и слепой ушли, старуха начала в кухне убирать посуду. Аня осталась опять с сестрами. Настя, сев на кровать с трубкой, опять скрылась в облаке табачного дыму. Мавруша, привязав какую-то рыжую косу к спинке стула, стала ее заплетать. Лёна, достав из комода сверток серой бумаги, высыпала на колени каленые орехи и стала щелкать их.

Заплетая косу, Мавруша взяла с комода помадную банку и вышла из комнаты, говоря:

— Пойду-ка!

— Поди, поди,— выразительно заметила Настя, пуская ей вслед струю дыма.

— Уж твой табачище! — желчно сказала Лёна.

— Я думаю, от него никто не зеленеет,— отвечала Настя.

— Зато губы чернеют! — насмешливо перебила Лёна.

Настя сердито посмотрела на сестру и презрительно сказала:

— Ах ты, танцорка!

— А ты что, крикунья!

— Я не кривляюсь!

— Ну так орешь.

Ссора была прервана входом Мавруши, совершенно зеленой; она, шатаясь, едва дотащилась до стула и, качаясь, сидела. Рот ее был чем-то набит.

Аня было перепугалась, но Настя насмешливо спросила:

— Ну что, хорошо?

Мавруша ничего не говорила и мотала головой. Лёна, забрав скорлупу, вышла из комнаты, спрашивая Маврушу:

— Банка там?

Мавруша отвечала ей одним жестом.

Через пять минут Лёна возвратилась в комнату точно такая же бледная и, припав к перинам кровати, уткнула в них голову.

Настя, глядя на сестер, пожимала плечами и, обратясь к Ане, сказала:

— Этакие дуры: позеленеют как мертвецы, а всё рот чистят табаком.

Потом, набив свежую трубку, Настя предложила Ане покурить; Аня отказалась. Тогда Лёна и Мавруша схватили ее за руки и, жестами показывая на банку, едва внятно бормотали:

— Вычистите зубы.

Аня отказалась и от их угощения.

Когда пробило четыре часа, сестры закопошились и в комнате поднялся гвалт; они все разом желали открыть ящики у громадного комода. Через полчаса неутомимой ссоры они надели платки на голову, салопы, взяли по узлу под мышки и вышли из дому, раскланявшись с Аней. Аня думала, что они собрались в баню.

Не успели уйти сестры, как старуха подошла к шкапу.

— Не хотите ли кофейку? — спросила она.— Слава тебе господи, спровадила их; к ночи вернутся; пошли в киятор. Они невзрачные с лица у меня, зато уж какие добрые, какие мастерицы: что угодно представят. Вон Лёна: она на лихой лошади без седла ездит и не спознаешь ее, если по-мужски оденется. Нас все знают в городе. Вот уж годов пять, как они на кажинной ярманке представляют.

Старуха, рассказывая Ане их житье-бытье в городе, очень часто обращалась к шкапу. Аня стала замечать, что разговор ее не был последователен; от похвал дочерям она перешла к жалобам.

— Какое мое житье! Вот тридцать лет вдовствую. Мавруша грудная осталась. Своими трудами вскормила,— а какая благодарность?

И старуха, за неимением слез на глазах, вытирала нос своим передником.

Через несколько минут она принесла кофейник, весь черный, с длинной ручкой, и, поставив на стол, сказала:

— Я его еще до обеда сунула в печь. Узнали бы мои стрекозы, напали бы так... всё говорят, что я бражничаю.

И, доставая из шкапа чашки, она опять стукнула пробкой графинчика. Лицо старухи стало принимать какое-то странное выражение; она силилась всё улыбаться, ходила пошатываясь. Аня сначала думала, что от неровного пола, но уверилась, что она, стоя на одном месте, качалась во все стороны, как корабль в море. Раз двадцать она делала ей один и тот же вопрос: «Маменька есть? аль сиротка, как и я?.. а батюшка жив?»

Они пили кофе, за которым старуха рассказывала ей о ценах провизии в городе и о том, что ее дочерей все знают, что они славно играют. Налив кружку кофе, старуха хотела понести ее; но рука у ней так дрожала, что кофе очутился бы на полу, если б Аня не поддержала кружки и не спросила куда отнести.

— На печь... как, бишь, его мои стрекозы зовут?.. Да! Висарий! к Висарию.

И старуха засмеялась и стала передразнивать, как слепой играет на скрыпке.

— Зови его сюда, скажи, что все ушли!!

И она размахнула руками и, притопывая, запела дребезжащим дискантом:

Во лузях, лузях...

Аня испугалась и кинулась в кухню, крича:

— Подите сюда, сойдите вниз!

— Кто там? что случилось? — спросил кроткий голос с печи.

— Сойдите, сойдите! — умоляющим голосом повторила Аня и в то же время прислушивалась к пению старухи, которая заливалась в другой комнате.

Слепой ловко спустился с печи и, тревожно поводя руками вперед, спросил:

— Что случилось?

Аня схватила его за руку и с ужасом отвечала:

— Мне страшно одной; пойдемте!

— А-а! вы приезжая; по голосу вы должны быть молоды еще.

И слепой с грустью покачал головой.

Когда они вошли в комнату, то застали старуху опять у шкапа; завидя их, она закашлялась и стала передвигать в нем посуду, как бы приводя всё в порядок.

Аня посадила слепого у стола и дала ему кружку кофе, которую он поспешно выпил, как бы боясь, чтоб у него не отняли ее.

Старуха подсела к столу и, протирая глаза, сказала Ане:

— Ты не смотри на старуху... ну что делать! деньденьской наработаешься: ну, вестимо, что вечером захочется отдохнуть.

— Вы бы легли, Акулина Саввишна,— заметил слепой.

— Что-о-о? меня укладывать?!

И старуха грозно придвигалась к слепому; Аня невольно схватила его за рукав фризовой шинели и тащила в сторону.

— Не бойтесь! — шепнул ей слепой и ласково отвечал разгневанной старухе: — Полноте, Акулина Саввишна! даром что я слеп, а вижу, как вы с утра до ночи трудитесь.

Но гнев старухи не угас; стуча кулаком по столу, она кричала:

— Вот чужой человек, пусть скажет, я дурная мать, а? Я и выстирай,— продолжала она, с расстановкой считая по пальцам и загибая их,— я и выгладь, и постряпай, и убери.

Старуха грозно топнула ногой.

Аня перепугалась; слепой ласково заметил:

— Она добрая, это только так, в кураже говорит.

Старуха с сердцем бросила подушки с постели и проворчала:

— Ишь, на постель, говорят, не ложись! да я...

И, едва вскарабкавшись на постель, она продолжала ворчать:

— Стрекозы, трещотки! да погодите: я вас... я вас брошу, пойду в чужие люди жить!

Слова ее стали несвязны; наконец она заснула.

Аня и слепой сидели молча. Аня не могла оторвать глаз от старухи; ей всё казалось, что она видела сон, а не действительность перед ней.

Слепой наконец произнес: «Спит!» — и, обратясь к Ане, спросил, надолго ли она приехала сюда.

— Не знаю,— отвечала она.

— Здесь вам будет трудненько ладить с сестрами; старуха-то еще добрая.

Лицо, голос слепого, манера говорить — всё располагало к нему Аню. Несмотря на его фризовую шинель, небритую бороду, она чувствовала себя с ним гораздо легче, чем с другими... может быть, и потому, что их положение в доме было одинаково.

— Давно ли вы потеряли глаза? — спросила она.

— Давно, очень давно. Мне кажется, что я даже начинаю забывать многие вещи, какую форму имеют они.

Боясь остаться одна со старухой, которая хоть и спала, но всё-таки пугала ее своим ворчаньем, Аня попросила слепого сидеть с ней. Она спрашивала его, как он очутился в этом доме, потому что, несмотря на всю бедность его платья, по лицу, голосу тотчас можно было видеть, что он не принадлежал к классу, в котором жил.

Аня разглядывала черты его лица: они ей кого-то напоминали; но кого? она никак не могла припомнить. Слепой был довольно худ, голубые глаза его, вечно устремленные вдаль, придавали его лицу тоскливо-тревожное выражение; даже небритая борода не делала его лица суровым. Фризовая его шинель с воротником подпоясана была красным кушаком; шея обмотана шерстяным вязаным шарфом неизвестного цвета. Худые смазные сапоги довершали его наряд.

Аня просидела с ним целый вечер, расспрашивая его о прежнем житье-бытье.

Глава XXVI

ДЕБЮТ

Около одиннадцати часов раздался страшный стук в окно. Аня вскрикнула; но слепой успокоил ее, сказав, что вернулись сестры. Он закопошился, стал будить старуху, Аня пошла отворять дверь. Сестры с шумом вошли, спрашивая Аню, что она делала без них.

Аня отвечала, что спала, потому что слепого не было уже в комнате.

Настя, завидя сонную старуху, сидевшую на ее постели и протиравшую глаза, кинулась к ней и строго спросила:

— Зачем? я ведь сказала раз навсегда, чтоб вы не подходили к моей постели!

Лёна, снимая салоп, заметила:

— Да просто запирать нашу комнату.

Мавруша, разбирая свой узел, распевала.

Старуха вскочила тревожно с кровати и кинулась к другой, с которой она в охапку схватила подушки, перину и стала бросать на пол, ворча:

— Ну, было тихо без вас, а вот и пошли! что я, съела, что ли!

И она стлала постель на полу, невдалеке от кроватей.

— Кипяток готов? — спросила Лёна.

Старуха пугливо кинулась в кухню, в которой послышался треск лучины и запах дыму от самовара.

— Она ходила в шкап без нас? — обратилась к Ане с вопросом Настя, набивая себе трубку и закуривая ее.

— Я не видала,— отвечала Аня.

— Где же вы сидели?

— Здесь.

— Ну так где же глаза-то были?

— Настя, оставь ее! — заметила Мавруша.

— Ну, ты, что суешься! — крикнула Лёна.

— Кричите, кричите, ведь наверх-то слышно,— отвечала Мавруша.

Самовар был готов, и сестры уселись за стол пить чай, который состоял из патоки и кипятку со сливками. Лица их поразили Аню своим странным цветом: они были белы, и яркий румянец играл на их худощавых щеках, что, однако ж, нисколько не украшало сестер; напротив, лица их казались Ане еще более страшными. По запаху кружек се-

стры догадывались, что старуха варила без них кофе, и решили, чтоб вперед запирать шкап на ключ. Мавруша потчевала Аню чаем; но она не решалась пить его.

Старуха тем временем стлала постель; к кровати, с которой были сняты перины и подушки, приставила она несколько стульев и устроила довольно широкую кровать.

Сестры не удовлетворились чаем: они еще покушали блинов и потом уже стали укладываться в постели.

Настя, раздевшись, лежала на кровати и курила трубку.

— А где гостья ляжет? — спросила старуха у сестер, когда Аня вышла в кухню.

— А нам что за дело! — воскликнули сестры.

— Постыдитесь! ведь она, чай, не привыкла на полу-то валяться.

— Пусть привыкнет! — заметила Лёна, натягивая холстяной чепчик на голову.

Сестры рассмеялись.

Когда Аня возвратилась в комнату, Лёна сидела на кровати со стульями, снимала с себя башмаки и, выколачивая их, спросила ее:

— Вы на чем прежде спали?

Она не знала, что отвечать.

— Вы спали когда-нибудь на полу? — спросила ее Мавруша, высунув свою голову, обтянутую в холщовый чепчик без всякой уборки, из-под ватного капота.

— Нет! — отвечала Аня.

— Ну так сегодня попробуйте! — заметила Лёна.

Старуха стала снимать со стены салоп — сестры в один голос закричали:

— Мой не трогать! и мой! и мой!

— Не ваш, не ваш! — ворчала старуха и, кряхтя, разостлала салоп на полу, возле перинки своей, на которую указав Ане, сказала:— Ляг, ляг, моя сиротинушка, возле старухи: нам теплее будет.

Аня была тронута добротою старухи, которая уступала ей свою постель, а сама ложилась на салоп; но в то же время Аня долго не решалась раздеваться; наконец она легла возле старухи, с которой была у ней общая подушка.

Всё скоро стихло в темной комнате. Аня далеко отодвинулась от старухи, которая во сне ворчала. В дороге Аня так привыкла к чистому воздуху, что долго не могла заснуть от душного воздуха в комнате, а особенно от та-

бачного дыму. В голове ее прошедшее перепуталось с настоящим и с мыслями о неизвестном будущем; но усталость от длинной дороги взяла свое, и она заснула.

Утром Аня проснулась от говора сестер, и первое, что бросилось ей в глаза, которые она прикрыла рукой, была Настя с трубкой в зубах и в собственных юбках Ани. Лёна, с неубранными волосами, с сонным лицом, была одета в платье Ани и тужилась, желая его застегнуть. Мавруша, в своем чепчике, стоя на коленях на кровати и надев корсет Ани, прилежно шнуровала его.

— Не застегнешь! — поддразнила Настя сестру.

— Застегни, Мавруша,— говорила Лёна, совершенно побагровев.

— Убирайся! я сама хочу примерить корсет.

— Нужно очень тебе корсет на твои кости! — отвечала Лёна с сердцем.

— Тише вы... разбудите ее,— заметила Настя.

— Велика принцесса! — крикнула Лёна, и несчастное платье Ани затрещало в ее руках.

— Ну, разорви еще! — сказала Мавруша, вскочив на ноги на кровати и перевертывая корсет как следует.

— Что возьмет с меня, если я разорву! — отвечала Лёна.

— Нехорошо! — подхватила Мавруша и изо всей силы стала тянуть шнурки, которые наконец лопнули, при чем она вскрикнула пугливо: «ай!»

Сестры покатились со смеху. И сама Аня едва не расхохоталась: так забавна была фигура Мавруши с испуганным лицом. Заметив, что Аня шевелилась, сестры разоблачились из ее гардероба. Настя, подняв Анин башмак, сказала:

— Какая у ней нога-то — точно у ребенка, и какие затейливые повязки-то.

— А лицо-то у ней какое белое,— заметила Лёна.

— А коса-то, ужасти! — подхватила Мавруша, связывая шнурки у корсета Ани.

— Не врет ли он, что она его сестра? ну где ему иметь такую сестру! Она ведь точно барыня,— сказала Настя.

— Ведь он из купцов, и не из простых,— заметила Мавруша.

— Эка важность! знаем мы купчих-то: разве они такие! — с горячностью крикнула Лёна.

— Да ведь то петербургская, столичная! — перебила ее Мавруша.

Сестры замолкли; Аня сделала вид, будто сейчас только проснулась.

— Ну что, хорошо спать было на новом месте? — спросила ее Настя.

— А загадали ли вы? — перебила Лёна.

— Да я не знаю, как гадать,— отвечала Аня.

— Ложусь на новом месте, приснись жених невесте! — скороговоркой сказала Мавруша.

Ане было совестно одеваться, потому что сестры не спускали с нее глаз. И Мавруша и Лёна предлагали ей почистить зубы табаком. Кофею было выпито сестрами ужасно много, после чего они все три ушли на пробу, оставив Аню в облаках табачного дыму.

Пришел Мечиславский, спрашивал Аню, хорошо ли ей, где она спала. Аня указала на кровать Насти, уверяла его, что ей весело и покойно. Но он плохо верил и объявил, что непременно сегодня же будет хлопотать о лучшем помещении Ани. Он еще сказал, что уже устроил всё насчет вступления своего в постоянный театр, в котором находился прежде.

Вечером он повел Аню в театр и поставил за кулисы. Здесь всё было ей дико, даже становилось иногда страшно,— особенно при первом появлении, когда все театральные сбегались смотреть на нее. Сестры стерегли ее и бранились, если кто из актеров приходил в ту кулису.

Ане очень понравилась пьеса, где играл Мечиславский; но сестры, все три, были ей ужасно смешны.

Когда Аня возвратилась домой, сестры желали знать, кто из них больше ей понравился. Она удовлетворила всех, сказав каждой, что она.

Аня стала каждый вечер ходить в театр. Сестры пожелали было обратить ее в горничную; но Федор Лукич запретил Ане и сказал сестрам, что она не жила еще в горничных. Неизвестно почему, Лёна ужасно рассердилась на него, бранилась с Аней несколько дней и всё повторяла: «Еще не жила в горничных, так будешь!»

В то время готовился бенефис Мечиславскому; он, бедный, ужасно хлопотал, возился с сестрами, проходя с ними роли. Лёна особенно злила его. Аня прочитывала тоже сестрам роли. Всякое утро слепой играл на скрыпке англез, и Лёна выпрыгивала его с каким-то танцором, очень фамильярно обходившимся в доме.

За два дня до бенефиса Лёна, чтоб отмстить Мечиславскому, объявила, что она больна и не может играть в его бенефисе; а ее роли некому было передать. Мечиславский был в отчаянии, тем более что билеты были до половины разобраны, да притом перемени раз срок, так потом и не добьешься толку; и с другими актерами и актрисами могли легко случиться разные недуги. Аня тихонько от сестер предложила ему свои услуги; роль Лёны она знала наизусть, а вместо танцев могла бы пропеть какой-нибудь романс. Аня потому так смело решилась выходить на сцену, что к сестрам публика была снисходительна. Мечиславский долго не соглашался; но Аня так упрашивала его, что он с досадою согласился. Когда она прочла ему роль, он остался совершенно доволен, хвалил ее, говоря, что Аня могла бы быть хорошей актрисой.

За обедом сестры спросили Мечиславского, отложил ли он свой бенефис.

— Я не раньше как через неделю могу играть,— важно заметила Лёна, кушая с большим аппетитом на постели.

— Тогда будет поздно!

— Я не могу! слышите! — крикнула Лёна.

— Да я вас и не прошу, как вам угодно,— холодно отвечал Мечиславский.

Остальные сестры были против Лёны, потому что им хотелось блеснуть в больших своих ролях, и они поспешно спросили:

— Так кто же будет играть ее роль-то?

— Вот желает! — указывая на Аню, отвечал Мечиславский.

Аня покраснела.

Сестры вытаращили на Аню свои страшные глаза; а Лёна, соскочив с постели, кинулась к ней и дерзко сказала:

— Что, вы думаете роли мои отбивать!

— Лёна, Лёна! — крикнули сестры и старуха; а Мечиславский, весь вспыхнув, вскочил со стула и, взяв Лёну за руку, отвел от Ани и тихо, но выразительно сказал:

— Прошу оставить ее в покое,— я сам придумал отдать ей роль, потому что вы отказались от нее.

Лёна заплакала, сестры стали усовещевать ее, она с ними перессорилась, так что обед не кончился.

Когда Аня явилась на репетицию, никто не хотел как следует репетировать, потому что всё шли толки о ней.

Аня занялась своим туалетом, сшила себе кисейную

рубашку, черный бархатный корсаж и коротенькую красную юбку. И когда она примерила свой костюм, то нашла, что он лучше идет к ней, чем простое платье.

Мечиславский в день представления был в ужасном волнении за Аню; Аня же ровно ничего не боялась. Он сам нарумянил ее, и когда она вышла одетая на сцену, все актеры предрекли ей успех.

Ане надо было по роли выбегать на сцену: она смело подбежала к рампам, но как взглянула в партер, у нее зарябило в глазах. Стали аплодировать; Ане сделалось так страшно, что она чуть не расплакалась. Вышел Мечиславский на сцену и объявил, что по болезни Щекоткиной 2-й роль ее будет занимать девица Любская.

Раздались страшные аплодисменты, и Мечиславский велел Ане поклониться. Аня сделала реверанс; ей начали кричать «браво! браво!» Сердце Ани билось, руки дрожали; но она не оробела и играла развязно для первого дебюта.

Аня слышала множество похвал себе, долетавших до нее из кресел. И когда она пропела романс, после которого ей ужасно зааплодировали, она уж сама стала раскланиваться с публикой. Мечиславский из-за кулис кричал ей, чтоб она повторила. Аня снова начала романс; потом ей пришлось повторить его еще в третий раз, после чего она так устала, что едва говорила.

Когда Аня сошла со сцены, актрисы и актеры обступили ее, поздравляли с успехом.

Один только Мечиславский ничего не сказал ей и сердито смотрел на всех.

Послышались восклицания на сцене: «Семен Иваныч! Семен Иваныч!» И Аня осталась одна посреди сцены; толпа отошла от нее на некоторое расстояние. Через минуту к Ане начал приближаться — как ей показалось — кто-то вроде мальчика в сопровождении лакея-гиганта. Но когда они подошли ближе, Аня увидела свою ошибку. Вместо мальчика перед ней стоял старик, который весь трясся от старости. Лицо его было всё в складках. Маленький его рот скрывался в двух складках у щек. Прическа его состояла из двух длинных тощих прядей выкрашенных волос, зачесанных с затылка на лысую голову, крестообразно положенных напереди и с каждого бока заколотых дамской пукольной гребенкой. Глаза его были мутно-желтого цвета, но не лишенные блеску; спина его была сгорблена. Он одет был в черный фрак с высоким воротником; на но-

гах — плисовые высокие сапоги. Галстух, необыкновенно высокий, затягивал его горло, и огромные воротнички рубашки, туго накрахмаленные, впиваясь в его дряблые щеки и затылок, казалось, поддерживали голову, чтоб она не упала на сторону.

Он подошел к Ане и, делая ей ручки, сказал:

— Мило! ай да... мило! А как тебя зовут?

Семен Иваныч взял ее за руку.

Аня покраснела и молчала; кто-то дернул ее за платье: то были Настя с Маврушей.

— Ишь какая ручка-то! — говорил Семен Иваныч.

Сестры смеялись. Ане стало ужасно неловко; она попятилась назад; но сестры толкнули ее на прежнее место.

— Куда, душенька? покажи-ка ножку свою.

— А косы-то! — сказала Настя, перекидывая их на грудь Ане.

— Славные, славные! — твердил старик.

Сестры, смеясь, заметили:

— Не бойтесь, свои, право свои.

Семен Иваныч погрозил им.

Аня выдернула свои косы из его рук и хотела идти.

— Ты меня стыдишься?

И он погладил Аню по плечу.

Подошел Мечиславский, которому Аня ужасно обрадовалась. Семен Иваныч гордо отвечал ему на его поклон и спросил:

— Откуда ты достал такую красавицу?

— Это моя сестра из Петербурга.

— Я ее не отпущу с тобой: пусть она здесь останется; ты можешь уехать с труппой. Я ее не пущу, не пущу!!

И Семен Иваныч закашлялся. Лакей поддерживал его под одну руку. Аня воспользовалась этою минутою и пошла от старика, который махал руками, верно желая, чтоб Аня еще осталась; но Аня убежала со сцены и спряталась за кулису.

В антрактах Семен Иваныч страшно надоедал Ане своими расспросами: кто был ее отец, где она воспитывалась, а больше всего бесил ее своими ласками и названием «крапивка», которое дал ей экспромтом. Он повторял поминутно: «Крапивка, молодая крапивка!»

По окончании спектакля Аню вызвали. Ни успех ее, ни полный сбор — ничто не развеселило Мечиславского. Он сам проводил Аню домой в кибитке, в которой они

совершали свое путешествие, и просил, чтоб она закутала лицо, садясь в нее...

Сестры ужасно сердились на Аню, вероятно за успех; а Лёна так просто кричала, что она проучит по-своему ту, кто станет ее роли играть еще. Напрасна была угроза: Мечиславский, благодаря Аню за участие в его бенефисе, сказал, что он желал бы, чтоб она больше не играла на ярмарочном театре, потому что еще слишком молода и не так воспитана. Это огорчило Аню: сцена ей очень понравилась.

На другое утро сестры, даже Лёна, ушли на репетицию. Аня осталась со старухой одна. Старуха, стряпая, ворчала на дочерей: слепой пиликал на скрыпке, которую Аня дала ему, как ушли сестры... Вдруг вбежал Мечиславский, страшно встревоженный, и сказал Ане поспешно: «Спрячьтесь!»

Аня так испугалась, что забегала по комнате.

— Что случилось? что такое? — кричала старуха.

— Сюда идет! спрячьте ее! — отвечал Мечиславский старухе, которая, вытаращив глаза, сказала:

— Да куда я, батюшка, ее спрячу? разве в чулан.

— Нет, она может встретиться с ним! — в отчаянии говорил Мечиславский, тоскливо ища вокруг себя место, куда бы могла скрыться Аня.

— На печь, Федор Лукич! — вдруг сказал слепой.

— Скорей, скорей! — радостно воскликнул Мечиславский.

И подсадил Аню к слепому на печь, а старухе сказал:

— Я вам куплю обновку: скажите, что она пошла гулять.

И он вздохнул свободно и, повторив старухе свое обещание, вышел из кухни. Сердце у Ани страшно стучало, и холодный пот выступал на лице. Она была уверена, что он прятал ее от бывшего ее благодетеля, Федора Андреича. И она чуть не вскрикнула, когда послышались голоса и шорох в сенях. Дверь раскрылась, и сестры с шумом вбежали, крича:

— Семен Иваныч идет! Семен Иваныч!

Аня радостно встрепенулась, и ей сделалось смешно и весело, когда она услышала голос Лёны, кричавшей старухе:

— Где же она? где же она?

— Наша гостья пошла гулять,— нерешительно отвечала старуха.

— Пожалуйте-с! пожалуйте-с! — говорила Настя у дверей.

Аня не могла утерпеть, чтоб не взглянуть с печи вниз. Семена Иваныча раздевали лакей и сестры, кроме Лёны, которая кричала на старуху, зачем она пустила Аню гулять.

— Да она, как вы ушли, и говорит мне: я пойду да погуляю,— я ей и говорю: пойди погуляй.

Старуха видимо путалась, и если б сестры прикрикнули на нее, то она, верно, выдала бы Аню. Но сестры страшно растерялись известием, что Ани нет дома, и всё свое внимание сосредоточили на старике, который спрашивал:

— Да где же она? где крапивка-то?

Лёна объявила ему, что Аня ушла гулять. Семен Иваныч сделал строгий выговор сестрам, зачем они пускают Аню одну, потому что на ярмарку всякого народу приезжает, и прибавил строго:

— Смотрите, завтра приеду, чтоб была дома!

Когда Семен Иваныч и сестры ушли из дому, Аня сошла с печи и, одевшись, пошла тоже погулять. Мечиславский, догнав ее, объявил ей, что она более не должна и дня оставаться у старухи, и в волнении произнес:

— Если вы не боитесь ехать одна в город NNN, то, с богом, поезжайте! завтра рано утром всё будет готово. Я же приеду по окончании ярмарки. Я вам дам адресы любителей тамошнего театра; если вы желаете, то можете легко поступить на сцену. Так как меня там все уж знают, то вы не можете слыть за мою сестру, и потому, я думаю, всего лучше скрыть, что мы знакомы с вами.

Аня повиновалась с радостью распоряжению Мечиславского: она не могла не заметить, что сестры с каждым днем ненавидели ее более. С вечера все платья и вещи Ани были собраны и лежали на печи у слепого, который один знал тайну: Аня должна была уехать тихонько.

Аня не могла заснуть от волнения и целую ночь думала, что еще ждет ее впереди. Когда утро забрезжило, Аня услышала кашель слепого: то был условный знак, что всё готово и ей пора выходить. Она бросила прощальный взгляд на суровые лица спящих сестер и на цыпочках прокралась в кухню. Слепой осторожно вывел ее в сени, где Аню ждал Мечиславский. Она простилась со слепым, кото-

рый при этом расплакался и, сунув ей какое-то письмо, сказал:

— Ну вот я решился послать письмо, о котором вам говорил,— только из другого города, чтоб не догадались.

Они сели в кибитку далеко от дому. Мечиславский был мрачен и, прощаясь с Аней у заставы, так побледнел, что она перепугалась. Он просил ее быть осторожной в городе NNN, если она вступит на сцену; не дружиться ни с кем из актрис и актеров, кроме Остроухова; и много, много он говорил ей о том, как вести себя в театральном кругу. Аня слушала его со вниманием и благодарностью; с той минуты, как он перестал быть ее женихом, она чувствовала гораздо сильнее все его жертвы и всю его доброту. Они простились без слез, очень скоро; но зато долго потом Аня была под тяжелым впечатлением. Подушки, запах кушанья в кибитке — всё это показало Ане, до чего Мечиславский был внимателен к ней. Но когда она стала считать деньги в портфеле, который он дал ей при прощанье, то насчитала в нем так много денег, что хотела вернуться и отдать ему половину их; но другое неожиданное открытие страшно поразило ее и отвлекло от этого намерения. Письмо, данное ей слепым, она кинула в ридикюль свой не посмотрев. Теперь, вынув его, чтоб положить вместе с деньгами, она прочла, кому оно было адресовано: оно было на имя Настасьи Андреевны, в деревню Федора Андреича... Аня распечатала его, уже отгадывая половину, в чем дело, и узнала, что слепой был отец Петруши... Еще в деревне Федора Андреича Аня часто слышала от прислуги, что Петруша был приемыш, что он очень похож на учителя-немца, который воспитывал Федора Андреича...

Прибыв в город NNN, Аня дебютировала на тамошнем театре под тем же именем девицы Любской, которое приняла, выступив в первый раз на сцену на ярмарочном театре в бенефис Мечиславского...

Остальное известно читателю, и теперь мы можем приступить к продолжению рассказа.

Глава XXVII

НОВОЕ ТОРЖЕСТВО ЛЮБСКОЙ И БОЛЕЗНЬ МЕЧИСЛАВСКОГО

После бенефиса Ноготковой, в котором Мечиславский и Любская претерпели страшное поражение, устроенное партией Ноготковой, Любская чрезвычайно выиграла во мнении местной публики. Как актрису публика очень любила ее и была возмущена несправедливостью Ноготковой и ее приверженцев. Их выходка произвела говор не только за кулисами, но и в целом городе. Калинский сильнее всех кричал против Ноготковой и ее поклонников. Он явно стал в главе защитников Любской. И скоро разнеслись слухи, что он готовит ей какое-то неслыханное торжество. Любская мало доверяла искренности своего защитника, но за неимением лучшего старалась казаться признательной, принимала Калинского и слушала терпеливо его нежные объяснения.

Она твердо решилась оставить город, но желала сойти со сцены с торжеством, уничтожив своих врагов. Контракт с содержателем театра кончился; она была свободна и ждала только выздоровления Мечиславского, чтоб объявить ему о своем намерении, которое тщательно скрывала, делая потихоньку приготовления к отъезду.

К Мечиславскому она посылала каждый день разные легкие кушанья. Остроухов, верно не желая огорчить ее, каждый раз на вопрос Любской: лучше ли больному? — отвечал: «Всё так же». И, слишком занятая собственными делами, Любская думала, что дурного ничего нет.

Настал день, в который Любская должна была явиться на сцену в первый раз после страшного своего поражения. Ноготкова еще накануне слегла в постель, чтоб не играть в тот вечер, но поклонникам своим отдала строжайшее приказание немилосердно шикать Любской.

В то утро лицо Калинского было так озабочено, как будто он сам готовился выступить на сцену. Цвет лица его был желтоват, руки без колец; он глубокомысленно писал записки, вкладывая их в пакеты вместе с театральными билетами, грудой лежавшими перед ним на столе.

Даже в лоснящемся, красном лице камердинера что-то было тревожное; несколько раз делал он совершенно не то, что приказывал ему барин.

— Да ты так всё перепутаешь! — заметил Калинский.
— Будьте покойны-с: ведь не в первый раз,— приторно улыбаясь, отвечал камердинер.
— Разнеси эти письма по адресам,— вставая, сказал Калинский и так выпрямился, что грудь его казалась гигантской.
— Слушаю-с! — отвечал камердинер, прибирая на столе бумаги.
Калинский, рассматривая себя в зеркало, уныло говорил:
— Что это как я захлопотался, какой болезненный цвет лица у меня сегодня? Шляпу! — закричал он громко.— Подана ли лошадь?
— Давно-с! — отвечал камердинер, подавая шляпу.
Калинский надел ее перед зеркалом и, отойдя на три шага назад, строго смотрел на себя.
— А... а!.. Да есть ли у тебя знакомые дамы? кого же ты посадишь в ложу? — вдруг спросил Калинский, обращаясь к своему камердинеру.
— Как же-с, есть!
— Кто же такие?
— Да бывшая горничная госпожи Любской и ее родственницы.
— Неужели у тебя нет другого знакомства? — с неудовольствием заметил Калинский.
— Как же-с, есть-с, но оно-с на взгляд не то будет. У Елены Петровны очень хорошие платья есть и наколки разные.
Калинский улыбнулся.
— Пожалуйста, вели им одеться поскромнее,— перебил он и продолжал повелительно: — Ты прячься за них, как будешь бросать букеты, да скажи всем твоим знакомым, кому роздал билеты, чтоб без толку не шумели, а аплодировали бы, когда в первых рядах начнут. При вызовах и когда она появится, могут кричать сколько угодно, стучать даже. А ты брось два или три букета, как только она покажется на сцену. Да смотри ловчее, чтоб между лампами не сел. Заезжай также в оранжереи к *** и скажи садовнику, что я знать не хочу, чтоб мне был огромный венок из роз.
— Слушаю-с.
Калинский пошел уже к двери, но остановился и сказал:
— Да еще пять билетов осталось, так раздай своим.

— У меня-с больше уж нет знакомых, всем дал, а вот не позволите ли Дмитрия и Василья...

— Я боюсь, чтоб они не наделали глупостей! — заметил Калинский.

— Нет-с, ведь они уж были раз в театре: смирно будут сидеть.

— Ну, пожалуй; только ты будешь за всё мне отвечать.

С этими словами Калинский вышел из дому. Он поехал к ювелиру взять браслет, заказанный для поднесения вечером Любской по подписке. Сумма составилась очень значительная, и браслет вышел удивительный. Взяв его, Калинский приехал к одному богатому молодому театралу, у которого условились они завтракать. Много было толков, как и в какое время поднести удобнее подарок, и наконец решили большинством голосов возложить эту важную обязанность на Калинского. Старый театрал принял ее с живейшей признательностью.

— Господа, надо сделать ее торжество на славу,— сказал он.

— А что? как? — спросили некоторые.

— Вот, видите ли, какая разница между молодым театралом и опытным. Я думаю, никто из вас не позаботился о букетах.

— В самом деле! Удивляюсь, как мне не пришло в голову! — в отчаянии воскликнул хозяин.

— Нет, как мне не пришло! Я двадцать тысяч истратил на цветы! — гордо сказал молодой человек с усиками.

— То есть всё свое состояние,— заметил кто-то вполголоса.

Но насмешливое замечание было услышано и чуть не произвело дурных последствий. Началась ссора и, может быть, кончилась бы плохо, если б Калинский не призвал на помощь своего красноречия: он объявил, что теснейшая дружба должна скреплять людей, связанных одной благородной целью, и провозгласил тост за примирение врагов: все перецеловались. Каждый поверял свои сердечные тайны другому, и никто не сердился, если встречал в друге соперника: напротив, в таких случаях объятия были пламеннее и всё заключалось восторженным восклицанием:

— Как я рад, что она и тебе также нравится!

— Господа! чтоб поправить непростительную вашу оплошность, я велю поставить у входа в кресла корзину с букетами: желающие могут бросать!

— Браво, браво!

И довольные юноши осушили бокалы за здоровье Калинского и объявили его своим «старостою». Калинский был тронут до слез. Давно уже он не играл первой роли на пирушках у молодежи, и этот день живо напомнил ему его молодость, богатство, победы; ему казалось, что с лица его исчезли морщины, что карман его полон деньгами и что его ждет блестящая будущность. Потрясенный душевными волнениями, старый театрал уехал домой, чтоб отдохнуть перед спектаклем.

Любская смело вышла из уборной под громом восклицаний, раздававшихся в кулисах:

— Да, счастливая!.. да, несчастная!

Последнее, вероятно, относилось к Ноготковой.

Деризубова кричала за кулисами:

— Посмотрим, посмотрим, как ее опять зашикают!

— Да, зашикают,— заметил Ляпушкин, увиваясь около Любской.— Не умрите только с досады!

И, глядя с умилением на Любскую, он вкрадчиво продолжал:

— Ах, какая вы красавица сегодня, маменька, ну, настоящая королева. Подрумянь-ка! — прибавил он, подставляя щеку, испещренную бородавками, горничной, которая сопровождала Любскую с румянами в руках.— Подцвети, подцвети, голубушка!

— Подите! разве мои румяны! — отвечала горничная.

— Маменька, позвольте! — жалобно сказал Ляпушкин.

— Даша, нарумянь его! — сказала, отходя, Любская.

Ляпушкин подставил горничной щеки и, гримасничая, говорил:

— Не жалей чужого добра. Да дай я подержу графинчик... что тут? лимонад, что ли?.. ловчее будет румянить!

И, взяв питье из рук горничной, Ляпушкин приложил графин к своим губам.

— Что вы? как можно! — вырывая графинчик, кричала горничная.

Но Ляпушкин крепко захватил губами его горлышко.

Деризубова поминутно ходила мимо Любской и, дерзко посматривая на нее, всё твердила:

— Посмотрим, как-то нынче улепетнешь.

Театр наполнился прежде поднятия занавеса; множество народу воротилось, за недостатком билетов; касса еще до обеда была заперта. Нет сомнения, что и без содействия Калинского Любская была бы принята хорошо. Впрочем,

в провинции, где богатый класс невелик, букеты и подарки в торжествах актрис и актеров всегда принадлежат одному лицу.

При появлении Любской на сцене раздались рукоплескания; но, как ни были они громки, между ними всё-таки явственно слышался пронзительный свист. Тогда началась борьба и кончилась торжеством публики: аплодирующие победили свиставших! Букеты посыпались на Любскую. Калинский, забыв всякую осторожность, махал руками в ложу, где важно сидела Елена Петровна с другими подобными ей дамами. Лоснящееся лицо камердинера поминутно высовывалось из-за их голов, и букеты летели на сцену. Вместо трех было брошено десять. С полчаса продолжались крики и аплодисманы. Любская так была потрясена ими, что вся дрожала, и когда Калинский передал ей через музыкантов браслет, после чего плавно упал к ногам торжествующей актрисы огромный венок из роз,— Любская кинулась поднять его, упала на колени, и слезы потекли из ее глаз. Она, рыдая, убежала со сцены; за кулисой ей сделалось дурно. Занавес опустили,— публика всё еще вызывала и, как разволновавшееся море, не скоро пришла в спокойное состояние.

Многие актрисы прослезились, хлопоча около Любской, которая скоро пришла в себя и спешила подрумянить свое лицо.

Толпа собралась около нее; многие из актрис теребили букеты, другие рассматривали браслет, и восклицания: «Да, счастливая! Да, весело!! Да, страсти!!!» — сыпались градом.

Деризубова, вытирая слезы умиления, кричала Любской:

— На радости изволь угощать! не скупись, сударыня!

— Да, да! — вторили ей.

— Да вели же принести вина! — тараторила Деризубова, толкая горничную Любской.

— Вот славно! тра-ла, тра-ла! — плясал Ляпушкин.

— Готова ли? пора, пора! — кричал содержатель театра.

При появлении его толпа расступилась. Любская опять явилась на сцену и была встречена новыми рукоплесканиями. Свист и шиканье только сильнее разжигали публику. Враги Любской напоминали птичников, которые своим свистом поддразнивают жаворонков к пению.

В то самое время Мечиславский лежал без всякой надежды на выздоровление. Доктора давали лекарство более для виду, не находя средств прекратить воспаление. Больной уже три дня не приходил в память. Наконец он вдруг подозвал Остроухова и едва внятно прошептал ему:

— Отчего мне всё душно?

— Раскрыть дверь? — спросил Остроухов, обрадовавшись, что больной не бредит.

Мечиславский замотал нетерпеливо головой и сказал тоскливо:

— Я чувствую... что я очень нездоров... так прошу тебя, исполни мою волю.

Остроухов давно был приготовлен докторами к потере друга; но, услышав от него самого подтверждение печальной истины, он страшно испугался и стал уверять больного, что опасности нет; ему самому казалось невероятным, невозможным, чтоб Мечиславский не выздоровел.

Больной терпеливо выслушал Остроухова и сказал:

— Ну, всё лучше распорядиться.

— Да полно, Федя.

— Я прошу тебя не тратиться на похороны.

— Боже мой! — раздирающим голосом воскликнул Остроухов.

Больной продолжал:

— Деньги, часы — всё, всё отдай ей.

— Кому? — поспешно спросил Остроухов.

— Любской...— прошептал больной.

— Не хочешь ли ты ее видеть?

— Нет! нет! мне и так страшно! — довольно громко сказал Мечиславский, и глаза его снова блеснули диким огнем — предвестником бреда.

Остроухов, близко склоняясь к лицу больного, смотрел ему в глаза, как бы стараясь прочесть в них что-то. Умирающий тоже смотрел на него. Они с минуту оставались в этом положении. Мечиславский обхватил слабой своей рукой шею Остроухова; Остроухов еще ближе нагнулся, думая, что больной желает что-нибудь сказать ему, но почувствовал пылающие губы больного на своей щеке. Больной пролепетал:

— Не оставь ее, она моя нев...

Остроухов, рыдая, припал на грудь больного, который начал метаться и стонать.

Старый актер кинулся из комнаты, заглушая свои ры-

дания, и в темной комнате дал волю своему горю. Но вдруг ему послышались чьи-то крики; он вошел в комнату и увидал Мечиславского в страшном состоянии: он сидел на кровати и отмахивался руками, крича:

— Прочь, прочь, пусти, я хочу ее видеть! пусти, пусти меня!

Остроухов не знал, что ему делать. Он клал лед на голову больному, но больной сбрасывал его, жалуясь, зачем ему кладут камни на голову. Он стал звать Любскую, плакал, что ее не хотят пустить к нему.

На Остроухова самого напал неопределенный страх; он кинулся из комнаты на улицу и побежал в театр. Его появление за кулисами произвело общее волнение. В халате, сверх которого накинута была шинель, с лицом, страшным от бессонных ночей и горя, он бросался из кулисы в кулису и, задыхаясь, повторял:

— Где Любская? где она?

— Она на сцене!.. да что случилось?.. что такое? — спрашивали его.

Но Остроухов никому не давал ответа и, завидев Любскую, сходящую со сцены, кинулся в ту кулису.

Лицо Любской выражало полнейшее счастье, когда она вошла в кулису, и вдруг оно побледнело, несмотря даже на румяны. Любская вопросительно смотрела на Остроухова. Испуганный ее бледностью, он молчал, не зная, как сказать ей, что Мечиславский умирает. Но Любская сама догадалась и с ужасом спросила:

— Что с ним? что случилось?

— Он зовет тебя! — глухим голосом отвечал Остроухов.

— Ах, боже мой! я не могу!.. Что ему, разве хуже?

— Да; он хочет тебя видеть.

— Госпожа Любская, вам выходить! — вбегая в кулису, закричал режиссер.

— Сейчас! сейчас! — торопливо отвечала Любская и умоляющим голосом произнесла, глядя на Остроухова: — Что мне делать!.. он, верно, очень болен... господи!

— Госпожа Любская! — кричал режиссер.

— Я приеду после спектакля! — побежав от Остроухова, сказала Любская, но вдруг повернулась опять к нему и торопливо крикнула: — А!.. возьмите у Даши ключ от моего туалета: там найдете кольцо. Отдайте ему и скажите, что я прислала...

— Госпожа Любская! — отчаянным голосом еще раз крикнул режиссер.

— Иду! иду!!

И Любская исчезла; через две минуты звучный ее голос раздавался на сцене.

Остроухов возвратился домой с кольцом. Он не знал, как подать его больному, который всё еще метался и жаловался, что его привязали к постели и не пускают к Любской.

— Она тебе прислала кольцо,— сказал Остроухов, подходя к больному.

Больной схватил его, долго разглядывал и, надев на свой исхудалый палец, прижал его к губам.

Через несколько минут он говорил Остроухову:

— Я счастлив: она не сердится на меня, когда я целую ее руку!

И Мечиславский судорожными поцелуями осыпал свою собственную руку, на которой было надето кольцо.

Остроухов сидел у изголовья больного и следил машинально за движениями его. Он так сам истомился, что не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой и ему казалось, что он лишился даже способности говорить.

А между тем в театре раздавались рукоплескания: Любскую вызвали еще по крайней мере десять раз; крики восторга, рукоплескания и букеты совершенно изгнали из головы счастливой актрисы, что ее ждет умирающий. И только войдя в уборную, она вспомнила о нем и, не переодеваясь, поехала в квартиру несчастных друзей.

После блеска и шумных криков она вошла в тихую комнату, тускло освещенную; душный воздух, пропитанный лекарствами, захватил ее дыхание. А бедность, увеличенная долгим беспорядком, оковала ее. Она стояла в дверях, как бы страшась перешагнуть порог.

— Войдите! — хриплым голосом произнес Остроухов, сокрытый в мраке.

Любская робко подошла к больному и с ужасом отшатнулась назад. Цветы выпали у ней из рук, и она в отчаянии сказала:

— Неужели это он?!

— Ага, ты не узнала его! — заметил Остроухов, подымая с полу букеты, и язвительно прибавил: — Как раз, чтоб украсить гроб!

Суровый голос Остроухова, полный упрека, смутил

Любскую, и, как будто ища защиты, она кинулась к больному и назвала его по имени.

— Теперь поздно! — резко заметил Остроухов.

Но больной открыл глаза и тяжело вздохнул. Любская дрожащим голосом спросила его, узнал ли он ее.

— Кто это? — тихо сказал Мечиславский.

— Любская!

— Неправда! — отвечал больной и закрыл глаза.

Любская с плачем упала на колени у постели.

— Ну, полно, что плакать без толку! всё кончено!

— Господи! неужели и он погибнет! — в отчаянии воскликнула Любская.

— Что же делать! никто не виноват в его смерти,— ласково отвечал Остроухов, сжалясь над рыдавшей, которая с воплем произнесла:

— Не вините меня: я ни в чем не виновата!

— Перестань! не мне тебя обвинять. Я сам, может быть, на своем веку много зла сделал людям... Это у меня так сорвалось с языка.

И Остроухов сел в ногах больного и повесил голову на грудь.

Любская продолжала рыдать; больной застонал.

— Не беспокой его своими слезами хоть в последние минуты! — сказал Остроухов с прежней суровостью.

Любская стоном заглушила свои рыдания и, быстро сев у изголовья больного, с ужасом глядела на исхудалое и помертвелое лицо его. И когда больной затих, Любская гордо сказала:

— Если б вы знали мою жизнь, вы не говорили бы так со мной!

— Жизни твоей не знаю; но мне хорошо известно, что ты была обручена с ним.

Коротко и вполголоса рассказала Любская Остроухову первые годы своей жизни — как она воспитывалась у своего дедушки, пока не постигла их горькая нищета, как потом переселились они в деревню, как жили у Федора Андреича и почему оттуда удалились.

— Остальное вы, верно, знаете от него,— заключила Любская.

Остроухов заметно был поражен рассказом Любской; поглядев на больного, он печально сказал:

— Но он? он ведь не был виноват ни в чем перед вами!

— Я его никогда не винила. Если я не могла любить его, так единственно потому, что слишком еще живо ри-

совалось передо мной воображаемое счастие, которого я ждала в будущем. Я решалась пожертвовать собою, но сил у меня недостало! И вот в чем я виновата!

— Да ты тогда сама еще так молода была,— заметил Остроухов.

— Теперь я много уже видела людей. Я скорее бы оценила его. Но тогда, погруженная в свое горе и возмущенная поступками со мною, вдруг я вижу человека, совершенно чуждого мне, который требует моей вечной любви. Если бы у меня были средства, я возвратила бы ему все его издержки и думала, что ничем не обязана ему. Но, оставшись нищей, в незнакомом огромном городе, чем я могла заплатить ему, как не согласием выйти за него замуж? Я даже боялась сначала, не вынуждено ли его предложение моим положением: мне всё казалась невероятною любовь, родившаяся так скоро. Но его радость была так безумна... а права его как жениха испугали меня, и я... я получила непобедимое отвращение к нему!

Любская, как бы устыженная, закрыла свое лицо руками.

Остроухов, покачивая головой и смотря на неподвижное лицо больного, иронически сказал:

— Бедный! ты, верно, забыл, что ты ярмарочный актер. И туда же вздумал...

— Нет, вы слишком дурно обо мне думаете! — с жаром прервала его Любская и потом продолжала с грустью: — Тогда я так мало видала людей, что мысль сделаться женою актера не могла меня испугать.

— А теперь? — насмешливо спросил Остроухов.

— Теперь... я могу сказать, что не встречала в жизни человека благороднее его!

— Слышишь ли ты, Федя? — гордо сказал Остроухов.

— Клянусь вам, что уважение мое к нему не имеет границ. Теперь я готова была бы на всякую жертву для него.

— Немного поздно; но иначе и быть не могло: где чужому человеку, да еще девушке, воспитанной, как ты, вдруг понять актера, то есть человека, вечно нарумяненного, вечно противоречащего себе?

Так они тихо беседовали целую ночь.

Глава XXVIII

СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ

К утру Мечиславский стал метаться на постели в совершенном уже беспамятстве. Любская и Остроухов, подавленные горестью, молча следили борьбу жизни со смертью. К вечеру Мечиславский лежал уже на столе. Остроухов, в изорванном своем халате, сидел на диване, поджав ноги, и локтями упирался в колени, поддерживая руками свою голову. По лицу его разлито было такое отчаяние, такая грусть, что Любская, в слезах сидевшая возле него, поминутно окликала старика, утешала его, как умела.

По смерти Мечиславского нашли в его кровати узелок, в котором было собрано всё богатство его: деньги, часы, галуны, отпоротые от французского кафтана, и разные мелочи. Остроухов передал всё это Любской, исполняя желание покойника. На другой день весть о смерти Мечиславского разнеслась не только между актерами, но и по городу. И вдруг отыскался у него родственник, молодой купчик, который объявил, что не позволит никому вмешиваться в похороны, и взял всё на себя. Остроухов заметил было ему, что покойник желал, чтоб похороны его сделали как можно скромнее, на что купчик отвечал:

— Я не потерплю, чтоб купца Демьянова похоронили бог знает как!

Читатель, верно, вспомнит, что Мечиславский до вступления в актеры носил другую фамилию.

Ляпушкин первый проведал о смерти Мечиславского и утром прибежал поглядеть на покойника. Остроухова не было дома; один чтец сторожил покойника.

Ляпушкин не очень смело вошел в комнату; но, узнав, что Остроухова нет, он принялся деятельно обнюхивать комнату, расспрашивая чтеца, какой заказан гроб и в какую цену, успел заглянуть в ящики комода, попробовать варенье, стоявшее в нем, сунуть в карман баночку румян, заметив, что они уже не понадобятся покойнику. Выходя из комнаты, он столкнулся в дверях с Деризубовой, которая приветствовала его, по своему обыкновению, нежным вопросом: «Куда лезешь?» — и толкнула в грудь.

Ляпушкин, ухватясь за живот, сморщился и закричал:

— Ну что, матушка, у тебя за ухватки! так вот и норовишь человека изуродовать.

— Вот еще какой стал неженка! небось вчера, как я

тебя тузила в уборной, только кривлялся.— И Деризубова, скорчив печальное лицо, приблизилась к покойнику и продолжала жалобно: — Ах ты, мой голубчик, как исхудал! измучили тебя злодеи!

— Не знаете, обед будет? — дернув ее за салоп, спросил Ляпушкин.

— Еще бы! неужто родня и этого для него не сделает! Ведь это последний долг моему голубчику.

И Деризубова начала отирать сухие свои глаза. Потом она уселась на диван, спустила салоп с плеч и обмахивалась платком.

— Невзрачно жили,— сказала она, оглядывая комнату,— а куда как важничали! Ни перед кем шеи не хотели гнуть.

— Не надо лихом поминать его! — заметил Ляпушкин.

— А ты, лизоблюд, туда же, учить стал!

Чтец начал читать псалтырь. Деризубова, как будто опомнясь, перекрестилась и сказала Ляпушкину:

— С тобой всякого греха возьмешь на душу!

— Чай, пора на пробу? — глядя на часы, отвечал Ляпушкин.

— Ахти, ведь и мне пора!

Деризубова и Ляпушкин вышли из комнаты.

После них много перебывало посетителей, и разные толки и заключения делали о покойнике.

Остроухов и Любская только по ночам сидели у гроба, чтоб избежать гостей. В день похорон не только в комнате, но даже и на лестнице была толпа народу. Деризубова выла на всю комнату, как будто самая близкая родственница покойного. Орлеанская читала наставительные сентенции, важно, печальным голосом, в которых язвила то Любскую, то Остроухова, превознося родного покойному купчика, который возложил мелочные хлопоты похорон на Ляпушкина, а сам исполнял только почетные, именно: первый подошел прощаться с покойником, первый подошел к гробу, когда нужно было нести его. За гробом хлынула толпа, которая, впрочем, скоро разместилась по каретам; остались только Остроухов, Любская да несколько служителей театра, любивших покойника.

У самой заставы гроб встретился с дорожной коляской, запряженной четверней. В коляске сидел небольшого роста мужчина, весь забрызганный грязью. Поравнявшись с шедшими за гробом, он вдруг быстро приподнялся на

своем месте и крикнул ямщику: «Стой!» Но лошади остановлены были не ранее, как проехав гроб и поравнявшись с каретами. Он спросил у одного кучера:

— Чьи похороны?

— Актерские! актерские! — отвечали кучера в один голос.

Вопрошающий с минуту провожал глазами медленно удалявшийся гроб, как бы о чем-то думая, и наконец крикнул резко:

— Пошел!

Коляска умчалась.

Любская очень много плакала на похоронах. Остроухов же не выронил ни одной слезы. Он казался как бы посторонним на похоронах. Но когда опустили гроб в могилу, он упал на колени и таким раздирающим голосом произнес: «Федя!», что многие невольно схватили его за руки, опасаясь, чтоб он не упал в могилу. Остроухов опомнился и поспешил скрыться из толпы; сев на какую-то могилу, он держал свою голову в руках, как бы стараясь не слышать печального пения. Любская кинулась к Остроухову и, склонив свою голову к его плечу, горько рыдала.

Стали расходиться, и каждый, проходя мимо, невольно останавливался перед Любской и Остроуховым, которые, как группа из мрамора, казались принадлежностью кладбища.

У одного Ляпушкина хватило духу подойти к ним с предложением идти покушать в комнату кладбищенского сторожа, где был заказан обед.

Остроухов ничего не отвечал, Любская мотала головой.

— Хоть чашечку бульонцу,— говорил Ляпушкин,— а вы хоть рюмочку водочки.

Но Остроухов, подняв голову, так посмотрел на радушного потчевателя, что Ляпушкин, не говоря ни слова, кинулся от него и стал других приглашать кушать.

Деризубова с похорон привезла целый ридикюль пирожного, булок, даже огарок восковой свечи; Ляпушкин же и денег.

Остроухов с Любской возвратились домой, молча посидели и разошлись. Как тот, так и другая не находили слов для разговора.

На другой день Любская встретилась с Остроуховым на свежей могиле Мечиславского. Они оба плакали долго, но тихо. Когда они поехали домой, Любская сказала:

— Я еду отсюда.

— И хорошо делаешь!

— Не поедете ли вы со мною?

— Нет! я уж стар. Куда я поеду? что стану делать? Нет, поезжай одна; а я найму поближе квартирку да буду частенько заходить к нему в гости...

Никто даже при театре не знал о намерении Любской, кроме содержателя театра, который хранил его в тайне, желая услужить приятной нечаянностью Калинскому, которого он имел свои причины ненавидеть. Он радовался заранее досаде и щекотливому положению театрала, который уже везде расславил о своей короткой дружбе с Любской.

Поэтому на афише не было выставлено, что Любская играет в последний раз. Однако театр был набит битком, потому что в город в то время съехалось много помещиков и откупщиков на торги.

В крайней ложе сидело четверо мужчин, все уже пожилых лет. Сидящие напереди были очень внимательны к пьесе, зато сидящие сзади не обращали на сцену никакого внимания. Они горячо рассуждали, и в их разговоре поминутно слышалось: «Пять на пять, триста бочек» и так далее.

Любская произвела очень приятное впечатление на сидящих впереди. Они упрашивали взглянуть на нее своих товарищей; но один только согласился и привстал, другой же просто повернулся спиной к сцене, и его мрачная физиономия еще больше нахмурилась.

— Хорошенькая! — садясь на свое место, произнес сосед мрачного господина и прибавил: — Ну-с.

— Я вам ручаюсь, что оно очень выгодно будет, что видно сейчас. На сто шес...

Вдруг его лицо изменилось, и он быстро повернулся к сцене.

Любская в то время говорила.

Мрачный господин впился в нее своими суровыми глазами, и лицо его то покрывалось бледностью, то вспыхивало; руки его дрожали; он ими протер глаза.

— Дайте афишу! — нетвердым голосом сказал мрачный господин и громко, с каким-то странным негодованием произнес: — Любская!

Товарищи с удивлением глядели на него, пожимая плечами и подмигивая друг другу.

Когда занавес опустился, мрачный господин выскочил из ложи, не обращая внимания на вопросы сидящих в ложе.

Занавес долго не подымался. Публика, соскучась, стала аплодировать, наконец, стучать стульями; тогда вышел режиссер и объявил, что по внезапной болезни госпожи Любской такая-то пьеса не может продолжаться. Публика была очень недовольна, а Калинский озабоченно выбежал из кресел.

Мрачный господин не являлся более в ложу.

На другое утро, часов в десять, у дверей квартиры Любской стоял тот самый мрачный господин, который накануне скрылся из ложи. Он нетерпеливо звонил в колокольчик. Наконец дверь раскрылась, и Сидоровна, с веником в руке, грубо сказала:

— Ну чего так дергать! ведь чуть не оборвал!

— Госпожа Любская здесь живет? — перебил ее мрачный господин, силясь войти.

Сидоровна защищала дверь своим туловищем и пугливо говорила:

— Да что вы? куда вы?

— Я спрашиваю, дура, госпожу Любскую! — горячась, сказал мрачный господин и с силою толкнул Сидоровну в сторону, а сам пошел в двери залы.

— Да ее нет, право, нет! — кричала Сидоровна.

Мрачный господин пугливо посмотрел на Сидоровну и язвительно произнес:

— А! тебе так велено сказать мне!

И он с шумом раскрыл дверь в залу — и, как истукан, остановился, с ужасом оглядывая пустую комнату, на полу которой остались только признаки недавно вынесенной мебели.

— Она раным-ранехонько уехала, а мебель еще дня два как увезли в лавку,— сказала Сидоровна.

Мрачный господин обегал всю квартиру и, удостоверясь, что никого нет, понурил голову.

Сидоровна, ворча, стала мести сор, искоса поглядывая на гостя, который дал ей какую-то мелкую монету и сказал печальным голосом:

— Покажи, где была ее комната.

— А вот это зала, а это вот спальня, а... а...

Мрачный господин кинулся в спальню.

Сидоровна успела вымести всю залу, а мрачный господин всё еще оставался в спальне. Он сидел на окне, печально повесив голову.

О чем он думал, легко будет догадаться, если мы скажем читателю, что то был Федор Андреич.

Он столько времени разыскивал Аню, наконец уже бросил свои поиски, как вдруг неожиданно увидел ее на сцене и тотчас же опять потерял из виду...

ТОМ ВТОРОЙ

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Глава XXIX

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СМОТР

Славная деревенька Овинищи! Правда, невелика, но зато домики всё такие нарядные, крытые не сплошь соломой, а чаще тесом, с резными воротами и зелеными ставнями. Любо поглядеть! При въезде в деревню отрадное, успокоительное чувство охватывает душу — так и повеет тишиной, скромным довольством и, в особенности, порядком. Тотчас видишь присутствие чьего-то зоркого, бдительного глаза и деятельной руки: хоть чрез деревню и проходит большая дорога, однако ж улица не сорна и не кольиста; безобразных колодцев с очепами, наводящими уныние своим раздирающим душу скрыпом, пугающими по ночам своею исполинскою тенью, и не видано в Овинищах; ни одной избушки покачнувшейся, или подпертой кольями, или обставленной частоколом с паклей, набитой вплоть до бревенчатой стены ради тепла; ни одного окна выбитого, заткнутого той же паклей или заклеенного синей бумагой — избави бог! Да помещик Алексей Алексеич Кирсанов, да управляющий его Иван Софроныч Понизовкин, да староста их Епифан Епифанов... у! как переполошатся! На то барин и держит всякое заведение, знает всякие науки и художества, чтоб беду, какая случится, тотчас поправлять, и нужды не иметь до города, и чтоб проезжающий (а их много по тому тракту) не смел и подумать, едучи мимо: вот, дескать, в Овинищах каков порядок,— стеклы на окнах выбиты; хорош должен быть порядок! «Нет, оборони бог! — говаривал Алексей Алексеич.— А надо, чтоб каждый проезжий остался в полном

удовольствии и, воротившись домой, сказал: много проехал я и сел и деревень, а такой красивой деревни, как Овиницы, и не видывал».

— И скажут,— замечал Иван Софроныч.

Проезжающие играли важную роль в жизни обитателей Овиниц: казалось, и жили они не столько для себя, сколько для проезжающих. Выкрасит Алексей Алексеич крышу погреба красной краской и уж не сидится ему в комнате, похаживает по двору и спрашивает по временам у красильщика, оканчивающего свою работу:

— Смотрят?

— Смотрят,— отвечает красильщик, весь выпачканный краской, привстав и оглядев с крыши дорогу.— Вот теперь перемежилось, а то сколько их ехало — и всё смотрят.

— Ничего, крась,— скажет Алексей Алексеич и задумается; думает-думает и придумает.

— Иван Софроныч! а Иван Софроныч! — кричит он, оглядываясь кругом.

— Чего изволите? — раздается откуда-нибудь мягкий и почтительный голос.

Алексей Алексеич идет по голосу и, отыскав Ивана Софроныча где-нибудь в погребе или амбаре, говорит:

— А не подновить ли нам сараи и конюшни? (находящиеся, надо заметить, прямо против большой дороги).

— А подновить так и подновить,— отвечает Иван Софроныч, подумав.

— А не сделать ли так: разграфить сначала всю стену поштучно... ну, видывал паркетные полы?.. и потом: одну штуку дернуть голубым, другую розовым, третью зеленым, четвертую...

— Желтым,— подсказывал Иван Софроныч.

— ...желтым, пятую малиновым. А что? небось не будет <не>хорошо? Да такой штуки, я думаю, и в столице нет.

— Нет,— утвердительно замечал Иван Софроныч, отмеривая овес.— Штука будет отменная: так озадачим иного, что до Переславля не опомнится!

— Дальше! — перебивал Кирсанов.— До самого Владимира!

— А немудрено, что и до Владимира.

И действительно, когда после долгих совещаний с красильщиком мысль Кирсанова приведена была в исполнение, эффект превзошел ожидания; проезжие видимо повергались в недоумение, какого рода назначение могло иметь подобное здание; одни принимали его за беседку,

другие за оранжерею,— и удивлению их не было конца, когда вдруг на ту пору выводили оттуда лошадь; близорукие полагали, что вся передняя стена сделана из китайских разноцветных стекол, о чем и рассказывали не без удивления по пути до самого Владимира, а иногда и далее. Словом, так или иначе, все поражались и смотрели и оглядывались, пока было что-нибудь видно. Слухи об этих толках доходили до наших приятелей от ямщиков соседней станции, приезжавших в Овинищи ковать лошадей, и наполняли сердца их неописанным счастьем. Расспросам, шуточкам, выведываньям не было конца, и ямщик, привезший хорошую весть, угощался водкою.

— Да у вас, вижу я, новость! — сказал однажды, заехав к ним, заседатель.— Как славно сараи выкрашены! Пестрота нынче вообще входит в моду, и ей придумали название: рококо!

Алексей Алексеич и Иван Софроныч промолчали, полные скромного торжества; но оба они заметили слово: рококо, и обоим оно чрезвычайно понравилось. И когда на другой день, выпив чаю и закурив трубки, вышли они на двор и остановились перед нововыкрашенным зданием:

— Рококо! — сказал Алексей Алексеич, любуясь своей выдумкой.

— Рококо! — лаконически отвечал Иван Софроныч.

И оба тихо и счастливо улыбнулись.

И с той поры часто Алексей Алексеич, любуясь дивным зданием или наслаждаясь эффектом его на проезжающих, вдруг улыбнется, оглянется и выразительно, протяжно произнесет:

— Рококо!

И в ту же минуту откуда-нибудь из амбара, чулана или погреба послышится в ответ ему такой же выразительный, мерный и счастливый голос:

— Рококо!

И он уже знает, как при этом улыбнется Иван Софроныч, и сам снова улыбается, как будто верный управляющий его находится перед ним.

В ту эпоху, когда мы знакомимся с Кирсановым и его управляющим, оба они были заняты чрезвычайно важным делом: происходил, по выражению Ивана Софроныча, «хозяйственный смотр».

Утром, часу в одиннадцатом, в жаркий летний день, Алексей Алексеич, в белом колпаке, защищавшем его седую голову от жаркого солнца, в зеленой распахнутой

фуфайке, в серых брюках, обшитых снизу на ладонь кожей,— стоял перед своим небольшим деревянным домиком и усердно принимал и сортировал вещи, выкидываемые к ногам его из слухового окна невидимой рукой.

Алексею Алексеичу было уже лет шестьдесят, если не более, но старик был еще довольно бодр. Рост его был средний; волосы уже седы, но довольно густы; седые усы торчали кверху и придавали несколько суровый вид его красноватому добродушному лицу.

Посторонний наблюдатель, незнакомый с нравами и привычками хозяина, пришел бы в неописанное удивление, увидав такое обилие разнообразнейших вещей, в обозрение которых погружен был теперь Алексей Алексеич. Как будто двадцать семейств, одаренных самыми разнородными вкусами и потребностями, снесли сюда всё свое имущество, чтоб похвастать друг перед другом. Шубы, хомуты, седла, тазы, женские платья, валеные сапоги, пучки сушеных трав, картины, обломки железа и жести, детские игрушки, тетеревиные чучела и множество еще подобных вещей летело к ногам Кирсанова, который едва успевал отдавать приказания, что следовало выколотить, что проветрить, что вычистить, что просто выкинуть и так далее.

В то же время из растворенного сарая вывозили экипажи, зимние и летние, отличавшиеся необычайной ветхостию; из другого сарая, из амбаров выносилась сбруя, старая и новая. Из чуланов выносились сундуки с холстами и залежалым платьем.

Словом, выносилось, вывозилось и выбрасывалось всё, что только было в доме и в разных его закоулках.

Через весь двор, обнесенный сараями, амбарами и другими домашними службами, протянуты были веревки, отягченные всевозможными одеждами — малыми и большими, зимними и летними.

Дворовые люди, мальчишки и бабы, суетились по двору, перетаскивая вещи, выколачивая платья, тюфяки, перины, каретные подушки с таким рвением, что на дворе стоял постоянный гул, как будто били в набат, что, конечно, и казалось проезжающим мимо, к удовольствию наших друзей, которые нельзя сказать, чтоб не рассчитывали озадачить проезжающих выгрузкой всего своего имущества.

— Хорошенько, хорошенько! — командовал Кирсанов.— Эй, тетка! не ленись: выколачивай! Ну, приударь, приударь, дружней! Вишь, сколько пыли,— и откуда

только она берется? А ты, Ферапонт, что зеваешь? Переверни-ка ее (шубу) теперь другой стороной к солнцу — пусть попрожарится!

В то же время он успевал подхватывать на лету вещи, летевшие из слухового окна. Кирсанов рассматривал их с любовью, над некоторыми задумывался; другие вызывали веселую улыбку на его губы, и он медленно покачивал головой. Пот лил с него градом.

— Уф, устал! — говорил Кирсанов, осмотрев старую медвежью шубу, под тяжестью которой могли бы подломиться плечи Ильи Муромца.— А славная шубенка! Ферапонт, бери-ка ее, да хорошенько!

Едва успел он разогнуть спину, как к ногам его полетели один за другим пучки сушеного зверобоя. Мгновенно окруженный тучею пыли, старик припрыгнул, сделал страшную гримасу и наконец разразился троекратным чиханьем.

— Желаю здравствовать вашему высокоблагородию!— раздался из слухового окна почтительный и озабоченный голос.

— Тьфу, проклятая трава! дрянь дрянью, а так в нос и лезет! — произнес Алексей Алексеич.— Это зелье,— продолжал он, обращаясь к слуховому окну,— я думаю, просто выкинуть, Иван Софроныч, а?

— Оборони бог-с выкидывать,— отвечал тот же почтительный голос сверху.— Полагаю, не имели бы такой мысли, если б изволили вспомнить, какую пользу она вам принесла, как весной вашему высокоблагородию грудь заложило.

— Новой насушим!

— Новая, может, еще с фальшем каким уродится...

— Умен ты у меня, Софроныч! — сказал Кирсанов.— Правда твоя: просто проветрить ее да и припрятать опять,— *не пролежит места!*

— А вот уж дрянь так дрянь,— сказал Иван Софроныч, всё еще невидимый,— заподлинно, с ней и сделать ничего лучше не придумаешь, как выкинуть. И на что вы изволили ее и купить-то? Даже мышь ее не берет. Лежит, лежит, а всё целехонька, пропадай она!

И вслед за тем к ногам Кирсанова полетела старая книга.

Кирсанов поднял ее, обдул, развернул. То был календарь 1796 года.

Прочитав заглавие, Алексей Алексеич залился продолжительным добродушным смехом.

— На что купил? — воскликнул он.— Эх, голова, голова! Велика голова, а мозгу мало... На что купил?.. Да делай мы всё такие покупки, так еще куда ни шло!.. А вот скажи-ка, мудрая голова, какая зима стояла в 1795 году?

— А как мне знать?

— Ну вот то-то же! А я так знаю!

Кирсанов отыскал страницу и прочел, какая зима стояла в 1795 году.

— Что, не будешь теперь спрашивать: на что купил? Не полезная небось вещь?

— Полезная,— отвечал Иван Софроныч пристыженным голосом.

— То-то же! Вот оно как: купить хорошую вещь, никогда оно не мешает; а чего и стоила-то? Я за нее, как теперь помню, двадцать шесть копеек дал, а еще в придачу взял бритву тульскую.

— Сточенную,— ввернул Иван Софроныч.

— ...и греческую грамматику.

— Да на что вам греческая грамматика?

— А так всё думалось: может, женюсь — дети пойдут; пригодится!

— Полагаю, много денег изволили перевести, собираясь жениться,— вот хоть бы тогда девяносто рублей за коляску ввалили — всё думали: может, женюсь, жена будет модница, так вот — ход славный, колеса знатные, только отделать. А вот жениться не женились, а деньги отдали.

— А что ж и в самом деле? Небось дорого дал? Ведь ход и точно славный — один чего стоит! *кому не надо,* сто рублей даст!

— Хорош; только к нему нужно до тысячи прибавить, чтоб коляска вышла!

— Эх, Иван Софроныч! — с досадой перебил старик.— Не ты бы говорил, не я бы слушал. Досадно вот, что я устоял, не женился, как ты,— так вот и сердишься, попрекаешь коляской!

— Осмелюсь вам доложить, грешить изволите, ваше высокоблагородие! Женитьбой попрекнули! А кто подбивал! не сами небось? Не одна коляска — сколько платья было у вас женского тож накуплено! Я докладывал: «Эй, не извольте накупать, найдите прежде невесту». Так нет: «Бери, Софроныч: *не пролежит места!*» Да что и говорить! А вот как накупили да свалили всё в чулан, так серд-

це, бывало, переворачивается глядеть: лежит, гниет добро! Ничего, бывало, не изволите говорить, а ведь вижу, как оно болит у вас; а как сказали раз, да таким жалостным голосом: «Хоть бы ты, Софроныч, женился», так словно туману кто пустил в глаза. Мочи нет, жаль стало: что в самом деле гниет добро? Взял и женился... да только что же вышло?..

При этом воспоминании Иван Софроныч вздохнул, а Кирсанов добродушно улыбнулся.

— Стану я, говорит,— продолжал Иван Софроныч, подражая пискливому и раздражительному женскому голосу,— стану я, говорит, носить платье бог знает с кого: может, еще с покойницы; да нынче и моды такой нет! Вот и вышло, женился, а что проку?

Софроныч опять вздохнул. Кирсанов слушал, сдерживая смех, и наконец сказал таинственным голосом:

— Иван Софроныч, а Иван Софроныч! Федосья идет!

Иван Софроныч немедленно умолк, и слышно было, как он стремительно отшатнулся в глубину чердака.

Тогда Кирсанов громко захохотал.

— Полагаю, изволили пошутить,— заметил Иван Софроныч, приближаясь снова к слуховому окну.

И оба они усердно принялись за свою работу: один выкидывал вещи, а другой сортировал их и отдавал приказания. Жар усиливался. Кирсанов снял фуфайку и засучил рукава рубашки; но пот всё-таки лил с него градом.

— Иван Софроныч, а Иван Софроныч!

— Чего изволите?

— А что ты думаешь насчет чижика?

— А думаю, что чижик птица хорошая, певчая...

— И увеселительная? — спросил Кирсанов, лукаво прищуриваясь.

— Полагаю, что и увеселительная,— отвечал серьезно Иван Софроныч.

— Да нет. А я вот о чем: не пора ли?

— Ни-ни-ни! — отвечал Иван Софроныч.— Надо прежде дело покончить, а то как разморит жаром, так будет не до работы.

— Ну, будь по-твоему. Зато уж чижику сегодня... только держись!

— Посторонись! — скомандовал Иван Софроныч.

И вслед за тем к ногам Кирсанова полетела с глухим перекатным звоном жестяная доска, на которой был намалеван часовой циферблат с гирями и маятником.

Приплюснутый ею, зверобой пустил новую тучу пыли. Алексей Алексеич снова расчихался.

— Желаю здравствовать! — послышалось сверху.

— Тьфу ты пропасть! — воскликнул Алексей Алексеич.— Ба-ба-ба! — продолжал он, осматривая жестяную доску.— Вывеска часового мастера! Вот уж хоть убей не помню, чтоб у нас была такая вещь. И ведь вот утащи кто-нибудь, и не спохватился бы никогда!

— Как утащить! — возразил Иван Софроныч.— На что же я у вашего высокоблагородия и хлеб ем, как не затем, чтоб всё было в сохранности!

— Да нет, ты мне скажи, откуда взялась у нас часовая вывеска? Уж не подкинул ли кто?

— Полагаю: изволили забыть,— отвечал почтительно Иван Софроныч.— А она, осмелюсь вам доложить, точно у нас была... и она есть,— с гордостью заключил Иван Софроныч.— В тысяча восемьсот девятнадцатом... нет, дай бог память! — в тысяча восемьсот семнадцатом году, когда были в городе, изволите помнить: увидали мы ее в лавке купца Калистрата Подоплекина. Я еще тогда докладывал, что напрасно-де, Алексей Алексеич, изволите торговать ее, даром обызъянитесь... да ваше высокоблагородие сказали: «Вот у Ферапонта сын наклонность к механике показывает, всё вытачивает кубари да разные штуки; может, часовым мастером будет».

— Да, да, да! — сказал Кирсанов.— Теперь вспомнил. Ведь дали-то мы за нее пустяки! дешевле пареной репы! Да тут жести одной на целковый будет!

— На целковый не на целковый, а гривенников на десять будет,— с важностью заметил Иван Софроныч.

— Да написать-то ее что возьмут, да еще здесь так и не напишут — ведь работа-то московская! Помнишь, Иван Софроныч,— продолжал Кирсанов, и лицо его одушевилось,— помнишь, еще какая уморительная штука тут вышла? Торговали-то мы ее у мальчугана, так еще, глупенька! Отдал чуть не даром. Мы уж и деньги заплатили, на извозчика ее хотели класть,— вдруг приходит хозяин, да как узнал, за сколько продана вывеска, так и накинулся на мальчика: «Такой-сякой ты,— говорит,— в убыток продаешь!», да и ну его тормошить. А мы поскорей на извозчика и давай бог ноги... чего доброго, еще отнял бы... Ха-ха-ха!

Кирсанов добродушно смеялся; сверху вторил ему такой же добродушный хохот.

— Дешево досталась,— сказал Иван Софроныч,— а правду сказать: отними он тогда ее — всё лучше бы...

— Лучше? да чем же лучше? Одно жаль — Ферапонтов сын, как подрос, пристал: отдай да отдай его в сапожники! Ну, разумеется, и лежит. А всё же вещь хорошая,— понеси ее теперь продавать — *кому не надо* — дороже даст! Вот ты мастер упрекать, а кто купил лошадку?— заключил Кирсанов, покатив огромного деревянного коня.— Вот уж тут понеси продавать — барыши плохи!

— Кто купил? Я! да зато я знал, что делал: вот у меня дочь.

— Ха-ха-ха! Еще бы сын... А то дочери в лошадку играть... Ну а пушку, а пушку?

— Пушку? — отвечал Иван Софроныч немного смущенным голосом.— Ну, насчет пушки проштыкнулся! Да и то еще, может, и не совсем проштыкнулся: вот если сын будет...

— Знаю, я знаю, чего тебе хочется! Ты, и лошадку-то покупал, небось об дочери думал? как же! да не будет сына!

— Ну, а как будет!

— Давай бог, давай бог,— посмеиваясь, заметил Кирсанов.— Были бы дети, а игрушки будут. Ну-ка, Иван Софроныч! пора, право, пора приступить к чижику! А! откуда, красавица? — воскликнул Алексей Алексеич, завидев бежавшую к нему хорошенькую девушку лет тринадцати.

Девушка остановилась, раскрасневшаяся как маков цвет, и не могла ничего сказать: грудь у ней высоко подымалась, стянутая узким платьицем, и маленькие розовые ноздри часто и широко раскрывались.

— Что, много у нас доброго? — самодовольно спросил Алексей Алексеич, заметив любопытство, с которым живые черные глаза девушки перебегали по предметам.

— Много,— отвечала она.

— Много, Настенька,— порешил Алексей Алексеич, скрутив рукав своей рубашки так, что руке, помещенной в нем, оставалось очень мало простора.— Не только ты, посторонние люди заглядываются... кто ни едет, каждый смотрит и, верно, думает, что мы миллионщики. А пускай думает!

— А папенька здесь? — спросила девушка.

— А что?

— Маменька велела звать его.

— Сердится?

— Да, сердится! с самого утра сердится.

— Ого! — сказал Кирсанов и улыбнулся. — Иван Софроныч!

— Чего изволите?

— Радость, радость!

— А что такое?

— Поди сюда. Настя пришла, она скажет.

— Сейчас.

— Да ну же! что ты там копаешься! — нетерпеливо воскликнул Алексей Алексеич через минуту.— Скорее!

— Сейчас, сейчас! Ну, какая радость?

И в слуховом окне во весь рост показалась фигура еще бодрого, но совершенно лысого старика, одетого в старую женскую кацавейку из заячьего меху с кошачьими лапками, очевидно игравшую в свое время роль горностаевой.

Кирсанов расхохотался. Девушка сначала крепилась, но не выдержала и тоже звонко смеялась.

— Ну чему смеяться, дурочка? — заметил ей Иван Софроныч.— Что ты думаешь, я там сложа руки, что ли, сидел?.. умаялся! И в одной рубашке да не знал, куда деваться, почище твоей бани! Ну не показаться же было так!

— Да ты бы, Иван Софроныч, уж лучше юбку надел, а то меховую телогрейку.

— Да уж нет там юбок,— серьезно отвечал Иван Софроныч.— Все покидал. А чем не одеяние? — прибавил он, встряхивая полы кацавейки и радуясь, что неожиданно доставил удовольствие своему благодетелю.— Ну, что же ты скажешь, Настя?

— А вот жди: скажет она тебе радость,— воскликнул Алексей Алексеич и как ни крепился, а снова расхохотался.

— Полагаю, изволили пошутить. Видно, нет никакой радости,— догадливо заметил Иван Софроныч.

— Ну,— сказал Кирсанов девушке,— ну, красавица!

— Маменька приказала вас домой позвать,— сказала Настя, обращаясь к отцу.

— Говорит: я больна,— подхватил Кирсанов,— каждую минуту может что-нибудь со мной случиться: пусть сидит безотлучно у постели... безотлучно, слышишь ли: безотлучно!

Лицо у Ивана Софроныча вытянулось. Вместо ра-

дости он услыхал в самом деле весть, хуже которой не мог и ожидать.

Кирсанов заметил его отчаяние, и вмиг стало ему не до шуток.

— Знаешь что, Настя! — сказал он, продолжая крутить свой рукав с такою силою, что локоть его готов был прорвать полотно и выскочить.— Побеги, скажи ей, что нет, мол, Ивана Софроныча,— ушел в поле, что ли? куда-нибудь. И не знают, мол, скоро ли придет. А мы вот кончим дело да пройдемся по чижику!

— Осмелюсь доложить, хорошо придумано,— сказал печально Иван Софроныч.— Да ведь коли она догадается, так бедной девчонке придется плохо.

— Ничего,— сказала Настя.— Уж я как-нибудь.

— Ни-ни! не смей,— я сейчас приду! — строго и печально возразил отец.

— Не надо, не надо! — проговорила Настя и, прыгая, побежала, повторяя:— Не надо!

— Славная девочка! — сказал вслед ей Алексей Алексеич, раскручивая наконец рукав и освобождая свою руку, которая страшно покраснела и покрылась синими жилами.

Иван Софроныч ничего не сказал, но провожал ее глазами с своего возвышения до тех пор, пока она не скрылась в дверях небольшого отдаленного здания, стоявшего у самой большой дороги,— и в глазах его много было любви и отеческой гордости.

Не прошло, однако ж, получаса, как Настя снова возвратилась и объявила, что Федосья Васильевна настоятельно зовет мужа, что она боится обморока и говорит, будто не проживет больше суток.

— Ну а по правде как? — спросил Кирсанов.— Ничего?

— Ничего,— отвечала Настя.— Только опять выступили на лице желтые пятна, как третьего дня. Пила она чай, уронила нечаянно чашку — рассердилась, да и чайник хлопнула о пол.

— Желтые пятна! — воскликнул Кирсанов.— Плохо! Бедный Иван Софроныч! попадись он ей теперь, да она его добром не выпустит. Нет, мы не выдадим. Так ли?

— Так,— сказала Настя.

— Хочешь? — спросил Алексей Алексеич и ловко подкатил к ней деревянного коня на колесах.— Садись, прокачу!

Девушка хотела сесть, но передумала, вскочила на лошадку и, стоя на ней в красивой позе, закричала:

— Ну, везите же!

Алексей Алексеич повез.

— Вишь, проказница! что выдумала! И как ловко стоит, точно на гладком полу! — ворчал про себя Иван Софроныч, любовавшийся потихоньку своей дочерью с той самой минуты, как только она появилась и заговорила.

— Ваше высокоблагородие! — закричал он, показавшись в слуховом окне.— Ваше высокоблагородие!

— Что?

— Да побойтесь бога! Вы, осмелюсь доложить, не маленькие. А ты, баловница, не стыдно? Долой! слышь, сейчас же долой с лошади!

Но ни дочь, ни Кирсанов не слушались его.

— Ну, ну, ну! — кричала Настя.— Не ленись, лошадка, приедешь домой, будешь отдыхать, корму дадут.

— А чижик будет?

— Будет!

— Долой, проказница! — повторил Иван Софроныч, топнув ногой. — Посмотри, их высокоблагородие умучились! Хороша крестница!

— Ну, теперь моя очередь! — сказала Настя, спрыгнув с лошадки.— Садитесь!

— А посмотрим, посмотрим! далеко ли уедешь со мной? — сказал Алексей Алексеич, сел и, обмахивая платком свое горящее лицо, прибавил:— Ну, по всем по трем, коренной не тронь!

Настя двинула лошадку.

— Браво! — закричал Иван Софроныч, довольный силою своей дочери.— Ну вот умница, умница! Давно бы так! ну, еще, ну, дружней!

Колеса под лошадкой, сверх ожидания, оказались довольно прочны и катились легко. Настя, раскрасневшаяся, запыхавшаяся, быстро бежала. Алексей Алексеич, в рубашке, в белом колпаке, важно сидел, размахивая руками и покрикивая: «Ну, с горки на горку — дадим на водку!» Иван Софроныч, совсем высунувшись из окна в своей кацавейке, в совершенном восторге восклицал: «Прибавь ходу, прибавь ходу! Знай не плошай, с кем едешь, не забывай! шевелись, копайся, вперед подавайся!..» Дворня в свою очередь, покинув работу, предалась созерцанию. Всё вместе представляло довольно оживлен-

ную и оригинальную картину. Как вдруг посреди общего увлечения раздался пискливый и озлобленный голос:

— Господи! да никак тут все с ума сошли!

Все разом глянули по направлению голоса и смолкли. На тропинке, протоптанной между домом и кухнею, против самого Ивана Софроныча, лишившегося употребления ног, стояла необыкновенно худощавая, высокая женщина, с тощим, земляного цвета лицом, покрытым желтыми пятнами, с сверкающими глазами, в костюме не без претензии на щегольство: голова старухи была украшена высоким старинным гребнем, от которого ко лбу нисходил пробор в четыре пальца ширины, без малейших признаков волос, замкнутый с обеих сторон жидкими пуклями, так что голова старухи походила на детские креслы с высокой спинкой и точеными ножками. В руках у ней был палевый полинялый зонтик, который она старалась держать с грацией.

— Бессовестный! — заговорила она, обращаясь прямо к Ивану Софронычу, и вдруг закашлялась, причем высокая гребенка запрыгала у ней в волосах и бусы застучали на ее худой шее, как четки.— Бессовестный... кахи! каахи! кааааахи! варвар! Жена умирает, жена зовет его, а он тут потешается! Глянь-ка, шутом каким нарядился. Да еще обманывает — в поле, видишь, ушел; и девчонку научил лгать... кахи! кахи!

— Не я, их высокоблагородие приказали ей...

— Их высокоблагородие! Нечего сказать, хороши и они тоже! Чем бы пример подавать, а вон гляди: в лошадки сам играть вздумал! Домой, озорница! — прокричала она, погрозив Насте зонтиком, и снова закашлялась: — Кахи! кахи! кахи! Будешь ты вперед обманывать!..

— Она ни в чем не виновата,— сказал Алексей Алексеич с необыкновенною кротостию.— Вы напрасно сердитесь, Федосья Васильевна; да и Иван Софроныч тоже не виноват; он хотел к вам идти, да я его не пустил: день сегодня хорош, видите, вот мы и вздумали пересмотреть да проветрить доброе!

— День хорош! Да кто вам сказал, что сегодня день хорош? А вот погодите!.. кахи, кахи, кахи! накажет вас бог, что вы обижаете больную, несчастную женщину. Недаром у меня сегодня всё утро поясницу ломило. Уж ничего так не желаю и желать не буду — как одного: чтобы вдруг да хлынул дождичек ливный...

Алексей Алексеич побледнел.

— Вы не шутя этого желаете? — спросил он и потянул в волнении кончик пружинки, торчавшей у него из прорванной подтяжки.

Иван Софроныч тем временем, подняв голову, пугливо всматривался в небо.

— А то как же! — отвечала злая женщина.— Вот и будет вам ваше доброе!

— А что, жена, ты не выдумываешь: поясницу точно ломило? — с болезненным страхом спросил Иван Софроныч свою хворую половину, которая давно уже всему околотку предсказывала погоду вернее всякого барометра.

— И еще как ломило! — с злобной радостью отвечала Федосья Васильевна.— Точь-в-точь как в тот день, когда у Захарова крышу снесло и пастуха Вавилу громом убило! кахи! кахи! кахи! Да еще, может, и посильней,— прибавила она, прокашлявшись.

Иван Софроныч и Алексей Алексеич с ужасом переглянулись.

— Вот уж не поверю! — сказал Алексей Алексеич, растянув быстрым движением пружинку и судорожно наматывая на палец тонкую позеленевшую проволоку.

— Пугает баба! — проговорил в ответ ему Иван Софроныч.

— Хорошо, будет тебе «пугает»! — возразила Федосья Васильевна, грозя зонтиком.— Вот промочит до нитки весь ваш хлам, так и будете знать. Да того ли еще вам надо! — продолжала она, ожесточаясь более и более.— Вишь, вытащили всё, чего-чего нет! нашли время! есть тут, чай, и такое, что гром небесный притягивает! Вот будет вам! кахи, кахи, кахи! (Гребенка припрыгнула, бусы подняли тревогу.) Пожаром погорите — ни кола ни двора не останется,— по миру с кошелем пойдете, да и меня пустите, сироту бесталанную, горемыку бесприютную... Кахи, кахи!

И она так закашлялась, что высокая гребенка выскочила из редкой косы и повисла в волосах. Через минуту кашель сменился громким истерическим плачем.

Приятели наши с трепетом слушали мрачную предсказательницу и по временам посматривали на небо. Но оно было ясно и чисто и ни одним облачком не подтверждало мрачных предсказаний злой женщины.

— Да врет же она, ваше высокоблагородие! — ободрительно произнес Иван Софроныч.

— Не будет! — порешил Алексей Алексеич и быстро размотал проволоку, потому что оконечность его пальца налилась кровью и отвердела, как пробка.

Они успокоились и пошли завтракать, оставив Федосью Васильевну в совершенном бессилии: гнев лишил ее даже голоса, она неподвижно стояла, прислонившись к крыльцу, и дико вращала свои желтые, пылавшие гневом глаза, по временам всхлипывая.

Жестокое предсказание, однако ж, не прошло даром. Едва приятели наши успели выпить по чижику — название, которым обозначали они порцию горькой желудочной собственного изделия,— как прибежал Ферапонт и доложил, что собирается гроза. Когда они вышли на двор, Федосьи Васильевны уже не было, зато над самыми своими головами увидали они сизую, зловещую тучу... Надо было видеть суматоху, какая поднялась в одну секунду по команде Алексея Алексеича! Крики, беготня, скрыпение ржавых дверей, дребезг разбиваемых и ломаемых второпях вещей, отчаянные восклицания — всё смешалось в один нестройный гул и скоро слилось с мерным, крупным дождем, который, при полном сиянии солнца, не замедлил спрыснуть одеяние, мебель, тюфяки, сушеные травы и всё добро Алексея Алексеича. Весьма немногие вещи избавились поливки, да и то большею частию такие, которые могли бы спокойно остаться под дождем целые сутки.

— Напророчила! — бегая и суетясь, говорил по временам Алексей Алексеич.

— Напрррорррочила! — мрачно повторял Иван Софроныч.

И оба они усердно таскали то в комнаты, то в сараи вещи, попадавшиеся под руку; но в каком виде, в каком порядке! Тюфяки попадали в конюшню, хомуты — в спальню, книги — в передбанник. Алексей Алексеич собственноручно внес жестяную вывеску с часовым циферблатом в столовую и еще вытер ее своим халатом, а настоящие стенные часы пнул ногой и разбил вдребезги, причем боевая пружина в последний раз издала жалобный дребезжащий звук, как будто прося пощады; но Алексей Алексеич не пощадил часов и пнул их вторично, примолвив: «Эта дрянь только в глаза мечется да с толку сбивает...» Иван Софроныч носился с пучками сушеного зверобоя, с большим трудом втащил в амбар огромный сверток проволоки и равнодушно смотрел, как мокли и гибли

безвозвратно шелковые платья, кружевные чепцы, шляпки с перьями и другие предметы женского туалета, купленные когда-то Кирсановым на случай женитьбы. К довершению беды какой-то дюжий Дормидон, прибежавший из деревни помочь барскому горю, в пылу усердия с такою силою рванул с веревки барскую шинель, что веревка лопнула и всё добро, висевшее на ней, повалилось в лужи дождя. И, наконец, едва успели предупредить еще другое, большее бедствие: почувствовав приближение грозы, некоторые из лошадей и других домашних животных, принадлежащих Алексею Алексеичу, с мычаньем и ржаньем кинулись из стада домой и едва были остановлены в воротах соединенными усилиями дворовых людей, случившихся тут крестьян и самого Кирсанова с верным его управляющим Иваном Софронычем.

— Напророчила! — говорил Алексей Алексеич.

— Напророчила! — подтверждал Иван Софроныч.

Больше они ничего не говорили в тот день...

Глава XXX

СОСЛУЖИВЦЫ

— Пожили! — говаривал иногда Алексей Алексеич, значительно подмигивая Ивану Софронычу.

— Пожили! — отвечал Иван Софроныч.

И оба умолкали, как будто одним словом всё было сказано, и тихо погружались в думу.

В самом деле, они славно пожили. Время их молодости и службы относилось к первым годам нынешнего столетия. Служили они верой и правдой, да уж и попроказили! Только слушай, как разговорятся да начнут рассказывать. В день не перескажешь анекдотов, в которых они сами были героями.

Длинная-длинная история.

Алексей Алексеевич Кирсанов был уже два года ротным командиром, когда в роту к нему перевели новопроизведенного прапорщика Ивана Понизовкина. Понизовкин происходил из податного состояния и личною храбростью добыл себе офицерский чин. Явившись к Кирсанову, он с первого же раза понравился ему. Военная жизнь скоро сближает: не прошло недели, как уже Кир-

санов не мог двух часов провести без своего нового подчиненного. С своей стороны, Понизовкин, при всей почтительности к начальнику, не мог сдержать добродушных излияний, к которым чрезвычайно наклонна была его мягкая душа в веселые минуты, и не замедлил признаться Алексею Алексеичу, что он за него готов и в огонь и в воду. Когда кончилась кампания и Кирсанов за ранами должен был подать в отставку, такое горе взяло его при прощанье с Иваном Софронычем, что он расплакался как ребенок.

На Иване Софроныче также не было лица. Оба они были люди одинокие; у Кирсанова не было ни отца, ни матери, ни сестры, ни братьев, а у Ивана Софроныча тоже, и притом — ни кола ни двора! Промаявшись с полгода в деревне своей один-одинехонек, Кирсанов не выдержал и отправил к Ивану Софронычу предложение: выйти в отставку и поселиться у него в качестве управляющего. День, когда наконец прибыл Иван Софроныч в провинцию, был счастливейшим днем в жизни Алексея Алексеича. С той поры они не разлучались.

Много лет прожили они в деревне, много, по выражению Алексея Алексеича, пропустили чижиков, и с каждым днем становились всё необходимее друг другу. Какая-то тайна, относившаяся к их прежней жизни, связывала их еще более. Раза два в пятнадцать лет ездили они в Петербург, разыскивали там что-то, но возвращались, по-видимому не достигнув цели, и привозили только множество разнородных вещей, обыкновенно подержанных, купленных по случаю и чрезвычайно дешево. В деревне, первые дни по возвращении, они только и делали, что пересматривали свои покупки, а иногда и приступали к переделке некоторых. Вообще время свое коротали они сельскими занятиями, охотой, а главное — рассказами о прошлой своей жизни, богатой деятельностию, опасностями, забавными случаями и проказами, в которых выражалась их прежняя удаль. И после таких-то воспоминаний, наговорившись вдоволь и приумолкнув, они обыкновенно изредка повторяли:

— Пожили!

— Пожили!

И в лицах их сияло спокойствие и довольство.

Если уж сильно приступала к ним скука, они отправлялись в ближайший город, и тут-то производились те многочисленные и разнообразные закупки, по милости

которых Алексей Алексеич не без основания называл свой дом полной чашею.

Любимым и единственным занятием их в городе было бродить по лавкам, по рынкам и покупать. Но покупать не как другие покупают: спросил цену, поторговался — отдал деньги и взял вещь,— нет!

— Да с таким порядком в год разоришься,— говорил Алексей Алексеич.

— Дома не скажешься,— замечал Иван Софроныч.

— Нет, коли покупать, так у нас поучиться,— говорили они оба.

И действительно, искусство их покупать дешево превосходило всякое вероятие. Никто так не умел, по их собственному выражению, «пустить продавцу туману в глаза», как они. Они славились своим искусством, гордились им и с наслаждением рассказывали, что однажды из-за них купец подрался в лавке с своим приказчиком. Правда, не спрашивайте, что покупать? Поедут они в город купить сахару, чаю, ситцу, суконца, а привезут хомутов, черкесскую шапку, пару шестиствольных пистолетов, короб французского черносливу, шахматную доску с точеными из слоновой кости конями и пешками.

— Да на что им шахматная доска? — спросит человек, знающий, что оба они в шахматы шагу ступить не умеют.

— Дешево,— говорит Алексей Алексеич.

— *Дешевле пареной репы,*— прибавляет Иван Софроныч.

— Да понеси продавать: *кому не надо* — больше даст,— говорит Алексей Алексеич.

— *С руками оторвут,*— прибавляет Иван Софроныч.

— Ну так что же не продали?

— *Не пролежит места,*— говорит Алексей Алексеич.

— *Не нам, так детям пригодится,*— прибавляет Иван Софроныч.

И вследствие такой логики не было вещи, которой не купили бы они, будь только дешево, или хоть не поторговали. Идет ли солдат с бритвами, везут ли старую двуспальную кровать, торчит ли между старым хламом упраздненная вывеска, эстампы ли какие завидят они на прилавке, несет ли баба рукавицы,— до всего было дело нашим приятелям, всё торговали и покупали они.

— Эй, тетка! продажные, что ли? — спрашивал Алексей Алексеич, увидав бабу с рукавицами.

— Продажные, батюшка,— отвечала баба, останавливаясь.

— А что просишь?

— Да девять гривенок, батюшка.

— Девять гривен! — с ужасом восклицал Алексей Алексеич.

— Девять гривен! — повторял с таким же ужасом Иван Софроныч.

И оба они взглядывали на старуху как на помешанную.

— А то как же, кормильцы? — говорила она.— Ужели не стоят? Да ты погляди, какой товар-то!

И старуха принималась выхвалять рукавицы. Покупатели молча и терпеливо выслушивали длинную похвальную речь.

— Так, так,— лишь изредка иронически замечал Иван Софроныч.

Алексей же Алексеич, вертя своей тростью и стараясь как можно глубже вонзить ее в землю, казалось, погружен был в посторонние мысли, и когда старуха наконец умолк<а>ла, он вдруг совершенно неожиданно спрашивал ее:

— А что, тетка, есть на тебе крест?

Старуха широко раскрывала изумленные глаза, крестилась и произносила:

— Что ты, батюшка? ужели без креста? Православная — да без креста!

— Ну так как же. И не стыдно! Девять гривен просишь за штуку, которая и половины не стоит!

— Что ты, кормилец! Уж и половину. Да тут одного товару на полтину.

— На полтину! — с ужасом восклицал Алексей Алексеич.

— На полтину! — с таким же ужасом повторял Иван Софроныч.

И оба они опять посмотрели на старуху как на безумную и помолчали.

— Да что ты, тетка, нас за дураков, что ли, считаешь? — говорил Иван Софроныч обиженным голосом.

— Как за дураков... что ты, батюшка? А ты вот сам разочти. Жаль, счетцев нет: не на чем выложить!

— Ну, выложим, изволь, выложим! — говорил Алексей Алексеич, доставая из кармана маленькие счеты, без которых никогда не выходил со двора, когда бывал в городе.

Начинали выкладывать. Старуха толковала свое, покупатели — свое.

— Ну вот видишь: кожа столько-то, варежки столько-то, работа столько-то, и выходит всего тридцать пять копеек!

— Нет, уж меньше семи гривен, как угодно, взять не могу,— говорила сбитая с толку баба.

— Семь гривен! семь гривен! — с ужасом восклицали один за другим покупатели.

— Да приходи ко мне,— говорил Иван Софроныч,— да я тебе по сороку копеек сколько хочешь таких точно продам.

— А коли свои есть, так неча и говорить.

И старуха идет.

— Тридцать пять взяла?

— Своей цены не даете!

— Ну, сорок?

Баба не отвечала и быстро удалялась.

— Да ты хочешь продать? — вскрикивал Алексей Алексеич.

— Как не хотеть!

Баба останавливалась.

— Ну так говори делом.

— Чего говорить, коли своей цены не даете!

— Как не даем? Ведь выкладывали.

— Да как выкладывали — по-своему всё.

— Ну, выложим, изволь, опять выложим, по-твоему.

Начиналось снова выкладывание.

— Варежки: девять копеек...

— Двенадцать,— перебивала старуха.

— Девять,— говорил Алексей Алексеич, страшно стуча костяшками.

— Девять, девять,— подтверждал Иван Софроныч.

— Тесемка: три.

— Четыре!

— Кожа, работа... Ну и выходит тридцать восемь копеек.

— Как тридцать восемь! что ты, батюшка?

— Ну, сорок, сорок! Барыша пять... Ну, взяла сорок пять?

— Нет уж, меньше шести гривен взять не могу.

— Такой упрямой старухи я еще не видывал! — сердито восклицал Алексей Алексеич, смешивая костяшки.— Нет, что с ней слова терять. Видно, не хочет продать.

— Не хочет! — лаконически подтверждал Иван Софроныч.

— Как не хотеть? Вот что выдумали, прости господи!— возражала обиженная старуха.

— Ну, так сколько же?

— Да нет, не хочет, не хочет! — восклицал Иван Софроныч, поддразнивая бабу.

— А видно, вы, вижу я, купить не хотите,— сердясь, возражала она.

— Ну, взяла сорок пять?

— Да не будет с ней толку! — замечал Иван Софроныч.

— Будет, Иван Софроныч, будет.

— Не будет.

— Так вот же будет, прибавлю ей пятак. Ну, дам полтину — бери деньги!

— Полтину! — восклицал Иван Софроныч.— Да что у вас денег куры не клюют, что ли? И охота с ней связываться?.. Не видите разве — баба белены объелась!

— А ты не обижай ее, Иван Софроныч, пусть она сама увидит, пусть увидит. Ну, выкладывали? Ладно даю, ведь ладно,— взяла полтину?

— Да, возьмет она, дожидайтесь!

Наконец торговка, осыпая Ивана Софроныча свирепыми взглядами, изъявляла согласие.

— Приведись на меня, не взял бы, даром не взял бы! — говорил Иван Софроныч.— И товар дрянной, и работа рыночная!

— Товар дрянной! — говорила старуха.— Да ты такого товару, чай, и не нашивал. Уж кабы не для его милости...

Алексей Алексеич вручал ей полтину, и она удалялась, ворча.

— Ну, задели штуку! — говорил Алексей Алексеич, вытирая пот со лба.

— Задели! — повторял самодовольно Иван Софроныч.— Штука отличная, самим не стыдно носить...

— А шиты как! Вишь, словно железные!

И оба они пускались выхвалять покупку свою с таким же жаром, как прежде хулили ее.

— Да один товар вдвое стоит,— говорил Алексей Алексеич.

— Что говорить, даром взяли,— отвечал Иван Софроныч.— Нечего сказать, обработали!

— Обработали!

И потом, воротившись домой, они лукаво посмеивались и, любуясь своим приобретением и дивясь его дешевизне, повторяли:

— Туману, просто туману пустили ей в глаза!

Так покупали наши приятели. Справедливость требует заметить, что Иван Софроныч сначала вооружался против некоторых покупок, доказывая их бесполезность.

— Дешево, точно дешево,— говаривал он в раздумье, рассматривая, например, огромный скат проволоки в триста аршин, приобретенный Алексеем Алексеичем за рубль тридцать копеек ассигнациями.— Да что нам в проволоке! Век проживем — не понадобится!

— Ну, продадим,— отвечал Алексей Алексеич, толкая ногой проволоку, которая с шипеньем и звоном покатилась по двору.— *Ведь кому не надо* — больше даст. Стоит свезти в город!

В город, однако ж, новоприобретенные вещи, оказавшиеся ненужными, не отвозились, а оставались в Овинищах, под непосредственным смотрением Ивана Софроныча, который и сам, наконец, увлекся страстью своего хозяина и не мог видеть чужой вещи без того, чтоб хоть не пощелкать языком. Оно так и должно было случиться со всяким, кто приходил в соприкосновение с Алексеем Алексеичем. Кирсанов был человек чрезвычайно пылкий, увлекающийся; за мыслью немедленно следовало у него применение, за желанием — исполнение, и одумывался он уже тогда, когда было поздно. Натура его была в высшей степени деятельна; он принадлежал к числу тех людей, у которых руки уж так устроены, что не могут быть ни одной секунды в спокойном положении,— если нечего делать, то они хоть мнут ими кусочек хлеба или воску, отвертывают машинально пуговицы у собственного сюртука или что-нибудь подобное. Алексей Алексеич так часто и делывал. Живость его доходила до невероятной степени. Если он вздумает обрезать ногти, то непременно дорежется до того, что прихватит самого мяса. Если вздумает починить что-нибудь, то сначала починит, и хорошо, а потом станет еще хитрить, как бы еще лучше сделать, и совсем испортит.

Таким образом, благодаря постоянному стремлению к деятельности произошло, что в течение пятнадцати лет весь дом Алексея Алексеича, со всеми его сараями, амбарами, флигелями и чердаками, превратился в складочный магазин всего подержанного, старого, изломанного, вышедшего из моды и употребления — словом, всего, что только по каким-нибудь причинам вывозилось на рынки ближайшего города. Нельзя сказать, однако ж, чтоб владельцы не принимали некоторых мер к сбыту своих приобретений; иное они продавали, иное выменивали, иное даже дарили. А Иван Софроныч не выезжал из дому без того, чтобы не набрать с собой во все карманы разных мелких вещиц — колец, табакерок, часов, гитарных струн, представляя, таким образом, своею особою ходячую лавочку. Стоило при нем заикнуться о какой-нибудь вещи, как он тотчас подходил к знакомому и даже незнакомому и предлагал ее по самой умеренной цене, показывал, расхваливал, рассказывая тут же ее историю. Но все эти меры оказывались, однако ж, далеко не достаточными. Вещей всё-таки не убывало, потому что вместо каждой какой-нибудь сбытой появлялось две или три новоприобретенные. Несколько раз Алексей Алексеич пробовал даже делать из своих вещей то самое употребление, которое предполагал сделать, покупая их. Нанимались кузнец, шорник, обойщик, на отдаленном от барского дома флигеле появлялась самодельная вывеска: «Экипажное заведение». Все старые экипажи, колеса, дроги вытаскивались и выкатывались из сараев.

— Подновим, переделаем и возьмем в городе вчетверо! — говорил Алексей Алексеич.

И вот кузнец жег без милосердия уголья в кузнице, раздувая их исполинскими мехами, шорник диктовал длинный реестр нужных материалов, каждый день дополняя его, обойщик распевал песенки в ожидании работы... Но работа шла медленно и скоро совсем останавливалась.

— Не под силу хватили! — говорил наконец Алексей Алексеич, раскрывая и закрывая пустой кошелек.— В кошельке ни гроша, хоть выжми (и он сжимал в ладони кошелек), а нужно еще двои рессоры купить новые, да сукна тридцать аршин, да басону...

— Не минешь подождать до будущего года,— замечал Иван Софроныч.

— А что, Иван Софроныч,— говорил вдруг Алексей Алексеич,— я всё думаю: ведь дело верное?

— Верное.

— За тарантас триста дадут?

— Дадут триста, коли не больше.

— И за коляску пятьсот?

— Пятьсот.

Алексей Алексеич робко взглядывал на Ивана Софроныча и вполголоса говорил:

— Возьмем?

В лице Ивана Софроныча мгновенно появлялся испуг.

— Что вы, батюшка, Алексей Алексеич, вас ли я слышу?

— Выручим, так положим...

— А что скажет Александр Фомич? — замечал Иван Софроныч.

— Что скажет? — несмело возражал Алексей Алексеич.— Что скажет? Мертвые не говорят, Иван Софроныч.

— Не говорят, так и можно делать, стало быть, что вздумается! — голосом, близким к негодованию, возражал Иван Софроныч.— Батюшка Алексей Алексеич,— прибавлял он кротким, упрашивающим голосом.— Ну, не живет Александр Фомич; ну, Ваня жив.

— Ваня, Ваня! — с нежностью повторял Алексей Алексеич.— Жив Ваня? А бог один знает, жив ли еще Ваня!

— Жив, ваше высокоблагородие, жив; коли не знаем, что умер, значит, жив. Милости божией не постигнешь и не измеряешь, и судьбы его неисповедимы.

— Тссс!..— говорил Алексей Алексеич, заслышав шаги в прихожей.

Оба в одну минуту умолкали и потом уже не возобновляли таинственного разговора долго, долго; разве опять начнут выгодное дело, да денег не хватит. Алексей Алексеич ходит день-два сам не свой, посматривает на Ивана Софроныча, тоскует, что дело гибнет выгодное, да вдруг и шепнет Ивану Софронычу тихо, несмело:

— А, была не была — возьмем!

Но, встретив те же суровые возражения со стороны Ивана Софроныча, покраснеет и робко приумолкнет. А потом в откровенную минуту благодарит Ивана Софроныча, что он спас его от искушенья, от тяжкого греха; и оба они после таких объяснений дружно и тихо гово-

рят о своей старой жизни, о походах, о сражениях. Всего чаще в их разговорах упоминается Аустерлицкая битва, и, начиная говорить о ней, оба они понижают голос, который становится как-то нежнее, тоскливее, и ничего невозможно расслышать в их тихой беседе, кроме некоторых слов, таинственно произносимых: Аустерлиц... Александр Фомич... Ваня... клятва...

— А не махнуть ли нам в Петербург? — говорил в заключение Алексей Алексеич.

— Полагаю, собраться тяжеленько будет,— отвечал Иван Софроныч со вздохом.— Много и так теперь понесли изъяну... Да и что? ездили раз, и другой ездили... а как божьего соизволения нет, так хоть всё езди — толку не будет!

— Ну так до будущей весны,— порешал Алексей Алексеич.

Весна приходила; но путешествие опять почему-нибудь откладывалось. Много лет прошло таким образом; приятели наши ограничились тем, что выписали наконец газету, где много помещалось всяких известий, а в особенности таких, которые отчетливо показывали, кто именно и в каких чинах прибыл в столицу и кто отправился в Динабург или другой город. Статья о приезжающих и отъезжающих с особенным интересом первая прочитывалась нашими приятелями,— может быть, потому, что сами они никуда не выезжали, а больше сидели в Овинищах. Фамилии при чтении, которое всегда происходило вслух, произносились с особенной ясностью, и над некоторыми друзья наши задумывались. Вообще все статьи и известия, где много упоминалось фамилий, заслуживали особенное их внимание. От таких статей прямо переходили они к публикациям о продаже разного старья, которое так любит сбывать через газеты петербургский житель, и глаза их разгорались...

— Обогатиться, просто в один год можно было бы обогатиться! — восклицал Алексей Алексеич.— Ведь что здесь? и умеешь покупать, да купить нечего! Уж попади я туда!..

И, однако ж, было истинным счастием, что они не попадали в Петербург или попадали редко. Маленькое состояние Кирсанова и так уже было сильно расстроено дешевыми покупками в уездном городе и страстью озадачивать, делать всё или хоть начинать в широких размерах, превышающих средства, а главное — гордым

стремлением обходиться домашними средствами, не иметь ни в чем нужды до города. Страсть к широким размерам губила наших друзей. Нужно раз в месяц подковать тройку чалых — строилась кузница, нанимался кузнец. Понадобилось полудить посуду — Алексей Алексеич порядил гуртом на неделю пять человек бродячих лудильщиков, которые в тот же день и сделали всё нужное. Алексей Алексеич бродил в тоске, придумывая, чем занять своих «лудителей» в остальные пять дней, и кончил тем, что приказал им вылудить триста аршин проволоки, которая ни в обыкновенном, ни в луженом виде не могла никогда им понадобиться, а была куплена потому, что дешево.

Так жили наши приятели, пока не случилась катастрофа, к описанию которой мы теперь переходим.

Глава XXXI

«ЖЕЛЕЗНАЯ»

В числе экипажей, отделкой которых занимался в последнее время Алексей Алексеич, были старинные фельдъегерские дрожки, с крыльями, рессорные. Алексей Алексеич приобрел их в последнюю поездку в Петербург и приехал в них в Овинищи. Главным их достоинством, по словам его, была необычайная прочность рессор. Около полугода возился он с ними: перекрасил их, подновил, приделал к ним верх, и дрожки получили название коляски, к которому владелец прибавлял эпитет «железная».

Когда железная коляска была совсем готова, Алексей Алексеич долго любовался ею и наконец объявил, что он всё продаст, а с «железной» не расстанется. На ту пору пригласил их соседний помещик, праздновавший именины. Алексей Алексеич не любил ездить в гости, особенно потому, что не всегда мог брать с собой Ивана Софроныча; но тут он не выдержал: приказал закладывать «железную», собрался очень скоро и поехал.

Через полчаса печальное зрелище представилось глазам Ивана Софроныча, бродившего по двору со связкой огромных ключей.

Три мужика и лакей несли на носилках Алексея Алексеича, а за ними тащилась, перегнувшись на один бок,

«железная», в самом жалком положении. Как описать ужас Ивана Софроныча, когда он увидал своего друга и благодетеля, бледного как полотно, с признаками глубокого страдания в лице, с закрытыми глазами.

— Вот тебе и «железная»! — мог только сказать Алексей Алексеич, открыв на минуту глаза, и лишился чувств.

Оказалось, что «железная» далеко не была так прочна, как предполагалось. В версте от Овинищ была река, через которую пролегал мост, не слишком прочный и не слишком хорошо устроенный. Едва лошади спустились с оврага и начали подниматься в гору, не чуждую рытвин, причем кучер подстегнул их, чтоб дружней вывезли, как «железная», высоко припрыгнув на рытвине, вдруг с быстротою молнии осела на один бок и кузов потащился почти по земле: лопнула рессора! Алексей Алексеич выпал и ударился об какой-то суковатый пень, торчавший среди иглистой пакли и всяких сучьев, которыми была загачена узкая речонка. Ушиб пришелся как раз по левому бедру Алексея Алексеича, где у него уже двадцать лет сидела пуля, и Алексей Алексеич мучительно простонал.

Иван Софроныч всю ночь не смыкал глаз у постели своего благодетеля, с которым сделался жар, к утру усилившийся до бреда. Часу в двенадцатом прибыл доктор, привез микстуру, осмотрел больного. Старая рана раскрылась и мучительно болела. Усилиями доктора и неусыпными попечениями Ивана Софроныча воспаление было остановлено, больной пришел в память, но чувствовал чрезвычайную слабость; ждали — слабость не проходила, рана не закрывалась. Алексей Алексеич видимо клонился к разрушению. Он был уже в таких летах, в которых трудно переживается сильное органическое потрясение, и сам чувствовал, что конец его близится.

Не то с Иваном Софронычем: он думал положительно, что благодетель его поправится, находил, что ему с каждым днем лучше, тогда как в самом деле становилось всё хуже, и уверял больного в скором выздоровлении; да и не могло быть иначе: потерять Алексея Алексеича, остаться одному на том пути, который они проходили столько лет вместе, казалось Ивану Софронычу невероятным; живя столько же для своего благодетеля, сколько для себя, и еще более для него, он не мог отделить мысли о себе от мысли об Алексее Алексеиче, и для него смерть Алексея Алексеича значила и сво<ю> собствен-

н<ую> смерть. Даже прежде, как случалось ему попадать на мысль о смерти, он не думал, не говорил: умру, а обыкновенно: умрем, что и значило, «когда бог по душу пошлет, мы с Алексеем Алексеичем скажем: умирать так умирать, покаемся в прегрешениях да и ляжем в могилу». Эта мысль утвердилась в нем еще и потому, что на ближнем кладбище у них давно уже отмечено было местечко, как раз для двоих. Когда ему случалось думать о дочери, он тоже обыкновенно говаривал в раздумье: «Хорошо тебе теперь жить, Настенька, а вот что будет, как *мы* умрем»,— и никогда с другой стороны не брал он вопроса о смерти. Оттого Иван Софроныч был даже довольно спокоен, и только страдания благодетеля сокрушали его.

— Плохо! — говаривал Алексей Алексеич.— Плохо, Софроныч! Уходила, ох! уходила «железная»!

— Ну, где же плохо! — возражал Иван Софроныч.— Вчера скушали только три ложечки бульону, а сегодня семь.

(Добрый Иван Софроныч не подозревал, что больной ел через силу, зная, что возвращение аппетита почиталось Иваном Софронычем несомненным признаком выздоровления.)

— Да, да, и цвет лица лучше. Одно — ходить не можете,— дело понятное; коли нога болит, так известно, с больной ногой далеко не уйдешь...

— Да и сидеть тоже трудно, так все косточки ломит,— так повернуть — больно, и так — больно...

— Трудно сидеть? Да оттого трудно, что кресло нехорошо. А вот постойте: сделаем мы такое кресло, что как раз будет вам словно в люльке.

И целые две недели Иван Софроныч придумывал кресло, в котором ноге больного было бы покойно. Старая страсть пробудилась в больном, и он тоже принял участие в сочинении кресла, давая советы, делая замечания. Но когда наконец кресло было готово, он так ослаб, перемещаясь в него, что целый день не открывал глаз и не мог сказать слова.

Печально и медленно шло время. Любимым занятием больного было рассматривать свои многочисленные покупки, с которыми соединялись воспоминания о лучших минутах последних лет его жизни. В хорошую погоду кресло с чрезвычайной осторожностию вывозилось во двор, для чего придуманы были Иваном Софронычем осо-

бые подмостки, приставлявшиеся к крыльцу; выносились вещи по требованию Алексея Алексеича; вывозились экипажи. Припоминалась история каждой покупки, и как торговали, и сколько дали, и что случилось при покупке; забавная история с часовой вывеской, по поводу которой подрался купец с приказчиком, была повторена несколько раз, и всегда с новым удовольствием; свешены были триста аршин проволоки, подверженной, по известному случаю, полуде, и разочтено, что в ней одного железа на шесть рублей. Подвергнута была новому осмотру табакерка подозрительного вида, предварительно потихоньку вычищенная Иваном Софронычем, и единогласно решено, что она настоящая серебряная.

— И где у него глаза были, когда он продавал! — говорил Алексей Алексеич с довольной улыбкой.— Подумаешь, у слепого купили!

— У слепого не у слепого,— с гордостью отвечал Иван Софроныч.— А как, бывало, туману пустим в глаза, так тут не рад, да отдашь!

— А может, краденая,— заметил флегматически кучер Вавило, держа перед господином скат луженой проволоки, который блестел на солнце точь-в-точь как осматриваемая табакерка.

Но деятельная натура Алексея Алексеича требовала разнообразия. Пересматривать старые вещи ему надоело; иногда он говаривал:

— Скучно хворать! ничего нет новенького... Знаешь, Иван Софроныч, хоть бы ты съездил в город, купил что-нибудь, теперь время такое: может попасть даром хорошая вещь. И так уж сколько не были в городе: много, я думаю, прозевали хорошего!

Иван Софроныч ехал, возвращался с чрезвычайной скоростию и привозил целый короб разнородных покупок.

Несмотря на всевозможные развлечения, мысль о смерти всё чаще и чаще посещала больного. Наконец он решительно объявил Ивану Софронычу, что не доживет до будущей весны, что пора подумать о том, как придется жить Ивану Софронычу.

— Да не умрете же вы, Алексей Алексеич! — с досадой возразил Иван Софроныч.— Скучно вас слушать. А еще солдатом изволили быть.

— Да ведь и солдат не вечен, Иван Софроныч. Мне уже шестьдесят три года... да и нога, нога! (Он морщил-

ся.) Ну, Иван Софроныч, ну, голубчик, положим, жить я буду, а если... ну, поговорим, потешь старика, поговорим; болен, привередлив стал... что ты станешь с ним делать? хочет вот говорить о своей смерти, да и кончено! Надо уступить... Ну, уступи, уступи!

И в голосе больного столько было нежности и просьбы, что Иван Софроныч готов был разрыдаться. Подавив слезы, он сказал:

— Ну, поговорим, коли вашему высокоблагородию угодно...

— Если я умру...

— Да коли вы умрете, так и я не жилец! —возразил Иван Софроныч.— Значит, и разговору конец: сказка вся — и сказывать нельзя. А теперь осмелюсь доложить вашему высокоблагородию: у коренной саврасой подсед сделался... Что прикажете?..

— Уксусу, Иван Софроныч, уксусу с пенником... А ты вот говори: я умру; ну что ж? все умирают. Иван Софроныч, мне не двадцать лет, пожил, да и жить не хочется, умру.

— И я умру — вот сказка и...

— А дочь, Иван Софроныч? у тебя дочь есть, для дочери надо жить,— прервал Алексей Алексеич.— И... для Вани! — прибавил он тихо.— А ты вот отопри конторку: вынь ящик да и подай сюда.

Он дал ему ключ. Иван Софроныч исполнил его желание.

— Вот,— сказал торжественно Алексей Алексеич, доставая небольшой сверток бумаг.— Вот они! Двадцать лет хранил; теперь сам не могу хранить, так передаю Понизовкину и знаю, что в надежные руки передаю,— надежнее моих: я, грешен, не раз блажная мысль приходила в голову... да, спасибо, был около человек, золотой человек, великая душа, а имя тому человеку Понизовкин; так и скажу Александру Фомичу, если господь бог удостоит грешную душу царствия небесного, где он теперь, праведник, обитает. Нагнись, Софроныч... в его руках он был,— прибавил старик, приподнимая пакет,— его память святую чествуем...

Понизовкин, не говоря ни слова и сурово глядя в сторону, стал на колени перед Алексеем Алексеичем; больной благоговейно поцеловал пакет и отдал его Ивану Софронычу.

— Чем заслужил я такую доверенность вашего высокоблагородия? — с чувством сказал Понизовкин, почтительно принимая пакет.— Коли жив буду, коли уж придет беда такая, что переживу отца и благодетеля своего, исполню...

— Не клянись, Софроныч. Я знаю тебя! Ты его не забудешь... ты не обидишь его... А ты как останешься, Понизовкин? — продолжал больной.— Поедешь, разумеется, в Петербург. Поезжай! Я, грешный человек, обленился под старость, засиделся в Овинищах... Побывай я там еще раз-другой, может, всё бы давно благополучно кончилось... Ну а ты не в меня: ты чужую заботу пуще своей ценишь... Да как ты поедешь? да чем поедешь? да как жить будешь? Эх, Софроныч! много я покуролесил да бросил даром денег. И пришлось теперь, что не с чем кровного своего в дальнюю дорогу отпустить.

— Ваше высокоблагородие! много изволили со мной пожить, а не изволите знать солдата Понизовкина. Понизовкин во веки веков солдатской чести своей не продаст. И так ноет и болит душа, что не умел и не могу отслужить щедрых милостей ваших, да и принимал их не по корысти, а господу богу угодно было так, что либо жить Понизовкину с вашим высокоблагородием, либо...

— Не говори, Софроныч... не ты, я твой должник... Не живи ты со мной... Сам знаешь, человек я хворый, раненый, одинокий...

—Нет, ваше высокоблагородие, вы меня и не обижайте — ничего не возьму! и так много доволен... кто дал пристанище Понизовкину? кто кормил его? кто, словно брата родного, уважал и чествовал его?..

— Ну, Понизовкин, полно! Господь разберет, кто из нас у кого в долгу,— сказал Алексей Алексеич торжественным голосом.

Оба они старались подавить слезы, блиставшие в их глазах, и несколько минут молчали.

— А я так думаю,— сказал больной,— что нечего нам с тобой считаться. Пожили — и конец! Ведь пожили, Софроныч?

— Пожили, ваше высокоблагородие, пожили... дай бог всякому так пожить! да и поживем еще,— отвечал Понизовкин.— Не знаю только, что вам пришло в голову...

— А и в самом деле! — сказал с неожиданной веселостью Алексей Алексеич.— И сам не придумаю, с чего

мне пришли в голову такие черные мысли? бог даст и поживем еще. Знаешь, Софроныч, какая до тебя просьба?

— Извольте приказать, ваше высокоблагородие.

— Поезжай ты в город и купи там тарантас... новый, а лучше подержанный, только немного... мы его здесь обделаем... да такой, чтобы, знаешь, если зимой придется ехать, так чтоб полозья можно было пригнать...

— Осмелюсь спросить, что изволили придумать?

— А может, надумаю ехать в Петербург либо в Москву полечиться... всё лучше, как будет готов...

Через день в Овинищи привезли тарантас, подержанный, но удобный и поместительный. Больной приказал подвезти себя к нему, осмотрел каждый винтик, просил Ивана Софроныча сесть и покачаться. Затем пошли переделки и поправки. Алексей Алексеич оживился; тарантас, по-видимому, сильно занимал его: он чрезвычайно хлопотал о красоте, поместительности и — главное — о прочности его. Когда всё было готово, он приказал запрячь в него тройку и нарочно ехать по самой дурной дороге, чтоб увериться, выдержит ли дрога, оси, колеса. Проба повторялась несколько дней. Кучер Вавило каждый раз докладывал, что «прочнее тарантаса свет не производил».

— А лошади смирно идут? — спросил Алексей Алексеич.

— Смирно, только коренная, лысая, немного пошаливает.

— А что?

— Да задом раза два ударила.

— Ай-ай! не годится! попробуй в корень чубарую, а лысую с левой руки.

Попробовали: оказалось, что чубарая отлично идет в корню, а лысая не бьет с левой руки. Но Алексей Алексеич не успокоился, пока не уверился собственными глазами, приказав кучеру ездить мимо своего дома и наблюдая.

— А не мало ли карманов у тарантаса? — спросил он.— Ведь в дороге чем укладистее, тем лучше.

Сочли. Алексей Алексеич нашел, что карманов мало. И тотчас под его личным надзором нашито было еще множество кожаных карманов, баульчиков, кобур, и всё пригнали к тарантасу.

— Ну, теперь хоть на тысячу верст! — весело говорил Алексей Алексеич, когда наконец тарантас совершенно покончили.— Игрушка, просто игрушка!

«Хорошо-то хорошо, да кто поедет на нем? — думал про себя кучер Вавило.— Вишь, у барина щеки словно гороховая скорлупа вылущенная!»

— А что, Иван Софроныч, я давно не видал моего вицмундира,— сказал однажды Алексей Алексеич.— Вели-ка его принести... кажется, еще хорош? А всё осмотреть да почистить не мешает. Да и портного вели позвать.

— А надень-ка, Иван Софроныч,— сказал Алексей Алексеич, осмотрев вицмундир.— На человеке виднее.

Иван Софроныч надел.

— Широк,— сказал Алексей Алексеич.

— На меня широк, да ваше высокоблагородие пополнее...

— Был,— прервал его Алексей Алексеич,— а теперь как раз по твоей мерке надо переделать.

— Помилуйте! — возразил Иван Софроныч.— Да неужто уж ваше высокоблагородие так и остаться думаете? Вот начните только ходить, увидите, как раздобреете!

Но больной требовал, чтоб вицмундир был непременно переделан по мерке Ивана Софроныча. И каждый день требовал он какую-нибудь вещь: то шапку зимнюю, а потом летнюю, то сапоги меховые, осматривал всё и приказывал чинить. Сам же, когда боль несколько утихала, принимался писать. Но рука его не могла держать перо долее пяти минут, и последнее его письмо дорого ему стоило.

— А вот-с мундир не прикажете ли подать? — сказал ему однажды портной.— Вы его давно не изволили надевать: может, тоже понадобится переделать.

Алексей Алексеич печально улыбнулся.

— Мундир? — сказал он.— Мундир оставить так; не стоит с ним возиться... время терять. Мундиру немного носки придется, да и носка нетрудная... лежал и будет лежать... да и не беда, широк ли, узенек ли будет,— все равно! — тихо промолвил больной и задумался.

— А что шуба медвежья? — спросил он через несколько минут.— Лежит?

— Лежит.

— Полно ей лежать. Переделать ее, перекроить... По Ивану Софронычу: мне тяжело будет примеривать.

Переделали и шубу.

Прошло несколько дней. Алексей Алексеич так ослаб, что уже не мог сидеть в кресле; его переложили на кровать. Жизнь видимо гасла в старике. Доктор, приезжавший почти ежедневно, объявил, что ему недолго жить.

«Шутишь, брат!» — подумал Иван Софроныч; но сердце в нем мучительно дрогнуло. Он начинал верить очевидному несчастию.

Вечером Иван Софроныч сидел у постели больного; больной находился в забытьи и только по временам стонал.

— Иван Софроныч! — прошептал он вдруг.

— Что угодно вашему высокоблагородию?

— Дай руку.

Иван Софроныч подал.

— Что тебе, нехорошо?

— Нет, ничего, Алексей Алексеич,— бодро отвечал Понизовкин.— Полагаю, вот вашему высокоблагородию так не совсем хорошо; да бог милостив...

— Нет, знаю: тебе хуже моего, хуже. Не горюй! не жалей меня... Ты веришь в бога, Софроныч?

— Верю во единого бога-отца...

— Ну так верь богу: мне легко умирать. Прощай, товарищ... верный товарищ... старый сослуживец... честный солдат...

Больной говорил с большими паузами.

— Прощай, брат! — прибавил он, судорожно пожав руку Понизовкина.

Софроныч упал на колени перед кроватью и оставался с наклоненным лицом; слезы текли градом по его бледному лицу, которого напряженная суровость показывала страшное усилие сдержать их.

Несколько минут длилось молчание.

— А помнишь Данциг? — тихо сказал больной.

— Помню,— еще тише отвечал Иван Софроныч.— Ваше высокоблагородие там взяли знамя...

— Да, я взял его, я!..— с неожиданной живостью гордо прошептал больной.— Пуль двадцать разом около головы свистнуло, только одна задела... Не трус был я?

Иван Софроныч не расслышал.

— Славное было дело... А Фомича помнишь?

— Помню,— прошептал Понизовкин.

— Ну... не забудешь и Ваню...

Наступило молчание.

— Софроныч!

— Здесь.

— Пожили? — тихо прошептал больной.

— Пожили, ваше высокоблагородие!

И опять наступило молчание.

— А плох же я стал! — сказал вдруг больной с большим усилием.— Память пропала: писал, писал и чуть не забыл, Софроныч!

— Что прикажете?

— Под голову положил я записку: возьми! в ней вся моя воля, а форменное завещание, как следует, в Приказе. Смотри, всё сделай, как написано. Взял?

— Взял.

— Покажи.

Иван Софроныч поднес к глазам больного исписанный листок.

— Она. Положи в карман.

Иван Софроныч положил.

— Не потеряй... исполни... да не взыщи: куда как нацарапано; да ты разберешь: привык.

Больной погрузился в забытье; мысли его путались; по временам он произносил слова, которые не вязались между собою. Так прошел час.

— Софроныч! — прошептал больной.

— Я.

— Нагнись... ближе! Прощай, поцелуй старого солдата.

Они поцеловались.

— Дай руку. Пожили? — прошептал с усилием больной.

— Пожили! — отвечал Иван Софроныч, сдерживая слезы.— Пожили, ваше высокоблагородие!

— Ну, надо и умирать.

Больной забылся и лежал тихо и неподвижно.

Через полчаса он снова пришел в память, но уже почти не мог говорить. Софроныч едва расслышал его шепот:

— Настя... дочь твоя... не видал... люблю...

Софроныч понял, что умирающий желает видеть Настю, и побежал за нею.

Флигель, в котором помещался Иван Софроныч с семейством, отстоял от барского дома в полуверсте, потому что строился он собственно с другим назначением: предполагалось когда-то устроить тут нечто вроде харчевни или постоялого двора, где проезжающие обозы могли бы иметь ночлег, сено, овес и пищу. От этого и

форму имел он странную: был узок с большой дороги, но уходил на значительное расстояние в поле, расстилавшееся за ним; придумано было даже для него особенное название, которое и до сей поры красовалось на прибитой к нему вывеске собственного изделия Алексея Алексеича; по голубому полю, выгоревшему теперь от солнца, крупными буквами было написано: «Остановись и Подкрепись» — название, под которым и известен был флигель во всем околотке.

Иван Софроныч вышел на крыльцо, обогнул домашние службы и быстро пошел по узенькой тропинке, протоптанной к флигелю его собственными ногами в течение многих лет, параллельно с большою дорогою. Ночь была тихая; глубокое темно-голубое небо, усеянное множеством звезд, висело над землей как будто выше обыкновенного. Из саду, с полей неслись неугомонные крики кузнечиков, звонко раздававшиеся в чистом, ароматном воздухе.

Смутно было в душе и в мыслях Ивана Софроныча; неясно сознавал он происходившее с ним; только последние впечатления были в нем живы: он помнил, что благодетель его пожелал видеть Настю, и бежал во всю стариковскую прыть, чтоб скорее исполнить его желание.

Скоро достиг он флигеля, откуда тускло светился огонек, но не остановился и не думал о подкреплении, а опрометью вбежал в дверь.

Отворив ее, Иван Софроныч поражен был совершенно неожиданным зрелищем: жилище его приведено было в такой странный беспорядок, как будто по соседству происходил пожар, вынуждавший соседей немедленно собрать в кучу всё свое имущество, чтоб вытащить его в безопасное место при первом приближении пламени к дому.

При внимательнейшем рассмотрении, впрочем, в самом этом беспорядке замечался некоторый порядок. В одной груде свалено было белье; в другой — подсвечники, самовары, посуда, сапожные щетки; в третьей Иван Софроныч узнал принадлежности собственного одеяния, собранные с такою тщательностию, как будто собиравший имел намерение без слов упрекнуть его в расточительности; в четвертой, с большим порядком и тщательностию сложено было женское платье, и тут же, на доске для глаженья, стояло до десяти картонных болванов, которые при тусклом свете нагоревшей свечи казались ше-

ренгой окаменелых карликов с глупыми и удивленными глазами. На них-то прежде всего упал взгляд Ивана Софроныча; он вздрогнул и потерянным, недоумевающим взглядом окидывал комнату в течение минуты.

— Что остолбенел? — заговорила Федосья Васильевна, укладывая в раскрытый сундук чепцы и кофточки, которые своею чистотою выказывали еще резче недостатки ее туалета: весь он состоял из одной истасканной кацавейки и папильоток, в которые собраны были все ее жидкие, короткие волосы, отчего голова ее походила на куст репейника.— Небось удивился? — продолжала она.— Укладываюсь, батюшка, укладываюсь! Ведь... благодетель-то твой не сегодня завтра ноги протянет: приедут наследники... думаешь, так и позволят тебе тут проживать! Выгонят, батюшка, выгонят! Я давно говорила, что толку не будет. Уж и так жили, да только время теряли. Что ж? теперь дожидаться, чтоб еще выгнали? Нет уж, лучше самим убраться поскорей от сраму!

Нельзя сказать, какое впечатление произвела эта речь на Ивана Софроныча: он ничего не сказал, даже не махнул рукой, как обыкновенно делывал, когда супруга его пускалась в длинные разглагольствия. Молча подошел он к дочери, занятой также укладкой чепцов и кофточек, взял ее за руку и сказал:

— Пойдем!

Это слово было сказано таким голосом, что Федосья Васильевна невольно подняла голову и посмотрела на Ивана Софроныча.

— Господи! какое у него лицо! — воскликнула она.— Что это ты, батюшка, никак совсем рехнулся! Сам пропадаешь бог знает где да еще и ее тащишь от матери!

— Пойдем! — повторил Иван Софроныч тем же голосом и пошел с Настей к двери.

Настя молча повиновалась, испуганная его странным голосом и лицом.

— Постой! скажи хоть куда? Что, она мне не дочь, что ли? Вот до чего дожила: даже и в родной дочери власти не имею... Настя!

Но Настя была уже за порогом, увлеченная Иваном Софронычем, который повторял ей:

— Скорее, скорее!

— Сумасшедшие! — воскликнула Федосья Васильевна, выбегая за ними.— Да куда же вы? к нему, что ли?

Так хоть платье другое надела бы да волосы причесала. Настя! Настя!

Сердитый голос Федосьи Васильевны звонко раздавался в чистом вечернем воздухе; но еще звонче раздавались в ответ ему шаги отца и дочери, которые, взявшись за руки, быстро бежали к дому.

Луна освещала бегущих по тропинке и падала искоса на изумленное лицо Федосьи Васильевны, стоящей на крылечке своего флигеля.

— Сумасшедшие! — повторила Федосья Васильевна, глядя за бегущими.— И старик-то мой — что это с ним сделалось? Бежит, словно мальчишка какой. Откуда прыть берется!

— Да вы так устанете, батюшка,— сказала Настя, едва поспевая за Иваном Софронычем.— Что случилось?

— Узнаешь, узнаешь! — отвечал Иван Софроныч.— Только ты будь умница. Не обеспокой чем его высокоблагородия!

Добежав до крыльца, Иван Софроныч остановился, перевел дух и опять подтвердил Насте, чтоб она не обеспокоила чем-нибудь больного.

Они вошли в дом, и первое, что поразило Ивана Софроныча, было довольно сильное храпенье, раздававшееся в комнате, смежной со спальней больного.

Иван Софроныч быстро, но осторожно подкрался к спящему, тихонько разбудил его и сказал плачущим голосом:

— Бога ты не боишься, Савелий: барин так болен, а ты не только что заснул, да еще беспокоишь его — храпишь, словно год не сыпал.

— Виноват,— четвертую ночь глаз не смыкал! и самому невдомек, как вдруг склонило; я и не думал, что сплю! — отвечал Савелий, любимый камердинер Алексея Алексеича.

Затем Иван Софроныч, ведя за собой Настю, осторожно вошел в комнату больного. В ней царствовала глубокая тишина.

Иван Софроныч остановился, Настя тоже; Иван Софроныч пристально смотрел в лицо больного, тускло освещеное нагорелой свечой, готовый при малейшем его движении подойти и доложить, что он исполнил его приказание.

Прошло, однако же, несколько минут, а больной не подавал голоса, даже не шевелился.

— Надо подождать,— шепнул Иван Софроныч дочери,— когда сам очнется да спросит. Он и всё со мной сам заговаривал.

И они ждали с полчаса.

— Что ж он не говорит? — тихо спросила Настя.

— Ну, не говорит! известно: слаб,— забылся, так и не говорит; может, к лучшему,— сурово отвечал Иван Софроныч.

Прошло еще полчаса. При каждом движении Насти Иван Софроныч тихо произносил «тсс!..», и Настя не смела пошевелиться. Но, держась всё в одном положении, она страшно устала.

— Да он даже не шевелится, батюшка! — тихо заметила она.

— Ах дура ты, дура! — с досадой сказал Иван Софроныч.— Да кабы ты видела, как болел его высокоблагородие. Ведь ему, голубчику, и пошевельнуться в труд...

И он замолчал, сделав снова дочери знак, чтоб она не говорила и не шевелилась.

Сам же он с той самой минуты, как она пришла, стоял всё в одном положении — неподвижно. Правая нога его стояла на полу, левая, несколько выдвинутая вперед,— на ковре, лежавшем у постели; он был в подержанном вицмундире своего полка, без эполет, застегнутом наглухо; бледное лицо его, вставленное в рамку седых всклокоченных бакенбард, выражало чуткое, сосредоточенное внимание; глаза были постоянно устремлены на больного. Настя стояла подле него, несколько сзади, и тоже внимательно и грустно смотрела на больного.

Прошло еще несколько времени тихого ожидания. Из соседней комнаты снова послышалось громкое храпенье Савелья. В лице Ивана Софроныча мелькнуло выражение досады и упрека. Он, однако ж, не пошевелился.

— Слышите, как храпит Савелий,— тихо сказала Настя.

— Тс!.. слышу! Эх, Савелий, Савелий! не ожидал я от него этого! — прошептал Иван Софроныч.

И опять оба они хранили глубокое молчание, которое можно было сравнить только с спокойствием и неподвижностью больного, лежавшего всё в том же положении.

Настя с трепетом прислушивалась к жужжанью мухи, которая билась об стекло с какой-то безумной суетливостью; смотрела на свечу и на черное пятно, окруженное

светом, отражавшимся на низком потолке, и поминутно мелькавшее. Тоскливость овладевала ею более и более.

— Долго ли мы будем так ждать? — спросила она, чувствуя смертельную ломоту во всем теле.

— А вот когда очнутся его высокоблагородие да спросят,— отвечал Иван Софроныч,— тогда и перестанем.

— Да спросят ли они? — простодушно возразила Настя.

Смущение, гнев, ужас выразились в лице Ивана Софроныча. Он с таким негодованием посмотрел на свою дочь, что Настя вся задрожала и, будто уличенная в преступлении, пугливо прошептала:

— Папенька! я так только сказала.

— Так! — возразил Иван Софроныч с каким-то судорожным беспокойством.— И так не надо говорить пустяков. И кто тебя просит говорить! — продолжал он с гневом.— Молода еще, глупа еще, чтоб соваться не в свое дело...

— Тише, папенька! он, кажется, шевелится,— сказала Настя, которой в самом деле показалось, что больной пошевелился.

— Шевелится! Ну, видишь — пошевелился! — с живостью подхватил Иван Софроныч, и глаза его впились в больного.

Больной, однако ж, лежал по-прежнему неподвижно, и как ни всматривался Иван Софроныч в лицо и во всю фигуру его, не мог открыть признака движения.

— Ты точно слышала, как он пошевелился? — спросил Иван Софроныч Настю.

— Кажется,— отвечала Настя.

Иван Софроныч рассердился.

— Дура! — прошептал он.— Ведь слышала, что пошевелился? слышала?..

Он ждал ответа. Настя кивнула головой.

— Так чего ж тут: кажется! нечего и говорить: кажется!

Он стал снова всматриваться в больного, и новое, сейчас только сделанное открытие поразило его: как он ни прислушивался, он не мог услышать дыхания больного. Это открытие вызвало на лице Ивана Софроныча выражение минутного ужаса, которое потом сменилось выражением досады, вероятно относившейся к Савелию, которого храпенье постепенно усиливалось.

— Слышишь, как он дышит? — спросил Иван Софроныч дочь свою.

— Слышу,— отвечала запуганная Настя.

Иван Софроныч вздохнул свободнее.

Между тем другие мысли теснились в голове девушки, которая вся трепетала, проникнутая смутным ужасом. Полумрак комнаты, неподвижное, бледное лицо больного, глубокая тишина, нарушаемая только досадным храпеньем Савелья,— всё пугало ее и настраивало к унылым мыслям. Всматриваясь в лицо больного, она постепенно поражалась более и более его неподвижностью, безжизненной бледностью и тем строгим, пугающим выражением, которое сообщается лицу смертью. Чем более она всматривалась в лицо больного, тем более находила она в нем сходство с холодным, суровым, неподвижным лицом своей бабушки — единственного существа, которого смерть случилось ей видеть. И чем более думала она о своей бабушке, припоминая ее лежащую в гробу и потом отпеваемую в церкви, тем страшнее и страшнее становилось ей и тем неотвязнее преследовала ее мысль, что Алексей Алексеич также уж умер и даже холоден, как и бабушка. И воображению Насти он уже представлялся в тех самых положениях, в каких она видела свою покойную бабушку в последние дни, до той минуты, как положили ее в могилу и стали засыпать землей. Настя дрожала, и когда наконец страшная мысль совершенно овладела ребенком, она не могла долее противиться ужасу и, невольно оборотившись к отцу без прежней осторожности, громко произнесла:

— Папенька! да ведь он умер.

Невозможно описать ощущения, отразившегося в лице Ивана Софроныча при восклицании дочери, ни того судорожного негодования, с которым он обернулся к Насте. Казалось, он готов был ударить ее, и только страх нарушить покой благодетеля остановил его руку.

— Молчать! — прошептал он голосом, полным подавляющего негодования.— Да ты что, доктор, что ли? У матери выучилась вздор молоть. Молода еще, глупа еще! Вот нашлась умница! стариков учить вздумала! и что ты понимаешь? и кто тебе сказал? и где ты могла выучиться?

— Я видела мертвую бабушку. Она была точно...

— Бабушка! шутка ли, велика птица твоя бабушка! Тс!..

Слова дочери проникли в сердце Ивана Софроныча, как ни мало он, казалось, верил им. Ужас сделался постоянным выражением его лица, и в глазах его, устремленных на Алексея Алексеича, отражалось глубокое недоумение,— страшный вопрос, разрешения которого боялся сам Иван Софроныч.

Он и дочь, бледная и трепещущая, стояли в прежнем положении, храня глубокое молчание, когда в соседней комнате послышались тихие шаги. По шарканью башмаков можно было догадаться, что они принадлежали женщине. Тихо обернувшись к двери, Иван Софроныч увидел свою жену.

Соскучась по муже и дочери и удивленная долгим их отсутствием, она вздумала сама проведать, что они делают, и явилась, приодевшись предварительно и убрав свою голову. К чести ее должно заметить, что она никогда не показывалась в люди, как сидела дома, но всегда принарядившись, даже с излишней щепетильностью.

— Тсс!..— сказал ей Иван Софроныч, положив палец на губы.

Она тихо подошла к нему и спросила:

— Что у вас тут такое? спит, что ли?

— Тс!.. спит! — отвечал Иван Софроныч.— Его высокоблагородие всё были в жару, а вот успокоились. Теперь, я думаю, скоро очнутся. Надо подождать.

Федосья Васильевна присоединилась к ним и стала всматриваться в больного.

— Софроныч! — сказала она.— Да ты никак с ума сошел? Ведь он просто умер... уж, чай, и похолодел!

Иван Софроныч помертвел.

— И ты туда же? — грозно прошептал он.— Эх, язык, бабий язык! — Он силился улыбнуться, а между тем холодный пот выступил у него на лбу.— Недаром говорится: волос долог, да ум короток... Ха-ха! И кто тебя просил сюда!

Пока он говорил, Федосья Васильевна продолжала всматриваться в больного, наконец подошла к нему, пощупала рукой и воскликнула:

— Ну так и есть: холоднехонек! Ах ты, батюшка, благодетель наш!

И она зарыдала.

— Прочь! не беспокоить его высокоблагородие! — страшным голосом закричал Иван Софроныч, бросаясь к постели, чтоб оттащить жену.

— Батюшка! — закричала Настя, бросаясь тоже к постели.— Умер! умер!

Федосья Васильевна, поймав руку мужа, приложила ее к лицу покойника: оно было холодно как лед.

Иван Софроныч мучительно вскрикнул.

В комнате настала прежняя тишина.

Не вдруг, однако ж, поверил Иван Софроныч страшной истине: очнувшись через минуту, он стал всматриваться в покойника, ощупывал его, прислушивался к дыханию,— принес зеркало, приложил его ко рту больного — дыхания не было.

Когда наконец не было сомнения в ужасной истине, Иван Софроныч разразился таким воплем, такими рыданиями, что невольно вздрогнули все присутствующие. Долго рыдал Иван Софроныч над своим другом, благодетелем, командиром и однокашником (так называл он покойника, целуя и обливая слезами его холодное лицо). Наконец он очнулся, привстал с постели, и первый предмет, попавшийся ему в глаза, была Настя: потрясенная страшным событием и рыданиями отца, Настя, бледная и дрожащая, стояла на коленях перед образом, где тускло теплилась лампада, и молилась, клала земные поклоны, горько рыдая.

— Молись,— сказал Иван Софроныч,— молись, сиротка! умер такой человек, какого и не будет, сколько ни простоит свет. Царство небесное праведнику!

И сам он упал на колени подле дочери и стал молиться, горькими рыданиями сопровождая земные поклоны.

Все присутствующие тоже молились рыдая.

Даже Федосья Васильевна прослезилась непритворными слезами. Притворные — было у ней дело обыкновенное.

Глава XXXII

ЗАВЕЩАНИЕ

История молодости Ивана Софроныча относится к давнопрошедшему времени.

«Родился я в селе ***, С — <й> губернии, того же уезда. До осьмнадцати лет жил в отцовском доме, пахал землю, помогал отцу в работах. По девятнадцатому году взяли меня в барский двор: парень был я видный и к тому ж грамотный, меня хотели приставить камердинером к

старому барину, пообтесавши да пообразовавши. Ну и приставили. Да не прошло полугода, как со стариком приключился паралич,— умер и всех нас, дворовых, по завещанию, пустил на волю, да еще — царство ему небесное! — с награждением. Дали мне, парню молодому, триста рублей денег да всю одежду мою и пустили на все четыре стороны. Дело было глупое, неопытное; я и позамотайся, праздность полюбил, бражничать стал, хмелем зашибаться.

Хмель до добра не доводит: однажды, под веселую руку, я сошелся с волостным головой — и, слово за слово, продался в солдаты за волость. Брало меня потом раздумье, да голова не давал мне никогда одуматься: пей сколько душе угодно; пиво, мед, водка с утра до вечера! Я жил в селе словно гость,— красная рубаха, синий армяк, шляпа поярковая; к кому из мужиков не придешь, всякий рад, как родному, особливо, понимаете, у которых сыновья молодые дюжие парни. На руках носить рады! Девки тож знатные: не то чтобы в сарафанах да босиком,— нет! село богатейшее, городу не уступит; по праздникам все разоденутся по-немецки, платья ситцевые, с перехватцем, понимаете, оно и красиво, и смотреть хорошо. Просто словно не деревенские. Бывал я в Питере, и сами изволили бывать, в рассуждении вечера на Невском проспекте — ничего подобного! А как станут в круг да как запоют — что твоя малина: так по сердцу огонь и заходит... И все ко мне так и ластятся: „Иван Софроныч! без тебя нам и песни-то не поются; стань, кавалер, побалагурь, спой с нами!“ Да возьмут меня, да одна к себе, другая к себе, клянусь честью! Заложим, бывало, саней пар десять, с колокольчиками, с бубенчиками,— едем, песни поем!.. Веселое было житье, да прошло — наступили слезовые времена: голова съездил в город да и привез недобрую весточку — прием начался... Словно обухом в голову треснуло: ни веселье-то на разум нейдет, ни вино-то не пьется, даже на красавиц взглянуть не хочется... Заплакал я да и проревел целый день; мужики было меня поить: «Полно, батюшка Иван Софроныч, такой-сякой! что те приключилося?“ Куда! я с руками и ногами: „Не хочу вина! не надо вина — погубило оно буйную голову!“ Да и опять в слезы: крепко не захотелось из такого житья да на службу. Пришел голова, я бух ему в ноги: „Батюшка, отец родной; не надо мне твоей тысячи; пять лет тебе сам прослужу; только откупи“.— „Полно, Иван Софроныч, что на тебя при-

шло? Уж и бумаги ведь ты подписал, и начальство про тебя знает: дело вкруте,— где нам за тебя некрута другого найти? не глумися!“ Так говорил голова, а меня так злость и брала... Смолчал я, выпил вина, прикинулся, будто и ничего, а сам и думаю, как бы дождаться вечера. Пришел вечер — легли спать; я слез с печи, схватил топор да и драла из избы. „Была не была! отрублю палец,— думал себе.— Не станут долго думать — крикнут: затылок! — и баста!.. Только как отрубить? больно, чай, будет, страшно...“ Руки чуть шевелятся, словно деревянные, ноги подгибаются; то опущу топор ближе к пальцу, то отдерну опять, а сам так и дрожу, будто сверху льют на меня холодную воду ушатами. Прошло, чай, больше часу, а я всё стоял да маялся: в правой руке топор, левая на полене... Вдруг слышу шум в воротах: видно, дядя Степан домой идет,— как бы не увидал. Я спрятался, а потом вошел в избу, положил на место топор и лег: не спится! В голове так и стучит, сердце бьется. Думал, думал да и надумал. Старуха у нас в околотке жила — колдуньей ее звали; пошел я к ней: „Вот тебе десять рублей, пособи горю!“ Дала порошку какого-то: велела сделать порез на пальце, вот тут, на сгибе, и каждый день посыпать тем порошком. Палец скрючило в три дуги, любо поглядеть: не разгибается! день-два не присыплю — опять здоров, а как присыплю — словно деревянный, а уж как занывает, хоть плачь. Вот и пришел оный день,— явился я в прием; посмотрели, пообсудили да и прокричали: „Затылок!“ Я так обрадовался, что ног под собой не слышу... да, видно, уж господу богу было угодно, чтоб не даром я век свой загубил, чтоб государю да отечеству пользу принес! Его святое соизволение! Обрадовался я, а доктор подошел, так через четверть часа, да и говорит: „Ты, плут, не растравил ли чем рану, признайся: теперь уж всё равно в солдаты не годен, а не скажешь, так рука пропадет. Говори, пока помочь можно, присыпал чем-нибудь?“ — „Виноват, ваше высокоблагородие! — отвечал я спроста.— Был грех: немножко!..“ Доктор как закричит: „Лоб!“ Тут я спохватился, что плохо сделал, да было уже поздно... да оно и лучше вышло, и я теперь тому доктору, словно отцу родному, благодарен. Ну куда бы годился я, кабы не попал в службу,— так бы и зашатался, замаялся! Уж как кончилось всё, так стало гораздо мне веселее. Парень я был не то чтоб совсем погибший, а только блажной, и голова была на плечах — не корчага. Смекал дело. Начал я

помышлять, как бы жить получше, да постепеннее, да внимание начальства приобресть... был я молодец бравый с виду, повел себя трезво, исправно,— так через год и попал в число солдат, выбранных в гвардию. Осьмнадцать лет служил я, сперва рядовым, потом ундером, видел всего — худого и доброго, был в сражениях, ранен не один раз, да, наконец, и сделал такое дело, что, как вспомню, душа радуется, что храбрости, да разуму, да удали хватило. Представили к офицерскому чину да и прикомандировали к вашему высокоблагородию...»

Так рассказывал и пересказывал сам Иван Софроныч свою историю благодетелю и командиру своему, Алексею Алексеичу, когда они подружились и мирно проживали в Овинищах. История остальной жизни Ивана Софроныча тесно связана с жизнью самого Кирсанова.

Главнейшим событием в ней была женитьба.

Иван Софроныч однажды ходил за грибами; в лесу встретил он несколько горничных девушек и неподалеку от них какую-то особу с палевым зонтиком, за которою бежали четыре черные моськи, до такой степени жирные, что, принимая в соображение стоявшие тогда жары, Иван Софроныч тотчас сделал заключение, что которая-нибудь из них непременно сбесится. Особа с черными моськами и палевым зонтиком показалась Ивану Софронычу весьма красивою,— правда, не первой молодости; но ведь и ему самому было уже за сорок! Кроме того, он счел ее весьма важною дамою,— вероятно, потому, что она корзинку свою наполняла мухоморами и другими грибами, негодными к употреблению, и притом с такою охотою, как будто ей за каждого мухомора обещано было по такой же кучке червонцев. Завидев Ивана Софроныча, черные моськи принялись страшно лаять. Особа с палевым зонтиком поспешила на выручку, разогнала их с большим жаром и, кивая головой и зонтиком Ивану Софронычу, несколько раз повторила: «Извините, извините!» Иван Софроныч был тронут такою любезностию и, чтобы чем-нибудь выразить свою признательность, набрал целую горсть мухоморов и поднес их особе с палевым зонтиком, говоря:

— Вот еще, сударыня, если смею помочь...

— Благодарю! — сказала дама, с восторгом принимая грибы в свою огромную корзину.— Я съем их за ваше здоровье!

— Не стоит благодарности! — отвечал Иван Софроныч, несколько удивленный намерением дамы.

Моськи снова с лаем окружили его, и дама с прежнею заботливостью начала удерживать и разгонять их.

— Проклятые собачонки! — сказала она.— Просто невозможно сладить с ними, точно бешеные!

— Бешеные? — повторил Иван Софроныч.— Вы думаете, сударыня, что они бешеные?

— О нет! — отвечала дама.— А вы разве заметили что-нибудь?

Иван Софроныч сознался в своих подозрениях.

— Вы меня пугаете! — сказала дама.

— Помилуйте! — произнес Иван Софроныч и замолчал.

Красноречие его совершенно истощилось; оставалось уйти, но уйти ему не хотелось: дама с палевым зонтиком сильно нравилась Ивану Софронычу. Наконец Иван Софроныч собрался с мыслями и сказал, что знает верное средство лечить бешенство, причем кстати рассказал, как третьего года вылечил бешеного быка, который целую версту преследовал мальчика в красной рубашке...

Но тут дама так вскрикнула, что Иван Софроныч замолчал и снова начал ломать свою голову, досадуя, что не находит в ней материалов к поддержанию разговора. Правда, предмет, которого они коснулись, далеко еще не был исчерпан. Случаи бешенства в то время повторялись в их стороне беспрестанно. Но после первого опыта о бешеном быке, имевшего такие плачевные последствия, Иван Софроныч не решался рассказать ничего подобного. Наконец счастливая мысль озарила его.

Не мастер был Иван Софроныч любезничать с дамами! Как образчик его любезности приводится здесь небольшой анекдот, который он обыкновенно рассказывал в таких случаях.

— А слыхали ли вы, сударыня,— сказал он, когда уже ничего не оставалось более, как уйти или немедленно начать говорить,— слыхали ли вы, сударыня, какое происшествие случилось в Ратневом лесу?

— Нет.

— Четыре крестьянские девки пошли, сударыня, сбирать грибы; вдруг им попадается медведь.

— Медведь!

— Не бойтесь! — поспешно сказал Иван Софроныч.— Случай забавный, но не страшный... Три девицы разбежались, а четвертую медведь как ударит своей лапой.

— Ай! — воскликнула дама и поднесла к носу флакон.

Моськи полаяли, она их усмирила.

— То есть не ударил, а только дотронулся до нее лапой,— продолжал Иван Софроныч, стараясь всячески смягчить свой рассказ.— А она, натурально, перепугалась и упала без чувств. Медведь взял ее и осторожно перенес в свою берлогу.

Дама ужаснулась.

— Не бойтесь, сударыня: право, не будет ничего страшного...

— А! понимаю, видно, не медведь,— с улыбкой сказала дама.

— Нет, сударыня, медведь и был настоящий медведь, только медведь необыкновенный. Как очнулась девушка, его в берлоге не было; вдруг слышит она, приходит он, подошел и протягивает к ней...

— Когти? — вздрогнув, воскликнула дама.

— ...протягивает к ней лапу, а в лапе дубовые листья, а в листьях брусника...

— Брусника?!

— Да, сударыня, брусника, настоящая брусника, крупная, спелая, ягодка к ягодке. Он попотчевал ее брусникой, и когда она взяла и стала есть, вдруг пришли охотники,— продолжал Иван Софроныч, думая совершенно успокоить свою слушательницу,— ворвались в берлогу и убили...

— Убили! — воскликнула дама с ужасом.— Убили такого прекрасного медведя!

— Да, сударыня! — отвечал Иван Софроныч, совершенно спутанный испугом дамы, которая с таким жаром нюхала свой спирт, что глаза у ней покрылись слезами и ноздри начало подергивать кверху.— Убили его и освободили девушку.

— Но за что же они его убили? — с горестию воскликнула дама.— Может быть, он совсем был не медведь, а так, переодетый мужчина!

— Переодетый мужчина! — возразил удивленный Иван Софроныч.— В нашей стороне, сударыня, и не слыхано, чтоб люди переодевались медведями, даже о святках.

— Ах, вы не знаете, до чего может довести любовь!

— Справедливо, сударыня. Но только тот медведь был настоящий медведь: я сам ел его мясо...

— И вы не стыдитесь признаться в такой бесчеловеч-

ности! — воскликнула дама, пятясь и оглядывая его с таким ужасом, как будто он мог съесть и ее.

Иван Софроныч ясно увидел, что ему, с анекдотами своими, всего лучше скорей убраться домой, и осмелился только заметить в свое оправдание, что копченая медвежина чрезвычайно вкусна.

— Вы сами, сударыня, то же скажете, если попробуете.

— Я! — оскорбленным голосом воскликнула дама, отскакивая еще далее.— Я?... С чего вы взяли!

Иван Софроныч махнул рукой, как человек, убедившийся, что хуже и страшнее его невозможно срезаться, и молча стал раскланиваться.

К его счастию или несчастию, в то время подошли горничные с своими корзинами.

— Много набрали? — спросила их дама с палевым зонтиком.

Они показали ей свои корзины.

— Ну, немного,— сказала она.— Я одна набрала больше вашего, и какие славные грибы: большие, и все такие красные!

И она показала им своих мухоморов.

Горничные покатились со смеху.

— Ах, барышня, барышня! вот и видно, что вы не деревенского воспитания! да ведь вы набрали мухоморов... их не едят, да и есть ужасти как вредно...

Дама перепугалась и поспешно начала нюхать свой спирт. Толкнув корзинку так, что мухоморы рассыпались у ног Ивана Софроныча, и обратив к нему недовольное лицо, она презрительно сказала:

— На что же вы мне их дали?..

— Я полагал, сударыня... — начал Иван Софроныч, но собачонки в то время так к нему приступили, что он не договорил, отбиваясь руками и ногами.

Дама уже не защищала его. Иван Софроныч увидал, что всё потеряно для него, и удалился, внутренно проклиная свои анекдоты и свою недогадливость.

Собачонки долго провожали его свирепым лаем.

Весь этот день Иван Софроныч ходил не в духе и наконец к вечеру сознался во всем Алексею Алексеичу.

Наведены были справки: оказалось, что особа, встреченная Иваном Софронычем, была приживалка, состоявшая при богатой помещице, прибывшей провести лето в свои имения. И тут в первый раз пришла Алексею Алек-

сеичу мысль, которую он не замедлил передать Ивану Софронычу, заметив со вздохом, что много даром гниет разных женских нарядов, купленных ими в разное время. Эти наряды, можно сказать, главным образом решили участь Ивана Софроныча. Дело обработалось через деревенскую сваху, вхожую в дом богатой помещицы. Федосье Васильевне было уже за тридцать, и склонить ее к супружеству не стоило большого труда. Сама помещица приняла участие в устройстве своей воспитанницы; она была посаженой матерью, Алексей Алексеич — посаженым отцом. Свадьба была веселая и оживила несколько однообразную жизнь обитателей Овинищ. В первые дни как Иван Софроныч, так и Алексей Алексеич были довольны Федосьей Васильевной и, оставаясь одни, частенько повторяли с самодовольствием:

— Задели!

— Задели!

Что и значило: «приобрели славную хозяйку, которой нам недоставало». Но скоро сварливый, раздражительный и в высшей степени тяжелый характер Федосьи Васильевны начал обнаруживаться.

Детство и молодость свою провела она в Петербурге, подле богатой барыни, где богатство, роскошь, балы, поклонники — всё, что беспрестанно видела она и чего не суждено было ей испытать,— развили в ней огромные претензии, страшную требовательность, наклонность к нарядам, на которых она была помешана; деревенская жизнь казалась ей тюрьмой.

Приятели, однако ж, долго не сознавались друг другу, что дело плохо; наконец поговорили откровенно, произнесли оба, но уже не тем тоном:

— Задели!

— Задели!

И решились очистить отдельное строение под фирмою: «Остановись и Подкрепись», куда и была переведена Федосья Васильевна с новорожденной дочерью. Федосья Васильевна с того дня сделалась еще раздражительнее, хотя вывеска нового жилища и советовала ей «остановиться». И с той поры время шло в постоянной борьбе: Федосья Васильевна требовала, чтоб Иван Софроныч чаще находился при ней, даже не раз объявляла решительное намерение увезти его в Петербург, а приятели наши устроивали так, что Иван Софроныч почти с утра до вечера находился при Алексее Алексеиче: о поездке же в Петер-

бург они и не думали. Так шли дела до самой смерти Кирсанова, которая повергла бедного Ивана Софроныча в глубокое отчаяние...

Печальны были похороны Алексея Алексеича; не один Иван Софроныч рыдал, отдавая последний долг покойнику: плакала вся дворня и вся вотчина, любившая доброго барина, как родного отца. Похоронив своего благодетеля, Иван Софроныч слег: силы старика, истощенные душевными страданиями и многочисленными хлопотами, не выдержали; у него сделалась изнурительная лихорадка. Во всё время болезни Настя не отходила от постели своего отца, который частенько говорил ей, что ему не встать, да и вставать нет надобности, вследствие чего он даже отказывался принимать лекарство.

— Батюшка! батюшка! — рыдая, говорила Настя.— А я с кем останусь?

Слова эти тронули сердце Ивана Софроныча. В первый раз серьезно подумал он о будущности дочери, о страшном положении девушки, ничего не имеющей, лишенной даже средств к образованию. Настя была существо доброе и нежное, бесконечно любившее своего отца,— может быть, потому, что с детства она была свидетельницей частых семейных сцен, которые обыкновенно обрушивались на голову невинного Ивана Софроныча. Настя привыкла сожалеть о нем, внутренно всегда принимала его сторону, и скоро его доброта и терпение привязали к нему сердце дочери. Иван Софроныч также любил свою дочь; но он както мало думал о ней; чувство его разделено было между ею и другим существом, которому исключительно была посвящена заботливость Ивана Софроныча, поглощавшая всю его деятельность, всё время. Теперь это существо не нуждалось уже ни в чьей заботливости, и Настя одна, во всей беззащитности своей молодости, неопытности и бедности, стояла перед ним грустная, заплаканная и молила пожалеть о ней.

Иван Софроныч стал аккуратно принимать лекарство, не упоминал более о желании своем умереть и очень строго приказывал Насте беречься и не проводить ночи без сна у его изголовья. Наконец силы старика начали понемногу поправляться; но тут встретила его новая буря, которую он, а в особенности дочь его с ужасом предвидели. Как только начал он похаживать по комнате, на него накинулась с огромным запасом давно копившейся желчи Федосья Васильевна. Упреки посыпались градом и заклю-

чались обыкновенно тем, что более ничего не остается, как ехать в Петербург и пасть к ногам прежней ее благодетельницы. «Потому что твой-то благодетель (язвительно замечала Федосья Васильевна) как жил, так и умер: жил — ничего не давал, да и умер — ничего не оставил!..»

— Жил, так я сам не хотел брать, а умер, так уж не его воля,— кротко возражал Иван Софроныч.— Есть наследники... да и чего нам еще...

— Наследники! — подхватывала жена.— А вот жди, того и гляди, вон погонят наследники... Вишь, их наехало!

Действительно, наследников наехало довольно. Близких родственников у Алексея Алексеича не было, но тем более оказалось дальних, которых покойник и в глаза не видал. Почти все они явились налицо, несмотря на то что имение покойника было весьма незначительно; тихий домик Алексея Алексеича оживился странной деятельностью. Некоторые из наследников прибыли с детьми и женами своими, которые хотели непременно принять личное участие в дележе. Неизвестно почему, между наследниками распространился слух, будто после покойного остался значительный капитал, и Иван Софроныч был предметом всеобщего ужаса.

. . . .

Мы пропускаем описание наследников, так как они входят в наш рассказ мимоходом, и передадим всю последующую сцену как можно короче.

. . . .

В день вскрытия духовной все наследники, их жены и дети, а также и прислуга покойного, собрались в большой зале, наполненной сундуками, распространявшими удушливый затхлый запах, штуками толстого холста, образовавшими курганы; шубы и всякого рода платье, сбруя, инструменты, даже порожние бутыли и лекарственные стклянки — всё было тут. Дома нельзя было узнать. Всюду торчали кровати разных величин; пыль не стиралась, полов не мели; дом походил на вдову, оплакивающую своего супруга и немытую, нечесаную со дня его кончины.

Дворня суетилась, таскала сундуки и всякую рухлядь, немилосердно колотила стекло.

Наконец настал роковой час. Дрожа всеми членами, наследники уселись вокруг большого стола и вопросительно переглядывались, как бы желая прочесть в глазах друг друга свою участь.

Супруги наследников, окруженные детьми, сидели тут же.

Прислуга комнатная стояла около стены, также принимая живое участие в духовной. Окна, двери унизаны были головами остальной дворни. Все были в напряженном состоянии, все хранили молчание; дыхание, казалось, прекратилось. Но величественная тишина, воцарившаяся в комнате, далека была спокойствия: она походила на ту тишину в природе, которая предвещает бурю.

Душеприказчиками были два чиновника из уездного города. Когда они сорвали печать, трепет пробежал по зале; все превратились в слух. Вдруг музыка заиграла в кармане главного наследника. Все с ужасом обратились к неподвижному обладателю часов; пробило одиннадцать часов утра. Все снова устремили свои взоры на душеприказчиков, державших духовную в руках.

Началось чтение с аккомпанементом часов, которые как бы каждое слово подтверждали своим мерным боем.

Родовое имение, обремененное долгами, покойник оставлял законным наследникам, предоставляя им делиться по усмотрению; им же предоставлял он и всё свое движимое, кроме...

Движение общего испуга прервало чтение душеприказчика.

— Кроме,— продолжал он, переждав,— кроме ниже поименованного...

. . . .

Всё волновалось и шумело; один Иван Софроныч, с больным и печальным лицом, безмолвно стоял в стороне, поддерживаемый Настей, одетой в черное платье. Федосья Васильевна, также вся в черном, сидела особо от всех и не совсем приветливо посматривала на волновавшихся дам.

Когда наконец волнение поутихло, душеприказчик продолжал чтение:

«Завещаю и прошу наследников моих свято исполнить нижеследующую волю мою, отдав по принадлежности всё нижеписанное:

1) Тарантас, заново отделанный, прочный и поместительный. При нем: запасных осей — две, зимний ход, на случай, если б пришлось ехать зимой; фартух кожаный новый; сундук под сиденьем, сундук в ногах, сундук наружный (должно привинтить сзади, для чего при сундуке имеются петли и пригнаны винты) — все три сундука но-

вые кожаные; при них имеются замки; карманов внутри тарантаса — восемь; <кобур> около козел — продолговатых три; у крыльев — две (застегиваются пряжечками). *Примечание:* во внутренние карманы можно класть мелкие вещи, наиболее нужные в дороге; в кобурах у крыльев — бутылки; в длинных карманах — всякие мелочи и съестное.

2) Дорожный ящик, в нем же и погребец со всеми принадлежностями; складных ножей и вилок на трех, ложек три; чайник, чашки, ложечки; при них фунт чаю; тут же бритвенный прибор: бритвенница серебряная 84-й пробы, две пары бритв правленых. *Примечание.* Мыла не положено; мыла душистого греческого три куска спросить у кучера Вавилы и класть особо, чтобы чай не пропах.

3) Три молодые доброезжие лошади: чалая, чубарая и называемая Богатырь; в корень должно запрягать чубарую, потому что чалая в корню стала дурачиться; а следует запрягать ее с левой руки, чтоб она всегда была на глазах и под кнутом у кучера; Богатыря же справа — лошадь добрая, только следует наблюдать, чтоб не затягивал, немного слабоузда.

4) Заказаны мной в городе В ***, у модной мастерицы Каролины Буше: 1) салоп летний, драдедамовый, 2) два салопа зимних на лисьем меху, для чего дана ей от меня лисья подержанная шуба, лучшего меху; задатку дано 110 руб. Завещаю остальные деньги доплатить, оные вещи взять и отдать по принадлежности.

5) Шуба медвежья, крытая коричневым сукном.

6) Сертук форменный, жилет и рейтузы — всё почти новое.

7) Трои сапоги кожаные; сапоги валеные, обшитые кожей.

8) Табакерка серебряная.

9) Шапка летняя форменная.

10) Шапка зимняя из крымских барашков с ушами и с подзатыльником из клеенки. *Примечание.* В дурную погоду следует спускать подзатыльник сверх воротника, отчего ни дождь, ни снег не попадут за шею, а будут стекать по подзатыльнику, не причиняя никакого вреда, что я сам неоднократно испытал.

Все вышеисчисленное отказываю другу и сослуживцу моему отставному подпоручику Ивану Софронову Понизовкину, а вышепоказанные салопы его жене и дочери.

А завещаю я ему, Понизовкину, показанные вещи за честность, за прямоту, за любовь ко мне да за верную службу, а кольми паче за то, что он спасал грешную душу мою от искушения и отводил от тяжелого греха, о чем он, Понизовкин, сам довольно знает».

Здесь чтение было прервано громким рыданием Ивана Софроныча. Заботливость благодетеля, не кончившаяся и за гробом, растравила еще свежую рану в сердце старика: он рыдал как ребенок и несвязно лепетал: «Голубчик ты мой... и чем я заслужил?.. и охота было думать... будто и бог знает что сделал я?..»

Наследники торопили душеприказчиков, горя нетерпением узнать, кому покойник отказал свои деньги. Но напрасны были их ожидания: завещание оканчивалось следующими словами:

«Сверх того, завещаю кучера Вавилу отпустить на волю, с тем чтобы он находился при следовании Понизовкина с семейством в С.-Петербург, до прибытия на место и до устройства его в оном,— берег бы его, находился в его повиновении и всячески заботился о нем, о чем дано мною оному Вавиле подробное наставление».

Больше ничего не было в завещании.

. . . .

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

Глава XXXIII

НОВЫЕ ЛИЦА

В одной из больших петербургских улиц, отдаленной от центра города, стоял старинный дом, как крепость окруженный каменной стеной. Ворота его вечно были заперты, и сквозь заржавленную решетку их уличные мальчишки бросали камешками в алебастровых львов, поставленных у подъезда. В среднем этаже окна были громадной величины; зато верхние и нижние казались щелками.

Службы дома были загорожены каменной стеной, в которой была калитка, всегда запертая на замок, так что никто не имел через нее сообщения с домом и двором. У служб были свои ворота, выходившие на другую улицу, а с домом имели сообщение через сад.

Пустынность двора и мрачность дома невольно обращали на себя внимание проходящих, которые с любопытством останавливались у ворот и тщетно ждали увидеть какой-нибудь признак жизни на дворе.

Однако, несмотря на наружную пустынность, дом был наполнен народом. Но главный фасад его выходил в сад, и притом очень обширный для города. В этом саду всё было подчищено, подстрижено, так что кусты, деревья, трава — ничто не имело своего первобытного образа. В саду не только не слышалось запаху цветов, но даже признака их не замечалось. От самого дома далеко тянулась широкая аллея, усыпанная красным песком и установленная мраморными бюстами и каменными скамейками; она вела к пруду с плотом и паромом и на другой стороне продолжалась еще несколько сажен, оканчиваясь пригорком

с беседкой в китайском вкусе. Сад был густ, и по сторонам главной аллеи находилось множество скрытых аллей.

Зала, выходящая на террасу в сад, была узка и необыкновенно длинна, так что имела вид коридора. Окна в ней начинались от самого пола, были широки и круглы и состояли из мелких стекол. Зала была убрана роскошно, в старинном вкусе. Зеркала в простенках начинались от полу и доходили до потолка; они были штучные, отделанные в бронзу. Столики у зеркал были мраморные. Стулья, креслы и двери были выкрашены белой краской под лак, с фигурной бронзовой отделкой. Кроме столов да стульев, другой мебели не было в комнате, и потому большое бархатное кресло, вроде вольтеровского, резко бросалось в глаза: оно стояло на самой средине комнаты между стульями и против самой двери, ведущей на террасу. У кресла стоял<и> малахитовый столик и скамейка, вышитая детской рукой.

В эту-то залу сошлись почтенные приживалки к утреннему чаю старой и богатой вдовы, владетельницы дома. Приживалки были почти одних лет все, то есть не моложе тридцати пяти и не старше сорока. Они все имели что-то общее между собою, как во взгляде и умильно-приторной, угодливой улыбке, так и в голосе и в движениях.

Одеты они были бедно, но чисто. Прически их напоминали страшную старину, и без исключения у всех проборы были косые: это делало их лица еще неприятнее. Они все сидели в уголку, кроме одной, сидевшей у стола, за самоваром, с более свободными движениями и взглядами. Эта особа имела лицо широкое, злое, нос малый, а рот огромный; уши безобразные, которые ежеминутно передергивались, как телеграф. Роста она была ниже среднего; фигуру имела плоскую; походка почтенной приживалки более походила на припрыгиванье, чем на обыкновенную походку. Цвет лица у ней был красноватый, а горло резко отделялось своим сходством с горлом индейки: оно имело способность краснеть, если владетельница его чем-нибудь была недовольна; а так как это случалось поминутно, то горло приживалки беспрерывно меняло свой цвет, то краснея, то бледнея. Впрочем, и лицо ее также не сохраняло постоянно одного колорита: оно нередко покрывалось пятнами; а что до ушей, то они так и прыгали, не уступая в быстром изменении своего цвета горлу. Одета она была лучше всех; на ее плечи накинута была шелковая кацавейка столь же странной формы, как и сама приживалка.

— Что это как долго не выходит сегодня Наталья Кирилловна,— заметила она неопределенно, не адресуясь в особенности ни к кому из сидевших в комнате.

— Может быть, опочивала ночь дурно! — отвечала одна из четырех приживалок, высокая ростом и весьма худая, с мутными глазами, болезненным цветом лица и с огромными зубами. К украшению этой особы служил еще довольно большой и непривлекательный зоб; она беспрерывно мотала головой, напоминая алебастровых зайчиков с проволочными шеями, что носят на лотках по улицам.

— Вот было бы хорошо, если бы она слышала *всё*! — радостно сказала Ольга Петровна (так звали главную приживалку, сидевшую у стола).

— И-и-и, что вы, Ольга Петровна, сохрани боже! — пугливо воскликнула приживалка с зобом и сильнее замотала головой.

— Не дай бог! как можно! — произнесли остальные.

Дверь раскрылась: вошла девочка, по росту лет десяти, но на лицо ей смело можно было дать пятнадцать, несмотря на детски веселую улыбку на ее тонких губах,— улыбку несколько натянутую. Она была худа; резкие черты ее лица были довольно правильны, но не имели приятности. Лоб у нее был крут, брови густые, черные, нос большой, щеки бледные и впалые, подбородок острый. Глаза, большие, черные и необыкновенно быстрые, скрашивали всё лицо. Девочка, как и приживалки, имела косой пробор, и маленькую ее голову стягивала сеточка с кисточками, которые болтались на ее виске.

Платье на ней было ситцевое, очень поношенное; зеленый камлотовый передник с лификом дополнял ее туалет. Худые руки и шея были открыты.

— Еще бы попозже! — такими словами встретила ее Ольга Петровна, на которую девочка бросила презрительный взгляд.— Где вы были? а? бегали, проказничали где-нибудь? — краснея, шепотом говорила Ольга Петровна.

Девочка улыбалась, смотря на приживалок, занимавшихся работой: кто штопал, кто вязал чулки.

— Погоди, погоди! — дрожащим голосом продолжала Ольга Петровна.— Я всё, всё расскажу Наталье Кирилловне, все твои проказы... Ишь что вздумала — покровительствовать?! Погоди!

И уши Ольги Петровны еще красноречивее выражали ее гнев, чем слова; но девочка, казалось, созерцала их по-

рывистые движения равнодушно. Наконец она вдруг, совсем неожиданно, залилась слезами.

Приживалки замахали чулками, как будто думая утереть ими слезы девочки, которая всё громче рыдала.

— Ну, опять Наталья Кирилловна рассердится! чего она плачет? — сиплым голосом заметила приживалка с зобом.

— Не ваше дело: я буду отвечать! я!! — громко сказала Ольга Петровна, дрожа как в лихорадке.

— Барыня, барыня идет! — сказал лакей, торопливо раскрывая обе половинки дверей настежь.

Эти слова произвели магическое действие на всех. Девочка поспешно вытерла слезы. Чулки исчезли из рук приживалок, вставших со стульев. Одни уши Ольги Петровны не могли успокоиться.

В залу вошла женщина высокого роста, лицо которой было скрыто под густой фальбарой чепчика и под огромным зеленым зонтиком, низко надвинутым на глаза. Одета она была в атласный капот изумрудного цвета, с коротенькой талией, опушенный соболями. Она шла медленно и бодро, пристукивая палкой с набалдашником, усыпанным драгоценными камнями. На низкие поклоны приживалок она едва кивнула головой и одной только Ольге Петровне сказала протяжно и резко: «Здравствуйте!» Когда она уселась в бархатные креслы, девочка в сеточке взяла палку из ее рук, с чувством поцеловав в то же время рукав ее капота и подвинув скамейку к ее ногам.

— Хорошо ли вы почивали, Наталья Кирилловна? — после некоторого молчания спросила Ольга Петровна, придавая своему лицу как можно более мягкости.

— Нехорошо! — тем же резким голосом отвечала Наталья Кирилловна, барабаня своей сморщенной рукой, унизанной перстнями, по малахитовому столу.

Лица у приживалок вытянулись, и они выразительно переглядывались.

Девочка искоса следила за движениями пальцев Натальи Кирилловны.

— Чем-нибудь...— начала было Ольга Петровна и остановилась, потому что Наталья Кирилловна тоже начала говорить.

— Я видела сон, будто бы у меня в саду вырос цветок.

— Ах, это к благополучию дома-с! — сиплым голосом заметила приживалка с зобом, умильно смотря на всех своими мутными глазами.

— Да что это вы перебиваете! дайте мне сказать! — сердито сказала Наталья Кирилловна, отчего голова у приживалки с зобом замоталась страшно и сама она закашлялась.

Ольга Петровна бросила на нее презрительный взгляд; остальные приживалки пожимали плечами.

Наталья Кирилловна, верно уж забыв о своем сне, вглядывалась в сад, приложив руку к глазам под зонтик.

— Кажется, кусты что-то высоки! — сказала она.

— Вчера неделя, как Семен стриг-с! — отвечала девочка в сетке, стоя у кресла.

В это время Ольга Петровна, передергивая ушами и припрыгивая, поднесла чашку чаю к Наталье Кирилловне и, ставя на столик, язвительно сказала девочке:

— Вы, кажется, с гостями вашими всё забыли.

Наталья Кирилловна быстро повернула голову к девочке, отчего та вся вспыхнула и поспешно сказала:

— Я только что...

— Еще бы, чай простыл! — перебила ее Ольга Петровна.

— Вы сегодня скорее налили,— отвечала девочка.

— Молчи! — грозно сказала Наталья Кирилловна девочке и, обратясь к Ольге Петровне, сухо продолжала:— Вы напрасно беспокоились; велели бы лакею подать, если уж она забывает свои обязанности.

Слезы выступили на глазах у девушки, которая сердито встретила торжествующий взгляд Ольги Петровны.

В это утро Наталья Кирилловна была не в духе: пальцы ее быстро барабанили по столу; а это было самое ясное доказательство для домашних, что быть буре.

Но пора сказать несколько слов о Наталье Кирилловне. По воспитанию и привычкам своим она принадлежала еще к прошлому столетию, так богатому эксцентричностями всякого рода. Ее дом был известен как приют вдов и сирот. Ее странности и тяжелый характер отдалили от нее почти всех из общества, к которому она принадлежала, и только люди, нуждавшиеся в ней, поддерживали с ней знакомство. В самом деле, причудам ее не было конца. Например, она не любила желтого цвета, и вследствие этого не только никто в доме не смел его носить, но даже гости, приезжавшие к ней, не должны были иметь ничего желтого в своем туалете, и швейцар получал строгий выговор, если осмеливался принять даму, в костюме у которой было что-нибудь желтое. Она также не любила

никаких цветов, и в саду ее даже с деревьев и кустов состригалось всё, что могло дать цвет. К животным она чувствовала сильное отвращение, и строжайше запрещено было иметь в доме ее кому бы то ни было собак, а в особенности кошек, которых немедля вешали.

Уже лет десять, как она не переступала через порог своего дома, потому что причуды ее приняли обширные размеры и странные формы. Она сердилась, если кто ехал по улице скоро, кричала, завидев собаку, воображая, что она должна быть непременно бешеная, и приказывала убивать ее своим лакеям, которые обыкновенно ехали за ней верхом. Наталья Кирилловна была единственная дочь богатых родителей, не слышавших в ней души. Все в доме преклонялись перед капризами девочки. Отец умер, и Наталья Кирилловна девяти лет осталась на руках своей матери, также полной разных эксцентричностей.

Ни богатство, ни замечательная красота не могли скоро доставить мужа избалованной девушке: она требовала, чтоб муж соединял в себе и знатность рода, и вес в обществе, и богатство. Итак, Наталья Кирилловна только на тридцатом году вышла замуж,— правда, за человека с большим весом, но только ничего не имевшего. Этот муж, однако ж, скоро умер, оставив много долгов. Детей у Натальи Кирилловны не было; да она и не очень желала их. Спустя несколько лет умер двоюродный брат Натальи Кирилловны, оставив на ее попечение единственного четырехлетнего сына, которому предстояло наследовать огромнейшие богатства.

Наталья Кирилловна в первый год редко видела своего племянника. Но мало-помалу она начала сбрасывать с себя холодность и равнодушие к этому мальчику, чувства более нежные проникли в сердце этой женщины, никогда до той поры не испытавшей любви к кому-нибудь. Все в доме покорились прихотям ребенка. Наталья Кирилловна уничтожилась перед желаниями своего племянника, который был живой, умный и необыкновенно красивый мальчик.

Трудно описать отчаяние Натальи Кирилловны, когда ее племянник немного захворал. Дни и ночи она сидела у его кровати; и те, кто знали ее с детства, в первый раз заметили следы слез на ее холодном лице.

Тяжело было для домашних выздоровление и без того капризного ребенка. Наталья Кирилловна, боясь его слез, предупреждала взгляды его. Детская была завалена иг-

рушками, на покупку которых истрачена была значительная сумма. Но это мало развлекало ребенка: он капризничал и в один вечер начал кричать и плакать, что ему скучно. Никто не мог его развеселить. Множество приживалок, набранных в дом для присмотра за дворней и для выдумывания игр ребенку, истощили запас терпения и не знали, что говорить, потому что ребенок не давал им разинуть рта, крича: «Не хочу слушать, скучно! скучно!» Приживалки, дети всей дворни собрались в детскую и принялись танцевать перед капризным мальчиком; но и это было безуспешно. Наталья Кирилловна терялась, придумывая, чем бы развлечь ребенка, и вдруг сама пустилась танцевать, припевая и постукивая своей палкой.

Всё, что было в комнате, с ужасом глядело на неловкие телодвижения Натальи Кирилловны, которую привыкли видеть с вечно гордой осанкой. И теперь — эта женщина плясала перед ребенком, который один из всех присутствующих улыбался. Заметив это, Наталья Кирилловна начала вертеться сильнее и громче припевать. Ребенок залился смехом и забил в ладоши. Но недолго могла утешать Наталья Кирилловна своего племянника: с ней сделалось дурно, и ее в изнеможении отвели в спальню и уложили в постель.

По окончании болезни племянника Наталья Кирилловна поехала со всем домом в Киев. Там она нашла дальнего родственника своего отца; у этого родственника был сын Гриша, который понравился избалованному мальчику. Племянник Натальи Кирилловны ни за что не хотел расстаться с Гришей, и Наталья Кирилловна изъявила желание взять Гришу на воспитание. Отец, как ни любил сына и как ему ни была тяжела разлука с ним, для его будущности решился на предложение. Гриша сделался компаньоном богатого и избалованного мальчика. Впрочем, жизнь Гриши была хороша: его товарищ, несмотря на всю свою избалованность, имел доброе сердце и Гриша одной грустной миной своей делал всё, что ему хотелось, через любимца Натальи Кирилловны.

Учителя, гувернеры должны были равно заниматься как племянником Натальи Кирилловны, так и Гришей, которого приживалки и гувернеры не любили за его влияние на любимца Натальи Кирилловны: Гриша часто ходатайствовал через своего друга за кого-нибудь из притесняемых в доме.

Когда Гриша стал подрастать, ему показалось тяжело

и обидно находиться в вечной зависимости от своего товарища. Но изменить отношения было невозможно при ветреном и взбалмошном характере Павленьки (так звали любимого племянника Натальи Кирилловны).

Гриша часто был жестоко оскорбляем своим товарищем, который даже и не подозревал, что поступает дурно. Это отдалило от него Гришу тем скорее, что у избалованного мальчика появились друзья из одного с ним круга, также избалованные. И когда из мальчика Гриша сделался молодым человеком, то дружеские отношения его к Павленьке прекратились, чего, впрочем, последний не замечал, потому что они по-прежнему говорили друг другу «ты» и наружно были очень дружны.

Племянник Натальи Кирилловны кончил учение, а с тем вместе остановилось и учение Гриши, который чувствовал, что приобретенные им знания ничтожны для человека, которому трудами следует заработывать себе хлеб.

Павленька стал выезжать в свет, а Гриша по-прежнему сидел в своей комнате за книгами и часто с грустью склонял голову и долго сидел так, думая, что его ожидает в будущем и чем наконец кончится его бездействие.

Приживалки не дремали: они успели поселить разные подозрения в Наталье Кирилловне насчет праздности, зависти и других дурных качеств в Грише, и Гриша начал замечать явное нерасположение своей благодетельницы. Он стал просить ее, чтоб она определила его на службу, что он скучает праздностью. Наталья Кирилловна сделала ему сцену, где при всех домашних назвала его нищим и, как бы в насмешку, дала ему занятие — учить ее воспитанниц и вести книгу расходов по ее туалету. Она превратила Гришу в своего домашнего секретаря. Делать ему было нечего: надо было покориться. Отец его давно умер, Гриша не имел никакой ученой степени и ни гроша денег! Один из гувернеров, выдававший себя за эмигрировавшего французского графа, научил Наталью Кирилловну отпустить своего воспитанника путешествовать. Наталья Кирилловна согласилась с радостью, потому что около того времени до нее дошли слухи, что Павленька влюблен в какую-то актрису. Гриша питал надежду ехать с другом своего детства; но гувернер, боясь иметь свидетеля в дорожных проказах своего воспитанника, так всё уладил, что Гриша не только не был взят, но даже замешан в сплетни насчет подозреваемой актрисы. Это погубило Гришу во мнении Натальи Кирилловны и окончательно охладило дружеские в

детстве отношения его к племяннику своей благодетельницы.

С отъездом Павленьки Наталья Кирилловна начала скучать; всё, что напоминало его, она приказала перенесть в свою спальню; одна из воспитанниц, которой он оказывал более внимания, сделалась неотлучной тенью ее и должна была каждый вечер что-нибудь рассказывать ей об отсутствующем.

Воспитанницу эту звала Наталья Кирилловна Зиной. Она была дочь некогда бывшего дворецкого, который давно умер. Матери Зины тоже не было в живых.

Зина не могла не обратить на себя внимание своей благодетельницы; так складно говорила эта девочка, так умела занять праздное воображение Натальи Кирилловны сплетнями и мелочными бурями маленького мира, в котором жила. Зина знала всё, что делается в доме; она сочиняла иногда домашние анекдоты для своей благодетельницы и смешила ее. В девичьих, в лакейских, в комнатах приживалок — везде Зина поспевала высмотреть, подслушать, что ей было нужно для ее вечерних импровизаций. Часто Зина изнывала от напряженных усилий своего воображения, сидя на скамейке у кровати Натальи Кирилловны, в комнате, освещенной одной свечой под зеленым колпаком, решительно не зная, что говорить.

— Что с тобой, матушка? ты, кажется, сегодня двух слов не умеешь связать! — говаривала тогда Наталья Кирилловна.— Ну что мне интересного слушать о твоей девичьей? Не знаешь ничего, так сочини что-нибудь сама! — строго замечала Наталья Кирилловна.

И Зина пускалась в импровизацию. Однако любовь благодетельницы не спасала Зину от неприятных сцен, к которым прибегала Наталья Кирилловна, вероятно томимая однообразием.

По наущению приживалок, в особенности Ольги Петровны, которая, вероятно, в беспредельной преданности к своей благодетельнице не могла равнодушно видеть в ней расположения к кому-нибудь, Наталья Кирилловна приказывала иногда собрать узелок с бельем и платьем Зины, вручала его ей и говорила грустно:

— Иди, иди из моего дома!

Девочка горько плакала, целовала колени старухи, прося пощады; приживалки тащили ее за руки из комнаты, и часто Зина на коленях и обливаясь слезами ползала за Натальей Кирилловной, умоляя о прощении. И долго еще Зи-

на рыдала, сидя в девичьей... Впрочем, надо заметить, что впоследствии, сделавшись постарше, она плакала только перед глазами Натальи Кирилловны, а выходя в девичью, очень покойно вытирала слезы и весело разговаривала с горничными, зная, что не пройдет двух часов, как за ней придет какая-нибудь из приживалок и скажет, чтоб она шла вновь просить прощенья у своей благодетельницы, которая уже скучала без Зины и нетерпеливо ждала ее.

С каждым годом влияние Зины на Наталью Кирилловну становилось заметнее. Оно, разумеется, дорого стоило Зине.

Она целые дни просиживала на скамейке у ног своей благодетельницы, в комнате, пропитанной запахом выхухоля, очень любимого Натальей Кирилловной.

Детских игр она не знала; каждую минуту она страшилась разгневать ее. Зину ничему не учили; да и некогда было ей учиться. Если Наталья Кирилловна держала диету, Зина должна была тоже держать диету. Первую ложку всякого лекарства должна была проглотить Зина и верно определить его вкус и запах.

Может быть, поэтому Зина мало росла: хотя ей было уже пятнадцать лет, но она была еще как дитя. Да и Наталья Кирилловна никак не хотела звать ее именем, данным ей при крещении, и считала ее лета не со дня рождения, а со вступления к ней, убавляя таким образом у Зины пять лет.

Зины стали побаиваться в доме не на шутку. Приживалки стали ей льстить, кроме Ольги Петровны; но Зина не боялась ее, надеясь на свое знание характера Натальи Кирилловны и на свою ловкость вывернуться из всяких сетей, какой бы хитрой рукой они ни были сотканы.

Гриша пользовался расположением Зины; она часто отстаивала его от нападения приживалок, в особенности от Ольги Петровны, которая сначала была к нему расположена, а потом вдруг почувствовала против него озлобление.

Зина знала, когда он выходил из дому, в котором часу возвращался, и между ними были дружеские отношения. Одним словом, в доме у Натальи Кирилловны, несмотря на наружное спокойствие и согласие, кипели вражда и зависть и все житейские страсти. Праздность процветала и никого не удивляла в доме. Приживалки целые дни возились с кофеем или чаем, вероятно чувствуя потребность поминутно промачивать горло, пересохшее от болтовни и сплетен.

Глава XXXIV

СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ

К концу чаю явился Гриша. Он был высок ростом, хорошо сложен; в его лице было много доброты, а в больших голубых глазах много ума. Одет он был довольно бедно.

— Что это ты, батюшка, так поздно явился к чаю? — резко спросила его Наталья Кирилловна, когда он поцеловал ее руку.

— Я кончил письмо по вашему приказанию,— отвечал Гриша, подавая Наталье Кирилловне пакет.

Она взяла его, повертела в руках и, положив на стол, сказала:

— Ну это хорошо! а всё-таки пораньше мог прийти!

Гриша раскланялся с приживалками и стал у чайного стола. Ольга Петровна, передернув ушами, сказала очень громко:

— Что это как табаком пахнет?

И она вытянула свою красную шею кверху и стала нюхать воздух.

— Поди-ка сюда! — сказала Наталья Кирилловна Грише, который смело подошел к ней.

— Уж не вздумал ли ты курить опять табак? а? — продолжала Наталья Кирилловна, закидывая голову назад, чтоб поглядеть в лицо Грише из-под своего зеленого зонтика.— Что ты такой бледный? — прибавила она.

— Немудрено! Он по ночам изволит сидеть; а что делает — глупости читает! — дрожащим голосом сказала Ольга Петровна.

— Господи! можно ли так молодому человеку глаза портить! — сиплым голосом подхватила приживалка с зобом, поматывая медленно головой.

Но, к удивлению всех, Наталья Кирилловна не обратила внимания на слова приживалок и, ухватясь одной рукой за плечо Зины, а другой опираясь на палку, встала с кресел и пошла прохаживаться по зале, что она аккуратно делала всякий день после чаю. Она заглянула в сад, зевнула, снова села в креслы и капризным голосом сказала, обращаясь к приживалкам:

— Что вы сегодня, точно вороны, насупились!

Приживалки встрепенулись и все вдруг заговорили, принужденно смеясь.

Наталья Кирилловна слушала их болтовню, морщась, и наконец нетерпеливо сказала:

— Какой вздор вы говорите! ничего не поймешь.

Приживалки замолкли.

— Сколько градусов тепла сегодня? — спросила Наталья Кирилловна после минутного молчания.

Всё, что было в зале, кинулось к окну и жарко заспорило между собой. Одна говорила: шестнадцать, другая — с половиной, третья — с четвертью.

Зина, стоя за креслами, сказала:

— Сегодня барометр опустился.

— То-то я дурно спала! — заметила Наталья Кирилловна.

— А не изволили слышать шуму на дворе? — спросила вдруг Ольга Петровна, злобно взглянув на Зину.

Этот вопрос, казалось, оковал ужасом всех присутствующих, и глаза их тоскливо обратились на Наталью Кирилловну.

— Да, да, я как будто слышала скрып ворот; а что?

— А вот извольте спросить у Лукьяна,— радостно отвечала Ольга Петровна.

— Позови Лукьяна! — повелительно сказала Наталья Кирилловна Зине и продолжала: — И как можно ночью отворять ворота? и для кого?

Лукьян явился с низким поклоном. Он был лет пятидесяти, небольшого роста, с лысиной, с умильно-почтительной улыбкой и не без злости и хитрости в глазах; худощав и одет с необыкновенною чистотою. Его галстух, жилет и чулки были белы как снег. После поклона он мерным и мягким голосом сказал:

— Всё в доме благополучно-с.

— А что за шум был ночью? — спросила Наталья Кирилловна.

— Сторожевой поймал кошку! — не запинаясь, отвечал Лукьян.

— Повесить ее, повесить! — с жаром перебила Наталья Кирилловна.

— Исполнено-с.

На лицах приживалок изобразился испуг. Зина радостно улыбалась, поглядывая на них.

Шея у Ольги Петровны, как и лицо, побагровела, уши задергались, и она, задыхаясь, разинула рот; но Зина, следившая за ней, вкрадчиво сказала Наталье Кирилловне:

— А перед вашим чаем гости приехали к нам.

— Что? какие гости? — протяжно спросила Наталья Кирилловна.

— И ты смеешь так лгать! — не вытерпев, вскрикнула Ольга Петровна, грозя Зине, которая слегка побледнела и умоляющими глазами смотрела на Лукьяна.

— Что? кто солгал мне? кто? — подняв голову, грозно спросила Наталья Кирилловна.

— Разве можно так обманывать свою благодетельницу! — в негодовании воскликнула Ольга Петровна.

Наталья Кирилловна с силою стукнула палкой об пол и грозно спросила Зину:

— Что всё это значит?

Зина стояла с потупленными глазами; но вдруг она подняла их, смело окинула взором всех присутствующих и сказала:

— Я, право, не знаю, за что Ольга Петровна такие страшные вещи говорит про меня.

— Так, значит, *я* лгу? Ах, наглая девчонка! — в негодовании возразила Ольга Петровна.

Зина залилась горькими слезами.

— Перестать! — сердито сказала Наталья Кирилловна.

И, обращаясь ко всем, она произнесла в недоумении:

— Я ровно ничего тут не понимаю!

— Федосья Васильевна приехала-с! — в один голос сказали приживалки.

— А когда? а когда? что, небось утром? — обращаясь к Лукьяну, говорила Ольга Петровна.

— Никак нет-с: ночью,— отвечал Лукьян.

— Видите! вот, вот она всё так лжет! — дрожа от радости, сказала Ольга Петровна, обращаясь к Наталье Кирилловне, которая забарабанила быстро пальцами по столу.

— Вы что-то сегодня очень сердиты и такие глупости говорите, что, право, скучно слушать,— встав с кресел и выпрямившись, громко сказала Наталья Кирилловна.— Ну кто посмеет солгать мне?..

— Да как можно! избави боже! да видано ли? да слыхано ли? — раздались в ответ восклицания приживалок.

Тогда Наталья Кирилловна обратилась к Лукьяну и повелительно сказала:

— Говори, какой шум был ночью на дворе?

— Кошку ловили-с! — поспешно отвечал Лукьян.

— И ты тоже смеешь! — выходя из себя, говорила Ольга Петровна.

— Если угодно, я вам убитую кошку покажу: такая рыжая,— улыбаясь, сказал Лукьян.

Ольга Петровна всплеснула руками и, с ужасом вскрикнув: «Батюшки! мой Васька!», выбежала из комнаты.

Наталья Кирилловна внимательно следила за Лукьяном и Ольгой Петровной, и когда последняя убежала, она пожала плечами и спросила:

— Что такое с ней?

У всех вдов дрожал на губах ответ, не слишком благоприятный их общему врагу; но Наталья Кирилловна остановила приживалок вопросом:

— Уж не овдовела ли Федосья?

— Никак нет-с, с мужем и дочерью малолетнею прибыла. Не угодно ли дать какие-нибудь приказания насчет их?

— Ах, как Федосья плачет,— заметила Зина.

— О чем?

— Да не знаю, только всё говорит: «Я дура, что не послушалась свою благодетельницу».

— Ага, опомнилась! верно, у *того* нечем их кормить стало! — самодовольно сказала Наталья Кирилловна, вообще полагавшая, что только она одна может устроить участь ребенка и приютить бедную вдову. Она отдала Лукьяну приказание привести Федосью с семейством в залу.

Зина тем временем подробно рассказала ей историю смерти Алексея Алексеича и, тихо опустясь на колени перед Натальей Кирилловной, умоляющим голосом сказала:

— Мамаша, благодетельница! призрите еще сироту!

Наталья Кирилловна благосклонно сказала:

— Может, страшилище какое, деревенщина; да притом у ней есть мать и отец: какая же она сирота!

В эту минуту воротилась в залу Ольга Петровна; бросив гневный взгляд на веселое лицо Зины, она побагровела, уши у ней зарумянились и запрыгали; она подошла к креслам Натальи Кирилловны и сказала:

— Я уверена, что она просит вас о Федосье?

— Да; ну так что же? — отвечала протяжно Наталья Кирилловна.

— Как же она смеет просить вас о такой женщине, которая против воли вашей поступила?

— Это хорошая черта ее характера — просить за наказанных, это долг христианский всякого человека, Ольга Петровна.

— Помилуйте! да она как вас расстроила тогда своим упрямством, а теперь притащила с собою этого солдата и дочь солдатскую!

— Ольга Петровна, помните пословицу: кто старое...

— А-а-а! Я вижу, без меня успели вас настроить против меня.

И Ольга Петровна, заплакав, вышла из залы.

— Верно, Ольга Петровна левой ногой сегодня с постели встала! — весело сказала Наталья Кирилловна.

— Да, кажись, она правой-то никогда не встает,— заметила приживалка с мутными глазами и стала смеяться.

Дверь растворилась, и наша знакомая обывательница Овинищ, Федосья Васильевна, вошла в залу с подносом в руках, на котором лежал большой хлеб, соль, а кругом уложены были яйцы. Иван Софроныч шел сзади своей супруги, держа в одной руке несколько связок сушеных грибов, а другой ведя за руку Настю, одетую в русский сарафан, что очень шло к ней; она держала в руках туго набитый мешочек с сушеной малиной.

Федосья Васильевна, подойдя к Наталье Кирилловне, поставила на стол поднос, а сама упала в ноги и заплакала.

Иван Софроныч и его дочь робко оглядывались и всё кланялись Наталье Кирилловне, важно сидевшей на своих бархатных креслах.

Федосья, подняв голову, воздела руки к потолку и слезливо-торжественно сказала:

— Господи, благодарю! удостоил ты меня, грешную, увидеть всемирную благодетельницу нашу.

И она чмокнула платье Натальи Кирилловны, которая сказала гордо, но довольно милостиво:

— Ну, здравствуй, здравствуй! Это дочь твоя? — прибавила она, оглядывая с ног до головы Настю.

— Да-с, благодетельница вы наша, это дочь моя! уж вы ее извините: она у меня сущая деревенщина. Прими от нас, родная, нашу хлеб-соль; чем богаты, тем и рады нашу голубушку угостить.— И, обратясь к мужу и дочери, она продолжала повелительно: — Ну, Софроныч, поцелуй ручку у нашей благодетельницы. Ведь вот, вот она, благодетельница-то наша, а никто другой.— И, взяв из рук грибы, она мягким голосом прибавила: — Сам собирал; я ему говорю: ну на что нашей голубушке твои грибы! да она золотые их может иметь. А он говорит: из золота ей

не в диковину, а вот от полноты души старого солдата — дело другое!

Затем, схватив Настю за плечи, она нагнула ей голову и жалобно продолжала:

— Не оставьте мою дочь; она вас любит больше матери и отца. Всякий день только и слов, что о вас. А уж радостей-то, радостей-то было, как ей сказали, что едем, мол, к нашей благодетельнице просить ее защиты... Подай мешок-то! Это вот малина сушеная,— каждую ягодку обдувала. Чистая-расчистая!

К удивлению всех, Наталья Кирилловна погладила Настю по голове и, взяв ее густую косу, сказала:

— Какие славные у ней волосы.

Видно, что Настя произвела приятное впечатление на Наталью Кирилловну.

Федосья Васильевна между тем отирала слезы.

— Отчего же ты плачешь? — спросила ее Наталья Кирилловна.

— Ах, матушка, наша вы благодетельница, ну как мне не плакать, как я погляжу на Зиновью Михайловну и на мою сиротку!

— Что же, какая разница? — спросила Наталья Кирилловна.

— Да как же, матушка: та барышня, а моя-то, моя-то!

И Федосья зарыдала.

— Чего же ты хочешь? — лукаво спросила Наталья Кирилловна.

Федосья упала в ноги и увлекла за собой дочь, оробевшую от неожиданного толчка матери. Федосья жалобно сказала:

— Возьми ты, возьми ее от нас, недостойных, и будь ей матерью и благодетельницей, как и всем нам.

— Ну полно! встань! — повелительно произнесла Наталья Кирилловна и, обращаясь к Насте, сказала: — А хочешь ли ты у меня жить?

— Да-с,— отвечала Настя, заранее приготовленная матерью к такому ответу.

— Сделай книксен! — дернув дочь за сарафан, сказала Федосья, и Настя грациозно исполнила ее приказание.

— Видишь, а с мужиками жила! — заметила Наталья Кирилловна Зине, и, обратясь к Федосье, она резко и значительно произнесла: — Я беру твою дочь к себе.

— Благодетельница вы наша! — радостно воскликнула Федосья.

А Иван Софроныч отвесил низкий поклон.

— Только с условием,— продолжала Наталья Кирилловна,— чтоб ни ты, ни он — никто не вмешивался в ее воспитание... слышите!

Федосья всё кланялась, а на губах Ивана Софроныча как будто что-то шевелилось; но он вздрогнул при резком слове «Слышите!» и ничего не сказал.

— Теперь у тебя есть сестра и подруга! — сказала Наталья Кирилловна Зине, которая быстро кинулась к Насте и, крепко прижав ее к себе и поцеловав, сказала с чувством:

— Я буду тебя любить, сестрица! — И, кинувшись целовать руки у Натальи Кирилловны, она радостно бормотала: — Благодарю вас за сестрицу! мы будем стараться обе утешать вас.

Наталья Кирилловна тронулась этими словами и, погладив по щеке Зину, сказала ласково:

— Помни пословицу, что ласковый теленок две матки сосет!

Иван Софроныч едва крепился, чтоб не зарыдать: ему так стало жаль своей Насти, как будто он навек расставался с ней.

— Ну, простись же с отцом и матерью,— сказала Насте Наталья Кирилловна.

Настя побледнела, и глаза ее с любовью остановились на отце, как бы спрашивая его согласия.

Федосья перекрестила дочь и сказала, указывая на Наталью Кирилловну:

— Смотри, люби, почитай, слушайся ее: она теперь твоя мать.

Настя кинулась к отцу, который, приподняв ее, прильнул своими дрожащими губами к розовой щеке дочери... и в зале послышались тихие всхлипывания.

Федосья вырвала Настю из объятий отца, но он снова привлек дочь к груди своей и повелительно сказал:

— Оставь нас: дай нам хоть проститься как следует! — и, обратясь к Наталье Кирилловне, он в сильном волнении продолжал: — Осмелюсь вам доложить, не обижайте ее, любите, как дочь, а иначе я, право, не отдам... не отдам ее!

Иван Софроныч крепко прижал дочь к себе, и они оба зарыдали.

— Ах ты, господи! Я так и знала, он всё испортит! — щипля своего мужа, шептала Федосья и, обращаясь к Наталье Кирилловне, умильно продолжала: — Извините его,— ведь солдат: никакого обращения не знает.

— Вели ему выйти; и о чем он плачет? — мрачно сказала Наталья Кирилловна.

Иван Софроныч вышел с дочерью в другую комнату, где никого не было, и, посадив на колени свою Настю, он взял ее лицо в свои дрожащие руки и долго так глядел на нее, целуя ее изредка в глаза, полные слез. Настя стала плакать, жалобно говоря:

— Я не хочу здесь оставаться. Я уйду с вами.

Иван Софроныч тоскливым голосом сказал:

— Не плачь: мать на меня рассердится, будет бранить меня. Я тебя не спущу с своих глаз; а может, тебя счастье ожидает...

Слезы не дали ему договорить.

Настя перестала плакать, зная характер своей матери, и сквозь слезы сказала:

— Ну я не буду плакать; только вы приходите всякий день ко мне.

— Хорошо, хорошо, дурочка! — приглаживая волосы своей дочери, грустно говорил Иван Софроныч.

Явилась Федосья.

— Ну что разнюнился! — сказала она мужу.— А ты смотри, слушайся у меня всех в доме, целуй чаще ручку у своей благодетельницы, угождай Зиновье Михайловне.

Настя в то время глядела на отца, который, повеся голову, сидел неподвижно, и вдруг, вырвавшись из рук матери, она с плачем кинулась на шею к нему.

Иван Софроныч обнял дочь.

— Ах ты варвар, варвар! так-то ты держишь слово? дразнишь ребенка! ведь он мал — глуп!

Федосья задыхалась от злости.

— Полно, полно, прощай, Настя! на вот тебе яблочко, а вот кукла твоя! — всхлипывая, говорил Иван Софроныч и отдал дочери яблоко и куклу.

Настя очень обрадовалась своей любимой кукле и протянула губы к отцу, чтоб поблагодарить его.

— Ну, с богом, будь счастлива! — крестя дочь и дрожа всем телом, сказал Иван Софроныч.

И он простирал руки к дочери, которую увлекла Федосья в залу.

Когда Настя скрылась, Иван Софроныч подошел к окну, безмолвно стал барабанить в стекло, и слезы ручьями текли на его мундир, который он так берег.

А Настя в то время уже плясала русскую перед Натальей Кирилловной по приказанию своей матери.

Глава XXXV

БУРЯ В СТАКАНЕ ВОДЫ

Настя долго плакала, оставшись посреди некрасивых приживалок, которые обступили ее и хором уговаривали не плакать, угрожая гневом хозяйки дома. Строгий и монотонный порядок, господствовавший в доме, был дик для Насти после свободной деревенской жизни. Зина с первого же дня подружилась с своей новой «сестрицей», и благодаря ей Настя познакомилась с характерами живущих в доме. Они бегали по ночам тихонько в сад, потому что днем Наталья Кирилловна ни минуты не давала свободы своим воспитанницам.

Настя в скором времени так подчинилась влиянию Зины, что терялась без нее; она не знала, что отвечать на вопросы Натальи Кирилловны, если не видела блестящих глаз Зины, в которых, казалось, она почерпала смелость и находчивость. Наталье Кирилловне понравились танцы Насти, и почти каждое утро после чаю Настя должна была плясать перед ней по-русски под скрыпку рослого и угрюмого Терентия.

С Насти не сняли сарафана, а напротив — сшили ей праздничный.

Федосье Васильевне не много стоило труда вновь приобрести расположение причудливой хозяйки благодаря богатому запасу новых сплетней и лести. Она упросила Наталью Кирилловну, чтоб ее дочь учили чему-нибудь. Гриша сделался учителем Насти и скоро полюбил ее за прилежание и прямоту характера — качество, довольно редкое в доме его тетки. Зина мало училась; во время уроков она пересказывала капризы своей благодетельницы, пересмеивала приживалок, передразнивая их лесть, их ссоры между собой, и часто так удачно, что Гриша, несмотря на серьезность свою, смеялся до слез.

Наталья Кирилловна тоже мешала Зине учиться; соскучившись, она отрывала ее от урока, говоря: «Ты разве

не можешь бросить свои глупые книги; видишь ведь, что я сегодня больна!» И Зина бросала урок и старалась развлечь ее.

Настя мало-помалу привыкла к этому новому образу жизни. Одно ее огорчало: Иван Софроныч поссорился с женой и с той поры Наталья Кирилловна запретила Насте видеться с ним.

Зина, любившая везде играть роль покровительницы, взялась пособить горю: она придумала тайные свидания отца с дочерью в комнате Гриши. И когда все ложились спать, она тихонько с Настей выбегала в сад к окнам Гриши, к которому часто ходил Иван Софроныч. Гриша сошелся со старичком и полюбил его.

Сообщничество Насти как бы одушевило Зину: она гораздо стала резвее,— придумала ночные прогулки, катанье на пруду; казалось, она только в том и находила наслаждение, что было сопряжено с таинственностию, страхом и опасностью навлечь гнев Натальи Кирилловны. Она выдумала особенный язык, понятный лишь Грише да Насте: он состоял из жестов и выразительных взглядов; вещи тоже играли в нем роль: например, если Зина за ужином просила Гришу налить ей стакан воды, Гриша понимал, что она будет с Настей у пруда, когда все лягут спать.

Ольга Петровна вздумала ниспровергнуть Зину и заменить ее у Натальи Кирилловны Настей, не опасной по своему характеру. Следя за Зиной, она скоро заметила ее выразительные улыбки и жесты, обращаемые к Грише, который в свою очередь отвечал ей такими же улыбками и жестами. Но, зная характер Зины, которая умела сухою выйти из воды в самых опасных случаях, Ольга Петровна не вдруг решилась действовать. Она подсматривала за ними в щели, подслушивала у дверей и окон. И наконец однажды, поздно вечером, стоя в саду под окном Гриши и слушая его разговор с Иваном Софронычем, она узнала, что они поджидают Настю с Зиной. Сердце у Ольги Петровны сильно билось от радости, и она спряталась в кусты, насторожив свои подвижные уши. Тихий смех и легкие шаги скоро послышались вблизи. Настя и Зина весело подбежали к окну, стукнули в него: оно раскрылось, и Иван Софроныч принял на руки Настю и внес в комнату. Пока отец беседовал с дочерью, Зина и Гриша, как сторожа, сидели на окне и весело болтали между собой, не подозревая, что невдалеке скрывается

их лютый враг, мучимый нерешительностью, что ему делать,— бежать ли и разбудить Наталью Кирилловну или позвать людей. Но, боясь находчивости Зины, Ольга Петровна решилась действовать вернейшим и скорейшим путем. Она кинулась стремительно к Зине и, схватив ее за руку, задыхаясь, сказала:

— А, наконец-то попалась! ну, вывернись теперь, посмотрим!..

Зина так испугалась, что упала на колени и, целуя руки Ольги Петровны, молила ее о прощении и обливалась горькими слезами. Но Ольга Петровна не тронулась ни унижением, ни слезами своей жертвы: она тащила ее за собой, грозя, что станет кричать, разбудит Наталью Кирилловну и весь дом, если Зина будет сопротивляться. Зина, трепещущая от страха, не сопротивлялась более. Она быстро сообразила, что в ночь можно будет придумать что-нибудь в оправдание своего поступка, и уже почти решилась свалить всё на Настю, зная ее пугливый характер. Итак, она молча и покорно пошла за своим врагом, но вдруг на половине дороги вскрикнула пугливо:

— Ах, лягушка, лягушка!

Ольга Петровна сильно боялась лягушек: услышав страшное известие, она взвизгнула и, выпустив руку Зины, сделала скачок в сторону. Зина тотчас же пустилась бежать от нее. Быстрота, с какой бегала Зина, была замечательна; ни Гриша, ни Настя никогда не могли ее поймать, нечего и говорить о старой перепуганной Ольге Петровне. Зина была уже у калитки и запирала ее, когда Ольга Петровна только опомнилась. Гнев старой девы был так силен, что она горько заплакала и дала себе торжественную клятву погубить Зину. А Зина лежала уже в постели в то время, как сторож отворил Ольге Петровне калитку.

На другое утро Ольга Петровна всё рассказала Наталье Кирилловне. Стали делать расспросы, Зина смело запиралась, уверяя, что она спала и ничего не знает.

Настя и Гриша молчали, видя, что им нет средств оправдаться. Федосья, желая смягчить гнев Натальи Кирилловны к своей дочери, рассказала некоторые проказы Зины; но Зина всё-таки продолжала запираться. Привели Ивана Софроныча, который не менее своей дочери был испуган. Разгневанная Наталья Кирилловна объявила ему, чтоб нога его не была в ее доме, а не то она выгонит и Настю.

Настя с плачем кинулась к Наталье Кирилловне и всё рассказала подробно. Гриша и Иван Софроныч подтвердили, что Зина точно участвовала в ночном свидании. Зина помертвела; глаза ее быстро перебегали от Гриши к Насте, от Натальи Кирилловны к Ольге Петровне, которая то и дело твердила:

— Она была с ними! она солгала!!

Наталья Кирилловна так рассердилась и огорчилась поступком своей любимицы, что слегла в постель. Зина отдана была на исправление под надзор Ольги Петровны, а Настя заняла место своей подруги. Первые дни страшно было посмотреть на Зину: она ничего не ела и всё плакала. Ольга Петровна придумывала всякого рода унижения для своей жертвы и в случае сопротивления шла жаловаться Наталье Кирилловне, которая наконец дала ей право наказывать Зину по собственному усмотрению. Зина безусловно покорилась своему врагу, увидав его превосходство, и искренно созналась в своих дурных поступках, причем говорила:

— Мне на вас наговаривали и упрашивали, чтоб я что-нибудь дурное сделала против вас. А я, по глупости, и послушалась. Простите, простите!

Она так смирилась, так угождала Ольге Петровне, что ненависть старой приживалки начала быстро таять, как снег от весеннего солнца. Каждый вечер Зина находила случай чем-нибудь польстить старой деве и на кого-нибудь насплетничать. Даже Настя не была пощажена. Зина наговорила на нее страшных вещей Ольге Петровне, угадав, что злость старой девы требовала постоянной пищи. Внимательность Зины стала трогать Ольгу Петровну,— всё, что любила она, Зина тоже любила и холила: она возилась с рыжим котом, как с ребенком, затыкала щелки в окнах и дверях ватой, зная, что Ольга Петровна боится сквозного ветра, и наконец довела своего врага до того, что Ольга Петровна стала ходатайствовать за Зину у Натальи Кирилловны, давно скучавшей по своей болтливой и находчивой воспитаннице. Настя нравилась ей только как хорошенькая девочка; но она давно уже решила, что новая ее воспитанница глупа,— потому что не умеет сочинить ничего интересного ни про девичью, ни про другие комнаты, что в них говорится и делается. Зина знала от горничной всё, что делала и говорила Наталья Кирилловна, и часто повторяла Ольге Петровне:

— Ах! я была бы рада, если бы меня навсегда оставили с вами!

Но этого не случилось.

Наталья Кирилловна назначила день, в который Зина должна была явиться к ней выслушать наставление и затем прощение.

Зина явилась в залу тихим шагом, с поникшей головой, слабая и бледная(два дня перед тем она нарочно морила себя голодом), и, став на колени перед своей благодетельницей, отчаянно сказала:

— Лучше уморите меня с голоду, только простите!

Наталья Кирилловна хотя и была тронута бледностью Зины, но долго еще не произносила прощения, читая мораль над склоненной головой воспитанницы, и когда наконец она произнесла слово прощения, Зина радостно вскрикнула и упала без чувств на пол.

Этот обморок окончательно примирил благодетельницу с любимой воспитанницей, которая нисколько не проиграла, не видав долго Наталью Кирилловну, а напротив — выиграла, потому что в период удаления Зины капризная старуха удостоверилась, что никто, кроме Зины, не в состоянии так развлекать ее.

Зина хорошо отплатила Ольге Петровне за ее ходатайство: она таких вещей насказала про нее Наталье Кирилловне и так славно умела зацепить самолюбие старухи, что навсегда поселила в ней неприязненное чувство к старой деве.

Огорченная холодностью Натальи Кирилловны, Ольга Петровна еще сильнее стала притеснять тех, кого могла.

Настя каждый день получала от нее выговор.

Приживалки, чтоб подольститься к Ольге Петровне, тоже преследовали Настю. Зина только наружно сохраняла к ней прежнюю дружбу, а сама была главной двигательницей всех преследований, обрушившихся па голову бедной девочки. Зина много имела причин не любить Настю. Настя была лучше ее лицом, умела уже хорошо читать и писать и часто своей откровенностью и наивностью брала верх над хитростями Зины,— так что Зине становилась вдруг неловко. Федосья Васильевна знала много проделок Зины, и потому Зина боялась явно вредить Насте. Года шли. Настя и Зина из девочек превратились во взрослых девиц. Настя хорошела с каждым днем, за что Зина окончательно почувствовала к ней ненависть. От Зины не могло укрыться предпочтение,

которое Гриша оказывал Насте; Зина старалась всеми средствами унижать Настю в его глазах, чтоб выказаться самой. Она пробовала их ссорить; но Настя не была злопамятна и скоро мирилась с Гришей.

Влияние Зины в доме стало резко обозначаться. Ее тон со всеми был повелительный и только в присутствии Натальи Кирилловны смягчался. Она давно уже гадала о женихах, которые, по словам льстивых приживалок, легионами бежали к ней.

Зина знала всех соседей около дома и со многими молодыми людьми раскланивалась, переглядывалась, как с коротко знакомыми. Она страстно любила общество и за неимением его бежала в девичью, в застольную, где шла нескончаемая беседа.

Настя не разделяла удовольствий Зины, которая часто звала ее соней. Раз Настя сидела за книгой. Прибежала Зина от Натальи Кирилловны и, вырвав у своей подруги книгу, сказала:

— Ну что тебе за охота учиться? ведь мы теперь не дети. Лучше пойдем в сад: посмотрим через забор,— может быть, опять эти офицеры проедут.

И Зина тянула Настю за руку. Настя защищалась, говоря:

— Оставь: я боюсь, я не хочу!

— А-а-а! это потому, что Гриша сердился! — воскликнула Зина.

— А разве он не прав? ну, если бы они перелезли через забор?

И на лице Насти изобразился такой испуг, что Зина, закричав: «У-у-у! лезут! лезут!», начала смеяться.

Настя пожимала плечами, глядя на смелость своей подруги, которая вдруг обиделась и гордо сказала:

— Ну что ты так важно на меня смотришь? А знаешь ли, почему Гриша рассердился, зачем мы смотрели через забор?

— Почему?

— Неужели не догадываешься?

И лицо Зины приняло лукавое и самодовольное выражение; она протяжно произнесла:

— Из ревности! Ты понимаешь: ему досадно, если я говорю с кем-нибудь другим или гляжу на кого-нибудь другого. Ты только замечай. Например, отчего он к тебе так строг, а мне никогда слова не скажет, хоть у него не учусь, шалю в классе.

— Так, значит, он тебя больше любит? — обидчиво спросила Настя.

— Вот, матушка, когда заметила! Да он мне проходу не дает: всё просит у меня ручку поцеловать; я смеюсь, посылаю его попросить у тебя руку, а он мне говорит: «Я ни за что не поцелую у нее руки: она такая соня».

Настя вся вспыхнула и стала спорить с Зиной, уверяя, что она лжет; но Зина столько насказала фактов в подтверждение своих слов, что Настя расплакалась, а Зина прыгала по комнате и пела. Оскорбленная Настя два дня не говорила с Гришей. Зина была ужасно весела в эти дни. Но ссора не была продолжительна. Грише не много стоило труда выведать причину гнева Насти, которая, не замечая, сама всё высказала. Гриша очень серьезно просил Зину вперед не говорить никаких глупостей о нем. Зина всё повернула в шутку, уверяя, что она всё выдумала, с тем чтоб посмотреть, как Настя обидится.

— Ах, Гришенька,— с наивностью перебила Зина,— она вас очень любит, и я ее за то люблю.

Зина говорила чистую ложь. Раз случилось, что Настя проиграла пари Грише; он имел право просить ее о чем захочет.

— Я знаю, я знаю, что вы ей велите сделать! — выразительно улыбаясь, говорила Зина.

— Ну, что? — спросил Гриша.

— Надеть сарафан: вы уверяете, что он к ней идет.

— Ошиблись: я попрошу, чтоб она позволила мне поцеловать ее руку.

Настя ни за что не соглашалась. Зина с жаром доказывала, что она делает дурно, потому что, гроиграв, должно платить. Гриша должен был употребить хитрость, чтоб получить свое пари.

Через день Зина, на тех же условиях, проиграла пари Грише и, как будто с испугом, сказала ему:

— Ради бога только не целуйте моей руки!

И она стала в оборонительное положение.

Но Гриша и не думал: он успокоил ее и просил Зину идти к Наталье Кирилловне и выпросить позволение покататься. Зина вся вспыхнула, бросила злобный взгляд на Настю и гордо отвечала:

— Я держала пари с вами, а это ее желание, я знаю.

— Что вам за дело! вы проиграли и должны исполнить,— заметил Гриша.

— Зачем же вы меня заставляли вчера исполнить мой проигрыш? — спросила Настя с упреком.

Зина так рассердилась пренебрежением Гриши, что ядовито отвечала своей подруге:

— Потому что я видела, как вам хотелось, чтоб поцеловали вашу руку.

Настя горько заплакала. Гриша поссорился с Зиной и назло ей стал оказывать Насте гораздо более внимания и обходиться с ней не как прежде, запросто и по-дружески, но с необыкновенной предупредительностью. Эта предупредительность приняла большие размеры вследствие смерти Федосьи Васильевны, о которой Настя много плакала; в последнее время болезни своей матери она не отходила от нее, и больная, умирая, ни о чем более не думала, как о своей дочери; она всех поодиночке упрашивала не оставлять ее Настю,— не только Зину, у которой она целовала руки, но даже горничную, ходившую за ней, умоляла беречь ее Настю. Гришу она также призывала к себе, благодарила за любовь, попечение о Насте и просила защищать ее в доме от притеснений.

Этим временем Зина опять подружилась с Настей и Гришей; но между тем она часто прибегала в комнату к Ольге Петровне, возмущенная будто бы обращением своей подруги с Гришей.

Ольга Петровна сделалась тенью Насти. Она начала доказывать беполезность классов, говоря, что, кроме шалостей, в них ничего нет хорошего. Ольга Петровна довела даже до сведения Натальи Кирилловны о кокетстве Насти, и Насте был сделан строгий выговор. Бедная девушка горько плакала, Гриша бесился, Зина утешала их и советовала Насте делать всё назло Ольге Петровне. По наущению Зины, Грише запрещено было принимать Ивана Софроныча у себя. Наталья Кирилловна доказывала, что ее родственнику не след иметь знакомство с такими людьми. Гриша тайком ходил к Ивану Софронычу и носил вести от дочери к отцу, и наоборот. Так как говорить Насте с Гришей было запрещено, то между ними, разумеется, началась переписка. Зина была их посредником. Каждый день Ольга Петровна выдумывала новую нелепость на Настю, которая наконец впала в отчаяние и целые дни не переставала плакать. Раз, жестоко оскорбленная приживалками и Ольгой Петровной, Настя как сумасшедшая прибежала к себе в комнату и написала отцу письмо, умоляя его заступиться за нее. Она была

так далека всякого кокетства с Гришей, что долго не догадывалась о причине претерпеваемых ею гонений. Настя обратилась к Зине за советом, как бы передать Грише письмо, чтоб он как можно скорее отнес его к Ивану Софронычу.

Зина долго отговаривалась, будто из страха, наконец решилась передать письмо.

— Когда же ты ему передашь? — спросила Настя.

— Ах, боже мой! когда найду поудобней случай; ведь у Ольги Петровны, ты знаешь, кошачьи глаза; она знает каждый наш шаг.

Настя, полная искренней благодарности, рассказала Зине свои планы, которые состояли в том, что, выведенная из терпения, девушка решилась бежать из дому, если отец ее не возьмет.

— Да ты трусиха! ну где тебе! — восклицала Зина и затем рассказывала ужасы, которые все в доме будто бы думают и говорят про Настю.

Бедная девушка бледнела и краснела от негодования и, рыдая, говорила:

— Господи, кому я сделала столько зла, чтоб выдумывать на меня такие вещи!

— Что попусту плакать! ты решись только,— я с Гришей всё устрою, а потом выпрошу прощенье у Натальи Кирилловны; она наконец увидит, как солоно нам было от этих старых ворон.

Настя колебалась.

— Ну ты хоть напиши Грише, что хочешь бежать; посмотри, что и он согласится бежать с тобою. А к отцу не стоит писать,— только его испугаешь.

И Зина разорвала письмо к Ивану Софронычу и чуть не силою заставила Настю писать к Грише, что она решилась бежать из дому. Написав, Настя колебалась отдать ей эту записку; но Зина выхватила ее и, выбежав из комнаты, сказала:

— Я не ожидала, чтоб ты была такая глупая!

Зина уже давно тайно беседовала с Ольгой Петровной; на этот раз они долго советовались. Когда все собрались в столовую, уши у Ольги Петровны делали телеграфические знаки непрестанно, шея превратилась в шею индейки, глаза блистали, как у кошки, подстерегающей мышь. Она находилась в сильном волнении и поминутно подергивала за ленты свой ридикюль и фыркала.

Сели за стол, и лишь только Гриша взялся за салфетку,

как Зина кашлянула, что было между ними условным знаком, что она желает сообщить ему что-нибудь,— Гриша взглянул на Зину, и в ту же минуту Ольга Петровна, сидевшая возле него, схватила письмо с тарелки и, подняв его кверху, воскликнула:

— Что это?

Гриша вздрогнул и хотел его вырвать; но Ольга Петровна пронзительно взвизгнула.

Настя помертвела, узнав свою записку.

Наталья Кирилловна пришла в сильный гнев, объявив, что ее дом не трактир, и приказала подать к себе письмо; его поднесли к ней на тарелке и положили возле нее, и затем она приказала подавать суп.

Гробовое молчание воцарилось в столовой; обед тянулся ужасно медленно для Насти и Гриши, которые ничего не ели. Зина следовала их примеру.

— Ты, глупенькая, что не ешь?— ласково спрашивала Наталья Кирилловна Зину, которая, тяжело вздыхая, принималась кушать.

Настя от ужаса и стыда сидела неподвижно, дико глядя на всех, как бы желая найти хоть в ком-нибудь участие к своему положению; но, кроме презрительных улыбок, она ничего не встречала на чужих лицах. Гриша, бледный, сидел понурив голову. Наталья Кирилловна, казалось, ожила: она барабанила с силою по столу, повертывала свою голову довольно быстро то к Грише, то к Насте, которую приказала обносить, сказав лакею: «Мимо, мимо!»

Гриша при этих словах вскочил из-за стола, смотря на Настю, которая, закрыв лицо, припала головой к столу.

Наталья Кирилловна строго сказала Грише:

— Что это, милостивый государь! как вы смеете вскакивать из-за стола, когда я сижу?

— Я... вас хотел...

— Садитесь! — перебила его Наталья Кирилловна.

— Я не могу и про...— начал было Гриша; но, встретив пугливый взгляд Насти, как бы молящий не оставлять ее одну, Гриша сел на свое место и, гордо подняв голову, дерзко смотрел в глаза всем приживалкам, которые, потупляя свои в тарелки, язвительно усмехались. При всей своей жадности Ольга Петровна ела мало и ни разу не взглянула на Гришу и, как бы боясь его, отодвинула свой стул от него. Но Гриша не обращал внимания на свою соседку: он взорами поощрял убитую отчаянием

и страхом Настю, на которую даже лакеи поглядывали с улыбкой. Приживалки и все ожидали сцены после стола; но Наталья Кирилловна обманула ожидание всех; она, принимая благодарность за обед, при одном приближении Насти с презрением сказала:

— Не подходи! — И, обратясь к дворецкому и указывая на трепещущую Настю, продолжала: — Тиковое платье! вынести ее кровать в девичью да дать ей вместо пера чулки штопать. А вы, милая Ольга Петровна, присмотрите за всем.

И Наталья Кирилловна, опираясь на плечо Зины, важно вышла из комнаты. За ней понесли на тарелке письмо. Зина, удаляясь, бросила Грише печальный взгляд, как бы желая им сказать, что она приготовилась на жертву.

Лишь только удалилась Наталья Кирилловна, приживалкам как будто привесили языки. Они заахали, затараторили.

Приживалка с мутными глазами, мотая головой, сиплым голосом своим говорила:

— Господи! какие нынче девушки бесстыжие!

— Хорошо, что мать-то умерла! — восклицала другая.

— Да, нагоревалась бы наша Федосья Васильевна,— вот бы и увидала, что знай сверчок свой шесток,— говорила первая, мотая головой и глядя своими мутными глазами на бледную Настю.

— Убила бы ее, право, убила бы! — хором провозгласили приживалки и, провожая ее до девичьей, клялись друг перед другом, что таких ужасов в доме еще не было с основания его.

Настю привели в девичью, и началась церемония: расчесали волосы Насти на две косы и вплели в них мочалку, надели на нее тиковое платье с коротенькими рукавами. Приживалки суетились, ссорились; горничные смеялись и ахали. Настя, молча, как автомат, повиновалась всему. Когда кончился туалет, Ольга Петровна сказала:

— Посмотрите, да это платье гораздо лучше идет к ней! настоящая горничная!.. ха-ха-ха!

— Поздравляем с новой товаркой вас, девушки! — подхватили другие приживалки.

Настя была выведена этими выходками из бесчувственного положения и стала горько плакать.

Уши у Ольги Петровны запрыгали, лицо покрылось

пятнами, и такая страшная улыбка появилась на ее лице, что ее можно было сравнить разве с улыбкой Мефистофеля, когда он смотрел на плачущую Гретхен.

Наталья Кирилловна полудремала, убаюканная рассказами Зины, которая никогда ничего неприятного не говорила ей после обеда, даже если сама Наталья Кирилловна приказывала.

— Что вам угодно,— говорила она,— но я не могу сказать теперь ничего: это вредно для вашего желудка!

Зина и на этот раз отказалась отвечать на вопросы своей благодетельницы, которая, грозя Зине пальцем, ласково говорила:

— Смотри, не заодно ли ты с ними?

— Ах! сохрани меня боже, такого сраму наделать и так огорчить вас!

— Хорошо, кабы все так думали,— говорила себе под нос Наталья Кирилловна, стараясь заснуть; но ей хотелось самой скорее начать сцену, которая во весь вечер могла бы ее занять.

— Читай же! спать не могу,— сказала Наталья Кирилловна, приподнимаясь с постели.

— Ах, не рано ли? не принять ли вам успокоительных капель? — возражала Зина.

— Читай, читай скорее! — повелительно перебила Наталья Кирилловна и уселась в креслы.

Зина робким голосом прочла письмо.

Наталья Кирилловна вспылила страшно; она надавала Насте разных эпитетов и грозилась ее наказать, как наказывают маленьких детей.

— Бежать из моего дому! каково?! Послать сейчас же за отцом ее. Я ему покажу, до чего он баловством довел свою дочь. Бежать! да куда же она, дура, хотела бежать?

— Не знаю-с!.. верно, Гришенька...

— Говори! ты, верно, знаешь, что-нибудь.

Зина потупила глаза и робко произнесла:

— Я, право, часто ей выговаривала, но... мне самой было стыдно.

— Говори складней! — крикнула Наталья Кирилловна.

Зина плавно сочинила на Настю целую историю: будто бы Настя намекала ей, что она, если захочет, будет своя в доме, а не воспитанница.

Наталья Кирилловна, как бы пораженная какой-то ужасной мыслью, потребовала, чтоб письмо Насти было прочтено во второй раз. Зина, желая нанести своей подруге окончательный удар, прибавила от себя фразу, которая так взбесила Наталью Кирилловну, что она вскочила с своих кресел и стала ходить по комнате, делая страшные угрозы.

— А-а-а! Нет, много слишком возмечтала! я ее заставлю мыть полы в доме. А ты! ты что глядела? а? ты жила в одной комнате с ней? а?

Зина никак не ожидала, чтоб Наталья Кирилловна возмутилась до такой степени.

Старуха приказала позвать Ивана Софроныча и готовилась объявить при нем наказание его дочери.

Приживалки горели от нетерпения узнать, чем кончится история, и спорили о том, какое наказание определит Наталья Кирилловна.

— Я бы на ее месте за такое поведение просто-запросто положила бы да...— говорила Ольга Петровна.

— Будь она у нашей матушки, она так и сделала бы. Уж вот как строга была! Бывали и мы молоды, а ничего такого не случалось! — говорила приживалка с зобом, мотая головой.

— А вот я как была молода, так на мужчин боялась глядеть,— подхватила другая.

— Ну да, кажется, в прежние времена девушки стыдливее были,— заметила третья.

Иван Софроныч радостно бежал на призыв, думая, что, верно, Наталья Кирилловна сняла с него оковы и позволила ему повидаться с дочерью.

Все собрались в залу, выходящую на террасу. Наталья Кирилловна сидела на своем кресле, строгая и угрюмая. Зина, слегка бледная, стояла возле и тревожно глядела на всех. Гриша мрачно стоял у окна: он знал характер своей тетки и страшился за бедную Настю.

Иван Софроныч вошел в залу, раскланиваясь со всеми. Его поразило выражение лиц Гриши и Зины. Лицо Зины давно уже служило термометром, безошибочно определявшим состояние духа хозяйки. Наталья Кирилловна, не отвечая на поклон Ивана Софроныча, приказала привести Настю.

Иван Софроныч сконфузился; ему стало что-то неловко; на кого он ни глядел из приживалок, все как-то странно улыбались.

Ольга Петровна ввела Настю в залу. Увидев отца, Настя кинулась к нему; но он отступил назад, воскликнув:

— Настенька! Настя!

Иван Софроныч с ног до головы осматривал наряд дочери, которая отчаянно зарыдала.

— Настя, что это значит? — весь дрожа, спросил Иван Софроныч.

— Что это значит! а то, что она так будет ходить, пока не исправится,— сказала Наталья Кирилловна.

— Что ты сделала? — воскликнул Иван Софроныч.

— Я не знаю! — рыдая, отвечала Настя.

— Боже мой! Ах, скажите, какая дерзость! она еще запирается! — воскликнули приживалки.

Ольга Петровна, давно жаждавшая говорить, передернув ушами, сказала:

— Если бы у нее был хороший отец да не потакал бы ей, он бы не стал и говорить с такой дочерью.

— Что ты сделала? говори! — запальчиво повторил вопрос свой Иван Софроныч.

— Я не знаю, за что на меня надели это платье! — громко отвечала Настя.

— За что? а я вот ему покажу! — возвысив голос, сказала Наталья Кирилловна, и, обратясь к Зине, она прибавила: — Подай письмо старому баловнику!

Зина объявила, что оно осталось в спальне, сначала обшарив карманы своего передника.

— Ну, пошла, принеси! — сердито отвечала Наталья Кирилловна и обратилась к Ивану Софронычу, на лице которого показались крупные капли поту; он так переминался, как будто ему трудно было стоять на ногах: — Я призвала тебя полюбоваться на твою дочь. Она стоила бы, чтоб ее выгнали из дому, потому что она не только Зине, но и горничным моим может подать дурной пример.

— Скажите, ради бога, скажите скорее, что могла сделать моя Настя? — умоляющим голосом произнес Иван Софроныч.

Зина в ту минуту вошла в залу и объявила, что письма не нашла.

Наталья Кирилловна вспылила, выслала ее искать его и, обращаясь к Ивану Софронычу, допрашивавшему свою дочь, что она сделала, грозно крикнула, оскорбленная недоверчивостью его:

— Она негодная девчонка,— довольно с тебя!

— Она моя дочь, и я хочу знать, в чем ее обвиняют,— с неожиданной смелостью возразил Иван Софроныч.

— Как? я наказала твою дочь, а ты вздумал у меня требовать отчета?.. Да я не такое еще придумаю ей наказание.

Настя вскрикнула и кинулась к отцу. Гриша тоже подошел к Ивану Софронычу, который сел на стул и, помолчав с минуту, тихо сказал:

— Господи! скажут ли мне всю правду?

— Расскажите ему всё, что дочь его делала у меня в доме! — произнесла Наталья Кирилловна, и приживалки радостно объявили отцу, что его дочь вешалась на шею Грише и хотела бежать из дому.

Иван Софроныч, как бы пораженный громом, зажал уши и, схватив Настю за руку, в отчаянии сказал:

— Настя, неужели всё это правда? скажи.

— Это чистая ложь! — громко и твердо произнес Гриша.

Наталья Кирилловна вскочила со стула, выпрямилась и с минуту не могла ничего сказать. Иван Софроныч тем временем жал руку Грише и твердил:

— Спасибо: вы сняли камень у меня с груди.

— А, вы заодно! — воскликнула Наталья Кирилловна.— Так вот почему ты прикидывался, что не понимаешь, что я тебе говорю! Да как ты смел вбить себе в голову такие дерзкие мысли?

Наталья Кирилловна пришла в сильный гнев.

— Что я такое сделал, матушка? она дочь моя... неужели...

— Молчать! твоя дочь дура, а ты старая лисица! Но со мной плохо хитрить. Я никогда не позволю вам поймать его в свои сети! — И она указала на Гришу и повелительно продолжала:— Чтоб нога твоя не была у этого интригана!

Иван Софроныч только тут понял, в чем дело. Он придвинул свою дочь к себе, приподнял ее склоненную голову и, поглядев ей в глаза, покойно сказал:

— Это всё вздор! мы ни в чем не виноваты! — Голос его возвысился, и он продолжал:— Посмотри прямо на всех: пусть они видят, что мы невинны,— и пойдем отсюда.

И он повел Настю к двери.

Наталья Кирилловна не ожидала такого результата.

Никто еще из ее дому не уходил добровольно. Она воскликнула:

— Куда ты ее ведешь?

— Из вашего дому,— кланяясь, отвечал Иван Софроныч.— Ей оставаться здесь не след. Я вам отдал дочь свою ребенком. Если бы, чего боже сохрани, она испортилась, то вы, сударыня-матушка, как вторая ее мать, всему были бы виноваты и должны были бы дать ответ богу за нее. Пойдем, Настя, пойдем; отец твой найдет, чем прокормить тебя.

— Остановите его! — грозно сказала Наталья Кирилловна, не признавая ничьих распоряжений у себя в доме.

Приживалки кинулись к двери. Наталья Кирилловна продолжала:

— А, голубчик! ты думаешь меня провести: ты потому свою дочь уводишь, чтоб тебе удобнее было заманивать моего племянника. Но я...

Наталья Кирилловна была прервана восклицанием Гриши, который полным негодования голосом сказал:

— Тетушка, не оскорбляйте его!

Иван Софроныч, дрожа всем телом и запинаясь, однако, громко произнес:

— Григорий Михайлыч! в доказательство вашей тетушке, что мы с дочерью не имеем ровно никаких видов на вас, прошу покорнейше избавить меня от ваших посещений. Поберегите и так невинно пострадавшую девушку. Да, Настя, знай: ты лишишься отца, если ослушаешься...

Настя кинулась на грудь к отцу, который, гладя ее по голове, говорил, обращаясь к Наталье Кирилловне:

— Прощайте. Дай бог, чтоб никто более не нуждался отдавать свое детище в чужой дом!

С этими словами Иван Софроныч с Настей оставили залу, где все были поражены словами и голосом старика.

Наталья Кирилловна слегла в постель. Зина в этот день приняла очень много лекарств, потому что ее благодетельнице не нравился вкус их, то соленый, то сладкий, и она поминутно требовала новых лекарств, то в порошках, то в пилюлях, которые, по заведенному порядку, Зина должна была сначала пробовать.

Глава XXXVI

ПЛЕМЯННИК ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

Разлука с Настей имела на Гришу сильное влияние. Он сделался мрачен, молчалив; везде ему было скучно, ничем не мог он заняться, и бедная девушка не выходила у него из головы. Он слишком хорошо знал ничтожные средства отца, но помочь горю ничем не мог, да и Иван Софроныч упорно стоял на том, что Гриша нанесет ему страшное оскорбление и посягнет на его честь, если будет принимать какие-то ни было меры для свидания с Настей.

Все удовольствия Гриши сосредоточились в прогулках мимо дома Насти, с которой он раскланивался; но и это недолго продолжалось. Он получил письмо от Насти, которая самым сухим и вежливым тоном просила его прекратить прогулки, потому что они оскорбляют ее.

Гриша наконец обиделся мерами, какие принимал против него Иван Софроныч: старик в один месяц переменил три квартиры, чтоб Гриша потерял след, и вообще действовал против Гриши так, как будто против отъявленного соблазнителя. Гриша решился оставить Настю и старика в покое и стал думать о своем незавидном положении. Ему хотелось оставить праздную жизнь; он решился начать служить. Но по этому поводу у него завязалась борьба с Натальей Кирилловной, которая требовала, чтоб Гриша находился при ней и покорялся ее капризам. Гриша противился, не хотел являться на глаза тетки и упорством своим наконец заставил старуху поколебаться. Она торжественно явилась сама к Грише в комнату, в сопровождении приживалок, и, удалив всех, исключая Зины, начала объяснение с племянником, который обезоружил ее своим спокойным и решительным тоном, объявив, что он желает распоряжаться собой и своим временем, как ему заблагорассудится. Наталья Кирилловна с ухода Насти была как будто несколько помешана на том, что все имеют намерение последовать ее примеру, и часто, рассердясь на Зину, говаривала: «Ну, что? и ты тоже уйдешь от меня?»

Гриша ревностно принялся служить. Он скучал постоянно о Насте, но старался объяснять свою апатию другими причинами и принуждал себя быть любезным с Зиной, которая оказывала ему всевозможные услуги и посвящала его во все свои тайны. Она часто вздыхала

довольно выразительно; но Гриша был так рассеян, что не замечал этих вздохов.

Ольга Петровна вскоре после ухода Насти поняла, что была игрушкой Зины; но власть Зины так была уже упрочена, что дерзко было бы помышлять ниспровергнуть ее. Ольга Петровна решилась оставаться наружно в хороших отношениях с любимицей хозяйки, как ни трудно было ей удерживаться от едкого слова или взгляда.

Зина слишком хорошо всё понимала; и странно было смотреть на них, когда они друг перед другом вежливыми словами и приветливыми улыбками старались замаскировать свои настоящие чувства.

Остальные приживалки трепетали перед Зиной, льстили ей более, чем самой Наталье Кирилловне, и каждая старалась оказать ей какую-нибудь услугу, чтоб заслужить ее расположение. Впрочем, весь дом боялся ее: прислуга знала, что участь каждой и каждого часто зависела от одного ее слова.

Прошел год, в продолжение которого характер Натальи Кирилловны изменился: хладнокровное упорство ее смягчилось, хотя она стала ужасно раздражительна, что помогло Зине еще более упрочить свою власть в доме. Одно слово в такие минуты могло решать участь домашних. Зина одна знала причину такой перемены. Племянник, живший за границей, так мотал, к тому ж управляющие так обкрадывали Наталью Кирилловну, опекуншу всего имения племянника, что требовалось огромной суммы, чтоб привести дела в порядок. Наталья Кирилловна тайно продала все свои брильянты, заняла под залог своего имения значительную сумму денег и, послав их племяннику, требовала, чтоб он немедля ехал к ней для устройства дел. Но племянник, получив деньги, веселился, откладывая день на день свой отъезд. Наталья Кирилловна сначала сердилась, потом пришла в отчаяние, когда племянник вновь потребовал денег для выезда своего из-за границы. Вновь сделали заем и послали деньги.

Гриша узнал от Зины обо всем. Она ему тихонько показала разные условия и обязательства, сделанные Натальей Кирилловной с <кредиторами> через посредство своего управляющего, который уже нажил себе сотни тысяч от управления их имением. Гриша написал обо всем бывшему своему товарищу детства и умолял его немедленно возвратиться и позаботиться о своих делах. Ответ на письмо Гриши был дружеский и полный отчаяния:

причина вся состояла в том, что ему не выслали желанной суммы и он должен был, может быть в первый раз в жизни, отказать себе в какой-нибудь прихоти. Наконец бывший Павленька, а теперь Павел Сергеич, назначил день своего приезда.

Наталья Кирилловна от радости всё забыла. Начались приготовления в доме. Калитка, соединявшая задний двор с главным, отворилась. Траву щипали между камнями, мыли окна, разоряли гнезда птиц, уже несколько лет имевших спокойный приют в карнизах. Чистили замки, выколачивали мебель, ковры. Дворня всё делала весело, ожидая нетерпеливо барина, который своими прихотями сделал многих счастливыми по их положению.

Для Зины сшили новое платье, а приживалкам были розданы обновки из гардероба их благодетельницы. Музыканты, давно не бравшие в руки инструментов, сыгрывались. Многие из них были исключены из этого звания по уважительным причинам: они даже забыли, как должно держать инструмент в руках.

Гриша был завален счетами дворецкого, у которого лицо приняло такое масленое, умиленно-благодарное выражение, как будто все его приготовления делались единственно с одной целью — доставить ему удобный случай погреть хорошенько свои руки. В это время Зина не имела ни минуты спокойствия: все приказания хозяйки дома шли через нее. Разнородные выговоры и гнев прежде всего обрушивались опять-таки на Зину, которая с примерным терпением всё сносила. Для благодетельницы всегда была готова веселая улыбка на губах Зины. Может быть, потому она так терпеливо всё выносила, что сама слишком интересовалась приездом племянника своей благодетельницы. Еще ребенком он произвел на Зину сильное впечатление. Пылкое воображение Зины, как ни было обуздываемо неравенством положений, однако уносило ее далеко-далеко. Она отыскала через приживалок старую, безобразную грузинку, которая приготовляла разные умывания для лица, рук и шеи и помаду для сообщения блеска волосам. И Зина, не довольствуясь благоприятными предсказаниями приживалок, гадавших засаленными картами, тайно разъезжала с грузинкой по всем гадальщицам, всё гадая о чем-то.

Наконец настал день приезда Павла Сергеевича Тавровского. Наталья Кирилловна с самого утра начала ждать. Всё было готово для его принятия. От заставы

до дома были расставлены верховые, которые заранее должны были предупредить о въезде дорогого гостя. Все родные и давно забытые знакомые были приглашены на этот вечер на бал, блеском которого Наталья Кирилловна желала показать, что слухи, начинавшие ходить по городу о расстройстве их дел, были ложны.

Павел Сергеич не приезжал. Уже дом ярко загорелся сотнями свеч. Железные ворота стояли настежь, кареты с грохотом въезжали под арки подъезда. Гости толпились в залах и гуляли по саду, великолепно иллюминованному. Уличная публика толпилась на дворе и унизывала забор сада, глазея на гостей и на разноцветные шкалики. Музыканты, посаженные в беседке, играли разные бальные танцы.

Наталья Кирилловна, вся в бархате и кружевах, томилась ожиданием. Она перестала уже занимать гостей; вместо конфектов и фруктов ей поминутно подносили лекарства. Зина бегала и суетилась около раздраженной старухи, которой, наконец, от ожидания сделалось дурно; ее отвели в спальню. Гости, соскучась ждать, разъехались. Огни погасли, и заржавленные ворота с жалобным писком вновь закрылись. Всё уже в доме погрузилось в сон, утомленное дневной беготней; одна Зина бодрствовала, хотя должна была бы прежде всех лечь спать, потому что всех больше хлопотала и утомилась.

Еще в бальном наряде, она сидела перед столом и что-то писала; сложив письмо, она раскрыла окно и, внимательно поглядев в темноту, тихо произнесла:

— Петр!

— Я здесь! — раздался голос снизу.

Зина завязала письмо в носовой платок, бросила его в окно и через минуту спросила:

— Нашел?

— Да! — ответил тот же голос.

— Смотри, в собственные руки!

— Будьте покойны: я сам отдам; только уж вы всё устройте.

— Я обещала, так исполню,— гордо произнесла Зина, и, закрыв окно, она запрыгала по комнате, произнеся выразительно: — Дождусь ли я завтрашнего дня?

И она у зеркала стала делать реверансы, то с самой серьезной миной, то с улыбкой. Долго билась Зина, чтоб увидеть свое лицо с потупленными глазами, повертывая в руках маленькое зеркало,— наконец с досадою бросила

его, сняла бальное платье, надела ночной туалет и уселась за туалетный столик, окружив себя склянками, коробочками и баночками.

Стук в доску сторожа в саду, казалось, испугал Зину; она поспешно убрала батарею баночек и, бросив на себя последний взгляд в зеркало, проговорила:

— Пожалуй, завтра глаза будут сонные.

И она легла в постель, но долго еще ворочалась, тревожимая неприятными ощущениями, которые испытала на бале; надевая свое новое платье, она ожидала, что произведет эффект, а на нее никто из гостей не обратил даже внимания. Миниатюрная Зина не могла произвести большого эффекта в бальном наряде, который требует прежде всего, чтоб женщина была высока ростом и с пышными плечами. Зина была лишена того и другого; рост ее особенно терял потому, что она вечно стояла подле Натальи Кирилловны, которая имела мужской рост.

И последней мыслью Зины в эту ночь было, что по ее положению в обществе ей должно отложить всякую надежду на удовольствия такого рода.

В комнате, убранной с некоторой роскошью, за карточным столом расположилась, сидя и стоя, довольно большая компания мужчин, судя по их туалету и разговору принадлежащих к людям богатым и светским. Между ними резко отличался один господин лет тридцати, замечательной красоты, которая невольно бросалась в глаза. Всё в его фигуре было гармония. Он, казалось, был главным лицом: острил, ставил огромные куши на карту, пил вино и говорил тонкие любезности хозяйке дома, которая также участвовала в игре. Она была уже не первой молодости, но сохранила еще весь блеск красоты. В ее выразительном лице поражала вас смелость взгляда, которая могла смутить всякого. Черты ее лица дышали необыкновенной силой воли. Голос ее то был резок, то вдруг смягчался; она говорила очень умно,— но что-то едкое преобладало в ее словах. Она, казалось, считала долгом каждому сказать что-нибудь обидное. Посреди этой компании обрисовывалась мрачная фигура очень пожилого человека, одетого бедно и небрежно. На его желтом лице было разлито какое-то тупое уныние. Он был из числа зрителей и жадно следил за хозяйкой, которая очень быстро тасовала и метала карты.

Лица играющих мало-помалу стали изменяться; куши увеличивались. Краска вспыхивала по временам на лице банкомета. Вдруг воцарилась тишина. Господин замечательной красоты горячился и увеличивал куши; наконец он поставил весьма значительный куш. Все не без трепета следили за выпадавшими картами, исключая самого понтера.

— Убита! — резко произнесла хозяйка, придвигая к себе деньги.

Глаза ее, казалось, сделались больше. Она, тасуя карты и смеясь, сказала, обращаясь к проигравшему:

— Ваш дебют нехорош у нас; будьте осторожнее!

— Я надеюсь, что ваши советы относятся к одним только картам! — весело отвечал проигравший.

— Я вас так давно не видала, что не решилась бы давать других.

— А в память нашего старого знакомства?

— Старость имеет слабую память,— отвечала язвительно хозяйка и, обратясь к другим, прибавила:— Новая талия!

Пожилой и мрачный господин робко поставил свою карту и, запинаясь, сказал хозяйке...

— Вы позволите? я хочу попробовать...

— Ставьте, только не сорвите банка! — отвечала хозяйка, пристально взглянув на поставленные им деньги.

Некоторые засмеялись, другие только удостоили насмешливым взглядом пожилого господина, ничего не замечавшего, кроме падавших карт. Болезненный вздох вырвался у него из груди, когда его карта была убита. Он обратился тогда к молодому белокурому господину с наглым выражением лица и тихо, дрожащим голосом сказал:

— Дайте мне взаймы, хоть в память моих одолжений, сделанных вам в старину.

Белокурый господин дерзко отвечал:

— А кто за вас поручится, что вы заплатите мне?

— Тише, ради бога, тише,— пугливо шептал старик, бросая тревожные взгляды на хозяйку.

— Если хозяйка дома ручается, то я готов!

— Не надо!.. — тоскливо воскликнул пожилой мужчина.

Но белокурый господин, смеясь, громко сказал:

— Вы платите за него нынче и карточные долги?

— Нет, я только плачу за его квартиру и стол,— отвечала хозяйка.

На желтом лице пожилого мужчины как бы вспыхнула краска. Он бросил злобный взгляд вокруг себя и, сев вдали от стола, повесил голову на грудь. Поза его была так полна тоски, что невольно возбуждала участие. Гости продолжали играть, когда красивый господин окликнул пожилого человека и сказал:

— Что же вы не принимаете участия в игре?

— Я... у меня нет денег,— мрачно ответил пожилой мужчина.

— Господа! я отвечаю за какой бы то ни было его проигрыш. Идите сюда: ставьте карту.

— Что такое? нет! я не позволю! — сказала хозяйка.

— Отчего? разве вам не всё равно — проигрывать мне, другим или ему?

— Я имею свои причины! — насмешливо объявила хозяйка дома.

В это время вошедший лакей сказал ей что-то на ухо; она, окончив талию, передала карты другому и вышла из комнаты.

Пожилой мужчина радостно кинулся к столу и поставил карту.

Хозяйка скоро возвратилась и, отозвав красивого господина к окну, молча отдала ему записку; он прочел в ней следующее:

«О вашем приезде знают. Я боюсь неприятностей для вас. Поспешите увидеть вашу родственницу: она от ожидания слегла в постель и очень сердита на вас».

— Это что за добрый гений завелся у тетушки? — улыбаясь, сказал господин.

— Я знаю его,— отвечала хозяйка.

— Это каким образом?

— Я видела эту девушку, когда она была ребенком. Первое время вашего отъезда я старалась узнать, где вы и как живете,— и через горничных виделась с этой девочкой, которая всё знала.

— А, так вы разведывали обо мне? это мне лестно! — кланяясь, перебил ее господин.

— Да, только мое присматриванье имело не такую причину, о какой вы думаете: я хотела знать, что мне оставалось делать.

— Ну и вы решились меня забыть?

— Настолько, насколько вы меня забыли.

— Таинственная записка доказывает, как я вас забыл. Целый день сижу у вас. А кто принес записку?

— Ваш Петр; он сказал мне, что ему отдала какая-то девушка.

— Боже! сколько таинственности из пустяков!

— Однако эти пустяки устроили ваш отъезд и много доставили мне неприятностей и слез.

— Не забудьте, сколько тому лет прошло! и неужели вы теперь стали бы плакать?

— О нет, ручаюсь вам, я способна теперь только других заставлять плакать.

— Сколько в вас перемен! Вы для меня совершенно новое лицо.

— Если я изменилась в хорошую сторону, то вы можете гордиться: я считаю вас моим наставником.

Разговор был прерван гостями, приглашавшими их продолжать игру.

Наталья Кирилловна еще спала, а уже в доме ее происходила страшная суета по случаю приезда Тавровского. После долгих объятий племянника с теткой последняя подала сигнал приживалкам, чтоб они в свою очередь поздоровались с приезжим.

С писком, со слезами кинулись на племянника приживалки, стараясь непременно поцеловать его руку, которую он прятал.

— Ах, наша радость! солнце! благодетель, красавец, картинка! драгоценный! — такими восклицаниями осыпали его приживалки.

Ольга Петровна, подергивая ушами, сделала красноречивое приветствие, сохраняя всю важность главной приживалки в доме.

Наталья Кирилловна обратилась к своей любимице и строго сказала:

— Зина, а ты что не здороваешься? поди поцелуй руку у Павла Сергеича. Ты узнал? — прибавила она, обращаясь к племяннику: — Это ведь дочь твоего дядьки.

Зина побледнела и, выступив немного, сделала почтительный реверанс.

— Я руку приказываю тебе поцеловать ему! Что ж ты? — грозно заметила Наталья Кирилловна.

— Тетушка! — с упреком воскликнул Павел Сергеич, и, взяв дрожащую руку Зины, он поцеловал ее.

Зина вся вспыхнула; приживалки зашептались. Наталья Кирилловна обиделась и сказала племяннику:

— Что это? ты целуешь у ней руки!

— Так позвольте, я поцелую ее, как целовал ребенком.

И Павел Сергеич нагнулся поцеловать Зину, которая уклонилась и, сделав реверанс, лукаво улыбнулась.

Ольга Петровна задыхалась, смотря на Зину, удостоенную такой чести от Павла Сергеича, и потом тихонько говорила в девичьей:

— Ну, мойте свои руки: может быть, Павел Сергеич и у вас поцелует руку!

— Хи! хи! Мы барышни, что ли! — восклицали горничные.

— Да ведь поцеловал же у этой интриганки! И какой он стал нехороший!

Но неудовольствие Ольги Петровны на Павла Сергеича не имело последствий; сама же она старалась заговаривать с ним и услуживать ему. Впрочем, всё глядело в глаза приезжему, и чуть не до драки доходило между приживалками, если он просил подать что-нибудь за столом.

Наталья Кирилловна, привыкшая к грубым формам, в которых домашние подносили ей лесть, оставалась довольна внимательностью приживалок к племяннику и говорила ему:

— Видишь, как они тебя любят!

И она сделала только выговор Грише, будто бы он сухо встретил своего родственника, хотя оба они, и Павел Сергеич и Гриша, встретились очень дружески. Зина очень понравилась Павлу Сергеичу, тем более что это было единственное молодое, небезобразное лицо между старыми девами, населявшими дом. Он часто за обедом обращался к ней с услугами и заговаривал. Но Зина едва отвечала ему, и раз, встретив Павла Сергеича в пустой зале, Зина робко сказала ему:

— Ради бога, будьте осторожнее!

— Как? — спросил удивленный Павел Сергеич.

Зина, озираясь, боязливо отвечала шепотом:

— Со мной!

— Отчего?

— Я после скажу...

И Зина хотела уйти, но Павел Сергеич удерживал ее за руку. Зина, вся задрожав, умоляющим голосом сказала:

— Ах, пустите меня!

— Сейчас! только скажите мне, что значат ваши слова?

Павел Сергеич заинтересовался таинственностью слов Зины, которая, вырвав свою руку, побежала от него, скороговоркой сказав:

— Вечером, в беседке.

После ужина, когда Наталья Кирилловна улеглась спать, Зина побежала в сад, и прямо в беседку. Она была в сильном волнении, ходила взад и вперед по беседке, бросалась на диван, вздыхала тяжело,— но, заслышав шаги, встрепенулась, кинулась к раскрытому окну и приняла грациозную позу. Зина делала вид, что не слышала, как вошел Павел Сергеич в беседку, и когда он уже подошел к ней близко, она пугливо вскрикнула.

— Чего вы испугались? — спросил Павел Сергеич, смотря Зине в глаза, блиставшие в полумраке светлой весенней ночи.

Зина, помолчав, сказала с наивной улыбкой:

— Не правда ли, я страшно неосторожна? но для спокойствия дома я готова решиться на всё...

И она вдруг изменила свой голос и с ужасом спросила:

— Ну а если кто узнает в доме, что я была здесь?

— Никто не посмеет вам ничего сделать, если вы мне позволите быть вашим защитником!

И Павел Сергеич взял Зину за руку, которую она с чувством пожала, сказав:

— О, я теперь не так боюсь вас...

И Зина, не окончив фразы, потупила глаза.

Посидев молча, Павел Сергеич спросил Зину:

— Что же, вы мне хотели сказать причину,— почему вы лишаете меня удовольствия говорить с вами?

— Даже глядеть на меня,— подхватила с наивностью Зина.

— Это слишком! — смеясь, заметил Павел Сергеич.

— Нисколько! вы забыли, верно, характер вашей тетушки и не знаете, как погибла в этом доме одна девушка, бедная, как и я, от интриг и наговоров.

— Что же насказали о ней тетушке?

— Я уж и не знаю каких ужасов па нее не взводили. А вся ее вина была в том, что она немного говорила и смеялась с Гришенькой; а тетушке вашей насказали, будто бы она завлекает его, чтоб он женился на ней.

Павел Сергеич улыбнулся и сказал:

— Ну, будьте покойны: тетушка не поверит никому, если вздумают взводить такие нелепости на меня.

— Да мне-то нисколько не легче будет. Гришенька остался у тетушки, а несчастной уже нет в доме. Она должна была идти к отцу, который ровно ничего не имеет.

— А хороша была она? и Гриша был влюблен в нее?

— Не спрашивайте меня: я ничего не знаю.

— Так вы боитесь старых сплетниц?

— Неужели вы не видите почему? — с ужасом воскликнула Зина.

— Причина очень недостаточная для того, чтоб я лишился удовольствия говорить с вами; но, если вы прикажете, я исполню это, только позвольте мне хоть глядеть на вас.

И Павел Сергеич устремил свои проницательные глаза на Зину, которая потупилась и весело сказала:

— Я довольна и тем, что вы согласились со мной не говорить; а то, может быть, само собой придет.

— Вы меня оскорбляете! Неужели вы думаете, что я профан какой-нибудь! Нет, такие глаза, как ваши, не скоро забываются.

— Зачем вы смеетесь надо мной? — вскочив с места, оскорбленным голосом сказала Зина.

Павел Сергеич долго не мог уверить Зину, что он сказал серьезно.

— Прощайте! мы в последний раз говорили с вами! — сказала Зина.

— О нет! я умру с тоски, если вы запретите мне хоть несколько минут видеть вас здесь.

— Боже мой! вы хотите, чтоб я и завтра сюда пришла! — воскликнула Зина с удивлением.

— Да, теперь моя очередь с вами переговорить насчет одной дамы.

— Об Ольге Петровне? — перебила его Зина.

— О нет! о даме, не живущей здесь.

— Я никого не знаю.

— Увидим.

— Прощайте!

— До завтра?

— Не знаю...

И Зина выбежала из беседки.

Дружба Павла Сергеича к Зине возбудила страшные толки между приживалками.

— Помните, девушки, недаром Зинушка всё в барыни играла маленькая. Вот теперь под руку идет с Павлом

Сергеичем и катается с ним в экипаже,— говорила приживалка с зобом, мотая головой.

— Да уж, видно, такова уродилась: в игольное ушко влезет!

Глава XXXVII

ИВАН СОФРОНЫЧ ПОЛУЧИЛ МЕСТО

Тихий и угрюмый дом Натальи Кирилловны шумно оживился с приездом Тавровского. Особая и лучшая часть дома была отдана в его распоряжение. Тавровский издержал огромную сумму на меблировку своей квартиры и удивил всех необыкновенным вкусом, с которым убрал ее. Наталья Кирилловна сначала ужаснулась при виде страшных счетов, по которым пришлось ей уплачивать мебельщикам, обойщикам, всяким мастеровым; но когда наконец всё было кончено и Павел Сергеич пригласил ее на новоселье,— старуха растаяла; тонкий вкус, гармония, изящество и оригинальность господствовали в убранстве комнат. После скромного семейного новоселья Тавровский сделал обед и собрал всё, что было тогда в Петербурге молодого, блестящего и богатого. Все были в восторге от хозяина, и в самом деле трудно было встретить человека, в котором так блистательно соединялись бы прекрасные внешние качества с блестящим умом, утонченною светскостию, остроумием и образованностию. Тавровский соединял в себе столько блестящих сторон, что самое точное описание его характера покажется самым невероятным. С какой стороны ни взглянули бы на него, он являлся решительно первым между всеми окружающими его. Красота его была поразительна. Он был высок ростом и необыкновенно строен; лицо его, не будучи образцом правильности, соединяло в себе столько красоты, ума, привлекательного добродушия, что всякое красивое лицо рядом с ним становилось незаметным; одними глазами его можно было любоваться по нескольку часов: так они были выразительны, столько в них было наивности, насмешливости, нежности и грации. С нежным, по-видимому, сложением соединял он страшную физическую силу. Руки его были малы и нежны, как у женщины, но в то же время он мог разогнуть ими подкову. Начиналась ли дружеская пирушка, он был решительно первый на ней: пил больше всех,

и вино, по-видимому, не имело на него никакого действия; он мог пить и тогда, когда уже его приятели едва держались на ногах; свобода, допускаемая на приятельских пирушках, была, по-видимому, его сферой; он не уступал никому в резкости выражений, и между тем вы могли заметить, что он не утратил еще способности покраснеть иногда от легкой двусмысленной выходки. Попадал ли он в круг так называемой светской молодежи, он тотчас с двух слов впадал в тон общества, овладевал разговором, и все заслушивались его; он знал породы лошадей, их пороки и достоинства, как будто готовился посвятить себя коннозаводству; у него было много редкого оружия всех родов; он хранил в своей памяти много анекдотов и случаев из собственной жизни, богатой приключениями и проказами,— всем этим умел он пользоваться с удивительной ловкостию и тактом. Ум его был жив и остер, и не было случая, где бы он потерялся и не нашелся. Как он учился, много ли он знал — это было вопросом для самих его приятелей. Но если ему случалось провести вечер в компании, которая меряет людей на свой педантический аршин,— он выходил оттуда полным победителем, очаровав тяжеловесных педантов своим знанием, уменьем взглянуть на всё с новой стороны и удивив их еще более легкостию и живостию формы, в которую умел облекать самые сухие, самые отвлеченные умозрения. Женщины сходили от него с ума, и он был ими избалован. Ко всем блестящим качествам своего ума и наружности он присоединял прекрасный голос и знал музыку. Из заграничной его жизни сохранился анекдот, который дает понятие о том, как он иногда пользовался своим голосом. В каком-то маленьком итальянском городке он сошелся от скуки с артистами тамошнего театра и часто проводил время в их кругу. Раз, после хорошего обеда, на котором присутствовали и первые сюжеты труппы, Тавровский с приятелями отправился в театр. Они шумно заняли места в первом ряду. Опера шла довольно благополучно, пока не появился первый тенор, занимавший первую роль. Он также присутствовал на обеде, но не рассчитал своих средств и выпил более, чем следовало. При появлении его на сцену приятели переглянулись. Первый тенор вошел на какое-то возвышение, но едва начал свою арию, как голос у него оборвался... он не мог продолжать. Тавровский поднялся со своего места, подхватил арию и пропел ее при общих рукоплесканиях публики. Таких выходок много сохранилось в памяти лю-

дей, знавших Тавровского. Все они свидетельствуют о необыкновенной находчивости его ума, смелого и оригинального.

Читателю еще часто придется в последующих частях романа встречаться с Тавровским. Здесь не место вдаваться в подробное описание его многостороннего характера, который должен развиться постепенно, сам собой. Следует рассказать только события, предшествовавшие отъезду Тавровского из Петербурга. Это случилось с небольшим через год по возвращении его из-за границы. В этот год Тавровский истратил в Петербурге до миллиона и задолжал почти столько же; он вел жизнь праздную, рассеянную и шумную, давал праздники, проказничал, был записным театралом, проигрывал страшные суммы. Лошади и экипажи его были лучшие в городе, и он поминутно то дарил, то проигрывал их, а себе заводил еще лучшие. Игра не была его исключительной страстью: он мог не играть вовсе целый год и даже ни разу не вспомнить о картах, но если уже попадал за зеленый стол, то играл страстно, безрассудно, забывал всё, кроме карт. За картами он изумлял своею горячностию, страшными кушами, но еще более необыкновенной физической крепостию. Казалось, он мог вовсе не спать. В то время как люди, с которыми он играл, менялись, он один готов был сидеть сколько угодно, пересиживая самых отчаянных банкометов, которые, играя с ним, уходили спать поочередно. Два миллиона, прожитые в год, доставили ему в Петербурге общую популярность: у одних он слыл за мота и чуть не помешанного, у других — за отличнейшего малого, приятного собеседника и надежного товарища; у всех вообще — за прекрасного, но взбалмошного человека. А ему просто было скучно; *такая полоса была тогда,* как он сам иногда обозначал некоторые периоды своей жизни; он был до того избалован людьми и счастьем, что ему никогда и в голову не приходило спрашивать: зачем он делает то или другое? и хорошо ли это? и не лучше ли не делать или сделать иначе? И он никогда не задавал себе таких вопросов, и никогда не жалел о том, что сделано. Он так же легко делал и хорошее, как дурное; только он никогда не искал ни того, ни другого. Немало было людей, где-нибудь потихоньку благословлявших его имя, потому что если ему случалось сделать добро, то он никогда не делал его вполовину, и человек, которому посчастливилось возбудить его сострадательность, уже на всю остальную жизнь не нуждался более ни в

чьем участии. Эти благородные порывы, которые почти всегда делались известными — не через самого Тавровского, который через минуту забывал о них, а потому, что они всегда отличались оригинальностью,— мирили с ним тех, кого возмущала его расточительность. Все же прочие, знавшие его, отзывались о нем с восторгом, потому что, проматываясь, он если и делал вред, то одному себе. Выходки его всегда были забавны и оригинальны. Когда популярность его возросла в Петербурге до такой степени, что о нем начали говорить тотчас после погоды и дневных новостей, один актер — тогдашний комик и любимец публики — вздумал копировать его: он оделся точь-в-точь как Тавровский, усвоил его манеры, походку и явился на сцену. Тавровский всех более аплодировал актеру, громко хвалил его, и на другой день актер получил посылку с коротенькой запиской: «Милостивый государь! вы сыграли свою роль превосходно, благодарю вас; одну только неверность заметил я: на вас были стеклянные запонки, а Тавровский не носит никаких, кроме брильянтовых, которые и прошу вас принять в знак моего уважения к вашему таланту. Тавровский».

Таков был Тавровский; все удивлялись ему, все подчинялись неотразимому влиянию его ума, любезности, привлекательности, и самые кредиторы его сознавались, что, придя к нему с решительным намерением вытребовать свои деньги, они чувствовали, поговорив с ним полчаса, желание предложить ему еще в долг денег.

Хотя состояние Тавровского было огромное, однако ж два миллиона, прожитые в один год, вместе с долгами, сделанными им за границей, ужаснули Наталью Кирилловну. Много раз пробовала она остановить расточительность племянника; но убеждения и просьбы старухи были бесполезны. Других, более решительных мер она употребить не могла, потому что имение было его, да у нее и недостало бы сил, потому что она без ума любила своего племянника. Он так мило извинялся в своих издержках и шалостях, так красноречиво давал слово исправиться и так убедительно умел просить денег, что она решительно не находила в своей голове возражений. Видя, однако ж, что дела клонятся к опасному концу, она решилась хоть отделить свое имение от имения племянника,— на тот случай, что если он промотается, то ему останется еще ее часть. Поэтому, сложив с себя опеку, она требовала, чтоб Тавровский сам вступил в управление своим имением и ехал

бы на год или на полтора в деревню для поправления дел. В этом ей удалось наконец убедить Тавровского, которому начинала уже надоедать разгульная городская жизнь.

Богатые имения его находились в двух губерниях. В одно Тавровский ехал сам. В другое нужно было послать опытного управляющего. Гриша убедил Тавровского взять Ивана Софроныча.

По приглашению франта камердинера, Иван Софроныч, тщательно выбрившись и надев свой поношенный вицмундир, явился к Тавровскому.

А Гриша тем временем побежал в Коломну, отыскал маленькую квартиру Понизовкина и робко постучался. Ему отперла Настя.

Она обрадовалась и перепугалась, увидев Гришу, и, не пуская его за порог, с упреком сказала ему:

— Зачем вы пришли? Разве не сами вы дали слово, что никогда...

— Знаю,— отвечал Гриша.— Но я пришел проститься с тобой, Настя. Пусти же!

Настя побледнела, но не пустила его в комнату.

— Разве вы едете? — спросила она.— Куда?

— Не я, а вы поедете,— отвечал Гриша.

— Мы?

Гриша со слезами рассказал ей всё. Настя так была тронута его великодушным ходатайством, что шире раскрыла дверь и впустила Гришу в комнату. Тут они простились, поплакали и поклялись вечно любить друг друга.

— Дай мне что-нибудь на память,— сказал Гриша.

Настя отрезала ему такой пучок своих чудесных волос, какого не соберешь со всей головы иной петербургской красавицы, и счастливый юноша, целуя его, прижимая к сердцу, побежал домой.

Понизовкин понравился Тавровскому своею откровенностию и добродушием, и дело между ними в тот же день сладилось. Понизовкину выдана была изрядная сумма на подъем, и через неделю Иван Софроныч с Настей сидели уже в покойной кибитке и отправлялись в дальнюю губернию, где снова ждали Ивана Софроныча спокойствие, довольство и деревня, которую он так любил.

Несмотря на неожиданный и счастливый оборот обстоятельств после бедной и трудной жизни в Петербурге, Иван Софроныч был довольно печален.

— Ох, тяжелая, тяжелая ноша! — шептал он по временам, щупая свой боковой карман, значительно оттопы-

рившийся.— Опять везу тебя в деревню; опять будешь лежать бесполезно, и бог весть, когда придется исполнить завет Александра Фомича и благодетеля моего Алексея Алексеича... царство им небесное!

Настя тоже была печальна, и они ехали молча.

Спустя месяц отправился в деревню и Тавровский. В доме Натальи Кирилловны снова водворилась тишина; мрачность и запустение опять постепенно вступили в права свои на дворе, и в саду, и вокруг всего дома, а внутри его закипела по-прежнему мелкая, копотливая жизнь, полная интриг, сплетней, грубой лести и мелкой зависти. Перспектива скуки, однообразия, горьких, кислых и соленых лекарств, раздражительных капризов и выговоров снова открылась перед Зиной, и Зина не дремала....

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

Глава XXXVIII

Одно из великих летних наслаждений — отдохнуть в жаркий день после продолжительной ходьбы под тенью ветвистого дерева, которое ревниво бережет влажность земли около себя, как бы заботясь о жертвах безжалостного солнца. Подобное наслаждение, казалось, испытывал красивый господин, лежавший в полудремоте под большим деревом в густом лесу. Туалет его был в страшном беспорядке. Ворот тонкой рубашки был расстегнут и выказывал мощную грудь и удивительно красивое горло — редкость в мужчине. Жилет едва виднелся; сюртучок из темной летней материи весь был в паутине; светлые панталоны на четверть мокры и покрыты болотной тиной; тонкие сапоги тусклы и тоже мокры. Густые волосы молодого человека, слегка влажные у висков и лба, были все откинуты назад. Фуражка с маленьким козырьком валялась на траве, и шведские перчатки были далеко отброшены. Галстух висел на сучке. Маленькое ружье, стоявшее у дерева, доказывало, что щеголеватый господин запасся им единственно из предосторожности, потому что других принадлежностей охоты незаметно было ни около него, ни в его туалете, который шел скорее для прогулки по расчищенному парку, чем по дикому лесу. Долго лежал он, полный приятной неги, изредка лениво обмахивая свое раскаленное жаром лицо платком и отгоняя насекомых, которые тучами кружились над его головой. В лесу господствовала глубокая тишина, среди которой жужжание мухи казалось уже чем-то шумным. И тем резче и поразительнее после этой величественной тишины подействовали на молодого человека дикие крики, внезапно раздавшиеся в

лесу и показавшиеся ему воплями погибавшего. Он проворно вскочил на ноги, надел фуражку и, схватив ружье, кинулся смело в ту сторону, откуда слышались крики. Эти крики раздавались всё ближе и ближе, и наконец между ними послышался звонкий, веселый смех.

Щеголеватый господин прошел в кустарник и нетерпеливо ждал, что предстанет его глазам. В глубине леса, между деревьями, мелькало что-то пестрое и неслось прямо к небольшой равнине, за кустами которой был он скрыт.

С визгом и криком вбежали на площадку две женские фигуры: как дикие козы, они прыгали, бегали, догоняя друг друга и размахивая длинными сучьями, которыми каждая была вооружена и от которых листья разлетались во все стороны. Странность их туалета так поразила скрытого наблюдателя, что он не вдруг мог понять, что такое он видит. Пестрые ситцевые платья обрисовывали стройные и гибкие их талии; руки, шея были открыты; на плечи накинуты были куски белого полотна, узлом завязанного у горла; на этих лоскутках, как змеи, резко отделялись черные их косы. Лица и плечи были закрыты широкими листьями репейника, которые около головы образовывали что-то вроде полей пастушеской шляпы,— вероятно, для защиты лица от солнца.

Эти странные фигуры после нескольких минут беготни бросились, тяжело дыша и смеясь, на траву, как бы только для того, чтоб снова и с большей быстротой начать бегать.

Щеголеватый господин из своей засады никак не мог хорошо разглядеть их лиц; однако он подметил в те минуты, когда на бегу листья на их голове подымались от лица и снова припадали, как бы поддразнивая его любопытство, что они смуглы, с огненными глазами; а по быстроте движений и их ловкости он ясно мог заключить, что они еще очень молоды.

Наконец одна из них, утомленная, упала на траву, что-то сказав на странном языке. Подруга последовала ее примеру, но не для того, чтоб отдохнуть: она стала кататься по траве быстро, как шар, брошенный по скату горы. Наконец она вдруг неожиданно остановилась при повороте на спину, закинула руки за голову, отведя сначала листья от своего лица, и, щурясь, стала глядеть на небо. То была молодая худощавая цыганка с чертами лица правильными и резкими. Ее смуглота была с лоском и с таким ярким

румянцем, как будто в нем было что-то кровавое. Брови сходились на ее высоком лбу, густые ресницы придавали ее и без того черным глазам страшно дикий блеск. Губы были тонки, так что довольно большие зубы постоянно были на виду, и легкая черная тень на верхней губе придавала им страшную резкость. Курчавые ее волосы были сине-матового цвета, а заплетенные две косы крутились, как змеи. Подруга ее резко отличалась нежностью своей кожи, хотя тоже смуглой. У ней не было этого кровавого румянца и той лоснящейся смуглоты, ни тех матово-сизых курчавых волос. Казалось, тип цыганский смягчился в ней в самую лучшую его сторону. Глаза у ней были черны, но длинные мягкие ресницы смягчали их блеск; брови не сходились, как у первой, а нежно были проведены. Волосы были длинны и слегка вились только около лба и на висках. Она была среднего роста; формы ее были более округлены. Движения и смех — всё было в ней мягче, чем у худощавой цыганки. Она отбросила от своего лица завялые листья и, накинув на голову кусок полотна, приняла полулежачую позу и как бы о чем-то думала, разглядывая траву и лениво перебрасываясь словами с лежавшей на спине цыганкой.

Щеголеватый господин не мог оторвать глаз от диких красавиц. Он затруднялся, которой цыганке отдать преимущество, и пожелал оставить свою засаду, но лишь только сделал первое движение, как чуткие уши дикарок заслышали его, и в одну секунду они были на ногах и, держа друг друга за руку и готовясь бежать, однако, глядели туда, где скрывался щеголеватый господин. Любезно кивая им головой, он решил выйти из своей засады. Завидя незнакомца, цыганки прижались ближе друг к другу и с любопытством, смело смотрели на щеголеватого господина, который снял им фуражку и делал дружеские жесты. Дикарки смотрели на него, и худощавая цыганка резко спросила его довольно чисто по-русски:

— Зачем ты здесь прятался?

Он обрадовался, узнав, что цыганки говорят по-русски, и сказал им:

— Вы меня перепугали: я думал, что кто-нибудь попался в лапы медведя.

— Здесь нет медведя!.. А ты зачем пришел сюда? разве не знаешь, что стрелять в этом лесу запрещено? Твое ружье отнимут,— гордо говорила худощавая цыганка.

— Неужели так скуп здешний барин? Ведь он, говорят, стар: где ему по лесам таскаться! Да вы-то как не боитесь одни в таком лесу гулять?

— Чего нам бояться! мы не заблудимся.

— Так скажите-ка, как мне выбраться из лесу поскорее? я устал... и не проводите ли вы меня?

Цыганка худощавая засмеялась и сказала:

— Как пришел, так и уйди.

— Ого, какая злая!.. Ну а ты что всё молчишь? ты, верно, не знаешь по-русски? — спросил щеголеватый господин другую цыганку, которая всё время с любопытством разглядывала его.— Погадай-ка мне — какое мое счастье?

И он протянул ей свою руку. Цыганка гордо отвернула голову, что-то сказала по-цыгански своей подруге и, отойдя в сторону, прислонилась к дереву.

— Какая гордая! — любуясь ею, сказал щеголеватый господин и, обратясь к худощавой цыганке, продолжал: — Ну погадай хоть ты... А как тебя зовут?

— Стеша! — отвечала цыганка.

— Ну погадай-ка, Стеша.

Стеша взяла его руку и, смеясь, стала ему гадать с разными цыганскими прибаутками.

Подруга ее улыбалась, слушая болтовню Стеши.

— Славно! так я буду богат! хорошо! Ну, как же мне тебя поблагодарить?..

Цыганка отскочила от него и, садясь, сказала:

— Не смей подходить.

— Это отчего?.. Ну давай бегать: посмотрим, догоню ли?..

— Догони! — крикнула цыганка и пустилась бежать.

Щеголеватый господин после долгой беготни догнал цыганку, которая стала вырываться у него из рук.

— Люба, помоги, помоги мне! — говорила она.

Цыганка, стоявшая у дерева, кинулась на помощь своей подруге; но лишь только она подошла, как щеголеватый господин оставил Стешу и бросился к Любе с ласковым движеньем. Люба отшатнулась назад, грозно взглянув на незнакомца, в лицо которого Стеша бросала травой, землей, сучьями — всем, что попадало ей под руку.

— Перестань! — защищая глаза, кричал щеголеватый господин.

Но Стеша кинула горсть сырой земли ему в лицо. Он пустился бежать за ней и, догнав, силился овладеть ее ру-

ками, которыми она рвала его волосы и царапала лицо. Наконец она устала, и вместо смеха послышался жалобный стон.

Подруга ее, тоскливо следившая за борьбой, вдруг улыбнулась; тихонько подкравшись к незнакомцу, она вынула из кармана своего платья небольшой складной ножик, ловко перерезала тесьму от ружья, висевшего у него за плечами, и завладела им. Он кинулся за похитительницей, но худощавая цыганка бросилась ему под ноги: он, потеряв равновесие, растянулся по траве. По лесу раздался торжествующий смех, повторяемый эхом; и цыганки пустились бежать.

На лице щеголеватого господина показалась досада. Вставая, он стал было очищать себя, но усмехнулся и пустился догонять похитительницу ружья. Он было догнал ее, но тотчас отскочил, потому что она прицелилась в него и таким решительным и грозным голосом сказала:

— Не подходи: я выстрелю!

— Ты ранишь себя, оставь ружье! — закричал щеголеватый господин, видя, что она взвела курок.

— Оставь нас, не догоняй!..— отвечала похитительница ружья.

— Оставь ты ружье; я не сделаю ни шагу за вами.

— Обманешь, он обманет! — подхватила худощавая цыганка.

— Я отдам тебе ружье, только влезай на дерево,— объявила владетельница ружья.

— Это зачем? — спросил удивленный господин.

— Для того, чтоб мы успели убежать подальше от тебя, если ты вздумаешь догонять нас.

Щеголеватый господин призадумался и, сняв с себя сюртучок и бросив фуражку, начал карабкаться на дерево. Он с ловкостью взбирался на него, поощряемый криками цыганок: «Выше, выше!», и они, прыгая около дерева, заливались детским смехом.

Взобравшись на самую верхушку, он крикнул цыганкам:

— Это что за дом там, на горе?

— Не твой! — смеясь, отвечала худощавая цыганка.

— Ах, какой вид чудесный отсюда!.. А вот и озеро, да это целое море... у-у-у! и конца ему нет! — кричал с верхушки щеголеватый господин.

Цыганки этим временем шептались между собою, и вдруг похитительница ружья выстрелила на воздух, а худо-

щавая цыганка всыпала в дуло горсть сырой земли. И они со смехом пустились бежать, бросив ружье.

Щеголеватый господин проворно слез с дерева; но их уже не было и следов. Взяв ружье и увидев, что оно набито землей, он ворчал себе под нос:

— Дурак я, ведь это не девушки, а какие-то бесенята.

С минуту он стоял в недоумении, наконец снова стал взбираться на дерево, говоря:

— Погодите, дикарки: я ведь отсюда увижу, куда вы убежали.

Через две-три минуты он снова был на земле и, схватив ружье, пустился бежать. Ему не нужно было долго бежать. Лес шел скатом к громадному озеру, и на берегу его он увидал отдыхающих цыганок; они, верно, не подозревали погони, потому что покойно сидели спиной к лесу. Щеголеватый господин, как змея, стал спускаться, прячась за деревья; но цыганки, верно, почувствовали чье-нибудь приближение, повернули головы и очутились на ногах. Они без боязни ждали приближения незнакомца, и худощавая цыганка крикнула ему:

— Ты не прячься: мы тебя видим и не боимся.

Щеголеватый господин пошел прямо к ним и строго сказал:

— Зачем вы испортили мое ружье, а? Знаете ли, что, если бы вы не были такие хорошенькие, вам досталось бы от меня.

Худощавая цыганка дерзко заметила:

— Мы и без тебя знаем, что мы хорошенькие; да если бы были и дурные, то ты не посмел бы с нами ничего сделать.

— Ну что вы храбритесь? откуда вы?

— Из озера,— смеясь, отвечала худощавая цыганка.

— Стеша, перестань! — заметила ее подруга и хотела идти.

— Куда вы хотите идти? Ну так и я пойду с вами, потому что теперь, по вашей милости, я и дороги не найду.

— Не смей идти за нами! — с горячностью сказала худощавая цыганка.— Тебе так и надо, заблудись здесь,— раз попавши к озеру, не уйдешь от него!

— Ну, полно стращать-то меня этим озером: я ведь не мужик, что испугаюсь его. Да вы-то сами как попали сюда? Ведь тут, куда ни взгляни, всё болото, и с той и с другой стороны.

— Прилетели! — смеясь, отвечала подруга Стеши.

— Ну так дайте мне ваших крылышков отлететь домой. Я же так устал.

И щеголеватый господин сел на траву.

— Пойдем домой,— сказала подруга Стеши.

— Куда же вы хотите идти?

Но цыганки кинулись к озеру, прямо в осоку, и скрылись.

— Они, кажется, правду сказали, что из озера вышли! —ворчал господин и побежал за ними.

Шум и треск осоки и плеск весла об воду пояснили ему всё. Он было хотел идти по берегу, по направлению шума высокой осоки, где плыла лодка, но топкое болото помешало ему. Ноги его глубоко вязли, и щеголеватый господин повернул назад и, дойдя опять к скату леса, взобрался на раздвоенное молнией дерево и стал искать лодку глазами. Но никаких следов не было. Кругом было тихо. Огромное озеро как зеркало было гладко; полуденное солнце играло широко на воде. Плеск рыб иногда нарушал гладкость воды, надолго оставляя круг, который, расширяясь бесконечно и как бы утомясь, исчезал.

Беззаботное красивое лицо щеголеватого господина по мере созерцания озера стало чем-то омрачаться; он, как бы сделав усилие над собой, тяжело вздохнул, тряхнул головой и проговорил:

— Как хорошо и в то же время грустно здесь. Недаром это озеро называется Мертвым. И только одни дети, у которых еще нет никаких упреков, могут быть здесь веселы, как эти дикарки.

И он снова впал в задумчивость. Вдруг осока вдали зашелестила, и лодка выскользнула на гладкую поверхность воды. Худощавая цыганка гребла и пела, а ее подруга стоя правила веслом.

Над ее головой надувался, как белое полотно, парус.

Щеголеватый господин, любуясь ею, кивал дружески головой и махал платком на прощанье. Лодка неслась быстро, оставляя за собой на воде резкий след, как будто мощные руки управляли веслами.

Лодка стала уменьшаться, фигура стоявшей цыганки слилась, только надувшееся полотно над головой ее резко отделялось. Скоро лодка совершенно исчезла за осоками, но голос худощавой цыганки был еще явственно слышен; наконец и он затих; тогда озеро снова приняло свою величественную тишину и как бы опять навеяло грусть на щеголеватого господина.

Глава XXXIX

На другое утро, в тот же самый час, как накануне, на берегу озера, у ската горы, спал щеголеватый господин. Туалет его на этот раз был гораздо удобнее и проще.

Вокруг была та же величественно-печальная тишина, нарушаемая тем же плеском рыб в озере, и так же ослепительно играло солнце на поверхности вод.

Привязанная к дереву лошадь, вся в мыле, зорко озиралась кругом и как бы в остервенении стучала зубами о мундштук.

Вдали, около берега, в осоке, показалось легкое колебание, оно приближалось, и шелест травы замер вблизи от спящего. Лошадь поводила ушами и смотрела на осоку, из-за которой через несколько минут показались две смуглые головки молодых цыганок, которые, разводя руками осоку, осторожно двигали лодку к самому берегу и, улыбаясь, глядели на спящего.

— Я тебе говорила, что он здесь,— шепотом говорила худощавая цыганка.

Подруга ее, приложив палец к губам, произнесла: «тс!»

— Он спит.

— Да может проснуться.

— Посмотри, Люба, как лошадь страшно глядит на нас,— говорила худощавая цыганка.

На что Люба отвечала:

— Да, хорошенькая лошадь.

— Лучше твоей!

— Ну так и есть! вот выдумала! — обидчиво сказала Люба.

Худощавая цыганка засмеялась, зажав себе рот.

И лодка скрылась в осоке. Но через минуту она снова показалась на том же месте, и цыганки делали выразительные жесты друг другу. Веселости своей, казалось, худощавая цыганка никак не могла победить, и подруга ее серьезно сказала:

— Ты уж его разбудишь.

— Ну так что же? чего нам его бояться?

— Нехорошо: он подумает, что мы для него приехали.

— Ах! отвяжем его лошадь: пусть она убежит в лес,— говорила худощавая цыганка.

— И, нет! зачем! он, может быть, ее любит, а лошадь не ружье,— наставительно сказала Люба.

— Да потому, что ты то сама сделала,— с упреком заметила худощавая цыганка.

— Ну, что за глупости! Возьми всё у меня из вещей, только не трогай мою Стрелку. И если бы кто ее пустил к озеру одну, уж я бы!..

И лицо говорившей приняло грозное выражение.

— Поплакала бы — вот и всё! — заметила ее подруга.

И, забирая в руку осоки и двигая лодку, она сказала:

— Выйдем на берег!

— Нет! — решительно отвечала Люба.

С минуту цыганки ничего не говорили и смотрели на спящего.

— А знаешь ли, Стеша, не оставить ли ему наше молоко? — спросила Люба.

— Это зачем? Я лучше его в озеро вылью,— отвечала Стеша.

— А он, может быть, устал, есть хочет. Проснется, найдет молоко и хлеб, то-то будет ломать себе голову, как оно тут очутилось. Поставим.

И лицо Любы покрылось краской.

— Я лягушку пущу ему туда: пусть свежее молоко будет,— смеясь, сказала худощавая цыганка.

— Стеша! — сердито заметила ее подруга и надулась.

Стеша ласково сказала после минутного молчания:

— Ну, коли хочешь, так я поставлю.

— Пойдем вместе.

И они осторожно вышли на берег. Люба несла кувшин с молоком и кусок хлеба. Они тихо крались и невдалеке от спящего поставили молоко. Сделав это, они не убежали, а внимательно глядели на спящего, который в самом деле мог бы поразить всякого своей красотой. Спящий вдруг вскочил на ноги и прямо кинулся к озеру, говоря:

— Ага! попались, попались теперь!

Цыганки, дрожа от страху и бледнея, с ужасом смотрели, как он с необыкновенной легкостью вытащил лодку на берег и потом, возвращаясь к ним, язвительно сказал:

— Ну, мои пленницы.

Худощавая цыганка с криком пустилась бежать в лес; но подруга ее осталась на том же месте. Испуг исчез с ее лица; она гордо смотрела на приближение щеголеватого господина, который был поражен такой переменой в ней и сказал:

— Ты не так труслива, как твоя приятельница.

— Спусти лодку в воду! — повелительно сказала девушка.

— Ого! да ты не как моя пленница говоришь со мной, а как будто я твой слуга.

— Спусти лодку! — горячась, повторила девушка.

— Не хочу! — смеясь, отвечал щеголеватый господин.

Девушка что-то положила себе в рот и пронзительно свистнула.

Щеголеватый господин зажал уши, а лошадь заржала.

— Это что? — спросил щеголеватый господин.

Девушка указала ему вдаль, откуда послышался такой же свист, только слабее, на что девушка еще два раза свистнула.

Щеголеватый господин недоверчиво огляделся кругом и потом спросил цыганку:

— Кого ты зовешь?

— Брата.

— Зачем?

— Чтоб он втащил лодку опять в озеро.

— Да я бы это и без него мог сделать; я пошутил с вами только... Ты ведь вчера испортила мое ружье?

— Я боялась, что ты застрелишь нас,— улыбаясь, отвечала девушка.

И, маня свою подругу, она прибавила:

— Стеша, иди сюда, не бойся!

Худощавая цыганка подошла к говорящим и, как бы спрятавшись за свою подругу, положила голову ей на плечо и лукаво смотрела на щеголеватого господина, который с минуту видимо любовался девушками. Лица их, так близкие в эту минуту одно к другому, представляли совершенную противоположность характеров.

— Вы не сестры? — спросил щеголеватый господин.

— Нет, сестры, — отвечала Стеша.

И, обвив талию подруги своими худощавыми руками, она сильнее прижалась своей темно-красной щечкой к нежной щеке Любы.

Щеголеватый господин и девушки продолжали глядеть друг на друга. Как вдруг худощавая цыганка, протянув руку к озеру, сказала радостно своей подруге:

— Смотри, вон, вон он едет.

Щеголеватый господин повернул голову и увидал на озере небольшую точку. Он сказал:

— Это ваш брат? а большой он?

— С тебя! — смеясь, отвечала худощавая цыганка и, подсев к молоку, стала завтракать.

Щеголеватый господин вполголоса сказал Любе, которая, как бы устав стоять, опустилась на траву.

— Ты ведь принесла мне это молоко? У тебя доброе сердце: ты...

— А у тебя злое! — с грустью перебила его Люба.

— Это отчего ты так думаешь?

— Зачем же ты притворился спящим?

— Чтоб ты вышла на берег! — едва слышно проговорил щеголеватый господин.

Девушка сконфузилась и быстро отвернула от него голову.

— Тебя зовут Любой? да за что же ты сердишься? — продолжал вполголоса щеголеватый господин, стараясь заглянуть в лицо девушки, которое пылало, как он мог заметить по одной щеке.

— Вон брат едет! — сказала она, не повертывая головы.

— Сколько тебе лет, Люба?

— Я не знаю! — улыбаясь отвечала девушка.

— Кто же знает? она?

И щеголеватый господин указал на Стешу, которая, кажется, старалась скорее всё выпить и съесть и, смеясь, сказала:

— Сейчас! ты есть хочешь?

— Нет, я хочу знать, сколько ей лет? — отвечал щеголеватый господин, указывая на Любу.

— Ей шестнад... двадцать, сорок,— громко засмеясь, проговорила худощавая цыганка, перешептываясь с своей подругой, которая грозила ей.

Щеголеватый господин обидчиво сказал:

— Ну хорошо, хорошо... я всё разузнаю об вас.

— Узнавай! об нас нигде никто ничего не скажет, — отвечала худощавая цыганка.

— Почему?

— Оттого, что мы не здешние.

— Откуда же вы?

— Издалека-далека!

— Стеша, вон Иша едет,— перебила Люба и, встав, начала махать платком, который она сняла с плеч.

— Ах, какие у тебя беленькие и хорошенькие плечи и как твоя шея загорела! — воскликнул щеголеватый господин.

Девушка вспыхнула, проворно завернулась в платок и руками стала манить сидящего в лодке, которая быстро неслась к тому месту, где они стояли. На берег вышел цыган лет двадцати, высокий и стройный. Несмотря на свою матовую бледность, тонкие усы и мрачность взгляда, он имел поразительное сходство с худощавой цыганкой, зато ровно ничего общего не было в нем с ее подругой.

Костюм цыгана состоял из белой рубашки, ворот которой был расстегнут, а рукава засучены выше локтя. Суконные темные панталоны, тоже поднятые на четверть, открывали босые его ноги. Густые слегка вьющиеся волосы стояли все кверху, как бы заменяя шапку. Он, казалось, был поражен присутствием щеголеватого господина и вопросительно смотрел на всех.

Щеголеватый господин приподнял немного фуражку, на что цыган кивнул небрежно головой.

Худощавая цыганка подскочила к нему, с жаром стала говорить по-цыгански и указала на лодку. Цыган мрачно окинул щеголеватого господина с ног до головы и, втащив лодку в воду, искоса поглядывал на щеголеватого господина. Усевшись на траву, он углубился в распутывание леса́ от удочки, которую он вынул из кармана. Худощавая цыганка, как бы поддразнивая щеголеватого господина, стоя в лодке, покачивалась из стороны в сторону. А подруга ее кормила хлебом лошадь.

Глаза щеголеватого господина перебегали от одного лица на другое. В этом положении прошло несколько минут. Щеголеватый господин вынул из кармана сигары и, закурив одну, предложил цыгану, который с радостью взял сигару и, закуривши, пробормотал:

— Я их очень люблю.

— Это твои сестры? — садясь возле него, спросил щеголеватый господин.

Цыган, с наслаждением затягиваясь сигарой, как трубкой, кивнул головой.

— Она вот на вас не похожа? — заметил щеголеватый господин, указывая на девушку, кормившую его лошадь.

Но цыган ничего не отвечал; он, казалось, весь погрузился в сигару. Затянувшись и выпустив дым, он провожал его такими глазами, как будто сожалел о нем и снова хотел втянуть его в рот.

Щеголеватый господин, видя, что сосед его так занялся, встал, подошел к лошади и сказал девушке:

— Смотри, чтоб не укусила.

— Нет, она добрая! — лаская лошадь, сказала девушка, и, обратясь к цыгану, она прибавила: — Иша, посмотри-ка, какая лошадка.

Цыган подошел и, оглядывая ее с ног до головы, спросил:

— Дорогая?

— Как видишь, дешева не может быть,— отвечал щеголеватый господин, трепля по красивой шее лошадь.— Если умеешь ездить на этом седле, так попробуй ее.

Цыган поспешно докурил сигару, не выпуская, а глотая дым, и очутился на лошади, которую девушки отвязали.

— О, да ты славный конюх! — заметил щеголеватый господин, подавая поводья цыгану и крича на лошадь свою, которая как бы сердилась, что на нее посадили такого седока, и не двигалась с места.

Цыганка и щеголеватый господин стали поодаль, смотря на цыгана, который заставлял лошадь идти; но она попрежнему вертелась на одном месте.

— Ты дай ей шпоры! с левой!.. так!.. Легче поводья, смотри, чтоб не сбросила тебя! — кричал щеголеватый господин, следя за цыганом, который, как бы обидясь его замечанием, ударил своими босыми ногами в бока лошади. Она взвилась на дыбы и бросилась в сторону,— цыган очутился на земле, лошадь остановилась и сердито била копытом об землю.

Цыганка сначала вскрикнула, но, завидев цыгана, вскочившего на ноги, засмеялась. Однако ж цыган недолго был на ногах: страшно побледнев, он снова упал на землю. Девушка с плачем кинулась к нему. Цыган лежал как мертвый.

— Он убит, он убит! — ломая руки, кричали девушки.

— Полноте! это ему от сигар дурно: они очень крепкие,— сказал щеголеватый господин.

И, взяв цыгана на руки, как самую легкую ношу, он принес его к воде, где смочил ему голову и лицо, и, глядя на него, весело сказал перепуганным и плачущим девушкам:

— Смотрите: вот он вздохнул.

Цыган, точно, открыл глаза и с удивлением остановил их на щеголеватом господине. И, как бы опомнясь, он вырвался из его рук и, злобно глядя на него, сказал:

— Зачем ты подсмеялся надо мной?

— С чего ты взял? Я не ожидал, что ты был так слаб.

— Нет, ты знал, что твоя лошадь сбрасывает,— задыхаясь, сказал цыган.

— Да тут не лошадь, а сигары виноваты. Ведь я не знал, что ты от крепкого табаку падаешь в обморок,— отвечал щеголеватый господин.

— Он, верно, ничего не ел с утра, — заметила худощавая цыганка.

— Он всегда так: коли ловит рыбу или охотится, то в рот ничего не возьмет,— подхватила ее подруга и с чувством продолжала, обращаясь к цыгану: — Он тебя на руках принес оттуда сюда.

Это, казалось, сильно обидело цыгана, и он сказал:

— Я бы хотел посмотреть, как бы он теперь до меня дотронулся.

— Вот как! Ну что горячишься? Разве я не могу сладить с тобой? — насмешливо сказал щеголеватый господин.

— Ну, попробуй! давай бороться: кто кого сильнее?

И цыган расправлял руки. Худощавая цыганка весело вскрикнула; но на лице ее подруги показалась досада, и она тихо шепнула щеголеватому господину:

— Не борись с ним: он уронит тебя.

— Посмотрим! — отвечал щеголеватый господин и, сбросив с себя сюртучок, улыбаясь, сказал:— Я готов, только с условием: никаких хитростей, а сила против силы; и кто упадет, не должен обижаться.

Цыган только улыбнулся, и они очутились в объятиях друг друга и не двигались с места. Девушки тревожно следили за борьбой, которая продолжалась долго. Лица борющихся побагровели; пот катился с них крупными каплями; они тяжело дышали. Ни одного слова не было произнесено ни ими, ни зрительницами. Наконец цыган был пригнут к земле, и щеголеватый господин так глядел на него, как будто у его ног лежал враг, победа над которым дает ему бессмертную славу. Худощавая цыганка залилась смехом, а подруга ее с удивлением смотрела на оживленное борьбой лицо победителя.

Цыган встал с земли с потупленными глазами. Худощавая цыганка каталась на траве от смеху и закричала ему:

— Как ты грохнулся! Ну-ка, хвастайся теперь своей силой!

— Стеша, перестань! — заметила с упреком ее подруга. Но худощавая цыганка, как бы охваченная непреодо-

лимым весельем, оглашала лес звонким хохотом, и лес так же шумно вторил ей; прыгая перед цыганом, она строгала палец о палец и делала ему носы. Цыган, озлобленный своей неудачей, кинулся к Стеше. Она пустилась бежать; но цыган догнал ее и, схватив за руку, завертел и толкнул так, что она упала на землю. Исполнив всё это с изумительной быстротой, бледный, дико озираясь, остановился он над своей жертвой. Стеша стонала, обливаясь слезами, держась за голову, которою ударилась об дерево.

Всё это сделалось так быстро, что ни подруга Стеши, ни щеголеватый господин не могли опомниться и защитить девушку от цыгана, раздраженного ее насмешками. И только тогда, как Стеша была уже повержена на землю, они кинулись к ней. А мрачный цыган медленно отошел от нее.

Щеголеватый господин осмотрел голову цыганки: она слегка была ранена. Он, намочив свой носовой платок, обвязал ее голову и, грозя цыгану, сказал:

— Я тебя, дикий зверь, проучу так обходиться с ними!

Раздраженный дикарь вздрогнул, заскрежетал зубами и, сжав кулаки, кинулся на него, но был сильным и хладнокровным ударом отброшен назад.

Худощавая цыганка сквозь слезы, но всё-таки засмеялась и крикнула:

— Хорошенько его!

Но в ту же минуту взгляд ее упал на цыгана,— она страшно вскрикнула и закрыла лицо руками. Подруга ее повернула голову на крик и кинулась к щеголеватому господину. Став близко к нему, она смело ждала цыгана, который с ножом в руке бежал к своему противнику. Но шаги его постепенно уменьшались, и наконец он остановился, потупив глаза, после того как они встретились с глазами девушки, которая полным гнева и презрения голосом сказала ему:

— Подай нож!

— Зачем они меня обижают? — отчаянным голосом отвечал цыган.

Девушка ничего не отвечала и повторила:

— Подай нож! Уж сколько раз я тебе говорила, чтоб ты не смел его носить с собой.— И, подойдя к цыгану, она взяла нож из его рук и, с ловкостью бросив его далеко в озеро, сказала:— Я хочу домой! Иди в мою лодку.

Цыган, бросив мрачный взгляд на щеголеватого господина, медленно пошел к лодке, а девушка, обратясь к щеголеватому господину, тихо сказала:

— Не ходи сюда больше: он сердится.

— Спасибо тебе, моя спасительница; я никогда не забуду твоей смелости,— и, понизив голос, он продолжал: — Я завтра очень рано буду здесь; приходи... одна только.

— Зачем одна я приду?

— Потому что твоя компания или очень смешлива, или очень мрачна.

— Нет, я больше никогда не приду сюда ни одна и ни с кем,— отвечала девушка.

— Мне будет очень скучно. Я сегодня для тебя приехал,— печально сказал щеголеватый господин.

Девушка вся вспыхнула, быстро повернула голову и нетвердым голосом прошептала: «Прощай!» Щеголеватый господин остановил ее за руку и тихим, гармоническим голосом сказал:

— Скажи, скажи, Люба, ты придешь?

Девушка, вздрогнув, вырвала руку и побежала к лодке, где ее ждали цыган с сестрой, которые продолжали ссориться между собой.

Лодка быстро выехала из осоки на гладкую поверхность озера, и Люба, сидя в ней, дружески кивала головой оставшемуся на берегу. Цыган правил лодкой, Стеша гребла. Лодка шла неровно, потому что голова гребца тоже поминутно повертывалась к берегу. Щеголеватый господин, стоя на берегу, делал прощальные жесты и долго следил за лодкой. Когда лица сидящих в ней стали сливаться, он запел какой-то романс на итальянском языке. Голос его был силен, метода пения — необыкновенно приятная.

Лодка остановилась и потом быстро понеслась снова к берегу. Певец снова мог различать лица сидящих в ней. Люба встала; худощавая цыганка, вынув весла, повернулась совершенно к берегу. Голова цыгана выглядывала из-за плеча Любы, и он тихо правил веслом. Когда певец заключил свое пение энергической нотой, сидящие в лодке стали посылать ему выразительные жесты, и лодка медленно продолжала прежний свой путь.

Глава XL

На другой день, рано утром, лодка уже была на озере. В ней сидела одна Люба, которая с трудом правила двумя веслами, поминутно отдыхая и часто поглядывая на свои раскрасневшиеся и даже слегка припухшие руки. Подъехав к скату горы, девушка долго смотрела на берег; в ее лице появилось тоскливое выражение; она скрылась с своей лодкой в осоку.

Через час послышался конский топот из лесу, и щеголеватый господин, осторожно спускаясь по скату, что-то напевал, глядя на озеро. Осока зашевелилась, и смуглая головка выглянула.

— А-а-а! это ты! — радостно воскликнул щеголеватый господин, быстро соскочил с лошади и кинулся к девушке, которая пугливо спряталась.

— Ну полно, выходи из лодки! — говорил нетерпеливо щеголеватый господин.

Девушка раздвинула осоку и, улыбаясь, выглянув, сказала:

— Я приехала слушать тебя.

— Ну выходи: я спою тебе.

— Нет, я буду слушать в лодке.

— Отчего же ты не хочешь выйти на берег?

— Так!

— Почему же ты боишься меня?

— Чего мне бояться! пой же.

— Не хочу: выходи!

— Я не выйду, я сказала, что не выйду! — разгорячась, говорила девушка.

— Так я петь не буду! — с досадою отвечал щеголеватый господин.

— Прощай!

И девушка стала отъезжать от берега.

— А если так, то я вплавь догоню тебя,— сказал щеголеватый господин.

И, сняв с себя сюртук, он подбежал к самой воде.

— Ради бога, не делай этого: ты утонешь! — умоляющим голосом воскликнула девушка и остановила свою лодку.

— Почему ты думаешь, что я утону? я плаваю хорошо; да и ты опять спасешь меня.

— Ах нет! ты не знаешь, сколько погибло в этом озере, и никто, кроме вот того, кого ты видел вчера,— моего

брата,— никто из здешних жителей ни за что не пойдет в воду.

— А я, я готов броситься в это страшное озеро, чтоб хоть ближе посмотреть на тебя.

И щеголеватый господин сделал движение вперед, как бы готовясь исполнить свое намерение.

— Стой, нет! я лучше выйду! — поспешно закричала девушка.

И лодка подъехала к берегу, где ждал щеголеватый господин, протянув свои руки, чтоб высадить ее; но девушка отказалась от его помощи, говоря:

— Я сама; оставь меня.

Она ловко прыгнула на берег и осталась на том же месте.

— Ну что же, пойдем сядем! — сказал щеголеватый господин, оглядывая девушку, и воскликнул: — Боже, какая ты сегодня нарядная! и как идет к тебе белое платье!

Наряд девушки весь состоял из белого платья, кисейной пелеринки и длинных распущенных кос, на которых у головы было приколото по розе.

— Ну что же ты стоишь? неужели в самом деле ты боишься меня? — обидчиво спросил щеголеватый господин.

— Я... нет... мне страшно! — чуть не плача, отвечала девушка.

— Отчего же тебе страшно! — мягким голосом спросил щеголеватый господин и, взяв девушку за руку, прибавил: — В самом деле, у тебя руки как лед!

Девушка, вспыхнув, вырвала свою руку и строго сказала:

— Ну пой же!

— Я тогда только могу петь, если увижу на твоем личике такую же улыбку, как вчера,— отвечал щеголеватый господин.

Девушка улыбнулась, и он, упав перед ней на колени, пропел страстный речитатив по-итальянски. Сначала девушка в испуге отскочила, но потом весело сказала:

— Вчерашнюю, вчерашнюю.

— Ты сядь и не бойся меня; я спою тебе всё, что ты хочешь.

И щеголеватый господин указал девушке место возле себя.

После минутного размышления она робко опустилась на траву и, не подымая глаз, сказала:

— Кто ты такой?

— Я... я странствующий певец.

Девушка поглядела пристально на щеголеватого господина и, покачивая головой, сказала:

— Я видала их: они не похожи на тебя.

— Да ты, верно, видела актеров; я, точно, на них не похож. Но ты скажи мне, кто ты такая? не может быть, чтобы ты была сестра твоих вчерашних...

— Ну пой же! — с упреком перебила его девушка.

— Право, не могу: сядь ближе! — воскликнул щеголеватый господин.

Девушка придвинулась слегка.

Опять раздались звуки, полные гармонии, и удивительно, как были они выразительны в утреннем воздухе, посреди величественной тишины мрачной природы!

Девушка напряженно слушала пение; даже слезы выступили у нее на глазах. Она полна была восторга. И когда певец замолк, она, как бы утомленная, сильно вздохнула и с чувством сказала:

— Я бы целый день слушала,— и ласкающим голосом прибавила: — Выучи меня петь так же, как ты поешь.

Щеголеватый господин улыбнулся, любуясь девушкой, которая, вскочив, побежала к берегу.

— Куда же ты? куда? — кинувшись за ней, спросил ее щеголеватый господин.

— Я выну гитару из лодки,— отвечала девушка.

Через минуту щеголеватый господин настраивал гитару. И, как бы одушевясь ею, он запел стройным голосом, не спуская глаз с девушки, которая то улыбалась, то хмурила брови. Глаза у нее горели, грудь высоко подымалась. Она, казалось, не могла оторвать своих глаз от лица поющего.

— Красивая и милая моя дикарка! честью клянусь, я в жизнь свою не встречал женщины, у которой в глазах было бы столько детства и в то же время страсти! — поющим, нежным голосом проговорил щеголеватый господин, и девушка не успела очнуться, как губы певца очутились на смуглой и горячей ее щеке. Девушка вспыхнула, потом побледнела и, закрыв лицо руками, горько заплакала.

Щеголеватый господин был сконфужен кротким гневом оскорбленной девушки и молил у нее прощенья.

Девушка, отняв руки от лица и подавляя слезы, с грустью сказала:

— Я больше не приду сюда.

— Ну прости меня, я виноват; я теперь только понял, что я сделал; даю тебе честное и благородное слово, никогда ничего подобного не сделаю,— с жаром говорил щеголеватый господин.

Девушка, тяжело вздохнув, недоверчиво покачала головой и, встав, молча взяла свою гитару; потом, кивнув ему головой, она тихо пошла к лодке.

— Люба! — воскликнул растроганным голосом щеголеватый господин.

Девушка повернула голову и улыбнулась.

Певец стоял на коленях и, сложив руки на груди, сказал:

— Если ты меня не простишь, я простою целый день так, я брошусь с горя в озеро.

Девушка побледнела как полотно, так что щеголеватый господин сам испугался и покорно глядел на нее; окинув озеро кругом, она таинственно произнесла:

— Не надо никогда этого говорить.

— Чего ты испугалась? — с участием спросил щеголеватый господин и, улыбаясь, прибавил: — Я пошутил только.

— Не надо так шутить здесь! — строго сказала девушка, и, кивнув ему головой, она прибавила: — Я завтра, может быть, увижу тебя.

— Где? здесь? — радостно спросил щеголеватый господин.

— Нет! — садясь в лодку, отвечала девушка.

— Где же?

— Не скажу!

— Значит, ты меня обманешь?

— Я никого не обманываю и тебя тоже не буду!

Сказав это, девушка отъехала от берега, а щеголеватый господин запел.

Девушка, погрозив ему, стала грести, но скоро остановилась и слушала его, и когда он кончил петь, она кивнула дружески ему головой, закричала: «Прощай!» — и стала грести; но щеголеватый господин опять запел. Лодка снова остановилась, и так лодка не скоро скрылась от глаз певца, который уныло возвратился к скату горы. Когда лодка совершенно исчезла, певец, растянувшись на траве, стал смотреть на небо и что-то думал. Он долго так лежал; наконец глаза его закрылись, и он крепко заснул. Он пробудился от легкого щекотания по щеке. То была ветка от сучка, которым кто-то махал над ним. Он при-

встал и увидел сидящую в головах его худощавую цыганку.

— А-а-а! — произнес щеголеватый господин, протирая глаза.

Цыганка улыбнулась и сказала:

— Я давно здесь... и как ты спишь крепко!

— А разве не надо спать здесь? — спросил щеголеватый господин, и, оглядываясь кругом, как бы ища кого-то, он прибавил: — Ты одна?

— Одна; а что?

Щеголеватый господин не отвечал.

— Хочешь есть? — спросила цыганка после некоторого молчания.

— Ты разве привезла с собой что-нибудь?

— Да!

И цыганка принесла узел, в котором были яйцы, молоко и хлеб, и разложила их на траве.

Щеголеватый господин взял за плечо цыганку, которая с силой толкнула его в грудь и резко сказала:

— Не трогай меня, а не то я всё брошу в озеро.

— Не сердись; дай мне поесть: я очень проголодался.

И они, болтая, стали есть. После завтрака цыганка весело сказала:

— А ты и завтра приедешь сюда?

— А что?

— Я бы тоже принесла завтрак.

— Спасибо! Хорошо, я приду и завтра.

Цыганка стала смеяться.

— Чему ты смеешься?

— Мне весело! — отвечала цыганка.

— Ну сделай так, чтоб и мне было весело, как тебе.

— Да как же я это сделаю?

— Давай бегать, и если я догоню...

— Не хочу! — вскакивая, перебила цыганка и пустилась бежать.

Щеголеватый господин за ней.

И они стали бегать. Цыганка ловко пряталась за деревья и наконец обманом успела достичь берега и кинулась в лодку и с невероятной быстротой выехала из осоки и торжествующим голосом сказала:

— Ну, теперь поймай меня.

Щеголеватый господин подбежал к берегу, погрозил ей и сказал:

— Ты думаешь, что увернулась от меня, а тут-то я еще скорее тебя поймаю.

— Не посмеешь: озеро страшное!

— А смотри! — крикнул щеголеватый господин.

И он очутился в воде и поплыл за лодкой, на которой с силою гребла цыганка. Они отплыли далеко от берега; плывущий сказал:

— Однако я устал!

— Так плыви скорее назад! — пугливо отвечала цыганка и сама стала грести к берегу.

— Я забыл снять сюртук, а то бы сколько хочешь проплыл.

Когда они вышли на берег, щеголеватый господин, встряхивая с себя воду, сказал:

— У-у-у! какая холодная вода! и точно: я заметил, что в озере есть омуты, так и тянут книзу.

— И сколько их, да еще у самых берегов! А кто не знает этого озера, доплывет к берегу и думает, что земля,— встанет, да провалится. Здесь да у дома только можно подойти к озеру, а то всё болото,— ораторствовала цыганка, пока выкупавшийся выжимал свой сюртук.

— Однако я озяб,— сказал он,— поеду скорее верхом, так согреюсь.

И щеголеватый господин свистнул. Лошадь, щипавшая траву невдалеке, прискакала к нему.

— Так ты едешь? — с расстановкой спросила цыганка.

— Да; а что?

— Так... а завтра? — спросила цыганка после некоторого молчания.

— Приеду, приеду; а ты будешь?

— Да!

— Ну, прощай!

И щеголеватый господин сел на лошадь и поскакал в лес, сказав:

— До завтра.

Цыганка пробежала несколько времени за лошадью, как бы желая что-то сказать уезжавшему, но вдруг остановилась и, озираясь кругом, тихим шагом возвратилась на то место, где они сидели; медленно опустясь на траву, она склонила голову на грудь и впала в глубокую задумчивость, вертя в руках батистовый платок, который она то складывала, то развертывала. Цыганка так была погружена в какие-то размышления, что не замечала, как солнце жгло ее шею, руки и голову.

Пронзительный свист с озера вывел ее из задумчивости. Она улыбнулась, вглянула на солнце и, сев в лодку, быстро понеслась по озеру, громко распевая какую-то унылую песню. Другая лодка, выехавшая из осоки, догнала ее; в ней был цыган с рыбными снарядами.

— Где ты была? — спросил он ее.

— В лесу.

— Одна?

— Да!

— А его не было сегодня?

— Нет!

— Я так узнал, кто он такой!

— Кто, кто? — с живостью спросила цыганка.

— Здешний барин, недавно приехал только.

Цыганка засмеялась.

— Не веришь? ей-богу! — говорил цыган.

И лодки разъехались. Цыганы весело заливались, распевая удалую цыганскую песню.

Глава XLI

Летнее утро еще дышало упоительной свежестью, как в небольшой беседке, стоявшей в огромном саду, вдали от богатого барского дома, владетель его лениво потягивался на кушетке, на которой была накинута тигровая кожа. Беседка была убрана роскошно, несмотря на соединение в ней спальни, кабинета и уборной. Стены и потолок ее были обтянуты шелковой полосатой материей, белой с зеленым; на полу ковер с цветами, так хорошо сделанными, как будто они росли на зеленом лугу. Мягкие кресла, стол, шифоньерки, бюро — одним словом, каждая игрушка дышала роскошью, удобством и вкусом. На лице лежавшего отпечатлелись следы жизни, полной довольства в эту минуту. Он о чем-то думал, беспрестанно улыбаясь. Его размышления были прерваны приходом лакея, которому скорее следовало бы взять хлыстик в руки, чем поднос с чаем, который он поставил на круглый стол, стоявший посреди комнаты, под огромной висячей лампой на потолке, и заваленный книгами, красками и карандашами для рисования.

Лежавший на кушетке господин встал и, выправляя свои члены, подошел к столу; увидев несколько писем, лежавших на серебряном маленьком подносе, он сделал недовольную гримасу и пробормотал:

— Странно, какое неприятное впечатление на меня производят маленькие воспоминания о городе.

И он нехотя стал распечатывать и пробегать письма; после нескольких он свободно вздохнул, будто окончив большой труд, и принялся пить чай, сказав лакею, прибиравшему комнату:

— Ты уж письма-то из-за границы не подавай мне, а прямо бросай в камин.

— Слушаюсь; а не прикажете ли послать на почту сегодня? — спросил лакей.

— Помилуй! я сейчас только ведь прочел,— как бы пугливо возразил барин.

— Да эти-с давнишние, вы только не читали их,— улыбаясь, отвечал лакей, и через минуту он спросил: — Дворецкого послать?

— Ты ужасно мне надоел! — сказал барин и, встав, вышел в сад и любовался утром.

Этот господин был Павел Сергеич Тавровский; объехав свои имения в разных губерниях, он поселился в одной из самых живописных своих усадеб и, казалось, вполне наслаждался сельской жизнью, забыв о всех столичных удовольствиях. Он целые дни бродил по лесам или скакал верхом, осматривая свои владения, и удивлялся, как много свободного времени, а между тем не скучно, сон крепок, аппетит, как никогда, исправен. Встав рано утром и вдыхая в себя воздух, он рассуждал сам с собой:

«Я бы, кажется, полетел, если бы мне дали крылья: так мне легко здесь!»

В его руках стали появляться книга, карандаш, который он брал с собой, чтоб снимать виды; но, усевшись, он задумывался и улыбался, глядя на часы. Одним словом, Павел Сергеич совершенно был счастлив новым образом своей жизни, о которой он прежде не имел никакого понятия. Он задавал себе вопросы, почему ему не скучно здесь одному, в то время как в городе минуты он не мог быть один. Занятия его в деревне были так противоречащи одни другим, что камердинер считал его иногда за помешанного. И, раздевая своего барина после прогулок, он иногда говорил:

— Господи, что за место! негде погулять! всё платье испорчено.

— Платье можно новое сшить, зато здесь легко на душе и сладко спится,— отвечал Павел Сергеич на замечания своего камердинера.

Но в это утро, казалось, спокойствие его оставило. Он с дурным расположением возвратился с утренней прогулки и остальную часть дня провел в каком-то тоскливом волнении. Он то рисовал, то читал, то стрелял из окна комнаты в летавших птичек; но всё это ему скоро надоедало, и он придумывал себе разные развлечения.

Камердинер торжествовал. Он считал дурное расположение Павла Сергеича за кризис болезни, которая должна была пройти, и снова жизнь его сделается полна деятельности, хотя в сущности пустой. Радость оживила унылое лицо камердинера, когда Павел Сергеич приказал заложить коляску и поехал с визитом к ближайшему из своих соседей.

Дом, в который он приехал, не мог ему доставить много развлечения. Владетель его был человек холостой и хворый. Он вел жизнь однообразную и постоянно лечился от подагры в ногах.

Комната, в которой сидел хозяин дома, не отличалась ни вкусом, ни роскошью, даже не было в ней удобства; но живописный вид из стеклянных раскрытых дверей террасы выкупал всё. Сад был огромный и спускался к огромному озеру, которое виднелось на большое пространство в прихотливых изгибах. Сад был запущен, беседки и скамейки покривились, всё имело мрачный колорит, как наружность самого хозяина, исключая небольшой клумбы простых цветов, у которой валялись небольшая лопата, грабли, лейка, приметны были детские следки, отпечатавшиеся по песку дорожки. При появлении Павла Сергеича в комнату, хозяин дома, морщась, спустил ноги со скамейки и, слегка привстав, приветствовал гостя, которого посадил возле себя в креслы.

Хозяину дома было лет шестьдесят пять. Он был тучен, но с болезненным цветом лица. Черты его лица были бы красивы, но резкая противоположность седых волос с крашеными черными усами, но блеск черных глаз из-<под> насупившихся век и из-под седых бровей с первого взгляда действовали неприятно на всех. Одет он был в венгерку со шнурками, глухо застегнутую на все крючки. А ноги его были обуты в канатные туфли. Павел Сергеич застал его за занятием: он дрессировал легавую собаку, на шее которой был надет ошейник с гвоздями, с веревкой, за которую он держал ее.

Урок собаки был окончен благодаря прибытию гостя.

Вблизи от кресел были собраны все принадлежности к чаю, и самовар клокотал, как бы недовольный невниманием сидящих в комнате. Ручьи, полившиеся из него, как бы о чем-то напомнили старику; он позвонил в колокольчик, стоявший на маленьком столике.

Вошел лакей, которому он сделал вопрос:

— Пришла?

— Никак нет-с.

— Так пошли искать.

В это время на террасе послышался говор, и звучный смех, и крики курицы; лежавшие собаки забили хвостами. В комнату вбежала молодая девушка, силясь удержать курицу, тоскливо бившуюся у ней в руках. Она, смеясь, подскочила к старику, хотела что-то сказать, как вдруг, завидя Тавровского, выпустила курицу из рук, которая, застуча лапами, побежала по полу.

— Вот моя дочь,— сказал старик, указывая на девушку, которая стояла потупив глаза; лицо ее пылало.

Тавровский молча поклонился; но лицо его сияло, он не спускал глаз с девушки, которая избегала встретить их и занялась самоваром. Когда девушка подавала чашки с чаем старику и гостю, руки у нее слегка дрожали; но когда отец произнес ее имя, она вздрогнула и выбежала из комнаты, на что, однако, отец не обратил никакого внимания.

Девушка была Люба, которая в Тавровском узнала певца у озера.

Забытая в комнате курица взлетела на стул, стоящий у стола, потом на стол и с криком соскочила на пол, уронив крылом чашку.

Старик позвонил и раздраженным голосом приказал лакею взять курицу; но курица не давалась ему в руки и, крича, бегала по комнате, пряталась под стул Тавровского или под кресло старика, который, выйдя из себя, разбранил лакея, сказав:

— Позови Степаниду.

Через две минуты в комнату явилась худощавая цыганка. Она смело подошла к самому стулу Тавровского и, лукаво улыбаясь, стала вызывать курицу.

— Где взяли? — спросил сердито старик.

— У них на дворе,— улыбаясь, отвечала цыганка, указывая на Тавровского.

— Это куда вы нынче бегаете! — возразил старик, но замолк, потому что цыганка перебила его, сказав:

— Да это не я, а барышня.

Удаляясь из комнаты с курицей, она бросила выразительный взгляд на Тавровского, который, сконфуженный, глядел на старика; но тот спокойно сидел, как будто всё, что он видел и слышал, было очень обыкновенно.

Напрасно Тавровский, сидя у старика, продолжал поджидать Любу; она не пришла даже к ужину, за что старик ужасно рассердился и ничего не ел. Между тем соседняя дверь поскрыпывала, и Тавровский заметил в щели блеск чьих-то глаз.

Садясь в коляску, Тавровский слышал смех откуда-то сверху; но ночь была темна, и он не мог ничего видеть. Выехав из ворот, он почувствовал в ногах какую-то корзину, и в ней что-то шевелилось. Он ощупал ее: там была курица. Приехав домой, он перенес корзину в беседку и, развязав ее, узнал курицу, что была у Любы в руках.

Тавровский выдернул несколько перьев из крыла у курицы и, передав ее своему камердинеру, строго сказал:

— Чтоб она ходила по саду, и устрой ей возле клетку. И смотреть, чтоб она не пропала.

Камердинер пугливо глядел на Тавровского, который, ложась, спросил его:

— Не было ли без меня кого-нибудь на дворе?

— Никого-с!.. да! цыган приходил с двумя цыганками...

— Ну? — с любопытством перебил его Тавровский.

Камердинер подробно описал цыганок и пересказал толки дворни, которая уверяет, что это дети помещика-соседа.

— Все? — спросил Тавровский.

— Говорят одни, что все, а другие, что только одна,— отвечал камердинер, пытливо глядя на улыбающееся лицо своего барина, который с улыбкой и заснул в эту ночь.

Глава XLII

Много лет тому назад, в один летний день, по степной дороге скакала сломя голову тройка отличных лошадей, запряженных в небольшую телегу. Лихой ямщик ухарски свистал и поводил кнутом по воздуху, едва держась на облучке. Плечистый мужчина средних лет, с лицом суровым, зорко следил за пристяжными.

Всё, что ни встречалось по дороге, сворачивало в сторону и с наслаждением следило глазами за телегой,

которая промчалась несколько верст без малейшей остановки. Лошади, все в мыле, стали слабеть, зато ямщик сильнее прежнего посвистывал, прищелкивал и махал кнутом.

Солнце садилось и ослепительным своим блеском осветило степь, которая расстилалась на большое пространство кругом. В это самое время по глубокому песку едва тащилась длинная телега вроде роспусков, прикрытая рогожей. Возле тощей клячи шел молодой цыган, почти в лохмотьях. Загорелые руки и ноги его были обнажены. Дырявая рубашка выказывала его грудь. Он шел задумчиво, как вдруг крики и жесты ямщика, мчавшегося на тройке, нами описанной, смутили цыгана. Он начал бить свою клячу, которая, вместо того чтоб ускорить шаг, совсем остановилась, и пока она успела собрать свои силы и повернуть в сторону, колеса зацепились, и тройка стала. У пристяжной лошади из ноги ручьем текла кровь.

Ямщик и барин в минуту соскочили с телеги и кинулись к лошади; на их лицах изобразился испуг. Барин гневно обратился к цыгану... Кляча дрогнула, рогожа быстро откинулась, и женщина, лежавшая в телеге, привстала, слегка приподняв белый кусок холста, покрывавший ее голову и плечи. Барин от неожиданного появления женщины остановился и глядел на цыганку, которая, бросив на него огненный и смелый взгляд, улыбнулась, выказав тем свои удивительно белые зубы, потом закуталась в полотно и снова легла в телегу.

Барин подошел к цыганке, откинул ее покрывало и долго смотрел на нее. Цыганка была в самом цвете лет. Лицо ее было смугло, но кожа так прозрачна, что видны были некоторые жилки на ее подбородке. Румянец был нежный. Черты не столько правильны, как оригинальны. Глаза горели таким огнем, что казалось, из них сыпались искры. Черные вьющиеся волосы в беспорядке падали на ее полуобнаженные плечи. Что более всего поражало в ней — это гордая и надменная улыбка. Она не изменила своего положения и без робости глядела на барина, который спросил у цыгана, стоявшего невдалеке от телеги:

— Куда едешь?

— В табор,— отвечал цыган не очень чистым языком.

— Откуда?

— Из города.

— Зачем ездил?

Цыган замялся, но, оправясь, быстро отвечал:

— Гриб возил.

— А зачем она ездила?

Цыган опять замялся и молчал.

— Я тебя спрашиваю! — крикнул барин.

Цыганка величественно привстала. Красота ее сделалась еще блистательнее. Белое полотно упало с плеч. Длинные, волнистые, как смоль черные волосы рассыпались по плечам. Через одно из них был перекинут кровавого цвета шерстяной платок, который завязывался узлом на боку и тем обнажал руки цыганки.

Барин, указывая на цыганку, спросил:

— Что, она сестра, что ли, тебе?

— Невеста! — с гордостью произнес цыган и, подойдя к телеге, что-то сказал по-цыгански, отчего цыганка громко засмеялась, весело вскочила на ноги и с диким криком зазвенела над своей головой засаленными бубнами, которые она взяла на телеге. Спрыгнув ловко на землю, она стала напевать и стучать в бубны, а цыган — плясать.

Посреди бесконечной равнины, на жгучем песку, и позлащенные заходящим солнцем, цыган и цыганка необыкновенно были хороши. Когда пот полил градом с плясавшего цыгана, он остановился. Цыганка, ударив о бубны, испустила крик, закружилась и, неожиданно остановясь перед барином, протянула ему бубны. Грудь ее высоко подымалась, ноздри расширялись от дыхания, глаза ярко горели; барин бросил в бубны часть денег, что были у него в кармане.

Цыганка радостно вскрикнула, вся задрожала и кинулась к цыгану, который, присев на землю и собрав деньги в горсть, тоже весь дрожа, стал считать их. Цыганка стала на колени перед ним и следила за его движениями.

Барин глядел на цыганку и, мигнув ямщику, который стоял у тройки и тоже любовался ею, сказал:

— Что, какова? даром что цыганка!

— Лихая! — произнес ямщик, тряхнув головой.

Барин приказал снять ковер с телеги и разостлать его у края дороги. Закурив трубку, висевшую у него на пуговице венгерки с кистями, он лег и приказал цыганке петь.

Голос у цыганки был небольшой, но полный жизни и приятности. Сначала она пела грустные песни; но барину они не понравились; он приказал ей спеть что-нибудь повеселее. Цыганка исполнила его желание и так увлекла своих слушателей, что они хором подтягивали ей и поводили плечами.

Стало смеркаться. Цыган собирался ехать. Барин сделал им предложение — ехать к нему, чтоб вечером снова петь песни.

— Нельзя: табор ждет,— отвечал цыган.

— Ну пусть его ждет!

— Нельзя! — решительно произнес цыган, и, указывая на цыганку, он продолжал: — Завтра начнем свадьбу нашу.

Барин задумался.

Цыган оправлял свою лошадь, пока цыганка усаживалась в телегу, которая со скрыпом двинулась. Барин крикнул:

— Стой!

Цыган удержал лошадь. Барин, поманив к себе цыгана и переговорив с ним что-то, указал на свою тройку, которую цыган осмотрел и пересчитал лошадям зубы. Он остановился в раздумье перед ними; но, бросив взгляд на цыганку, которая преспокойно лежала в телеге, закинув руки назад, и напевала вполголоса, он замотал головой и пошел от тройки.

Барин плюнул вслед цыгану и проворчал:

— Цыганское отродье!

И он занес было ногу, чтобы сесть в телегу, но услышал жаркий спор цыгана с цыганкой; последняя страшно горячилась.

— Что, что такое случилось? — подходя к цыганке, спросил барин.

Цыган ворчал себе под нос, а цыганка продолжала ему говорить, грозно кивая головой.

— Ну что такое болтаешь там по-своему; говори по-русски! — ласково сказал барин.

— Я бранила его, а табор задаст ему, как узнает, что он не хотел ехать к тебе.

— Надо у табора спроситься.

— А далеко ваш табор?

— За горой.

— В Ухтомском лесу? — радостно спросил барин.

Цыганка кивнула головой.

Барин провел рукой по усам и повелительно крикнул цыгану: «Пошел за мной!», сел на тройку и поехал вперед, поминутно поворачивая голову назад — едет ли за ним телега цыгана.

Надо было проехать несколько верст, чтоб наконец увидеть какую-нибудь зелень. Было уже совершенно тем-

но, как ехавшие завидели лес, который казался островом посреди песчаного моря.

В опушке леса было разложено несколько костров огня, которые издалека виднелись, резко рисуя на тени песку группы, собравшиеся около них. Ржание лошадей возвестило табору о приближении тройки. Всё поднялось на ноги и пошло навстречу приехавшим. При виде тройки они стали расспрашивать цыгана и цыганку, которые с жаром им что-то говорили.

Барин соскочил с телеги у самого огня, где сидело несколько стариков, которые встали и дали место гостю. Весь табор сбежался смотреть на гостя; удовлетворив любопытство, цыганы кинулись к телеге цыгана, из которой цыганка выбрасывала разный хлам, даже битые бутылки, тряпки, в числе которых были и новые сарафаны и рубашки. Куры с свернутыми шеями были также в этом хламе. Старики, безобразные, всё пересмотрели, перещупали и, забив всё в мешок, увлекли за собой. Приехавшая цыганка уселась у огня между своими подругами и стала с ними петь песни.

Табор поуспокоился и разделился на группы. В одной стороне пели хором цыганки молодые, в другой, у костра, играли в засаленные карты цыганы, окруженные зрителями. Старухи хлопотали около поросенка, жарившегося на двух палках, воткнутых в песок. Другие усердно щипали кур, привезенных цыганкой. Голые ребятишки играли у костра, валяясь по песку; многие из них, сидя на корточках, жадно глядели на жарившегося поросенка.

Старики сидели поодаль огня, предоставив почетное место гостю, который разговаривал с начальником табора. Окончив разговор, гость был окружен цыганками, и началось пение.

До самого рассвета в таборе раздавался гул песен и плясок. Гость горстями бросал деньги. Когда он готовился уезжать, табор собрался в кучу. Начальник цыган что-то сказал им. Они все радостно закивали головами, женщины стали охорашивать цыганку, которая оставалась холодна к окружающему. Молодого цыгана не было видно в таборе: он в нескольких верстах объезжал одну из лошадей гостя, окруженного молодыми цыганками.

Гость сел в телегу, запряженную уже только парой, и ждал, пока окончится прощанье цыганки с ее табором. Ее провожали все с радостными лицами. Одна только безобразная старуха (то была ее бабушка), припав к ее груди,

плакала, нашептывала какую-то траву и прятала ее на грудь. Молодая цыганка совершенно была равнодушна и твердым шагом подошла к телеге, села в нее, гордо поклонясь всему табору, который радостными криками возвестил ее отъезд. Телега помчалась. Не проехали они версты, как позади ехавших раздались дикие крики. Цыганка, побледнев, быстро повернула голову и сделала движение броситься из телеги. Барин удержал ее, и, оглянувшись назад, он тоже изменился в лице. За телегой гнался с отчаянным и угрожающим видом цыган, ездивший с ней в город. Он дико кричал что-то. За ним гнался весь табор.

— Скачи во весь дух! — крикнул барин и грозил бежавшему, который в быстроте своего бега мог сравниться с лошадью.

Цыганка напряженно следила за цыганом, который уже почти догнал телегу и стал было ловить ее, как цыганка, сорвав с себя платок, бросила ему на голову, что приостановило его бег, а телега еще быстрее понеслась. Барин был в восторге от выдумки цыганки, которая равнодушно смотрела, как догнали цыгана и как его, связав, повели в табор.

Господин, ехавший с цыганкой, был известен всему краю, где жил, не одними своими богатствами, но и своей странною жизнию. А разгульный и крутой его характер немало делал шуму. К нему стекались соседи всей окрестности; дом походил на дворец. Очень часто для какого-нибудь праздника пристроивали флигель, что давало странную наружность всему дому. Некоторые гости так заживались у Куратова, что жены с детьми приезжали навещать своих мужей.

До сорока лет так жил Куратов. Вино, бессонные ночи, охота наконец подействовали на его здоровье, которое казалось несокрушимым. Он впал в апатию, даже доходившую до отчаяния. Общество сделалось ему невыносимо. Он ездил на охоту один и оставался в лесу по целым дням. Только изредка, как бы вспомнив былое время, он делал пиры. Но часто посреди самого разгула Куратов приказывал подать верховую лошадь и скакал за тридцать верст, в другую деревню, от веселого смеха и говора своих гостей.

Усадьба, в которую он удалялся в такие минуты, гармонировала с его мрачным расположением. Нельзя было придумать ничего грандиознее и вместе с тем печальнее

выбранного им местоположения. Дом стоял у подножия горы, и его фасад был обращен к озеру с бесконечными извилинами, которые пропадали в густом лесу. Кругом озера, с трех сторон, как бы служа оградой, были горы; покрытые редким еловым кустарником и деревьями, они придавали этому месту вид крепости, в которой была заключена вечно гладкая как зеркало поверхность воды. Огромные деревья, склонясь к воде, бросали на нее страшные тени, а рукава озера, бесконечно извиваясь, вдали блистали кое-где между густым лесом.

Какое-то уныние разливалось кругом озера, которое даже в бурю было покойно. Ветер, бушующий на горах, завывая, как бы страшился нарушить спокойствие озера; одни только верхушки дерев медленно покачивались и наполняли воздух странным гулом. Мрачный и раскидистый ельник стоял неподвижно, простирая свои длинные сучья к озеру, как бы стараясь защитить его от солнца. Осока, страшной высоты тростник окаймляли озеро, а изумрудный мох в виде травы предательски укрывался между кустарниками ельника.

Ни дичь, ни звери, ни огромное количество рыб не пленяли жителей. Деревня была расположена на горе, позади барского дома. С незапамятных времен было тут предание, что озеро и лес, его окружающий, населены злыми духами. Одна страшная необходимость в дровах или в срубке дерева отваживала мужиков спускаться в лес к озеру. Ни разу не возвращались домой без новых подтверждений о страшных слухах, ходивших в деревне об озере. Огромную щуку, забредшую на берег озера, чтоб погреться на солнце, принимали за злого духа, и мужик, бросив свою неконченную работу, бежал как безумный домой рассказать о злом духе в виде огромной рыбы. Пропавшие у мужика корова, лошадь — всё приписывалось озеру.

К подтверждению суеверия жителей деревни много способствовали без вести пропавшие люди, бывшие в лесу около озера. Вероятно, они погибали в страшных болотах; но никто не сомневался, что погибшие были жертвой злых духов, а не своей неосторожности.

Мрачное и покойное озеро было иногда свидетелем и страшных преступлений. Вот одно из таких происшествий.

Жил в деревне мужик, работящий и трезвый; но, по странному стечению обстоятельств, ему как-то всё не удавалось. Дом его раза два сгорел, и с ним всё его имущество, в то время как другие избы спаслись. Хлеб его то

градом побивало, то от засухи пропадал. Хозяйка ему попалась хилая; детей не было, следовательно и помощников не было. После второго пожара, в котором погибли его последние деньги, накопленные, чтоб завестись скотом, мужик загоревал и стал прибегать к вину. В доме настала бедность. Мужик в нетрезвые минуты упрекал свою хозяйку, что она всему несчастию его причиной. Так жил мужик с год и наконец дошел до крайней нищеты: часто его хозяйке, старому слепому ее отцу и матери нечего было есть. Мужик стал пропадать по нескольку дней. Хозяйка его работала что было у ней сил и, не имея денег купить дров, часто ходила сама к озеру, чтоб набрать прутьев.

Раз, под вечер, собирая хворост, она ужасно спешила; по ее болезненному лицу катился пот от усталости и страху. Она вздрагивала даже от хрустения прута, на который наступала. Как вдруг она завидела своего мужа. Она было обрадовалась ему, потому что три дня его не видала; но его мрачное лицо испугало ее, и она стала плакать и упрекать его.

— О чем воешь? — еще суровее спросил мужик свою хозяйку.

— Ох! горькая моя долюшка! хоть бы в могилу я слегла: авось легче было бы мне, горемычной! — вопила хозяйка.

И потом стала бранить мужика, который видимо находился в каком-то ожесточенном расположении. Упреки и слезы хозяйки привели его в ярость; он грозно крикнул: «Замолчи!» — и, дико глядя вокруг, стал пособлять жене собирать хворост. Но вдруг мужик оставил работу и начал вглядываться вдаль. Над болотом у озера показался пар. Мужик вздрогнул и отвернулся. Но потом опять взоры его устремились к болоту, и он быстро пошел к нему.

— Помоги лучше донести хворост! — с упреком сказала хозяйка мужику, который, ничего не отвечая, шел дальше.

Вдруг мужик дико закричал и по пояс очутился в болоте.

Хозяйка кинулась к нему.

— Дай-ка мне руку, родимая! — жалобно завопил он.

Хозяйка протянула ему свои исхудалые руки, за которые мужик притянул ее к себе, и она не успела опомниться, как была по пояс в болоте. Ужас оковал ее язык; но зато в ее слабых руках оказалась невероятная сила: она уцепилась за руки мужика, который насилу высвобо-

дил их и, упираясь в ее плечи, сам выскочил из болота, а его хозяйка совершенно исчезла.

Мужик, бледный, с дикими глазами и весь дрожа, отскочил от места преступления и судорожно отряхивал и счищал с своего тулупа болотную зеленую тину. Густой пар как бы поспешил покрыть всё болото и озеро. Стало смеркаться, а мужик всё еще стоял неподвижно на том же месте, не спуская глаз с места своего преступления. Тишина была подавляющая вокруг озера. Вдруг большая птица, тяжело хлопая крыльями, пролетела медленно над головой мужика и дико каркнула, как бы возвестив весь лес о совершившемся преступлении. Мужик бросился бежать. Ему казалось, что весь лес пришел в движение. Деревья закачались, засохшие листья судорожно завертелись под ногами преступника, лягушки дико заквакали, каждая маленькая травка шептала ему: «Ты убийца, ты убийца!» Густой пар, поднявшись с болота, казалось, несся быстро к нему. Мужик, проклиная себя, пустился бежать еще сильнее. Тогда ему чудилось, что лес наполнился визгом, деревья с силою наклонялись друг к другу, заграждая ему дорогу. Преступник чуть живой выбрался из лесу. Долго он бродил около деревни, не решаясь идти домой. Уже поздно вечером он подошел к своей скромной избе. Дворовая собака завыла и спряталась от него. Войдя в избу, освещенную одной лучиной, преступник увидел старуху, мать своей хозяйки, стоящую на коленях перед иконой и шепчущую имя своей дочери. Слепой и глухой старик, отец погибшей, сидел на скамейке, которая служила ему и постелью. Он печально повесил свою дряхлую и седую голову на полуобнаженную костлявую грудь и тоже повторял молитву за старухой.

Приход их зятя прервал молитвы. Они было обрадовались ему; но он так грубо обошелся с ними, что они не смели ему сказать, что его хозяйки еще не было дома. Он сам спросил:

— Где хозяйка?

Старуха с плачем рассказала, что ее дочь еще засветло ушла собирать хворост к озеру и до сих пор не возвращалась.

И старуха завыла, приговаривая:

— О-о-ох, сердечко мое, моя горлица! где-то ты? Уж не погибла ли ты в этом омуте?..

(Так называли озеро в деревне.)

Убийца притворился, что он не верит старухе, и стал бранить свою хозяйку, упрекая старуху, что у ней дочь дурная и, верно, гуляет с кем-нибудь.

Побранив всех, мужик лег на печь. Слезы и молитвы старухи не давали ему покоя. Он ворочался с боку на бок, пока всё не затихло в избе. Но недолго он лежал покойно: ему послышались крики лягушек вдали; вот они всё ближе и ближе; лягушки, квакая оглушительно, окружили его избу. Дверь распахнулась, и он увидел свою хозяйку, покрытую зеленой тиной и болотными травами. Убийца лишился чувств. На другой день вся деревня сожалела об убийце, убежденная, что жена его сделалась жертвой нечистого, потому что нашли ясные приметы ее погибели: куча хворосту невдалеке от болота, а на том месте, где она погибла, платок с ее головы.

Убийца скоро женился на вдове своего соседа и стал жить богато. Но как-то раз ему случилось слушать странные рассказы про озеро. Он много выпил — то было в кабаке,— и сам не понял, как он рассказал свое преступление. Его хотели связать, но он вырвался и убежал. После его не могли нигде сыскать; одну рукавицу только нашли у озера.

Этот случай суеверные жители перетолковали по-своему и еще больше стали бояться озера, говоря, что не только там можно погибнуть, но даже оно побуждает к преступлению. С тех пор никто не решался даже приближаться к нему.

В ту самую эпоху, когда суеверные рассказы об озере дошли до крайней степени, Куратов пленился величественной мрачностью озера и, смеясь над преданиями жителей, выстроил на подножье горы огромный дом; желая искоренить предрассудки крестьян, он задавал богатые пиры на озере. Смоленые зажженные бочки спускались по гладкой воде; музыка гремела на лодках, разъезжая по озеру. Вино текло рекою; собравшиеся крестьяне пели хорами, девки и парни ходили хороводами. Но всё как-то эти пиры были мрачны, пение было уныло, на всех лицах было какое-то беспокойство. Хотя на местах опасных около берегов озера стояли предостерегательные шесты, однако это не предупреждало несчастий. Отуманенный вином мужик заходил в болото и проваливался в окошко. Все эти случаи лишали Куратова возможности искоренить предрассудки и отвращение к озеру. Ни пиры, ни подарки не пленяли крестьян, и в праздничные дни никто не яв-

лялся, дворня одна веселилась; и раз музыканты, подгуляв не в меру и поссорясь в лодке, неосторожными движениями перепрокинули ее, и как все были нетрезвые, то камнем и пошли ко дну. Одна только лодка с несколькими инструментами тихо возвратилась к берегу.

Шалаши для рыбаков были разбросаны по берегам, но никто не решался в них поселиться, несмотря на выгоду.

Но всё это только раздражало Куратова, и он во что бы то ни стало был намерен оживить озеро. От его дома тянулась как лента дорожка прямо к озеру, у берега которого стояла беседка с плотом и множество лодок. По возможности, опасные места у берегов озера были огорожены. Он построил разные беседки, где часто по вечерам пил чай.

Может быть, ему бы и удалось искоренить суеверие крестьян, если бы он сам и его страшная смерть не были причиною к усилению страшных рассказов об озере.

Характер Куратова был мрачен и непоколебим. Он еще не знал случая в своей жизни, где бы он, сказав «Да!», переменил свое решение. Жена его была женщина кроткая и, несмотря на свои пожилые лета, дрожала от одного взгляда мужа. Она разделяла с крестьянами весь страх и всё отвращение к озеру, и только железная воля ее мужа заставляла ее жить близ такого места.

В один летний вечер, часов в девять, на столе кипел самовар: поджидали Куратова с охоты. Прошел час; самовар несколько раз был подогреваем. Жена Куратова с беспокойством ходила из комнаты в комнату, прислушиваясь к малейшему шуму. Сидя на балконе, выходящем к озеру, она почувствовала какую-то страшную тоску. Вечер был тих, а теплый ветерок доносил до ее слуха унылые кваканья лягушек. Луна то показывалась из-за туч, то на минуту освещала озеро, то опять скрывалась, оставляя всё в мраке. Вдруг она вздрогнула и, привстав, стала вслушиваться. Слабые и протяжные звуки слышались вдали. Они то умолкали, то опять возвышались над кваканьем лягушек,— наконец замолкли. Тревожимая каким-то предчувствием, жена Куратова послала дворню искать своего господина. Сама, стоя на балконе, она с биением сердца следила за факелами дворни, рассыпавшейся около озера.

Ночь прошла в розысках. К утру только, возобновив их опять, завидели фуражку Куратова. Его вытащили и

принесли в дом. Вдова Куратова с единственным своим сыном бросила дом, и погибель Куратова еще более усилила ужас, возбуждаемый озером, которое давно уже окрестные жители называли *Мертвым озером*. С тех пор никто не жил в доме.

В позднейшее время потомок Куратова (с которым мы познакомились в начале главы), в припадках своей хандры, любил охотиться в лесах около озера. Бездна зверей и птиц заставляла его иногда останавливаться для ночлега в доме, в котором он провел детские годы. И когда он увез цыганку, страх, чтоб ее не похитили, и ревность подали ему мысль поселиться в заброшенном доме. Куратов любил цыганку, как только ему позволяла его дикая и мрачная натура. Но любовь его выражалась в ревности и в вечных подозрениях, что он обманут ею. Когда у цыганки родилась дочь, Куратов, видя страстную любовь к ней матери, успокоился; ревность его прошла, и, казалось, любовь стала мало-помалу вместе с ней проходить. Так прошло несколько лет. Как вдруг Куратов стал задумываться, и мысль о женитьбе овладела им.

В страхе за свою дочь цыганка прибегнула к самым искусным заговорщикам своего племени. Но ничто не помогало. Куратов не скрывал своего намерения.

Цыганка безумно любила свою дочь, которая была живой портрет матери. Только цвет лица Любы был гораздо белее и черты мягче. С того дня, как Куратов задумал жениться, мать ни на минуту не отпускала дочери от себя и со слезами твердила ей: «Я хочу, чтоб ты была счастлива; что я могу сделать для того, я на всё готова».

Куратов несколько дней не был дома. Возвратясь к обеду, который, по обыкновению, накрыт был на три прибора, для цыганки и ее дочери, Куратов приказал снять все приборы и оставить только один, для себя.

Цыганка, узнав об этом, как безумная вбежала в столовую и, бледная как смерть, задыхаясь от волнения, спросила:

— Мне и моей дочери, кажется, нет места за столом?

Куратов, казалось, смутился, но, верно желая покончить разом всё, твердо произнес:

— Нет!

И он потупил глаза в тарелку.

Цыганка, как бы пораженная громом, с минуту стояла в нерешительности и вдруг крикнула:

— Если ты унижал мать,— ты не сделаешь того же с дочерью!

Сказав это, она выбежала в сад через дверь террасы и пустилась бежать.

Куратов знал характер цыганки. Он с ужасом бросился ее догонять, крича на помощь людей. Но цыганка, казалось, летела. Добежав до плота, она приостановилась, дала приблизиться Куратову и закричала так сильно, что все вздрогнули:

— Не забудь, что смерть моя падет на тебя, если ты оставишь мою дочь!

С этими словами она бросилась в воду.

Куратов дико закричал: «Спасите, спасите ее!» — и прислонился к дереву. С минуту он стоял неподвижно, закрыв глаза. Столпившаяся к плоту дворня в нерешимости глядела на воду и друг на друга.

— Вон, вон она! — раздались крики в толпе.

Куратов как бы очнулся. Он в отчаянии закричал: «Лодку, лодку!» — и сам кинулся ее отвязывать. Несколько лодок в минуту было на озере, но цыганки не было видно,— поверхность озера была гладка и спокойна, как и прежде. Куратов назначил страшную сумму тому, кто кинется в озеро. Нашлись смельчаки: перекрестясь, бросались они в воду, туда, где показалась цыганка, но в ту же минуту возвращались. Видимо, страх отнимал всякую возможность оставаться долго в воде.

Уже смерклось, а Куратов в каком-то безумном отчаянии плавал по озеру, то наградами, то угрозами понуждая бросаться в воду и искать цыганку. В его голосе слышались слезы. Он звал по имени цыганку, как будто думая вызвать ее со дна озера, которое освещено было тысячами факелов и кострами, разложенными на берегу, чтоб греться бросавшимся в озеро. Шепот людей, которые как будто боялись заглушить голос Куратова, величавое спокойствие природы — всё полно было унынья и ужаса...

Всю ночь продолжались поиски. Куратов желал во что бы то ни стало вытащить тело цыганки. Сам он сидел у пылающего костра; его фигура была страшна в эту минуту. Суровое лицо его подавлено было отчаянием, бледность, растрепанные густые волосы, стоящие дыбом, дикие глаза, устремленные на озеро, в котором он всё чего-то искал...

Под утро Куратов как бы впал в бесчувственность, устремив усталые глаза на чуть тлеющий костер. Он уже не замечал, что лодки стояли неподвижно в тростниках; утомленные люди дремали в них. Другие, разъезжая по озеру, лениво ударяли веслами, проезжая мимо Куратова.

Утренний густой туман медленно подымался от воды, как бы щадя осветить светом то место, где погибла цыганка. Сам Куратов, утомленный, отвернулся от озера и, сжав свою голову в руках, локтями которых он упирался в колени, как окаменелый оставался в этом положении.

Вдруг он вздрогнул, поднял голову и стал глядеть напряженно вдаль к дому, от которого с горы, как бы несомая туманом, бежала детская фигура. По мере ее приближения волнение Куратова усиливалось.

— Где моя мать? — едва слышно проговорила девочка.— Отдай мне, отдай мне ее!

Куратов склонил голову перед девочкой и как бы молил ее о пощаде.

Девочка, призывая свою мать, горько рыдала. Куратов долго вслушивался в слезы ребенка и вдруг встал, взял дочь за руку и повел в дом.

К обеду на столе стояло два прибора. Куратов сидел мрачный за столом.

С этого дня дочь цыганки присутствовала каждый день при обеде и ужине Куратова. Кормилица из цыганок заменила ей мать. Сам Куратов ни о чем не заботился, что касалось его дочери, и только иногда, казалось, вспоминал об ее существовании, когда прибор за столом был не занят ею. Единственное участие оказал он к своей дочери — это взяв в дом учителя, дряхлого старика, некогда бывшего страстным и искусным охотником. Дочь училась мало,— разве только тогда принималась за уроки, когда уставала резвиться и гулять; но в этом она была неутомима.

В дом была взята дочь кормилицы, единственная подруга, какую имела дочь Куратова, подрастая быстро в жизни, полной свободы.

Смерть ее второй матери, казалось, скрепила дружбу еще сильней между дочерью Куратова и детьми кормилицы. Они звали друг друга «ты», делили всё, что имели; игры и прогулки были общие. И только в присутствии Куратова видна была разница их положения в доме. Куратов, несмотря на всё свое равнодушие, строго взыскивал с живущих в доме за неуважение к своей дочери, которая не

скучала ни равнодушием отца, ни однообразною, уединенною жизнью. Мрачное озеро, леса были для нее источниками беспрерывных удовольствий и развлечений. И эта дикая жизнь не имела никакого влияния на нежность характера Любы,— нежность, которая проявлялась не только в каждом ее поступке, но даже в каждом слове и взгляде.

В доме все считали Любу наследницею всего имения Куратова, исключая самой Любы, которая никогда не помышляла о своем положении.

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ

Глава XLIII

ЛЮБА

Выше рассказаны обстоятельства и события, объясняющие характер Любы, образовавшийся под влиянием условий, совершенно противоположных тем, в которых развивался и жил Тавровский. Эта противоположность, может быть, была главною основой их сближения; встреча с таким человеком, как Тавровский, не могла не произвесть впечатления на Любу. С своей стороны и Тавровский был поражен Любою. Простодушная доверчивость, ненатянутая наивность и грация, не испорченная расчетливым кокетством, которое он так привык видеть в женщинах, даже простенькое платье Любы, ее детские занятия и веселая болтовня — всё в глазах человека, утомленного роскошью и рутиной городской жизни, имело необыкновенную новизну и привлекательность. Павел Сергеич был принят на короткую ногу в доме угрюмого старика, который, как бы вспомнив свою прошлую жизнь, стал задавать обеды, созывал соседей. Карты и вино появились в доме.

Тавровский продолжал видеться с Любой у ската горы, куда она приезжала со своими товарищами. После нескольких прогулок Люба уже не дичилась его. Да и Павел Сергеич так умел примениться к характеру девушки, что, видя его бегающего с Любой вперегонку и потом в ту же ночь сидящего за карточным столом с Куратовым, никто бы не узнал в нем того же самого человека. Но Люба, к счастию, не видала его в такие минуты. Не имея сама еще прошлого, она не мучилась любопытством разгадать прошлое Павла Сергеича. Ей достаточно было заметить в

нем один раз проблеск благородства души, чтоб твердо верить в его душевные достоинства. Недоверчивость к людям была еще чувством, не понятным девушке, воспитанной среди природы и не имевшей никаких столкновений с людьми. Если же в некоторых случаях недоверчивость и проявлялась в ней, то скорее как инстинкт, чем как следствие опытности. Например, Павлу Сергеичу много стоило труда уговорить Любу ездить одной на прогулки, потому что свита ее не очень была ему приятна. Цыган с своими мрачными и пытливыми взглядами уничтожал в Тавровском веселое расположение духа, а Стеша подслушивала его разговор с Любой и потом выкидывала с Павлом Сергеичем не очень нежные шутки. Вообще ему не нравилось слишком фамильярное обращение цыган с Любой, которая иногда сама краснела от слов и выходок Стеши и смущалась от взглядов ее брата. Несколько уже дней Павел Сергеич приезжал к скату горы, в полной надежде найти Любу одну, но ошибался. Стеша, казалось, сделалась ее тенью. Наконец Тавровский, после одной грубой выходки Стеши, объявил, что он не может выносить присутствия Стеши и ее брата. Строгий голос Павла Сергеича так подействовал на Любу, что она, несмотря на всю кротость своего характера, поссорилась с цыганкой и цыганом. Первая не уступила ей ни в одном слове, зато цыган не сделал ни одного возражения против желания Любы: он только страшно изменился в лице и исчез из дому. Пользуясь этим, Люба уехала одна к скату горы. Сердце ее болезненно сжималось при мысли, что она поступила несправедливо; но весла всё-таки действовали дружно, и щеки девушки, раскрасневшиеся от движения, зарделись еще ярче, когда она завидела черную точку на скате горы. В это время она более уже ни о чем не думала, как только о том, чтоб лодка плыла быстрее.

Тавровский давно уже был у ската горы. Красивое его лицо приняло такое торжествующее выражение, когда лодка подъехала к берегу, что Люба с минуту не решалась выйти на берег. Павел Сергеич прыгнул к ней в лодку и с жаром сказал:

— Как благодарить мне вас за вашу доверчивость ко мне!

Люба не поняла его благодарности и чуть не со слезами рассказала свою ссору дома.

Павел Сергеич старался всеми силами уверить Любу, что она поступила хорошо; но Люба тревожилась.

— Вы разве хотите остаться в лодке? — спросил Павел Сергеич, любуясь девушкой, окруженной со всех сторон осокою.

— О нет! они, верно, ищут меня! — пугливо сказала Люба и спешила выйти на берег.

Павел Сергеич поднял Любу; она было взяла его под руку, но тотчас оставила его руку и сказала:

— Куда же мы пойдем? ведь всё равно лодку увидят.

— Она в осоке. Пойдемте.

И он снова взял руку Любы и продолжал говорить, как будто не замечая, что Люба пыталась освободить свою руку.

— Пойдемте на то место, где я вас в первый раз увидел. Я каждый раз захожу на эту площадку и думаю о вас.

Люба вся вспыхнула, потупила глаза, но не двигалась с места.

— Чего же вы боитесь? в первый день нашего знакомства вы были такая смелая.

— Тогда была Стеша...— поспешно начала Люба и, окончательно потерявшись, склонила голову на грудь, которая сильно подымалась.

— Но вы меня не знали тогда,— а теперь? чего же вы боитесь?

И он почти против воли повел Любу за собой.

Тавровский замечал, что с Любой надо говорить и обращаться, как с ребенком: тогда она не дичилась его; и точно: лишь только голос его сделался прост, а взгляды обыкновенны, Люба, доверчиво опираясь на его руку, пошла за ним. Она сделалась весела, болтлива, совершенно позабыв и свое горе, и неловкость, которую чувствовала за минуту в присутствии Павла Сергеича. Тавровский, казалось, сам превратился в ребенка: он усердно гонялся с Любой по лесу за коньками и бабочками. Поймав, они разглядывали их радужные крылышки. Держа на ладони бабочку, Люба так была занята ею, что не чувствовала горячего дыхания на своей разгоревшейся щечке. Тавровский, казалось, завидовал насекомому, тоже разглядывая его. Люба, подняв голову, столкнулась с его головой; он стал извиняться.

— Я, кажется, вас ушибла? — говорила Люба, потирая свой лоб.

— Нет. Я вас ушиб.

— Вам больно! вы покраснели!

— О нет, мне больнее, когда вы забываете окружающих, любуясь бабочкой.

— Ах, где она? я ее уронила! — вскрикнула Люба и, опустившись на колени, начала ловить прыгавшую по траве бабочку.

— Вот она! — кинув фуражку на бабочку, сказал Павел Сергеич. Став на колени и тихо поднимая фуражку, он прибавил: — Дайте скорее булавку.

Люба подала булавку и занялась приглаживанием пелеринки, которая от ветра рвалась с ее плеч.

— Вот она; любуйтесь! теперь она не улетит,— сказал Павел Сергеич и подал Любе фуражку, к которой была приколота бабочка.

Люба с ужасом вскрикнула.

Павел Сергеич пугливо осмотрелся кругом, думая, что Люба завидела какого-нибудь зверя; но она хлопотала около бабочки; вынув из нее булавку, она с грустью глядела на ее страдания и попытки лететь и сквозь слезы сказала:

— Что вы сделали: она теперь уж не полетит!

— Вы меня испугали! Я думал, бог знает что вы увидели,— смеясь, отвечал Тавровский.

— И вам не жаль? посмотрите, сколько пыли уже слетело с ее крылышек!

— Не беспокойтесь: она сейчас полетит.

Люба с грустью продолжала глядеть на бабочку; но вдруг лицо ее озарилось улыбкой; закинув свою головку, она радостно следила за поднявшейся на воздух бабочкой.

Павел Сергеич, стоя почти на коленях, следил не за полетом бабочки, а за Любой, которая наконец совершенно закинула головку назад, щурилась и улыбалась, провожая глазами бабочку вверх.

— Ну, теперь вы не сердитесь на меня? — спросил он.

— Нет! — покойно отвечала Люба, закрывая глаза ладонью от солнца.

— Ну а если б она умерла?

Люба взглянула на Павла Сергеича и медленно отвечала:

— Я бы очень рассердилась на вас.

— За что же? она и так скоро бы умерла, как только настала бы осень: холод...

Люба задумалась, но потом поспешно сказала:

— Неужели вы не знаете, что к холоду бабочка превращается в куколку?

— Да я вообще ничего не знаю из естественной истории.

— Хотите, я вам подарю? у меня она есть, с картинками.

— Хорошо. Дайте вашу ручку поцеловать за это.

Люба быстро встала; Павел Сергеич последовал ее примеру.

— Если не хотите дать поцеловать вашей ручки, то хоть опирайтесь ею на мою.

И они пошли под руку.

— Знаете ли что: так как мы будем на том месте, где я вас видел в первый раз, то, чтоб живее его вспомнить, говорите со мной, как тогда говорили.

Люба не скоро поняла, чего хотел Тавровский, и никак не соглашалась говорить ему «ты». За спорами она не заметила, как они подошли к площадке, которая вдали вся пестрела роскошными цветами; ароматный запах их разносился по лесу.

— Что это как чудесно пахнет? — с недоумением спросила Люба, впивая в себя воздух.

— Цветы близко,— улыбаясь, отвечал Тавровский.

— Какие цветы — здесь, в лесу? — засмеявшись, сказала Люба, но вдруг, радостно вскрикнув, кинулась бежать к площадке.

Не скоро могла она прийти в себя от удивления и восторга, очутясь в роскошнейшем цветнике. Бегая и оглядываясь кругом, она твердила:

— Это то место, это оно!

Павел Сергеич наслаждался удивлением простодушной девушки. Подойдя к ней, он указал на небольшую беседку, сделанную из кустов роз, и сказал:

— Узнаете ли вы то место, где вы лежали? Я давно желал вас привести сюда одну, потому что оно для меня очень дорого.

Люба ничего не отвечала, так что нельзя было узнать, поняла ли она смысл слов Павла Сергеича. В каком-то упоении она стала бегать по цветнику, нюхать то один цветок, то другой, спрашивала Павла Сергеича о названии некоторых. Вдруг она остановилась и, смотря ему в глаза, спросила робко:

— Это всё для меня?

— Для кого же? — с упреком спросил он.

Люба задумалась и снова пустилась бегать по цветнику, срывала цветы и плела венок.

Павел Сергеич, сидя в беседке, любовался радостью девушки и мысленно сравнивал ее с другими женщинами, которых встречал в жизни. То расчет денежный, то самолюбие, казалось ему, двигали ими, и он решил, что единственно такая женщина, как Люба, способна сделать его счастливым. Он рассуждал так: «Я слишком много дурного видел в женщинах и потому не испытывал тех чувств, какие питаю к этой девушке. Это ребенок, которого, может быть, я не полюблю никогда страстной любовью». Вот о чем только думал Павел Сергеич; о будущности, тем более о чужой, он не имел привычки рассуждать.

В эту минуту Люба, с пылающими щеками и взглядом, полным восторга, вбежала в беседку и села возле Павла Сергеича. Счастье, казалось, мешало ей говорить; она глядела на Тавровского и тихо смеялась. Сняв с головы только что сделанный ею венок, она надела его на голову Павла Сергеича и любовалась им. Они несколько времени ничего не говорили, смотря друг другу в глаза.

— Ну что же, будете вы говорить со мной, как в первый день, когда я вас увидел здесь? — подавая Любе венок, спросил Тавровский.

Люба, улыбнувшись, кивнула головой.

Павел Сергеич, наклонясь близко, шепнул ей на ухо:

— Люба!

Люба, вздрогнув, схватилась за ухо рукой, до которой тотчас коснулись горячие губы Павла Сергеича.

Люба отняла руку от уха, у которого вновь почувствовала дыхание, и снова она содрогнулась от звука собственного имени, тихо произнесенного.

Люба как бы потерялась. Она хотела встать; но Тавровский удержал ее слегка, и Люба, сев опять, вдруг смело взглянула ему в лицо... и почти шепотом, дрожащим голосом сказала:

— Ты меня любишь?

Павел Сергеич, склонив голову к ее плечу, восторженным голосом отвечал:

— Люба, одну тебя люблю из всех женщин!

— Я давно уж люблю тебя; но боялась сказать, мне было стыдно.

— Люба, ты сведешь меня с ума! перестань! — воскликнул Павел Сергеич и, подняв голову, смотрел прямо в глаза Любы, которая доверчиво скрыла свое пылающее лицо к нему на грудь.

Тавровский бережно отвел голову Любы, встал и начал ходить по цветнику. Люба в свою очередь следила за ним из беседки, но ни о чем не думала. Мысли все перепутались у ней в голове; сердце билось с такой силой, что ей казалось, будто она слышит даже удары его. Руки ее машинально перебирали еще не успевшие завянуть цветы в венке. Но она пугливо пошла навстречу Павлу Сергеичу: лицо его так было непохоже на то, каким она привыкла его видеть.

— Вы хотите идти отсюда? — сухо спросил Павел Сергеич Любу.

Она робко отвечала:

— Да.

Павел Сергеич подал ей руку, и они молча вышли из цветника.

Головка Любы поминутно оборачивалась назад, и она бросала грустные взгляды то на Павла Сергеича, шедшего с потупленными глазами и нахмуренными бровями, то на удалявшиеся цветы.

Как вдруг Люба пугливо шепнула:

— Она здесь!

Тавровский вздрогнул и быстро повернул голову. Стеша шла вдали. На ее голове был тоже венок. Она, как бы не замечая их, скрылась за деревьями. Люба хотела остановить свою подругу, но Павел Сергеич не допустил ее, сказав:

— Не делайте этого: мне ужасно не нравится ее дерзость.

— Она шутит.

— Таких шуток не надо позволять ей,— строго заметил Павел Сергеич.

Молчаливые оба, они прибыли к скату горы. Стеша поджидала их, а ее брат стоял в лодке у берега с веслом в руке.

Люба очень сконфузилась; ей живо вспомнилось мрачное лицо цыгана при их недавней ссоре.

Стеша настойчиво сказала ей:

— Садись в лодку.

Люба хотела было идти; но Павел Сергеич остановил ее и сказал:

— Что вы делаете? к чему вы их так слушаетесь?

— Да он будет сердиться! — сквозь слезы отвечала Люба.

— Что же будет вам неприятнее: рассердить его или...

— Я приду завтра...— шепотом перебила его Люба.
— Одна?
— Да.

И Люба, кивая дружески головой Павлу Сергеичу, шла в лодку к цыгану, который быстро отчалил от берега и стал грести с необыкновенной силой.

Стеша, оставшись на берегу, насмешливо глядела на Павла Сергеича, который пошел в лес, когда уже лодка едва стала заметна на воде.

— Разве ты ее любишь? — обежав Павла Сергеича и заслоняя ему дорогу, спросила Стеша.

— А тебе что за дело? — сухо отвечал Павел Сергеич.— И кто тебе сказал это?

— Я сама знаю!

— Так ты очень глупа.

Стеша вздрогнула: кровавый румянец разлился еще сильнее по ее щекам, и она презрительно поглядела на Павла Сергеича и язвительно сказала, указывая в лес:

— Она уж больше не придет туда; там ей не из чего будет делать венки-то! — И Стеша побежала к берегу, села в лодку и, бросив платок к Павлу Сергеичу, крикнула:— Возьми еще платок, чтоб вытирать слезы, когда будешь ее поджидать.

Тавровский погрозил Стеше пальцем. Она отвечала ему принужденным смехом.

Павел Сергеич был очень поражен, заметив свой вензель на платке: он совершенно забыл, что в первый день знакомства с девушками обвязал этим платком ушибленную голову Стеши.

Лодка скрылась с озера; только венок, бывший на голове Стеши, одиноко и тихо качался на воде, как бы в раздумье, куда ему плыть.

Павел Сергеич страшно рассердился, возвратясь в цветник: все цветы в нем были помяты, беседка испорчена; он долго оставался в ней, то припоминая слова и взгляды Любы, то возмущаясь дерзостью Стеши...

С этого дня Люба более уже не ездила к скату горы. Стеша насказала Куратову, будто Люба, катаясь одна, чуть не утонула. Куратов принял строгие меры, чтоб дочь его не каталась одна по озеру. Эти препятствия не охладили Тавровского, а напротив, подстрекали его настойчивый характер. Он выдумывал разнообразные хитрости, чтоб хоть минуту побыть наедине с Любой. Один взгляд Любы, бро-

шенный ему украдкой, или случайное прикосновение ее руки сильно действовали на него. Он столько раз был любим, что самонадеянность сделала его равнодушным к женщинам и в то же время недоверчивым: ему не раз случалось открывать расчет там, где он предполагал чувство. Как старику лестно внимание молодой женщины, так и Тавровскому льстила любовь невинной и почти дикой девушки, исполненной чистой и поэтической детской любви. Она не думала о будущем, мысль о замужестве не входила в расчеты; при ней не было ни расчетливой тетки, ни заботливой матери, которая научила бы ее, как действовать, чтоб не упустить выгодной партии.

Куратов по-прежнему не обращал внимания на свою дочь и решительно не подозревал настоящей цели знакомства с ним Тавровского.

Павел Сергеич задавал у себя в деревне пиры, на которые приглашал Куратова и Любу. Фейерверки, иллюминации и разные другие увеселения были новостью для девушки, жившей в лесу. Люба в первый раз видела общество. Она дичилась его; но внимание хозяина и ее красота делали ее первой везде. Любе стоило только победить свою робость, чтоб говорить со всеми и приводить всех в восторг. Она в несколько уроков, данных Павлом Сергеичем, грациозно вальсировала. И соседи, знавшие воспитание, какое давал Куратов своей дочери, не могли надивиться, где это она выучилась всему. Девушке, не испорченной никакими нанятыми наставницами, ни строгою заботливостью, чтоб она походила на жеманную куклу, ни обществом многочисленной свиты горничных, легко перенять слишком простые условия порядочного круга.

Приближался день рождения Любы. Павел Сергеич в этот день назначил у себя в деревне праздник и пригласил множество гостей, а в том числе Куратова и его дочь.

В доме его совершались страшные приготовления. Ломались стены в комнатах: прилаживали сцену и партер. Тавровский готовил Любе сюрприз, так как она еще не имела понятия ни о каких сценических представлениях,

Глава XLIV

СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ

В городишке Н, в худшей из его двух улиц, стоял одноэтажный каменный дом, до того старый, что штукатурка местами отвалилась и виднелся кирпич, отчего дом напоминал больного. Окна были испещрены прихотливыми изгибами замазки, которая скрепляла множество зеленоватых стеклушек, заменявших цельные стекла. Одно стекло было разбито, и из него торчала засаленная подушка. Из раскрытого окна этого дома слышались звуки шарманки, визг собак, плач детей и крикливые голоса женщин.

День был летний и жаркий; на улице глухая тишина; редкие пешеходы непременно останавливались у дома, прислушиваясь к разнообразным крикам, и пытались заглянуть в запыленные и изувеченные зеленоватые стекла. Уличные мальчишки карабкались к раскрытому окну, занавешенному до половины дырявым большим шерстяным платком, стараясь заглянуть в комнату, но пугливо бросались на землю от жилистого кулака, являвшегося из-под платка и сопровождаемого грозною бранью на нечистом русском языке.

Комната, раздражавшая любопытство каждого, кто шел мимо, заключала в себе довольно странную коллекцию зверей и людей. Внутренность ее — стены и потолок — были подвержены такой же болезни, какою страдала наружность дома. Комната имела широкий размер; она была длинна и узка, как будто тот, кто строил ее, желал сделать коридор, а не комнату. Дырявые бумажные ширмы расставлены были по разным направлениям окон и стен. Несколько кроватей беззастенчиво красовались в простенках. Комната разделялась на две главные части легкой перегородкой, сколоченной из досок; середина ее была занята мелкими владениями. В первой половине комнаты, захватывавшей два окна, происходила следующая сцена. Играла шарманка, оглашая комнату пронзительными звуками. Слепой старик, весь в лохмотьях, вертел не без усилия ручкой шарманки. Она была огромная и помещалась на подножнике, к которому было привязано штук десять мелких собачонок в разных фантастических нарядах: они жались друг к другу, жалобно взвизгивая каждый раз, как их собратка по ремеслу, прыгавшая на задних лапках, в красном платье и шляпке с петушиными перьями,

получала удары прутом от высокой женщины, ходившей кругом с бубнами в руках и страшно кричавшей на бедное животное, и без того уже заробевшее. Наставница собак имела соответственную занятию строгость и непоколебимость в выражении своего длинного лица с серыми глазами, далеко расставленными друг от друга, и таким носом, что половину его смело могла уступить другому; большой рот с кривыми зубами напоминал пасть какого-то плотоядного животного. Белокурые и с проседью волосы были скрыты под тюлевым чепчиком, завязки которого перетягивали костлявый подбородок, украшенный редкими длинными желтоватыми волосами, преимущественно с одной стороны. Верхняя губа слегка была покрыта тоже волосами.

Длинная, плоская, но широкая фигура ее была облечена в ситцевую пеструю юбку и камлотовый малиновый спензер, у которого рукава были с буфами на плечах. Наряд ее довершал черный передник с карманами, из которых торчали какие-то палочки, игрушечная мельница и другие подобные принадлежности собачьих представлений.

Обезьяна, в красном распашном капоте и фуражке на голове, озабоченно прыгала со стула на пол и обратно, попискивая и стараясь освободить свое горло от веревки, которою была привязана к ножке стула. Грязный белый пудель в чепраке, сидя возле слепого, зорко поводил глазами за каждым движением прута наставницы собак.

У соседнего окна, которое было раскрыто и завешено дырявым платком, происходило другого рода учение.

Главное лицо представлял здесь итальянец пожилых лет, с лицом, не отличавшимся кротостью и привлекательностью, атлетического сложения, которое резко выказывалось от грязного белого трико, натянутого на нем. Красные коротенькие панталоны с блестками прикрывали его живот. Ноги его были обуты в грязно-желтые сапоги. Итальянец своими жилистыми и огромными кистями, резко отделявшимися от белого трико, плохо натянутого на его руках, устанавливал на свою голову, обросшую стоящими дыбом, как щетина, волосами, мальчика лет шести в таком же грязном трико и дырявых башмаках. Ребенок, дрожа, искал эквилибру, но не мог найти,— может быть, потому, что жилистые ручищи итальянца поминутно щипали тощие икры ребенка. Итальянец кричал на него:

— Стой, *модита,* держись!

И если ребенок терял баланс и летел с головы наставника, итальянец ловко ловил его на лету за руку или ногу, отчего кости у ребенка хрустели и он вскрикивал; итальянец устанавливал его вновь, еще сильнее браня и пощипывая.

Подле этой группы мальчик, почти таких же лет и в таком же наряде, как стоявший на голове итальянца, то силился удержаться на голове, то кувыркался, падал, стукался и снова повторял одни и те же штуки, поглядывая робко на итальянца, который, подхватив упавшего опять с его головы ученика, подбросил его выше и отпустил назад. Ученик, пронзительно взвизгнув, упал к передним копытам вороной маленькой лошаденки в желтом чепраке и с перьями на голове, лежавшей у стены. Лошадь пугливо вскочила и заржала; собаки залаяли, потом завизжали от ударов своей наставницы. Шарманка издала унылый звук и замолкла; игравший зажал уши. С минуту крик и гам был страшный в комнате. Женские лица выглянули из-за ширм, и посыпались выговоры итальянцу за кроткое обращение его с детьми.

— Что ты их не высечешь хорошенько перед уроком? Стояли бы в струнку! — крикнула заспанная женщина лет двадцати с подозрительным румянцем и белизной в лице.

Трех зубов у нее недоставало напереди, огромный шрам шел по всей щеке. Белокурые остриженные волосы были завернуты в пукли и зашпилены огромными шпильками. Одета она была в коротенькое ситцевое платье с открытыми лифом и рукавами; полные ноги ее были обуты в розовое трико и танцорские башмаки.

Позевывая и потягиваясь, она поджала ноги под свою коротенькую юбку и снова расположилась заснуть. Но в эту самую минуту вбежала в комнату старая худощавая женщина, бедно одетая; на голове ее повязан был платок; по ее мокрому переднику и рукам в мыле легко можно было угадать ее занятие. Она кинулась к упавшему мальчику, которого итальянец уже держал на воздухе за волосы, а наставница собак хлестала розгой.

— Ну, полноте: я ведь сколько раз вам говорила, чтоб их не бить! — вырывая мальчика из рук итальянца, кричала худощавая женщина.

— Как же хочешь их учить? — спросила наставница собак.

— Его надо бить: умней будет! — подхватил итальянец.

— Возьми розги, а уж руками не дерись, и так на что они похожи! — выходя из себя, кричала женщина так громко, как будто слушатели ее стояли за полверсты от нее.

— Балуй, балуй их, скоро они так выучатся! — заметила женщина со шрамом на щеке.

— Да помилуйте, Юлия Ивановна! вон какой желвак опять вскочил,— рассматривая лоб у плакавшего ребенка, отвечала более тихим голосом худощавая женщина, повязанная платком.

— Экая важность! меня так учили не так: сколько раз голову-то проламывали; а небось...

— То-то такая отважная и вышла! — раздался чей-то хриплый голос из-за ширмы, стоявшей вблизи от кровати той, которую худощавая женщина, защищавшая детей, называла Юлией Ивановной.

Смех раздался за легкой перегородкой.

Юлия Ивановна вскочила с постели и, приняв грозную позу, выразительно сказала:

— Я вам задам, пересмешницы, а тебе, старому, зажму рот!

— Юлия, Юлия! — кричала наставница собак и прибавила по-немецки: — Оставь русских мужичек.

Юлия залилась смехом, повторяя фразу, сказанную наставницей собак.

Дверь в легкой перегородке раскрылась,— выскочили три женские фигуры, в один голос крича:

— Фиглярка, скакунья, стрекоза!

Особы, выскочившие из-за перегородки, уже известны нашим читателям. Это три сестры, девицы Щекоткины: Настя, Мавруша и Лёна.

Время мало имело на них влияния; только у Мавруши еще реже стала ее микроскопическая коса, Настя потучнела, а у Лёны зубы еще более почернели.

Две партии уже приготовились было в атаку, перестреливаясь бранью; к Юлии присоединилась наставница собак; но в ту минуту появился старик в халате, с чубуком в руке, и, махая им между враждебными партиями, сказал повелительно:

— Опять! да будете ли вы вести себя как следует? Я вот перескажу всё Петровскому: он вас уймет!

Женщины попятились назад, и наставница собак сказала с надменностью:

— Я и смотреть не хочу на него.

— Да я ему в глаза скажу, что он обманщик: чего-чего не сулил нам! как сманивал! а? а теперь вот сколько времени сидим на одном месте!

— Хорош содержатель труппы: костюмы-то все заложил! — презрительно заметила Настя.

— Как можно без денег набирать труппу! — вздохнув, сказала Мавруша.

— В тюрьму его самого-то посадят скоро; да, право, мы дуры, что сидим здесь,— подхватила Лёна.

— Эх раскудахталась! скорее он дурак, что такую рухлядь таскает с собой,— насмешливо сказал старик в халате.

Юлия громко засмеялась, и наставница собак басом вторила ей. Сестры бросили злобные взгляды на Юлию и старика и, проворчав себе под нос не очень лестные эпитеты им обоим, скрылись за перегородкой, откуда долго еще слышалось их недовольное ворчанье.

Юлия каталась по постели, продолжая смеяться.

Старик скрылся за ширмы; заглянув туда, худощавая женщина сказала:

— Дай-ка мне, родной, мази-то, что намеднись давал. Опять лоб разбил себе,— прибавила она, указывая на мальчика, которого держала за руку и с лица которого исчезли уже слезы.

— Вот дура старая, дура; ну что ты их ломать-то даешь! — отвечал старик, лежа на постели, над которой на гвоздиках висели парики, бороды и костюмы.

Простой деревянный стол со шкапом да стул составляли всё имущество его.

— Да как же, батюшка! ведь, бог даст, свой кусок будут иметь,— обиженным голосом заметила худощавая женщина.

— Разве нет другого ремесла, кроме кривлянья? — спросил старик с упреком.

— Да что же мне делать! ведь я чуть жива сама-то, а надо четыре души накормить. Сами знаете мои года. Да еще хоть бы муж был не лежебок! Какие здесь господа живут! где достанешь работы?.. Куда же я денусь с ними?

И худощавая женщина заплакала.

— Полно, Кирилловна; теперь уж слезами не поможешь. К чему было дочь-то прочить в актрисы? — сказал старик.

— Так, по-вашему, мне ее было у корыта поставить? — с сердцем спросила Кирилловна.

(Читатель потрудится вспомнить прачку города NNN, имевшую такое страстное желание сделать свою дочь актрисой; это была она. Эта несчастная женщина забрала себе в голову, что сценическое поприще самое выгодное, а теперь, недавно схоронив свою дочь, пустила на это же поприще двух ее малюток — своих внуков.)

— А разве лучше ей было бродить по ярмаркам с детьми?

— Всё-таки не у корыта стояла! — вытирая слезы, отвечала Кирилловна.

— Экое бабье упрямство! — проворчал старик.

— Мази-то?

— Возьми в шкапу!

— Щец прислать? — уходя от старика, спросила Кирилловна.

— Селедочки кабы! — отвечал старик.

Кирилловна крикнула детям, чтоб они шли обедать, а сама остановилась мимоходом у кровати Юлии, на которой были разложены накрахмаленные юбки, коротенькие, с блестками, плисовые корсажи, мятые цветы, бусы.

Юлия сидела на корточках у большого сундука, выдвинутого из-под кровати, поставленной, как нарочно, у самого окна, в котором одно стекло было выбито и заткнуто подушкой. Бумажные ширмы о трех половинках были отягчены салопами и платьями. Маленький стол, покрытый салфеткой, стоял в простенке; на нем — маленькое зеркальце, алебастровый зайчик, щетка и другие принадлежности туалета. На огромном крючке, вбитом в стену, вероятно для большого зеркала, висела соломенная старомодная шляпа с перьями и цветами и испытавшая немало проливных дождей и пыли.

Юлия, не обращая внимания на присутствие Кирилловны, продолжала рыться в сундуке.

Кирилловна, постояв молча и бросая завистливые взгляды в сундук, наконец сказала со вздохом:

— Будь-ка жива моя дочь, то ли бы еще у ней было!— Юлия с презрением посмотрела на Кирилловну, которая поспешно продолжала:— Ей-богу, Юлия Ивановна, хоть верьте, хоть не верьте, а моя Катя была красавица!

— То-то дети на шее у тебя и остались! — заметила Юлия и вслух стала считать по-немецки несколько пар чулок, сложенных вместе.

— Купленные? — спросила опять Кирилловна.

— Нет, дареные! — с гордостью отвечала Юлия. И, вынув синюю лекарственную коробочку из бокового ящика сундука, она открыла ее и, показывая Кирилловне, прибавила: — Вот и эти серьги тоже.

На вате лежали длинные и большие серьги с разноцветными камнями.

— В сорочке, видно, родилась! — с грустью заметила Кирилловна и, пощупав юбку, прибавила: — А ведь отсырела, а уж какой густой крахмал я варила.

— Еще бы! на гнилом полу стоит сундук-то.

Их разговор был покрываем звуками шарманки, визгом собак, прыгавших на задних лапках перед их наставницей, и криками итальянца, голос которого заглушал всё:

— А скажи-ка, маленка лошадка, сколько в году месяцев?

Этот и подобные вопросы относились к вороной маленькой лошадке с перьями.

Но весь гул, крик и визг разом утихли при появлении в комнату молодого мужчины, довольно красивого, но не отличавшегося особенно умным выражением лица, которое сияло радостью. Он торжествующим голосом закричал:

— Остроухов! Остроухов! радость!

Старик в халате выглянул из-за своих ширм.

Перемена в Остроухове, с тех пор как мы с ним расстались, была значительная. Морщины его как будто все налились. Волосы почти были седы, спина согнулась. Голос был хрипл и сиповат.

— Живее, на ноги все! — говорил молодой человек.

— Да что, Петровский, что такое с тобой? — проворчал Остроухов.

— Да вот, видишь, бегу выкупать костюмы.

И Петровский, вынув из кармана деньги, поднял их кверху, потрясая ими в воздухе и простодушно заливаясь смехом, до того искренним, что Остроухов усмехнулся тоже.

На деньги, как вороны, слетелись со всех углов особы, находящиеся в комнате. Даже и слепой побрел было ощупью, но, споткнувшись о стул, остался около него и жадно прислушивался к крикам говорящих.

— А какая цена за представление? — кричала Лёна.

— Недаром я видела во сне сегодня, что наша покойница такие пышные хлебы вынимала из печи,— говорила Мавруша Насте, которая отвечала:

— А я — будто мне какой-то господин с усами подал табаку. Я...

И Настя остановилась, перебитая Петровским, который кричал:

— Всё забирайте: дорога не на мой счет.

— А собак? — басом спросила их наставница.

— Всё нужно!

— Да к кому это ты нас поведешь? — спросил Остроухов.

— В имение к графу Тавровскому.

Лицо Остроухова всё передернулось, и он поспешно спросил:

— Он молод? не женат? ты его видел?

— Нет! Камердинер его со мной рядился. Он говорит, что барин его холостой и молодой.

— Неужели это он? — погрузясь как бы в раздумье, ворчал Остроухов.

— Смотрите, роли, какие есть, все пройдите; репетиций некогда много делать! — обращаясь к сестрам, заметил Петровский.

— Это надо было бы вот ему сказать,— обидчиво заметила Лёна, указывая на Остроухова, который что-то медленно шевелил губами, стоя понурив голову.

Петровский ударил Остроухова по плечу, отчего старик вздрогнул и поглядел на него как-то странно. Петровский сказал:

— Ну, брат, уважь мою просьбу: покрепись — ведь сколько времени была воля!

— Да ему столько же надо еще времени, чтоб выспаться,— заметила Лёна.

И общий смех прикрыл ее слова.

Остроухов, казалось, не понял, что был предметом смеха.

Петровский, скрывшись с ним за ширмами, с жаром говорил ему о выгодных условиях, заключенных с Тавровским.

— Кирилловна, не жалей крахмалу-то. Крепче накрахмаль юбки! — говорили сестры.

— Трико, мне трико приготовь! — кричала Юлия, напевая какой-то вальс.

Всё говорило, шумело, спорило в комнате, на лицах

всех было одушевление; апатия, царствовавшая за минуту, исчезла.

— Господа, господа! — кричал Петровский, выходя из-за ширм Остроухова.

В комнате всё замолкло.

— Я пойду к нашим, а вы собирайтесь: завтра, как жар спадет, мы и двинемся! — повелительно говорил Петровский, как вождь своему войску, и, не без торжественности надев шляпу, вышел из комнаты.

Оставшиеся разбрелись по своим углам. Итальянец принялся снова за установление детей на свою щетинистую голову, наставница собак — за пуделя, на которого была поставлена обезьяна. Шарманка гудела в комнате, прикрывая крики учителей. Юлия, распевая и держась за спинку кровати, делала батманы и антраша. Прачка, обложенная грязным бельем, считала его.

Вошли двое молодых мужчин, одетые в трико, как итальянец, с длинными волосами, которые придерживались обручиками, перевитыми лентами. Один из них имел поразительное сходство с наставницей собак. Только нос его был еще огромнее и приплюснут. Впрочем, занятие его, может быть, много способствовало этому. Он устанавливал на своем широком носу стул, потом палку, наверху которой помещалось чугунное ядро. Кроме того, он играл пудовыми гирями, как мячиком. Товарищ его был худ до невероятности, со впалыми глазами и грудью, и смуглота его представляла резкий контраст с желтоватым лицом и волосами силача. Господин со впалой грудью, расставив ноги широко и подняв голову кверху, играл искусно множеством медных шариков с погремушками; то же самое он делал с ножами и вилками.

Потом господа в трико все соединились, и из них составлялись пирамиды. Детей устанавливали на голове и заставляли их дрожащими руками делать ручки и посылать на воздух поцелуи.

Сестры, за своей перегородкой, находились тоже в хлопотах.

Угол, занимаемый ими, был довольно велик; но в нем всё так было грязно и разбросано, что места не было ступить, чтоб не задеть чего-нибудь. Мебели решительно не было никакой; сундуки заменяли им столы, кровати и стулья. Посреди полу была разложена вата, приготовленная для стегания. Настя, с неизменным чубуком во рту, поджав ноги как турок, сидела на сундуке, на котором лежа-

ли две подушки; она бормотала скоро, заглядывая по временам в тетрадь, которую держала в руках.

Мавруша укладывала платье в сундук. Лёна, сидя на полу, натягивала на свои ноги желтые сапожки.

— Лёна, не жилься; они и зимой-то тебе со слезами влезали, а уж в жар, известно, нога опухает,— говорила Мавруша.

Но Лёна не слушалась советов своей сестры; натянула сапоги и, прихрамывая, стала прохаживаться по комнате.

— Что, жмут? — насмешливо спросила Настя между чтением.

— Посмотрим-ка, как ты свое платье стянешь? — небось расплылась! — тем же ироническим голосом отвечала Лёна.

— Небось от твоей стряпни?

— Ну так что же сама не стряпаешь, коли не нравится! — сердито отвечала Лёна.

— Еще бы понравился вчерашний пирог: весь развалился... ха-ха-ха!

И Настя громко засмеялась.

Лицо Лёны приняло грозное выражение, вероятно от боли, производимой узкими сапожками. Мавруша, кинувшись между сестрами, настоятельно сказала:

— Ах, сестрицы, ведь сегодня память нашей матушки, а умирая, она только и просила, чтоб мы жили в дружестве и согласии.

— Экая важность! — крикнула Лёна, сев на пол, и, страшно морщась, стала снимать сапожки.

— Уживись с ней! — проворчала Настя и снова принялась читать роль.

— Экие проклятые: как заныли! верно, завтра дождь будет! — потирая свои ноги, говорила Лёна.

— Ты бы их размочила да и сняла тихонько,— заметила Мавруша, продолжая укладываться.

— Бывало, покойница в бане булавкой так снимала мозоли, что только что щекотно.

— Пожалела наконец и о ней! — заметила с упреком Настя.

— Небось ей мало от тебя доставалось! — запальчиво отвечала Лёна.

— Сестрицы! — воскликнула Мавруша, и, верно желая отвлечь сестер от предмета их разговора, она продолжала: — Я, право, не знаю, к чему он скакунов-то с собой тащит!

— Вот уж, я думаю, Юлька-то будет кривляться! — заметила Лёна.

С минуту сестры вели разговор довольно дружелюбно, — может быть, потому, что мнения их сошлись. Они рассуждали о недостатках Юлии. Наконец в комнате настала тишина. Лёна, вычистив табаком зубы, лежала бледная на сундуке, а Мавруша выщипывала седые волосы у Насти, которая сладко дремала.

Шарманка более не играла, собаки не визжали. Остроухов и слепой сидели вместе за ширмами; у каждого в руке были рюмочки, обратившиеся в стаканчики, и они толковали о предстоящей поездке. Всё движение из комнаты перенеслось на грязный двор, в котором был отгорожен круг из барочных досок: в нем скакала на старой кривой лошади Юлия, принимая различные позы и драпируясь в грязный кусок крепа. Господин в трико, со впалой грудью, с бичом в руке, поощрял ударами лошадь. Товарищ его, с широким носом, подбрасывал детей ногами, лежа на ковре, разостланном на дворе. Наставница собак занималась шитьем нового костюма своим питомцам, разговаривая то с Юлией, то с Фрицем, как она звала господина с широким носом.

Итальянец возился с вороной лошадью и страшно кричал:

— А скажи, маленка лошадка, сколько тебе годов? — Лошадка проводила копытом четыре раза по земле. — Четыриста? Нет? Четыри месяцов?.. Нет?.. четыри днев? нет?.. А-а-а, че-ты-ри годов? а-а-а?..

И итальянец заставлял маленькую лошадку свою кивать головой в знак согласия, что ей четыре года.

Зрителей было довольно: всё, что жило в доме, смотрело из окон, а щель под воротами была вся унизана головами уличных ребятишек, в которых с наслаждением бросали камнями дети в трико во время роздыхов своих.

Глава XLV

ПРАЗДНИКИ

Приезд кочующей труппы произвел сильное волнение во всей деревне.

Всё сбежалось смотреть, как волтижеры въезжали и входили в барский двор.

Юлия ехала в деревянной колеснице, управляя тремя лошадьми, разукрашенными перьями. Сама она была одета в какое-то газовое платье с блестками, с крылышками назади. Голова была убрана измятыми цветами. Юлия держала в руке золотую палочку, которою размахивала в воздухе. Фриц и его товарищ ехали, в костюмах очень пестрых, верхом; дети бежали возле них, кувыркаясь и цепляясь за хвост лошади. Наставница собак вела пуделя, на котором сидела обезьяна в гусарской курточке с саблей наголо. Другие собачонки бежали сзади, попарно, связанные веревками. Итальянец вел свою маленькую лошадку. Слепой играл на шарманке, весь согнувшись под ее тяжестью.

Сестры-артистки и другие актрисы и актеры труппы Петровского прибыли позже в кибитках и старых экипажах Тавровского.

Остроухову, как опытному актеру, Петровский всегда поручал устроить и приладить всё. Эти занятия, казалось, оживили старика. Спина его выпрямилась, глаза блестели, голос сделался чище; и часто, выхватив топор из рук неопытного плотника, Остроухов сам прилаживал дерево или лазил по кулисам, развешивая лампы.

Павел Сергеич присутствовал очень часто на сцене и однажды чуть не был ушибен дверью, которую тащил Остроухов, делая репетицию плотникам.

— Посторонись! — крикнул ему Остроухов, с усилием таща дверь.

Тавровский отскочил в сторону, но потом снова кинулся к кулисе и, приняв ее из рук Остроухова, поставил на место, спросив:

— Тут ей стоять?

— Здесь! — отвечал Остроухов, вытирая пот с лица рукавом своей рубашки и пристально глядя на Павла Сергеича, который спросил его:

— Ты бутафор или декоратор труппы?

— Всё что угодно. «Сам и пашет, сам орет и оброк с крестьян берет»,— кланяясь, отвечал Остроухов и прибавил:— Не имею ли чести говорить с самим господином Тавровским?

— Да! как же вы меня узнали? а ваша фамилия?

— Остроухов.

— Остроухов...— протяжно повторил Тавровский, как бы припоминая что-то.

— Вы могли слышать обо мне только от одного лица,— заметил Остроухов нерешительным голосом.

— От кого? — быстро спросил Тавровский.

— Любская...— медленно произнес Остроухов.

— Я знаю ее! — отвечал поспешно Тавровский.

— Позвольте узнать, где она теперь, счастлива ли?..

Тавровский ничего не отвечал на вопрос Остроухова и, глядя пытливо на него, спросил:

— Вы родственник ей?

— Нет! — со вздохом отвечал Остроухов и с жаром прибавил: — Я принимаю в ней...

— А-а-а! вы, верно, были влюблены...

— Я слишком стар и беден был и тогда, чтоб быть соперником...

Тавровский усмехнулся и перебил его:

— Вы, как я вижу, знаете все тайны Любской.

— В то время как я знавал ее, она была самая несчастная...

— Ну, будьте покойны: она теперь не может жаловаться на свою судьбу.

В голосе Тавровского заметна была ирония; но ее мог подметить только тот, кто коротко знал его. Остроухов же с чувством схватил было его руку и хотел пожать, но, опомнясь, выпустил и пробормотал:

— Извините... радость... я ее люблю, как родную дочь.

Тавровский протянул руку Остроухову и с любезностью сказал:

— Я очень рад познакомиться с вами, господин Остроухов.

И они пожали друг другу руки.

Тавровский тотчас переменил разговор, начал расспрашивать о состоянии труппы и чрез несколько минут, как бы вспомнив о чем-то, поспешно пошел со сцены. Остроухов долго стоял на одном месте, посреди гама и шума, происходившего вокруг него...

Настал день рождения Любы, которая с отцом и другими соседями приехала с вечера к Тавровскому.

С самого раннего утра начались сюрпризы для Любы. Комната, смежная с тою, где она спала, в ночь была уставлена потихоньку любимыми ее цветами. Попугай сидел

в золоченой клетке, маленькая левретка лежала на ковре. Люба проснулась от следующей фразы:

— Любочка, пора вставать. Люба, bonjour *!

Люба соскочила с постели и кинулась к двери; она тихонько заглянула в нее, желая знать, кто там мог ее называть, и остановилась, удивленная превращением комнаты. Лай левретки вывел ее из этого положения, и она пустилась бегать по комнате, желая поймать собачку, которая, как нарочно, чтобы продлить эту сцену, увертывалась от рук Любы. Попугай, хлопая крыльями и крича пронзительно, произносил очень чисто: «Люба, Люба!»

Люба, в ночном туалете, с лицом, хранившим еще следы сладкого сна, озаренным удивлением и радостью, окруженная цветами и освещенная ярко лучами раннего утреннего солнца,— была очень эффектна.

Стеша тихонько выглядывала из щелки противоположной двери. И когда Люба стала осыпать поцелуями левретку, подруга ее вошла в комнату и насмешливо глядела на Любу, которая весело обратилась к ней и стала рассказывать свое пробуждение.

Стеша невнимательно слушала, смотря на левретку, старавшуюся укусить необутые ножки Любы, и недовольным голосом перебила ее:

— Уж теперь ты глядеть не захочешь на нас!

— Стеша! — обиженно заметила Люба.

— Разумеется, ты гордая стала.

Люба повернулась спиной к Стеше, которая с презрением сказала:

— Сердись: я тебя никогда не буду бояться. Слышишь, никогда! даром что он учит тебя важничать со мной.

— Ты вздор болтаешь, Стеша!

— И ты думаешь, что он тебя любит? много?

— Разумеется!

— Да он всем говорит, что любит!

Люба, вспыхнув и топнув ногой, с сердцем сказала:

— Я тебе, Стеша, уж раз навсегда сказала, чтоб ты ничего не смела говорить о нем!

— Я хочу и буду говорить: он тебя обманет, как и других!

Люба засмеялась и с уверенностью отвечала:

— Он любит меня одну, и я не боюсь ничего, что ты ни болтаешь.

---

* здравствуйте *(франц.)*.

— Если он тебя любит, отчего же он не женится на тебе, а?

— Как?! — в недоумении спросила Люба, как бы пораженная чем-то.

— Ну как! известно, как женятся все, кто не хочет обманывать. Все женятся. А он разве тебе говорил, что женится на тебе? — язвительно улыбаясь, говорила Стеша, глядя на пугливое выражение невинной девушки, которая тихо бормотала:

— Нет, он никогда мне не говорил...

— То-то и есть!.. И он даже скоро уедет отсюда! — торжествующим голосом и протяжно сказала Стеша.

Люба побледнела. Стеша, смеясь, выбежала из комнаты.

Недолго испуг и сомнение терзали доверчивую девушку, тем более что Стеша так часто и много говорила дурного о Тавровском. Люба опять стала бегать с левреткой под крик попугая, который уже был выпущен на волю. Но вдруг, как бы о чем-то вспомнив, Люба поспешно оделась, вышла в сад и бегом пустилась по его аллеям. Запыхавшись, она прибежала к той беседке, которую занимал Павел Сергеич, и, отворив ее небольшим ключом, бывшим у ней в руках, вошла и быстро захлопнула за собой дверь. В беседке всё было, как прежде; полумрак от жалюзи и запах цветов придавали комнате что-то таинственное. Верно, Любе это не понравилось, потому что она подняла жалюзи,— и яркий свет ворвался в беседку. Люба только тогда заметила бесчисленное множество сюрпризов, приготовленных ей. Огромная коллекция бабочек и колибри, вместе с книгами об естественной истории, стояли на столе. Удочки, рыбные снаряды — ничто не было забыто, чем только Люба занималась или интересовалась. Упав в кресло и закинув голову, Люба долго оставалась в этом утомленном от счастия положении. Легкие шаги в саду заставили ее встрепенуться, и она, открыв дверь, кинулась навстречу Павлу Сергеичу, который принял Любу в объятия, приподнял и поцеловал в лоб, поздравив ее с днем рожденья. Люба хотела что-то сказать, но не могла; слезы выступили у ней на глазах, и она, сложив руки на своей груди, высоко поднимавшейся от волнения, с такою нежною благодарностью глядела на Павла Сергеича, что он с грустью сказал:

— Я не стою одного такого взгляда твоего, Люба. Я счастлив, что мог угодить тебе этими пустяками.

Люба со смехом рассказала свое пробуждение и, верно вспомнив слова Стеши, слегка смутилась и, взяв за руку Павла Сергеича и смотря ему в глаза, робко сказала:

— Ты меня не станешь обманывать?

— Я убежден, что это опять следствие болтовни дерзкой твоей горничной. Ты так сама чиста, что никакие подозрения не могут зародиться в твоей головке. Люба, прошу, даже умоляю тебя, для твоего спокойствия, удалить эту дикарку. Она своими дикими чувствами способна наделать кучу неприятностей.

— Я не знаю, что с ней сделалось! она прежде была такая добрая, так любила меня...

— Люба, она взбалмошная девушка. Ревность...

— Как?! кого она ревнует? — быстро спросила Люба.

— Тебя! — улыбаясь, отвечал Павел Сергеич и наставительно прибавил: — Пожалуйста, берегись ее, держи себя дальше от ее бесед. Ты дитя еще, а она уже женщина, к тому же дикая. Ну, что она тебе насказала сегодня?

Люба, вспомнив слова Стеши, что Павел Сергеич уедет, пугливо передала их.

— Это слишком! — разгорячась, воскликнул Павел Сергеич.— Нет, она будет отравлять наше счастье!

— Так ты не уедешь? нет? — повторяла Люба умоляющим голосом.

— Ты скажи от меня ей, что она дурная девушка и лгунья,— едва сдерживая свой гнев, говорил Павел Сергеич.

Это испугало Любу, и она, побледнев, смотрела на него. В первый раз, с тех пор как она познакомилась, Люба видела Тавровского в таком гневе. Заметив, что произвел дурное впечатление на Любу, он кротко сказал:

— Эти два лица, кажется, поклялись меня преследовать.

— Илья о тебе никогда ничего не говорит,— перебила его Люба.

— Всё равно: не говорит, так думает.

— О нет, он добрый.

— То есть умеет скрывать свои чувства и обуздывать себя: не так, как его сестра. Впрочем, оставим их. Я пришел для тебя и хочу глядеть на тебя, говорить о тебе.

И долго еще говорил Павел Сергеич в этом роде. Люба со вниманием слушала его.

Они расстались не скоро, потому что слишком были заняты рассматриванием коллекции бабочек, отыскивали

в книге их названия, болтали о посторонних вещах. Павел Сергеич, однако, первый вспомнил, что время уйти.

Люба застала Стешу в своей комнате, играющую с левреткой.

— Оставь ее! ты лгунья! — сказала сердито Люба.

Стеша не верила своим ушам: в первый раз подруга ее детства назвала ее так.

— Да, ты лгунья! и не смей трогать ничего, что он мне подарил,— продолжала Люба и, подозвав к себе собачку, стала осыпать ее поцелуями.

Стеша оставалась на своем месте; дико поводя глазами и стиснув зубы, она сказала:

— Так я лгунья?

— Да! это и он велел тебе сказать.

Стеша, не помня себя от гнева, подскочила к попугаю, спокойно сидевшему на клетке, и бросила его на пол. Люба кинулась на помощь. Стеша в это время ударила ногой собачку, которая страшно завизжала. В заключение Стеша побросала на пол цветы и мяла их ногами, повторяя:

— Вот, смотри, как я боюсь дотронуться до его подарков!

Глаза Стеши горели страшным огнем, когда она, остановясь посреди комнаты, искала еще чего-нибудь, на чем могла бы выместить свой дикий гнев.

Люба, бледная как полотно, с полуоткрытыми губами, дрожа от ужаса, глядела на свою подругу, которая как бы вздрогнула и зажала уши от визга собаки. Через минуту Люба, тяжело вздохнув, оглядела комнату и, останавливая свои спокойные глаза на Стеше, повелительно сказала ей:

— Поди прочь отсюда!

В лице и во всей фигуре Любы было столько силы и гордости, что Стеша, закрыв лицо, горько заплакала.

— Иди! я не хочу больше тебя видеть! ты злая, ты страшная! уходи скорее!

— Люба! — умоляющим голосом произнесла Стеша.

— Не смей меня так звать теперь: я больше тебе не сестра! и не смей входить ко мне! — горячась, говорила Люба.

Стеша гордо подняла голову и, удаляясь, сказала:

— А-а-а! это он тебе велел меня выгнать?

Люба, презрительно глядя на Стешу, молчала.

— Я уйду, и ты меня больше никогда не увидишь.

— Мне всё равно, я даже не могу говорить с тобой, уходи скорее!

И Люба с отвращением отвернулась от Стеши, которая выбежала из комнаты.

Целое утро прошло в разнообразных развлечениях. Не только Люба и другие гости, но даже вся деревня и дворня предавались неописанному восторгу. Не говоря о вине, которое лилось рекой, о пирогах, пряниках и орехах, которыми были уставлены огромные столы,— Тавровский сам поминутно входил в толпу крестьян, обнимался с ними, чокался. Собачьи комедии, волтижированье и другие фокусы до того удивляли мужиков и баб, не исключая самых почтенных стариков, что невозможно было оставаться равнодушным зрителем: их простодушный смех был так увлекателен, что Тавровский и сам смеялся до слез над кривляньем итальянца, который в интермедиях разговаривал с толпой и выкидывал разные фокусы.

За несколько часов до представления на сцене и в комнатах, где одевались актрисы и актеры, была страшная суматоха и крики.

Несчастный содержатель кочующей труппы, одетый сам в испанский костюм, бегал из одного угла в другой, из одной комнаты в другую.

— Да как же я выйду? платье на четверть не сходится! — кричала Настя, поворачиваясь спиной к Петровскому, который отвечал:

— Наденешь мантию; на что же и держим мантии? никто и не заметит!

— Мне покрывало, скорее покрывало! — подбегая к содержателю, кричала другая актриса.

— Посмотрите, ради бога, какие грязные сапоги-то! — говорил басом толстый актер, силясь взглянуть на свои ноги, в чем огромный живот препятствовал ему.— Какой же я буду дож?

— Где же взять! — отвечал Петровский.

И вслед за тем закричал:

— Эй, книгу на стол сюда дайте, книгу!

— Зачем же вы брались давать трагедию? ну поставили бы водевиль какой-нибудь,— заметила полновесная актриса в бархатном платье и диадеме на голове.

— Да перестань! Я знать ничего не хочу, одевайтесь во что есть, и конец! — топнув ногой, грозно закричал содержатель труппы.

И все, ворча, отошли от него.

Остроухов, тоже в костюме, был занят не менее Петровского: он румянил, наклеивал усы, бороды и бакенбарды целой толпе одетых воинов.

Наконец заиграл оркестр по сигналу Остроухова, топнувшего ногой об пол.

Сюжет трагедии был основан на любви двух молодых людей. Любовников разлучают; они клянутся вечно любить, страдают, плачут. Суровые сердца смягчаются, и влюбленных благословляют.

В первый раз в жизни Люба видела игру актеров, и как они ни были посредственны, но на Любу произвели сильное впечатление. С биением сердца следила она за каждым словом и движением актрис и актеров. Когда же разлучили влюбленных, Люба предалась такому искреннему отчаянию, что должна была уйти на несколько минут, чтоб дать свободу своим слезам. Трагедия окончилась свадьбой, на которой танцевали разнохарактерные танцы, а Лёна — своего неизменного казачка.

Любу очень поразило равнодушие Павла Сергеича к несчастиям влюбленных и сладкий сон отца, который просыпался только в антрактах, чтоб освежить себя после сытного обеда прохладительными напитками, которые разносили гостям.

Только что спустился занавес, Тавровский пошел на сцену благодарить актрис и актеров. Он каждому нашел сказать что-нибудь любезное. Обращаясь к Остроухову, он сказал:

— Вам я приношу двойную благодарность.

— Я рад, что вам понравилась игра наша. Чем богаты, тем и рады! — кланяясь, отвечал Остроухов.

— Очень, очень я доволен всем и никак не ожидал, чтоб столько талантов скрывалось так близко от меня, в этом городишке.

— Что делать? все, кого вы видите здесь, более или менее заблудшие овцы. Некогда и она была в такой же труппе... а что, хорошая она актриса?

— Очень хороша,— с иронией отвечал Тавровский.

— То-то, я ей предсказывал, что она будет хорошая актриса, если...

— И вы угадали! — перебил Остроухова Тавровский и затем обратился к Лёне, еще дышавшей, после казачка, подобно кузнечным мехам. Белилы и румяны остались пятнами на ее смуглых щеках. Пот, подобно весенним ручьям, образовавшимся от снегов, катился по лицу.

— Очень мило вы протанцевали, главное — смело!

— Она уж двадцать лет танцует казачка,— заметила Мавруша, закатывая глаза под лоб.

— Только давностью и можно объяснить такую ловкость,— отвечал серьезно Тавровский и, обращаясь ко всем, громко прибавил: — Господа, прошу вас всех отужинать у меня.

И под общий восторг он сошел со сцены.

В зале, великолепно освещенной, играла уже музыка на хорах; гости танцевали. Вальсируя с Любой, Павел Сергеич вздрогнул, заметив черные, блестящие глаза Стеши, устремленные на него из окна, выходившего в сад.

Посадив Любу на стул, он кинулся к окну и сказал:

— Что ты здесь делаешь?

— Разве мне нельзя глядеть, как танцуют?

— Нет... что ты сегодня сделала с своей барышней?..

— Я не ее горничная,— перебила Стеша.

— Что же ты думаешь о себе? тебя она избаловала; но ты всё-таки горничная, и я, на ее месте, велел бы выгнать тебя из дому.

— Я и так уйду! Я вижу, что вам этого хочется.

— И прекрасно сделаешь!

Тавровский отошел от окна, несмотря на слова, произнесенные Стешей умоляющим голосом:

— Вернитесь: я вам скажу...

Но Тавровский не вернулся. Фейерверк был спущен, сад иллюминован; музыка играла в нескольких местах. Гости разбрелись по саду. Тавровский шел с Любой под руку и обратил внимание на ее печальное лицо.

— Ты чем-то огорчена? не видала ли ее? — пугливо спросил Павел Сергеич.

— Я ее не видала с утра,— робко сказала Люба,— но...

— Говори, что тебя беспокоит?

— Отчего же... ты на мне не женишься?

Павел Сергеич остановился и, глядя в глаза Любы, улыбаясь, сказал:

— А ты хотела бы за меня выйти?

— Как же! я тебя очень люблю! а кто любит, тот женится...

— Это откуда ты таких рассуждений набралась?

— Стеша...

— А, понимаю!

— И в пьесе — они любили и женились.

— Так, значит, пьеса тебя навела на эту мысль?

— Да! но мой отец не будет сердиться: он всё делает, что я ни попрошу.

— Ну, дитя мое, ты подожди еще просить его об этом,— пожимая руку Любе, весело отвечал Павел Сергеич.

В продолжение прогулки он, шутя, спрашивал ее:

— Так ты хочешь выйти за меня замуж?

Отужинав с гостями, Тавровский отправился в отдаленный флигель, где ужинала труппа Петровского вместе с некоторыми любителями из гостей. Среди шумного разговора Тавровский не был замечен; он подошел к актрисам помоложе и получше и разговаривал с ними; как вдруг его кто-то дернул за платье. Он повернулся и увидел перед собой Остроухова с бокалом в руке. На его усталом лице еще были следы белил и румян, и он хриплым голосом сказал:

— Павел Сергеич, а Павел Сергеич, за ваше здоровье!

— Благодарю!

— Господа, здоровье хозяина! Ура! — закричал Остроухов.

Все встали и с шумом провозгласили тост. Один только содержатель труппы, сидя в углу, пел басом:

Мы живем среди полей...

И страшно вскрикивал, схватывая себя за виски:

Жизнь для нас копейка!

Тавровский также взял бокал и произнес:

— Господа, за процветание и славу талантов, находящихся здесь!

Каждый и каждая поспешили отблагодарить хозяина скромной улыбкой.

— Вот вельможа так вельможа! не чета нашему Семену Иванычу! — заметила Лёна, на лице которой играл яркий румянец; ни смуглоты, ни желтизны не было и признаков, так же как и на лицах ее сестер.

— Красавчик! — с чувством произнесла Мавруша, у которой вместо тощей косички лежала на голове пышная коса, мелко заплетенная в виде корзинки.

Настя тоже хотела изъявить свое мнение; но рот ее был занят: она только промычала что-то.

— Смотри, смотри Юльку-то! вишь, как коверкается! Ах, он подошел к ней! — шепотом произнесла Лёна.

— К чему было ее приводить к ужину? ведь он пригласил актеров и актрис, а не комедианток. Пусть бы в

лакейской и ела: ведь для них да для мужиков ломалась утром.

— Ай! — воскликнула Лёна.

Тавровский в эту минуту чокнулся с Юлией.

— Ну, вот подымет нос! — заметила с грустью Мавруша.

— А вот подошел к нашей франтихе... дура, да отвечай! — с сердцем шептала Лёна.

— Сестрица, смотри-ка, наш-то как надоедает ему.

— Его бы спать положили... Право, никто из них не умеет с вельможами говорить,— наконец проглотив, сказала Настя.

Остроухов, точно, ходил за Тавровским и что-то ему бормотал. Наконец Тавровский сказал ему:

— Господин Остроухов, право, мне некогда!

— Нельзя, важное дело! я должен, я обязан! она...

— Позвольте вам заметить, что здесь не место и не время вести серьезные разговоры. Я хозяин и не могу исключительно принадлежать одному вам.

— Павел Сергеич! — умоляющим голосом воскликнул Остроухов, тоскливо глядя вслед Тавровскому, который, еще несколько времени поболтав с актерами и актрисами, ушел в свою спальню отдохнуть от дневных хлопот. Он только что хотел раздеваться, как услышал шум в соседней комнате. Раскрыв дверь, он увидел Остроухова, который чуть не боролся с его камердинером. Увидав Тавровского, он с радостью воскликнул:

— А-а-а! Павел Сергеич! прикажите вашему лакею быть повежливее с человеком, носившим за несколько часов тому назад такое историческое имя и перед которым...

И Остроухов почти силою вошел в спальню; остановясь и покачиваясь, он стал потирать лоб, как бы приводя в порядок мысли.

Тавровский с жалостью глядел на Остроухова, который, подняв голову и осмотрясь кругом, сказал:

— Ну, здесь могу я говорить о ней.

Тавровский затворил дверь.

— Вы, говорят, женитесь?

— Кто вам это сказал? — сердито спросил Тавровский.

— Все, решительно все говорят об этом.

— И решительно все ошибаются! — утвердительно отвечал Тавровский.

Остроухов, покачавшись, сказал растроганным голосом:

— Павел Сергеич! удостойте вашей откровенностью кочующего актера. Верьте, он свято сохранит...

— Скажите мне, пожалуйста, наконец, чего хотите вы от меня? — выходя из терпения, спросил Тавровский.

— Чего я хочу?— отрывисто отвечал Остроухов.

— Ну да, что вам угодно?

— Знает ли она, что вы женитесь?

Тавровский пожал плечами.

— Она знает, или вы скрываете, а? За что вы хотите...

— Вы говорите вздор! Замолчите: мне это надоело! — сердито воскликнул Тавровский.

Остроухов вздрогнул, выпрямился, и опухшие глаза его устремились на лицо Тавровского, которому он глухо сказал:

— Ну что же, прикажите своим лакеям вытолкнуть меня. Я актер: вы даже не согласитесь выйти на дуэль со мной; я погибший человек,— а как легко презирать таких людей.

— Вы слишком дурного мнения обо мне,— устыдясь своего гнева, отвечал Тавровский.

— Мое мнение?! да мое мнение что такое для всех,— тем более для того, кто нанял меня сегодня, чтоб я его забавлял?

— Перестаньте, пожалуйста!

— Нет, оставьте меня, я всё скажу; я поклялся быть защитником ее. Я...

И Остроухов остановился, весь задрожал и сквозь зубы продолжал:

— Не улыбайтесь, не улыбайтесь! Каков бы я ни был, я еще могу разгадать людей и их взгляды. Да, я требую от вас одного слова... Знает ли она, что вы...

Лицо Остроухова всё пылало, и он задыхался.

Тавровский гордо сказал:

— Вы слишком во зло употребляете мою деликатность! Прошу вас выйти вон.

Остроухов хотел поклониться, попятился назад и упал в кресло. Он уперся руками в свои раздвинутые колени и, понурив голову, тихо заплакал, повторяя несвязно:

— Бедная, бедная женщина!

Тавровский, позвонив, велел подать воды плакавшему Остроухову; но камердинер принес вина.

— Я тебе велел подать воды? — сердито сказал Тавровский.

— Это-с для них лучше! — отвечал камердинер и, наливая стакан вина, продолжал: — Выпейте-ка!

Тавровский вышел из спальни.

— Пей; ну, чокнемся! — говорил камердинер, поднося вино Остроухову.

Старик осушил стакан и, упав на грудь камердинеру, повторял писклявым голосом:

— Бедная, бедная женщина!

— Ну что болтать! выпьем-ка за здоровье кого любим! — отвечал камердинер, освободясь из объятий Остроухова.

Через четверть часа камердинер тихонько вел из комнаты Остроухова, облокотившегося на его плечо и декламирующего стихи из «Эдипа»:

О дочь несчастная преступного отца!

Глава XLVI

РАЗЛУКА

Дня три еще все гости оставались в имении Тавровского; волтижированье, фейерверки, танцы и спектакли продолжались. Посреди этих развлечений Люба не обратила внимания, что Стеши более не видать. Когда же стала она собираться домой, Стеши нигде не нашли. Люба надеялась найти ее дома и очень удивилась, узнав, что и там ее не было. Рассказав всё брату бежавшей, который тотчас отправился искать сестру, Люба была уверена, что он приведет ее домой. Но цыган возвратился один и необыкновенно печальный. На все вопросы Любы он отвечал: «Ты ее больше никогда не увидишь». Но где она и как и чем она будет жить, цыган не говорил. Люба предлагала свои ценные вещи и деньги, какие у ней были, чтоб он отдал своей сестре. «Ей и так хорошо!» — отказавшись, говорил цыган. Бегство Стеши произвело на Любу неприятное впечатление. Хоть и мало были ей знакомы нужда, люди и свет, но всё-таки ее пугала мысль, как Стеша будет жить без родных, без денег, не зная никакой работы. Люба боялась, не она ли причиной. Исключая ее и брата бежавшей, все думали, что Стеша погибла в озере.

Через несколько дней после бегства Стеши Люба с испугом заметила незнакомое лицо, глядевшее на нее через решетку сада. Что-то страдальческое было во всей фигуре

старика, стоявшего у решетки. Черный старомодный, изношенный фрак, коротенькие брюки, явно не на него сшитые, запыленные сапоги, белый галстук, круглая старая шляпа — весь туалет старика изобличал человека нуждающегося. Усталое лицо, всклокоченные волоса и давно небритая борода заставили Любу предположить, что он желает какой-нибудь помощи. Люба подошла к решетке и, просунув руку свою, сказала ласково:

— Возьмите, пожалуйста.

— Что это? — попятясь назад, пробормотал старик, глядя с удивлением на деньги в руке Любы, которая очень сконфузилась и сказала:

— Что же вам угодно? вы ищете кого-нибудь?

— Не беспокойтесь; я скоро уйду; я вот только отдохну.

И старик, кряхтя, хотел сесть на карниз решетки.

— Войдите, войдите сюда! — сказала Люба, обежав сад, выглядывая в калитку и маня старика.

Старик подошел к ней и, поклонясь, сказал:

— Благодарю-с; я, знаете, пришел узнать, то есть я желал бы...

И старик остановился. Он видимо был смущен; припухшие его веки то приподнимались, то опускались; он смотрел как-то странно на Любу, которая хотела идти; он остановил ее вопросом:

— Вы знаете вашего соседа Тавровского?

Люба вся вспыхнула и, ответив, что знает, ожидала продолжения; но старик молчал. Наконец, покачивая головой и глядя прямо на Любу, он пробормотал тихо:

— Жаль, жаль и ее!

И вдруг он быстро спросил:

— Я могу видеть вашего батюшку?

— Вы разве его знаете?

— Мне нужно ему сказать два слова.

Люба позвала цыгана и передала ему желание незнакомого старика. Цыган повел его к Куратову, который только что встал. Со сна лицо Куратова не было привлекательно, так что вошедший старик не очень смело произнес, кланяясь:

— Честь имею рекомендоваться: я-с актер, фамилия моя Остроухов.

— Ну, что же ты можешь важное сказать мне? Я ведь до комедиантов не охотник, — перебил его Куратов не очень приветливым голосом.

— Я актер! — с комическим достоинством заметил Остроухов.

— Да слышал! Что же такое, говори?

— У вас есть дочь,— сказал нерешительно Остроухов.

— Э-э-э, брат!! я не желаю видеть у себя в деревне вашей комедии,— опять перебил его Куратов.

— Я совсем не затем пришел! — с досадою отвечал Остроухов.

— Что же тебе надо? — нахмурив брови, спросил Куратов.

— Ваш сосед женится.

— Кто? Тавровский?

— Да-с!

— Ну так мне-то что? — спокойно спросил Куратов.

Остроухов смутился и молчал. Куратов подозрительно разглядывал его. Остроухов, тяжело вздохнув, сказал:

— Да я потому говорю, что ведь он женится на вашей дочери.

Куратов вздрогнул, с минуту глядел странно на Остроухова и поспешно спросил:

— Да ты кто? от кого?

— Я из труппы Петровского, бывал на театрах...

— Кто тебя прислал ко мне? — сердясь, крикнул Куратов.

— Да я... сам пришел.

— Зачем же пришел?? а? и кто тебе сказал, что Тавровский женится на моей...

И Куратов, не договорив фразы, вопросительно смотрел на Остроухова, который, как бы в оправдание себе, отвечал:

— Да все соседи говорят! даже...

— Если и так, что же тебе за дело? и зачем ты пришел сюда?

— Я пришел сказать... что... есть женщина, которую...

Куратов грозно осмотрел с ног до головы Остроухова и с презрением сказал:

— Верно, какая-нибудь комедиантка? небось дочь твоя!

— Нет, она мне не дочь,— актриса, точно; но всё-таки, если вы любите свою дочь, так подумайте, что человек, бросивший одну...

— Пошел вон! — крикнул Куратов так, что собака, лежавшая у ног его, вскочила и заворчала. Остроухов пугливо кинулся к двери, но, оправясь, остановился и дрожащим голосом сказал:

— Я пожалел сказать всё вашей дочери: она еще так молода...

— Ты, кажется, помешан!.. уходи скорее! а не то я велю тебя выпроводить из околицы так, что другой раз не придет тебе охота вмешиваться в дела, в которых тебя не спрашивают!

— Я думал, что вы как отец...

— Иди, иди, меня не надуешь! верно, думал выманить что-нибудь! — грозя пальцем Остроухову, говорил Куратов.

Остроухов хотел было что-то возразить, но махнул рукой, проворчав:

— В самом деле, я помешанный! ну кто меня станет слушать?

Эти слова были произнесены с такою грустью, что Куратов спросил мягче:

— Что ты там бормочешь?

— Прощайте-с; желаю, чтоб дочь ваша была счастлива,— сказал Остроухов и вышел из двери.

Куратов вспылил и, указывая лежавшей собаке на Остроухова, произнес:

— Пиль его!

Собака с лаем кинулась за дверь. Послышался крик Остроухова и лай собаки.

Куратов усмехался и ласково звал собаку, ворча:

— Поделом, в другой раз не надувай! вишь, с чем пришел!

Через несколько времени Остроухов шел с цыганом из околицы. Его черный фрак и панталоны в нескольких местах были разорваны, рука обернута платком, а другою Остроухов размахивал, что-то говоря с жаром.

Куратов был поражен словами Остроухова. Он никак не ожидал, что его дочери предстоит такая блестящая партия. Он стал следить за Тавровским и убедился, что дочь точно нравится ему. Это обстоятельство очень подействовало на равнодушие отца: он приказал своей дочери занять лучшие комнаты в доме, дал денег для выписки из столицы нарядов. Праздник за праздником задавал Куратов; но напрасно: сосед его не просил руки Любы. Тавровскому мысль о женитьбе не приходила и в голову.

Раз Люба, ее отец и Тавровский сидели за чаем; зашла речь о свадьбе их общего соседа. Люба вдруг спросила Тавровского:

— А когда же наша свадьба? — и ужасно сконфузилась, увидев лицо отца, который мрачно глядел на смущенного Тавровского. Однако последний скоро оправился и, обратясь к Любе, сказал, указывая на Куратова:

— Вот от кого будет зависеть всё.

Куратов молчал.

Павел Сергеич продолжал:

— Ваша дочь еще так молода, что я боюсь, не каприз ли это только, и потому до сих пор умалчивал о своем намерении.

Куратов посмотрел на дочь, сидевшую с потупленными глазами, и сказал:

— Ей уже минуло семнадцать лет. Я скажу вам откровенно, что ваше внимание ей должно быть очень лестно. Но у вас есть родственники...

— Да, я должен вас предупредить, что свадьба не может быть скоро, потому что мне необходимо ехать в Петербург: моя тетка больна и требует моего присутствия.

Люба, за минуту обрадованная согласием отца, зарыдала и выбежала из комнаты.

Куратов с грустью смотрел вслед дочери и, обратясь потом к Тавровскому, нерешительным голосом сказал:

— А знаете ли вы тайну ее рождения? Я не буду вас обманывать, я всё открою вам, и тогда от вас будет зависеть сдержать слово. Впрочем, вы уже не так молоды, чтоб заранее не обдумывать своих поступков.

Куратов очень ошибался в будущем своем зяте. Он именно был таков, что никогда не давал себе труда думать как о серьезных вещах, так и о пустяках. Предложение его было вынуждено наивностью Любы; да притом Тавровского не пугали никакие обстоятельства. Он имел характер очень решительный.

— Я не желаю знать ничего. Я полюбил вашу дочь и надеюсь, что моя любовь не сделает ее несчастною,— сказал Тавровский.

— Всё, что я имею движимого и недвижимого, принадлежит ей,— перебил его Куратов.

— О деньгах, вы знаете, я не хлопочу; одно беспокоит меня: это ее слишком наивное воспитание.

— Я понимаю, всё понимаю: я увезу ее в Москву, и она в год или два...

— Ее детские понятия и поступки могут удивить людей с предрассудками.

— О, будьте покойны: я тогда вам отдам свою дочь, когда она сумеет носить как следует вашу фамилию.

Будущий тесть и зять расстались дружелюбно: Куратов — полный гордости, что приобрел такого блестящего зятя, а Тавровский — удивленный своим неожиданным сватовством.

Но не прошло двух дней, как он уже уговаривал Куратова поспешить свадьбой, и если бы не пост, то Люба сделалась бы его женой.

Около того времени Наталья Кирилловна письмо за письмом присылала к своему племяннику, требуя его к себе немедленно. Зина тоже заклинала его ехать в Петербург, описывая яркими красками неожиданную болезнь его тетки, которая будто была уже на краю гроба.

Может быть, Тавровский остался бы глух ко всему: так он был занят Любой. Но Люба вдруг и очень круто совершенно изменила свое обращение с ним и объявила ему, что выйти замуж за него скоро не может.

Это обстоятельство так поразило Павла Сергеича, слишком уверенного в беспредельной любви своей невесты, что он в первый раз в жизни потерялся и страшно огорчился. Все подозрения его пали на цыгана, тем более что он узнал о знакомстве его с Остроуховым и о свидании последнего с Куратовым.

Тавровский в первую минуту негодования придумал множество планов, как наказать дерзкого цыгана, но ограничился только тем, что предложил цыгану ехать с ним в Петербург.

Цыган отказался.

— Что же ты думаешь делать с собой? Роль твоя здесь незавидна и еще будет неприятнее, когда Любовь Алексеевна выйдет замуж и уедет в столицу,— говорил Тавровский, подавляя свой гнев.

— Я поеду за ней.

— Да знаешь ли, на каких условиях она возьмет тебя? Она теперь не дитя: ей можно будет держать тебя не иначе как лакеем.

Цыган вздрогнул и, подумав, отвечал со вздохом:

— Ну так что ж? если она захочет, я буду лакеем у ней.

— Да не у ней только,— а у всех.

— У всех — никогда! — гордо отвечал цыган.

Долго доказывал Тавровский цыгану невыгоды его положения в доме Куратова и выгоды поездки с ним в

Петербург, где Тавровский обещал пристроить его в какую-нибудь купеческую контору.

Цыган стоял на своем, что ни за какие блага не оставит питомицу своей матери.

— Ты упрям! — с сердцем сказал Тавровский и, грозя ему, прибавил: — Со мной не хитри: я тотчас всё разгадал; одно мое слово ее отцу — и тебя не будет при ней.

Цыган так смутился, что не мог говорить; на его лице выражались то мольба, то злоба.

Тавровский наслаждался, казалось, этим и насмешливо глядел на цыгана, который наконец с упреком сказал:

— Что я вам сделал? за что вы хотите и меня выгнать от нее? Сестра моя через вас бежала.

— Твоя сестра, как и ты, слишком дерзкие вещи забрали себе в голову, и если б это узнал твой барин...

— У меня нет барина,— перебил цыган.

— Однако ты ешь его хлеб, и он только по доброте держит тебя без работы.

— Я не даром ем его хлеб: я работаю в его конторе.

— Ну, значит, он барин твой,— язвительно улыбаясь, отвечал Тавровский.

— Ну что же? идите, наговорите ему на меня; я знаю, что вы будете в его глазах всегда правы, а я — виноват.

— Зачем же ты сам делаешь то, что находишь дурным в других? Ты видел этого старика, выжившего из ума от вина, и всё, что он наболтал тебе, ты передал ей?

Цыган кивнул головой.

— Зачем же ты это сделал?

— Я люблю ее.

— Да это я и без тебя знаю.

— Я не хочу, чтоб она узнала, когда будет поздно...

— А ты думаешь, ей легче понять? ты своими глупостями сделал то, что она стала бояться меня.

— Она перестанет бояться вас, если узнает, что всё это неправда.

— Послушай: ты меня выводишь из терпения. Неужели ты думаешь, я стану заботиться о подобных тебе людях? Мне не хочется <огорчить> ее. А то я легко бы справился с тобой и навсегда отучил бы тебя от охоты сравнивать себя с людьми, не равными тебе.

И Тавровский выразительно раза два махнул в воздухе хлыстом, который он держал в руке.

Цыган побледнел как полотно и, помолчав с минуту, глухим голосом отвечал:

— Делайте мне какие угодно угрозы: я ничего не боюсь. Если неправда, что вы обещались жениться уже на другой, то я...

— Ты! ты! да как ты смеешь вмешиваться в мои дела? — разгорячась, крикнул Тавровский, махая хлыстом по воздуху.— Пошел в переднюю: вот где твое место!

— Зачем же было звать меня и так долго говорить со мной! — отвечал цыган и быстро вышел из комнаты.

Тавровский кинулся за ним с поднятым хлыстом, но остановился, проговорив:

— Нет, надо с ним иначе действовать!

Тавровский был взбешен, что такое ничтожное лицо оскорбило так сильно его самолюбие. Он решился упросить Любу, чтоб она удалила цыгана.

В день своего отъезда он простился официально с невестой своей в доме Куратова; последний подал ему кольцо, очень дорогое, как знак обручения с Любой, которая поехала одна к скату горы по просьбе своего жениха. Люба не могла скрыть своих слез, встретив Павла Сергеича на том месте, где так часто она сидела, полная тихих и сладких ощущений. Наконец она отерла слезы и сказала:

— Я больше не буду плакать.

— Плачь, если только эти слезы могут возвратить мне твою доверчивость. Да, Люба, я очень дорожил ею: она для меня была высоким доказательством, что я порядочный человек. Скажи, употребил ли я ее во зло?.. Рассказать тебе прошлую жизнь мою я давно собирался; но я боялся, что ты многое не в силах понять: зачем же мне было понапрасну возмущать твое спокойствие?

— Так правда, что ты уже обещался жениться на другой и...

— Вот видишь, друг мой, как это было. Я был очень молод, не имел еще права располагать собой. Я встретил актрису, очень умную женщину; но не мог же я жениться на ней?

— Отчего, если ты ее любил?

— Мои родные не допустили...

— Значит, твои родные не захотят, чтоб ты женился и на мне, потому что я дочь цыганки.

— Будь покойна: они не узнают тайны вашего дома.

— А если?..

— Я теперь не мальчик и имею право делать что мне вздумается.

— Если так, то я выйду за тебя замуж, но не прежде, как узнаю, что та, на которой ты обещал жениться, не хочет за тебя замуж.

— Люба, ты приводишь меня в отчаяние своими детскими понятиями о вещах. Ну какая женщина, не только актриса, не захочет выйти замуж за человека с моим богатством и именем?

— Если бы я тебя не любила, я не пошла бы за тебя замуж.

— Ты! но таких, как ты, нет, может быть, нигде. Да, Люба, я первую тебя полюбил — всё прежнее были одни капризы праздной жизни. Я сначала думал, что любовь моя есть что-то вроде братского чувства к тебе; но теперь я вижу, что любовь моя гораздо сильнее и что страсть мою мне много стоило труда сдерживать; потушить ее я не могу ничем.

Тавровский говорил с таким увлечением, что голос его, и без того необыкновенно мягкий, так был гармоничен, что Люба слушала его, как пение. Обвив талию своей невесты и приложив ее голову к своему плечу, он продолжал вкрадчивым голосом:

— Если ты любишь меня, то я попрошу одного доказательства.

— Я всё готова сделать для тебя! — отвечала Люба таким голосом, что Павел Сергеич с жаром поцеловал ее.

— Тебе одной, кажется, суждено сделать из меня порядочного человека,— сказал он.— Да, одно твое слово, сказанное таким голосом, выше самых пылких уверений других женщин. Я уеду спокойно, что никто другой не отымет тебя у меня.

— Ты всегда знал, что я никого больше не полюблю. Скажи, чего же ты хочешь — какого доказательства?

— Люба! — странным голосом сказал Тавровский, так, что она вздрогнула. Он продолжал: — Ты слишком добра и наивна, ты не видишь того, что другая на твоем месте давно бы отгадала.

— Что такое? Я тебя не понимаю! — с удивлением спросила Люба.

— Впрочем, распространяться я не хочу: боюсь тебя обидеть.

— Как это обидеть меня?

— Да, есть вещи, которые должны всякую порядочную женщину возмутить. Я умолчу обо всем и попрошу только

одного как доказательства твоей любви,— именно: удалить от себя как можно скорее молочного твоего брата.

Люба побледнела и, вырвавшись из рук Павла Сергеича, смотрела на него с ужасом.

— Ты испугалась, кажется, моей просьбы; но другая бы давно сама его выгнала,— обидчиво заметил Павел Сергеич.

— Как! выгнать его? за что? Я уж и так много обидела его, выгнав его сестру,— с упреком сказала Люба.

— Всё равно: если бы ты не сделала этого, я бы не позволил ей быть при тебе! — запальчиво сказал Павел Сергеич и продолжал горячась: — Да знаешь ли, как дерзка она была?..

Он замялся: ему не хотелось раскрывать Любе глаза на многие вещи,— может быть, из страха, чтоб она не разгадала его характера. И с большею кротостию Тавровский продолжал:

— Я должен сказать тебе теперь, чтоб успокоить твою совесть. Она... она просто влюбилась и страшно ревновала...

— В кого? — перебила Люба.

— В меня... и ревновала тебя! — отвечал Павел Сергеич и прибавил: — Значит, ты тут ни в чем не виновата.

— Она любила...— как бы рассуждая сама с собой, говорила Люба и с грустью прибавила, взглянув в глаза Тавровскому: — Бедная Стеша!

— Так ты еще жалеешь ее? — с заметною досадою спросил Тавровский.

— А ты? разве тебе не жаль ее? ты говоришь, она тебя любила? — как бы с ужасом спросила Люба.

— Друг мой! ты слишком наивна. Дерзкая любовь какой-нибудь цыганки...

Люба глядела такими глазами на Павла Сергеича, что он сконфузился и, не окончив фразы, начал другую:

— Впрочем, оставим ее в покое; она далеко от тебя. Я прошу тебя удалить и ее брата.

— За что же... и его? — холодно спросила Люба.

— Положись на мою опытность и любовь к тебе: если я прошу этого, значит, так надо.

— Нет, я этого не сделаю,— подумав, отвечала решительно Люба.

Павел Сергеич в негодовании вскочил с своего места и, как бы не помня сам себя, смеялся, пожимал плечами, повторяя с гневом:

— Это просто забавно! это уж ни на что не похоже! — И, быстро обратясь к удивленной Любе, он с сердцем сказал: — Ты не согласна на мою просьбу; а знаешь ли, что этот мальчишка, твой лакей...

— Он мне брат! — с упреком заметила Люба.

— Всё же он лакей для других! Да этот дикарь забил себе в голову... разве ты не видишь, что он любит тебя не...

— Да, я знаю, он очень любит меня! — с уверенностью перебила его Люба.

Тавровский пожал плечами и, смотря на Любу как бы с сожалением, сказал:

— Ты для меня загадка! такая наивность, мне кажется, уже слишком странна в девушке. Знаешь ли, что я потому требую его удаления...

— Почему? — быстро спросила Люба.

— Он... влюблен в тебя, — с отвращением произнес Павел Сергеич.

Люба смутилась страшно, но потом тотчас же засмеялась.

— Так ты мне не веришь? — обидчиво спросил Тавровский.

— Мы с ним играли вместе: вот как он меня любит.

Павел Сергеич так был увлечен досадою, что долго и подробно раскрывал перед Любой все мелочи ревнующей любви. С трудом и не скоро он мог убедить наивную девушку в необходимости удаления цыгана и в таких красках описал последствия, если он останется, что Люба дрожала вся. Она дала слово своему жениху, что цыган будет удален к его приезду.

Для Любы столько новых чувств раскрылось, что прощание с женихом совершилось скоро и не было ей тягостно, — она спешила остаться одна.

Проводив своего жениха до леса, Люба воротилась и села на то же место, где они сидели вместе. Устремив глаза, влажные от слез, на гладкую поверхность озера, она долго оставалась в этом положении. Глазам ее беспрерывно являлись три лица: Стеша в слезах и лохмотьях, ее брат с угрожающим лицом и Павел Сергеич — с какой-то красивой женщиной. Эти лица как бы выходили из озера и снова исчезали в нем. Люба припомнила всё до малейшей подробности: свою встречу с Павлом Сергеи-

чем, их знакомство, последний разговор, даже взгляд, брошенный на нее Тавровским, когда они простились. Она так была погружена в раздумье, что не заметила курчавой головы, выглядывавшей из высокой травы невдалеке от нее, и не слышала едва заметного шелеста, как будто кто полз в траве.

Когда стало садиться солнце, Люба, позлащенная им, отвела усталые глаза от озера, устремила их на солнце и снова впала в прежнюю задумчивость. Грусть разлита была в каждой черте ее лица, и слезы струились по бледным щекам.

Шорох в лесу заставил Любу вскочить на ноги; радость вдруг озарила ее лицо, даже жилы забились на ее висках: она глядела в лес, в котором показалась фигура цыгана.

Тяжело вздохнув, Люба молча пошла к лодке; цыган последовал за ней. Лодка отчалила. Цыган греб; Люба смотрела пристально на него.

— Илья! — строго сказала Люба.

Цыган вздрогнул. Каждое слово, тихо сказанное, резко раздавалось на воде и вторилось эхом.

— Ты любишь меня? — продолжала Люба.

— Ты знаешь.

— Ты скажешь мне всю правду?

— Я никогда не лгал тебе!

— Ты желаешь ли, чтоб я вышла замуж за него?

— Если он любит тебя, то я очень желаю.

Люба задумалась и сказала:

— Если я выйду замуж, что ты будешь делать с собой?

— Не знаю.

— Хочешь, я пошлю тебя учиться?

— А, так он успел тебя упросить! — с ужасом воскликнул цыган.

И руки его судорожно сжали весла; он сделал ими такой взмах, что они сломались пополам; отбросив их от себя, он ухватился за голову и уткнул ее в колени.

Люба вскочила с своего места и, бледная, с гордо поднятой головой, стояла неподвижно. Лодка несколько минут плыла еще быстрее, потом всё тише и тише.

— Илья! — повелительно произнесла Люба.

Цыган поднял голову и рыдающим голосом сказал:

— Ты и меня выгоняешь?

— Зачем бросил весла?

Цыган с удивлением осмотрелся кругом и, увидя плывущие разломанные весла, пугливо взглянул на Любу, которая с упреком сказала ему:

— Как мы теперь попадем домой? нас прибьет к берегу далеко от дому; а там все перепугаются, куда мы пропали.

— Люба, Люба! не отсылай меня от себя! — отчаянным голосом произнес цыган.

— Дай мне слово, что ты даже не будешь иметь ни одной дурной мысли против него?

— Разве я что-нибудь сделал ему дурного? Я рассказал тебе то, что ты должна была знать.

Люба, помолчав и тяжело вздохнув, сказала:

— Илья, ты знаешь, как я люблю его, и ничто меня не заставит забыть его. Но я даю слово, что сама не пойду за него, если узнаю, что он обманул кого-нибудь.

Радость озарила лицо цыгана; зато Люба стала грустна. Они плыли тихо. Цыган не спускал глаз с Любы и вдруг сказал:

— Если ты желаешь, чтоб я оставил тебя, я это сделаю!

Люба посмотрела на него и отвечала:

— Нет! ты мне уж дал слово, и я ничего не боюсь.

Не скоро они прибыли домой, где все были в тревоге, потому что Куратов никогда не был покоен, если узнавал, что его дочь поехала по озеру.

ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ

Глава XLVII

ПИСЬМО

С того времени как мы покинули дом Натальи Кирилловны, там совершилось много тревог. Деятельность Зины была так обширна, что на ее крутом лбу появилось несколько морщин. Она заметно худела, и никакие мази и притиранья не могли уничтожить желтизну ее лица. Каждое утро Зина, давясь, кушала густое тесто, составленное приживалкой с зобом, которая при этом ораторствовала:

— Вы только кушайте: ни одной косточки не будет видно. Я когда гостила у Зюзиных, так у них дочь как скелет была, а я ее в какую-нибудь неделю исправила: пышка стала! Она теперь со всем семейством уехала в Яковку... Какая прекрасная деревня! Правда, небольшая, зато их семейство огромное. И они так всё присовокупляют там. Меня звали погостить. Такие ласковые ко мне, так меня любят! Право, не знаю, а меня все любят... Скушайте еще ложечку!..

Но Зина напрасно хлопотала и мучилась: тревожное состояние духа уничтожало действие лекарств.

Имение Натальи Кирилловны с каждым годом более расстроивалось. Любя своего племянника, она очень часто уплачивала его долги. Зина стала бояться за свою будущность в случае смерти благодетельницы и часто в сердцах говаривала приживалкам:

— Небось какую-нибудь дрянь откажет, а как понукает мной!

Зина не ошибалась. Наталья Кирилловна давно уже написала духовную, в которой не забыла Зину; но сумма

была незначительная. Зина узнала, что в случае своей смерти старуха отказывала Грише деревню, довольно большую.

Зина долго гадала в карты на бубнового короля, и приживалки хором говорили:

— Ах, матушка, как он о вас думает! у-у-у, свадьба! поздравляю: свадьба скоро!

Эти слова заставили Зину прибегнуть к хитрости; так как у ней не было матери, которая могла бы приискать ей жениха, то Зина сама должна была расставлять сети.

В одно утро она в слезах прибежала в комнату Гриши, всё еще не получившего никакого места, по милости его тетки, собиравшейся писать ему рекомендательное письмо к одному важному лицу.

— Ах, Гришенька! как мне совестно! что мне делать? — сказала Зина в отчаянии.

— Да что случилось?

— Страшно и совестно сказать вам! — воскликнула Зина и шепотом продолжала: — Представьте... ваша тетушка... она...

— Что она сделала? — поспешно спросил Гриша.

— Она... отказала всё свое имение.

— Павлу Сергеичу?

— Нет.

— Кому же?

— Мне! — едва слышно произнесла Зина и с негодованием продолжала: — Это ужасно! я чувствую, как должны вы меня ненавидеть; но вы знаете ее...

— Я знаю, что тетушка против меня давно вооружена; но Павел Сергеич...— в недоумении говорил Гриша, в самом деле пораженный таким открытием.

— Если тетушка вас не любит, так всё по милости Ольги Петровны. Ах, если бы вы знали, сколько слез и неприятностей я терплю за вас! А я не могу, чтоб не защитить человека, которого я лю...

— Благодарю вас! но вы только вооружаете против себя ее.

— Я на всё готова: я так вас люблю! — Зина потупила глаза, как бы испугавшись своей откровенности, но тотчас оправилась и продолжала: — Когда она меня заставила прочесть духовную свою, я просто расплакалась. Ну, сами посудите, вы ее племянник, а она всё имение отдает мне. Да еще говорит: «Отдам при жизни половину». Я ей, однако, сказала, о чем плачу, и она говорит мне: «Глупенькая,

ну кого я обидела? у Павла Сергеича и без меня много, а Гриша может и жениться».

И Зина пристально и выразительно глядела на Гришу, который с потупленными глазами слушал ее.

Молчание длилось несколько минут. Гриша догадался из разговора, что тетка желает, чтоб он женился на ее любимой воспитаннице. Зина так была внимательна к нему в последнее время, что он не мог бояться равнодушия или сопротивления с ее стороны. К тому же положение его так было тягостно, что он, может быть, решился бы жениться на Зине, если бы не воспоминание о Насте, кроткое личико которой вдруг представилось ему. Он поднял голову и, посмотрев на лукавые, блестящие глаза Зины, сказал:

— Тетушка вас, кажется, хочет выдать замуж?

— О, я ни за кого не пойду! я люблю...

Зина, покраснев, замолчала.

Положение Гриши становилось очень неловко, и он, желая разъяснить всё, с рыцарским благородством сказал:

— Зиновья Михайловна, я считаю обязанностью быть с вами откровенным: я люблю...

Волнение так было сильно в Зине, что она не могла удержать лихорадочного смеха.

Гриша испугался и поспешно сказал:

— Я люблю Настеньку и...

Зина громко засмеялась; но ни глаза, ни другие черты ее лица не гармонировали с притворной веселостью; она долго доказывала свое неловкое положение — быть наследницей огромного состояния, в то время как ближайшие родственники останутся в бедности.

Гриша так был равнодушен к земным благам, что роскошные описания своей будущей жизни, если она выйдет замуж, Зина произнесла совершенно напрасно.

— Если уж я выйду замуж любя,— говорила она,— то всё отдам мужу: пусть его распоряжается, как знает. Да женщине как-то нейдет управлять имениями. Ну вот ваша тетушка: ну что хорошего? только всё сердится, а всё-таки ее обкрадывают!

С этого дня жизнь Гриши стала невыносима в доме тетки, которая оскорбляла его на каждом шагу. Даже ни один лакей его не слушался. И раз какой-то рослый Дормидон отвечал ему на какое-то приказание так грубо, что Гриша вспылил и назвал его дураком.

Наталья Кирилловна страшно рассердилась:

— Как ты смеешь моих людей бранить? ты что о себе думаешь! Ты воображаешь, что я тебе откажу что-нибудь. Вон из-за стола!

Долго и много говорила разгневанная старуха еще после ухода своего племянника, и из слов ее можно было заключить, что она была возмущена его единственным будто бы желанием, чтоб она скорее умерла и ему досталось наследство.

— Кто же это вам сказал, что он такие страшные мысли имеет? — заметила Ольга Петровна.

— Да вот эта чуть живая прибежала ко мне: плачет, дрожит. Насилу заставила сказать! — указывая на Зину, говорила Наталья Кирилловна.

Гриша наконец решительно убедился, что ему нечего более делать, как оставить дом тетки. Но Наталья Кирилловна предупредила своего племянника и с торжественностью изгнала из своего дома Гришу, даже не дав ему ничего из белья и платья.

Зина, обливаясь слезами, прощалась с Гришей и уверяла его в своей неизменной преданности.

Наталья Кирилловна, выгнав из дому Гришу, чувствовала некоторый укор совести и, верно бы, простила его, если б не Зина, которая задумала приобресть часть наследства Гриши. Чтоб выведать, сколько именно отказала ей старуха в своей духовной и, если можно, заставить ее прибавить, Зина придумала следующее средство. Она объявила Наталье Кирилловне, будто какой-то доктор, видевший ее у одной знакомой, влюбился в нее и, уехав по службе в провинцию, написал теперь ей письмо, в котором просит ее руки. Зина показала письмо Наталье Кирилловне, которая долго думала, наконец сказала:

— Ну, что же делать, выходи, тебе надо же пристроиться!

Зина писала сама письма от мнимого жениха, в которых он страшно распространялся о щедрости и доброте Натальи Кирилловны. Чтоб не открылся обман, Зина приняла самые надежные меры. Письма от Петра, камердинера, которые она получала довольно часто и в которых описывались подробно действия Павла Сергеича, распечатывались очень осторожно ручками Зины: в конверт вкладывалось письмо от мнимого жениха, запечатывалось вновь, и Зина подавала его Наталье Кирилловне, которая обыкновенно сама срывала печать со всех писем и заставляла читать Зину. Точно так же Зина читала ей и ответы свои

на письма жениха. Чтоб выведать о количестве приданого, назначенного ей благодетельницей, Зина написала следующее письмо своему мнимому жениху:

«Я сирота, призренная из благороднейшей и знатной фамилии особой. Благодетельница моя так для меня много сделала, что я, кроме ее благословения, ничего не могу ожидать...» и так далее.

Прочитав это письмо Наталье Кирилловне, Зина объясняла его тем, что ее жених, может быть, рассчитывает на большое приданое.

Наталья Кирилловна осталась очень довольна предусмотрительностью своей питомицы и велела написать жениху, что она дает ей двадцать пять тысяч и приданое, приличное ее званию.

Ответ от жениха на это письмо был следующий:

«Милостивая государыня
Зиновья Михайловна!

О добродетелях вашей примерной благодетельницы почти всем известно. Я если осмелился просить вашей руки, то согласие ее на это есть уже для меня великая честь!.. Иметь жену из такого дома и знать, что она воспитывалась под надзором такой высокой особы, есть уже такое блаженство для всякого смертного, которого не купить никакими деньгами. Упросите вашу благодетельницу всё так устроить, что если я буду иметь счастие снискать ее расположение, то немедля сыграть свадьбу, потому что я должен быть на месте службы... Вас я оставлю при вашей бывшей благодетельнице, которая, верно, не лишит нас своей милости и впредь...» и так далее.

Зина была объявлена в доме невестой. Толкам не было конца между приживалками. Зина так увлеклась вымышленным своим женихом, что красноречиво описывала приживалкам лицо, рост, даже манеры его, любовь к нему начальников, уважение и страх подчиненных. Переписка продолжалась; сроки приезда жениха менялись. Наталья Кирилловна стала сердиться, что он не едет; приживалки тоже подсмеивались. Зина испугалась сама своей выдумки. Да и она так свыклась с мыслью, что она невеста, что вдали умирает от любви к ней человек,— как она хвасталась перед приживалками,— что не знала, как теперь выпутаться. Впрочем, в такие критические минуты Зину

посещало всегда вдохновение. Почтальон принес письмо с черною печатью. Зина вложила в конверт свое письмо: оно было писано совсем посторонней рукой. Это письмо извещало ее о внезапной смерти ее жениха и писано было родственницей умершего.

Зина, в слезах, бледная, прочла письмо Наталье Кирилловне и, рыдая, упала к ней в ноги, говоря:

— Я опять сирота! я несчастная!

Слезы Зины так были непритворны, что, казалось, она в самом деле убита была смертью хотя и вымышленного, но так страстно любившего ее человека.

Дня три Зина оставалась в постели. В комнате у ней появился небольшой картонный черный ящик в виде гроба, обвязанный черным крепом. То было хранилище писем ее мнимого жениха.

Понемногу, однако ж, печаль Зины начала утихать. Выезжая иногда одна по поручению Натальи Кирилловны, Зина завела много знакомств, которые скрывала от Натальи Кирилловны. Ольга Петровна не раз пыталась уличить Зину; но попытки ее были напрасны, и она дорого платилась за это.

Остальные приживалки боялись Зины как огня, и, сидя в зале, они часто рассуждали между собой о страшном влиянии Зины в доме.

— Уж коли родственника ей удалось выжить из дому, так нашу сестру и подавно! Как же нам не угождать ей? — мотая головой, сиплым голосом протяжно говорила приживалка с зобом и мутными глазами.

Ольга Петровна, фыркая и передергивая ушами и ртом, запальчиво замечала:

— Вы, пожалуйста, меня не сравнивайте с собой. Я — не вы: я не стану на часах стоять у ее дверей!

— Известно, вам легко это говорить: у вас деньги; а мы, мы бедные девушки. Наш батюшка хоть и имел средства тоже кое-что оставить нам... Когда он управлял имением князя, то...

— Его оттуда выгнали! — язвительно перебила Ольга Петровна.

— Злые языки! а он был всеми любим; да! и уважаем. Я сама помню, как его обласкали одни вельможи. Он, видите, раз шел в Москве и видит: у пруда стоит девушка в рубище и очами измеряет глубину. Батюшка наш подошел к ней и говорит: «Для чего ты измеряешь очами глубину?» Девушка в рубище взглянула на него и говорит:

«Почтенный старец, я измеряю потому очами глубину, что я дурная дочь». И она хотела броситься в пучину. Но батюшка наш удержал ее и, увидя, что у нее белые руки, повел ее домой. Он узнал, что она дочь вельможей, и привел ее к маменьке и папеньке. Они ужасно обрадовались, так обласкали нашего батюшку: «Вы, говорят, спасли нашу честь, вот вам двадцать пять рублей». Вот как нашего батюшку уважали! — мотая головой, как алебастровый зайчик, тарантила приживалка.

— Эта девушка влюбилась в повара своей маменьки,— подхватила другая приживалка, сестра говорившей.

— Повар пошел в солдаты, дослужился до больших чинов. Она вышла за него замуж, и вельможи у них обедывали! — надменно перебила приживалка с мутными глазами и, едва успев перевести дух, продолжала: — А уж нашу матушку как все уважали! Она умела всем угодить. Умнейшая была женщина! Сколько она нашего батюшку учила! да упрям был: не слушался. Как он служил в таможне, драгоценные камни принимал. Ну что бы по камешку прятать? Матушка ему говаривала: «Курица по зернышку клюет, да сыта бывает», а он свое: «Курица, говорит, их глотает, а я, говорит, детей пущу по миру...»

— Эх! не всё равно — пустил же! — со вздохом замечала сестра приживалки с мутными глазами.

— Зато честное имя оставил ва́м,— сказала толстая вдова.

— Да на это и чашки кофею не купишь,— иронически отвечала, мотая головой, приживалка.

Все вообще приживалки походили на органы в трактирах, которые стоило завести раз, чтоб они целый вечер гудели, от веселых песенок переходя к целым ариям.

Зина редко сидела в кругу их: если она была свободна, то охотнее сидела в девичьей, вела дружеские разговоры, и это ей не мешало через час наговорить на своих собеседниц Наталье Кирилловне. Зину боялась вся прислуга, потому что ее стоило раз рассердить, чтоб она вредила, как только представится случай.

Из донесений Петра, камердинера, она знала о каждом шаге Павла Сергеича, и когда дело приняло серьезный оборот, Зина явилась с лекарствами к Наталье Кирилловне и с участием сказала:

— Не примете ли вы капель? нет, впрочем, пилюли лучше.

— Да что такое? зачем?

— Примите: я вам скажу радость.

— Говори, что такое?

— Ради бога, примите сперва: это неожиданная радость для вас,— умоляющим голосом говорила Зина, поднося лекарство к губам Натальи Кирилловны.

Она, отклонив его рукой, сказала:

— Эти капли от огорчений я принимаю.

— Радость так велика, что, я боюсь, она потрясет вас. Павел Серге...

— Что? едет, приехал? — привставая, вскрикнула Наталья Кирилловна.

— Нет, нет! — перебила ее Зина и с таинственностью прибавила: — Он женится!

Наталья Кирилловна выпрямилась, как всегда делывала в важных случаях своей жизни, и грозно глядела на Зину, которая, будто не замечая ничего, продолжала:

— Петр писал своей тетке; она мне прибежала сказать.

— Ты дура! только пугаешь меня и передаешь болтовню передней и баб. Есть ли смысл у тебя: мой племянник женится, не спросясь моего согласия! Ты стала ужасная дура.

Наталья Кирилловна была очень разгневана. Мучимая, однако ж, любопытством узнать подробнее слухи о женитьбе Павла Сергеича, после некоторого молчания она проговорила, как бы рассуждая сама с собой:

— Женится в глуши, без моего согласия?!

— Она, говорят, молоденькая, хорошенькая, только жаль, что черна,— отвечала Зина невинным голосом.

— Как черна? что такое? я ничего не понимаю? — сердясь, возразила Наталья Кирилловна.

— Да как же-с: она дочь цыганки. Ее, говорят, там усыновил один барин; он сосед...

Наталья Кирилловна, вся дрожа, вскочила со стула и, грозя Зине палкой, грозно сказала:

— Смотри, если это всё одни только сказки! Я тебя научу разбирать, что можно и чего не должно мне говорить.

— Ах, боже мой, я, кажется, вас огорчила! — как бы в отчаянии воскликнула Зина и проворно подала всё нужное для письма.

Наталья Кирилловна сама села писать к своему племяннику. Она почти отвыкла писать, а волнение мешало

ей держать перо в руках, и она, тоскливо озираясь кругом, произнесла имя Гриши.

Зина вздрогнула; подбежав к старухе со стаканом воды, она нежно сказала:

— Выпейте, успокойтесь; я вижу, как я глупа! но могла ли я думать!

— Молчи! — повелительно сказала Наталья Кирилловна и после долгих попыток едва могла написать несколько строк своему племяннику, которого она требовала немедленно в Петербург.

(С того дня и начались беспрестанные послания к Тавровскому.)

К вечеру весь дом знал о женитьбе Павла Сергеича, и приживалки как пчелы жужжали между собой, делая разные предположения, на ком и как женится племянник их благодетельницы? По болезни Натальи Кирилловны они догадывались, что женитьба Павла Сергеича ей не нравится, и у них родились толки и споры: будут ли они вместе жить? и скоро ли свадьба? Зина снова сидела на скамейке у кровати Натальи Кирилловны в комнате, жарко натопленной и тускло освещенной одной свечой с зеленым колпаком. Трудно было Зине развлекать больную, и она часто, выбежав за чем-нибудь из спальни, бранила старуху и делала выразительные жесты, оборачиваясь к комнате ее. Но сладкая улыбка покорности слетала на ее лицо, когда она только что дотрогивалась до ручки двери.

Прочим приживалкам на полчаса в день позволялось входить к больной. Они смыкались в группу и, казалось, вырастали, потому что стояли на цыпочках и по очереди целовали кончик одеяла в ногах у Натальи Кирилловны, которая болезненным голосом говорила им:

— Ну что, рады, что у вас будет новая барыня? а? Да нет, сначала похороните меня, а там веселитесь!

Приживалки всхлипывали, и каждая давала клятву умереть прежде. Соскучась их хныканьем, Наталья Кирилловна замечала:

— Полноте хныкать: я еще не умерла!

И приживалки быстро от слез переходили к веселости. Приживалка с мутными глазами была всегда запевалой; она первая сказала своим сиплым голосом:

— Я-то, дура, думала, что наш красавец на мне женится, хе-хе-хе! И вот уж бы я вас каким крепким кофеем угостила на другой день свадьбы! Какая бы стала франтиха!

И приживалка делала разные жесты руками и своими узкими глазками, стараясь рассмешить больную.

Прочие приживалки громко смеялись. Но как их горесть, так и веселость скоро надоедали Наталье Кирилловне, и она прогоняла их.

По приезде Павла Сергеича долго и много толковала Наталья Кирилловна о невозможности его женитьбы; но настойчивость ее племянника заставила ее согласиться. Однако она требовала отложить свадьбу на год и более, надеясь на непостоянство характера своего племянника.

Глава XLVIII

ДУРНЫЕ ВЕСТИ

Прошло более полугода с возвращения Тавровского в Петербург.

Утром, часу в одиннадцатом, бодрый старик лет под шестьдесят тихо позвонил у двери великолепной квартиры в С** улице. Ему отворил человек лет тридцати в утреннем костюме — в халате с шелковыми кистями, в красной феске и шитых золотом туфлях — и, встретив его с распростертыми объятиями, приветствовал следующими словами:

— А, Иван Софроныч! добро пожаловать!

— Здравствуй, Петруша! — ласково отвечал старик и трижды поцеловал господина в халате и феске.

Иван Софроныч, с тех пор как мы расстались с ним, значительно переменился. Деревенская жизнь, полная здоровой деятельности, видимо пошла ему впрок: он пополнел, во всех движениях его видна была крепость и сила, он смотрел весело, и по изрядно отдувшемуся карману его форменного сюртука заметно было, что он не с пустыми руками прибыл к своему доверителю после двухлетнего управления его имениями.

— Да что это Петруша? Ты, никак, только еще встал? — продолжал Иван Софроныч, оглядывая утренний наряд избалованного камердинера, который перед его приходом только что расположился делать свой туалет.— И как ты чудно нарядился!

— Здесь не деревня, Иван Софроныч,— с важностью отвечал камердинер.— Конечно, в деревне другие порядки, а в столице нельзя,— у нас еще и утро не начиналось...

Иван Софроныч достал из кармана старинные часы

в форме луковицы — подарок незабвенного Алексея Алексеича — и, поглядев на них, сказал, покачивая головою:

— В одиннадцать-то часов! Вон гляди, без четверти одиннадцать.

И он поднес часы к глазам камердинера.

— А по-вашему небось теперь обедать? — с презрением возразил камердинер.— Ха-ха-ха! Вы к барину? — спросил он.

— К барину.

— Ну так раньше двенадцати вряд ли. Да еще коли примет.

— Ну, меня-то, я думаю, примет,— с довольной улыбкой заметил Иван Софроныч, ударив рукой по своему правому карману.

— А вот увидим: каков встанет. А покуда пожалуйте сюда, Иван Софроныч, отдохните; кофейку не угодно ли? А я покамест оденусь.

И он ввел Ивана Софроныча в боковую комнату, которая в уменьшенном и карикатурном виде представляла копию с уборной его барина: в ней также был стол, загроможденный баночками, флакончиками, зеркалами, гребенками, головными и зубными щетками и т. д.; кровать была отгорожена ширмами; у окна стояло старинное треснувшее трюмо. Даже стены не были пусты: Петр украсил их картинками из модных журналов и разных иллюстраций, получаемых его барином.

— Ефиоп, ефиопина! — протяжным голосом закричал Петр, садясь перед туалетным столиком и указывая другой стул гостю.— Одеваться!

Из-за ширмы выбежало маленькое существо, поразившее Ивана Софроныча как цветом, так и видом своей фигуры: то был негр самой чистой породы, с черным лоснящимся лицом, целым лесом курчавых волос и оскаленными зубами. Тавровский достал его за границей.

— Что, хорош молодец?— спросил Петр, видя недоумение Ивана Софроныча.

— Да откуда вы такого достали?

— Купили. Он, понимаете, привезен с другого конца света. Ефиопией, что ли, называется; да! Это не то что Арапия: Арапия ближе,— оговорился Петр,— и народ там не такой черноты; а в Ефиопии все люди такие черные, других и нет,— оттого и прозвище ему: ефиоп! Первейшей африканской породы! Барину здесь какие деньги давали— не отдает! И уж не поверите, сколько было с ним хлопот,

как мы его сюда везли! Достали мы его еще малым мальчишкой; ничего не понимает, не говорит, всё в лес глядит,— даже ел мало; и всё ему жарко. Умора! А как поехали, так вот был смех: как станция, остановимся — ему сейчас и кажется, что совсем приехали,— начнет раскладываться, и уж как дивится, когда опять поедем! А то еще была смешная история: как въехали мы в Россию, вдруг и выпади снежок. Он, видно, спал в то время, а как проснулся да увидал, что всё бело кругом, обрадовался, заболтал по-своему, руками машет,— ну, радости такие, что и батюшки! Не выдержал, соскочил с козел и ну подбирать снег... да как хватил руками, так вдруг словно обжегся, кинул, заплакал и опять сел; стал опять такой печальный и всё потихоньку плачет; насилу могли добиться, чего? А ему, видите, и заберись в голову, что не снег, а хлопчатая бумага лежит, какая у них там в полях родится,— вот и обрадовался: думал, домой в Ефиопию свою его привезли... ха-ха-ха! А как попробовал руками, так и в слезы. Туды же, плакать умеет, черномазая порода!

Петр долго еще описывал чудные свойства «ефиопа» и свои усилия привить к дикому сыну природы необходимое в столице «образование». Должно полагать, однако ж, что труды его наконец увенчались успехом и он наслаждался теперь плодами их, судя по тому, что Петр постоянно ничего не делал, тогда как несчастный дикарь с утра до ночи предавался подметанью и чищенью, снискивая хлеб свой буквально в поте своего черного лица.

— А сапоги перечистил? — спросил с важностью Петр у черного помощника.

— Перечистил,— отвечал мальчик довольно чисто по-русски.

— И платье готово?

— Готово; только фрак да жилеты...

— Фрак не тронь! где тебе еще фраки чистить? — с важностью сказал Петр.— И до жилетов, я уж говорил, не дотрогивайся.— У меня, Иван Софроныч,— продолжал он,— обращаясь к гостю,— такой порядок: фраки и жилеты всегда сам чищу.

— Хорошее дело,— сказал Иван Софроныч.

— С нежной вещью и обращенье нужно нежное,— порешил Петр.— Эй, ефиопина! попроси Матрену Ивановну кофейку сварить. Да щипцы тащи.

Мальчик ушел.

— ...Что, Иван Софроныч, деревня как?

— Ничего, Петруша; все тебе кланяются.

— Здорова матушка?

— Здорова, да уж больно стара стала; всё только и грезит, как бы тебя увидать, Петруша. Вот бы ты побывал у нее. Да вот она и письмецо прислала.

Иван Софроныч достал письмо и подал Петру.

— Экое ведь необразование! — с негодованием воскликнул Петр, прочитав письмо.— Что вздумала? Видишь ты: «Иван Софроныч скоро назад поедет, так ты бы, Петруша, отпросился с ним побывать». Ха! ха! ха! Ну можно ли вообразить такую вещь...

— Что ж, Петруша, она стара; видеть тебя хочет, так вот и написала.

— Деревенщина она! — возразил Петр.— Шутка ли, что забрала в голову? Мне барина оставить? Да как же барин без меня? Да она просто с ума сошла. Уж я же ей напишу...

— Ну, не огорчай ее. Ведь она любя...

— Любя?.. Да ведь она должна знать, что коли я барину нужен, так как же мне, забившись в такую глушь... да и отпустит ли еще? да и я поеду ли еще, спросила бы. Вот уж подлинно деревенщина! Медведи там у них, что ли, живут, никаких порядков не знают. Что выдумала! Ха! ха!

И негодование камердинера возрастало более и более.

— Да еще они жалуются,— сказал Иван Софроныч,— какие ты им подарки прислал. Матери, слышно, прислал складной футлярчик с пружинкой. «Не знаю,— говорит старуха,— что и делать с ним! раскроешь — словно опахало модное, с перегородочками, а сложишь — словно блин!..»

Петр расхохотался.

— Блин! Вот уж подлинно наказание мне с ними, Иван Софроныч! — сказал он голосом, заискивающим участия.— Хочешь, чтоб всё получше было, как у добрых людей водится, которые понимают образование, а выходит просто стыдно слышать. Блин! Я ей послал вещь хорошую, ценную и модную, а она говорит — блин!

И он грустно опустил голову и задумчиво прибавил:

— Просто срам с ними!

— Да что же ты ей послал, Петруша?

— Портмонней,— отвечал Петр.

— Как?

— Портмонней — ну, в чем деньги носят. Вот такую штучку,— прибавил Петр и подал Ивану Софронычу свой

кожаный тисненный золотом портмоне, раскрыв его сначала своими неуклюжими, толстыми пальцами, которые, впрочем, были украшены ногтями непомерной длины.

Искоса посмотрев ногти камердинера, которые тот принялся чистить и обтачивать стальной пилочкой, Иван Софроныч сказал, с любопытством оглядывая портмоне:

— Грешный человек! я и сам в первый раз вижу такую вещь.

Петр пожал плечами.

— Не знаю,— сказал он.— А у нас так ни в чем больше и не носят денег. Вещь хорошая, модная.

— Так, да ты бы послушал, что старуха говорит. «Прислал,— говорит,— сынок механику такую мудреную: пишет, что туда деньги кладут; а какие у меня деньги? коли случится меди гривна-другая, так я и в платок завяжу,— а бывает, дадут гривенник либо четвертак в лавочку сходить, так я и во рту донесу...»

Петр сделал презрительную гримасу.

— Ты бы ей, Петруша, лучше ситцу послал либо платок.

— Нет уж, покорно благодарим! — возразил Петр.— Мы не вчера из деревни! Нас учить не приходится... А вот я ей напишу! да уж вперед гостинцев моих она не дожидайся!

— А ты не сердись, Петруша,— ну где же ей всё знать? — сказал кротко Иван Софроныч.

— Должна знать! А не знает, так молчи! Не умничай! Невежество, необразование, политики никакой нет — так всё и напишу...

Иван Софроныч стал уговаривать его не огорчать старуху; но Петр твердил свое:

— Надо же им показать, что значит образование, столица, столичные порядки!

И он пришел в такое раздражение, что готов был тотчас писать грозное письмо. Но пришел негр: принес кофе и щипцы; камердинер принялся пить кофе, а мальчику приказал завивать себя, причем в лице черного слуги выразилось отчаяние: нет сомнения, что он охотно отдал бы Петру свои густые прекрасно вьющиеся волосы, лишь бы избавиться тяжкой обязанности завивать жидкую куафюру камердинера.

— Ну а что, Иван Софроныч,— спросил Петр через минуту,— наши там: Сидор, Пахом, Силантей? Чай, просто в мужиков обратились, мохом обросли? Деревня так и под-

линно деревня. А не знавали ли там Татьяну Сывороткину?.. Тише ты, ефиопина! волосы подпалишь! Чему вас там учили в вашей Арапии? щипцов нагреть не умеет! Вишь, как раскалил,— ну-ка тронь руками, тронь...

И Петр протягивал к нему щипцы. Негр жалобно промычал и попятился.

— Ну, оставь его, Петруша,— заметил Иван Софроныч.— Обожжется!

— Ничего! — отвечал Петр.— Они там по горячему песку босые ходят... Им нипочем...

— Молод еще,— заметил Иван Софроныч.— Надо его и пожалеть...

— Молод — не беда,— возразил камердинер,— глуп — вот несчастие! А не прикажете ли цигарочку, Иван Софроныч? — спросил он, заметив, что управляющий допил свой кофе.

— Нет, сигарочки не курю, а вот кабы трубочку?

— Трубочку? — с презрением сказал Петр.— Ну нет, трубок не держим; да и кто теперь трубки курит? А вот папироски есть. Подай им папироски.

Черный подал.

— А я вот, кроме сигар, ничего не курю,— сказал Петр и, приказав подать себе сигары, которые лежали в двух шагах от него, закурил.

— Так Татьяну Сывороткину не знали? — спросил он.

— Знал,— отвечал Иван Софроныч, закуривая папироску.— Она тоже тебя вспоминает; кланяться велела. Славная девушка! — заключил старик.

— Хороша! Да что? — возразил Петр.— Образования нет!

— Сохнет, сердечная,— продолжал Иван Софроныч.— Всё такая печальная да молчаливая.

— Сохнет? знаем! — значительно перебил Петр.

— Замуж ни за кого не хочет,— сказал Иван Софроныч.— И Силантий сватался, и управляющий соседнего барина, немец, молодой такой, уж вот как высох, руку свою предлагал... отказала!

— Отказала! — самодовольно повторил Петр.— Вот как!..

— И приказный из города сватался... Не пошла!

— Не пошла! — повторил Петр.

— Вот,— сказал Иван Софроныч.— И она тоже говорила: кабы ты приехал...

— И она тоже? Да они, никак, там все с ума сошли!

— Все тебя там ждут...

— Ждут? Ну пускай ждут! — сказал Петр.— Знать всё знаем, а помочь не можем! — прибавил он и свистнул.

И, став перед зеркалом, Петр принялся повязывать розовым платочком свою толстую шею; раз пять перевязывал он бант, пока остался им доволен; во всё это время черный слуга, стоя за ним, подобострастно повторял все его движения, поднимался на цыпочки, нагибал голову то влево, то вправо и успокоился не ранее, как увидав, что операция кончилась благополучно. Повязав платок, камердинер снова свистнул и глубокомысленно произнес:

— Далеко кулику до Петрова дня!

Затем Петр уже довольно скоро довершил свой туалет, надев жилет и сюртук: то и другое, очевидно, не более пяти раз было надето барином и потом перешло в достояние камердинера.

Одевшись, Петр закурил новую сигару и закричал:

— Ефиоп!

Черный слуга вошел.

— Газеты принесли?

— Не знаю.

— Не знаешь! А спросить нет догадки! Беги, узнай! У нас газеты носят с черной лестницы,— пояснил Петр Ивану Софронычу.

Через минуту прибежал мальчик с кипой газет и афиш.

— Вот теперь и почитать можно! — сказал Петр, разваливаясь в кресле.— Не прикажете ли? немецкую или французскую?

— Нет, мне русскую, коли есть,— отвечал Иван Софроныч.

— Есть и русская.

Он подал листок Ивану Софронычу, а сам принялся глубокомысленно читать афишу, потом пошевелил и листы газет, сохраняя важную осанку человека занятого и вникающего; пока он читал, у него несколько раз гасла сигара, и по знаку его негр подавал ему каждый раз горящую спичку.

Наконец около двенадцати часов раздался звонок из внутренних комнат. Иван Софроныч вздрогнул и вскочил, как потрясенный электрическим ударом; но Петр встал спокойно и медленно и, собирая газеты, сказал:

— Рано сегодня! Станет спрашивать, что в газетах...

а я и не успел прочесть.— Что в вашей? — спросил он, взяв листок у Ивана Софроныча.

— Да ничего,— отвечал Иван Софроныч.— Всё такой вздор пишут.

— Да о чем?

— Да всё погоду бранят: говорят, что нехороша; да лавку Бакалейщикова хвалят: говорят, очень хороша.

— Славная газета! — сказал Петр.— Хоть никогда не читай, а как спросит, что в ней — говори: ничего, либо: лавку хвалят,— никогда не ошибешься...

— Да, конечно,— заметил Иван Софроныч,— для вашего брата — лакейства,— выходит, хороша, а господам, я думаю, скучно: совсем читать нечего в ней!

— Нет, и им нравится; вот мой барин, прошлого году, два месяца, не поверите, чем занимался: как только тут похвалят балыки ли, семгу, устрицы, вино ли,— он тотчас посылает купить...

— И что же? — спросил Иван Софроныч.

— Да всякий раз выбрасывали!

Иван Софроныч искоса посмотрел на газету, которая была предметом разговора.

— Зачем же покупать? — сказал он.

— Да уж я пробовал спрашивать. Я, говорит, хочу убедиться, точно ли всё то никуда не годится, что здесь хвалят.

— Ну?

— Ну и уверился. Теперь и название ей свое дал... как бишь? да! «Опытный предостерегатель»! А вынеси-ка, говорит, «Опытного предостерегателя» в прихожую... право! так всегда и называет ее!

Звонок раздался во второй раз.

— Ну, с богом, Петруша! — сказал Иван Софроныч.— Так доложи ему, голубчику, что, дескать, управляющий вашей милости, Иван Софроныч Понизовкин, прибыл из Софоновки с отчетом и оброчными суммами и желает представиться.

Петр ушел, а Иван Софроныч начал приводить в порядок перед зеркалом свою физиономию, ожидая, что его сейчас позовут. Но Петр воротился и выразительно произнес:

— Отказано!

— Что так? — сказал удивленный Иван Софроныч.— Да отчего же?

— Не в духе,— лаконически отвечал камердинер.— Сначала не понял даже,— прибавил он.— Какой, говорит, Понизовкин?.. Управляющий, говорю, что в Софоновку изволили послать. А! — говорит. Ну, пусть в другое время придет — теперь не время заниматься такими мелочами!

— Мелочами? так и сказал, Петруша?

— Так и сказал: мелочами!

— Да какие же тут мелочи? Сам ты посуди, Петруша,— возразил Иван Софроныч, горячась, как будто перед ним стоял сам владелец имения,— полторы тысячи душ, фабрика бумажная, два года никаких доходов не собирали; всё привел в порядок, долги уплатил, фабрику увеличил; до двадцати пяти тысяч будет давать; сенокосы какие; а земля, земля-матушка! да только живи да благословляй бога... и, слышишь ты: всё мелочи!!! Да что же у него не мелочи, скажи, Петруша?

— Так, Иван Софроныч, да, понимаете: не оттого, а уж такой характер — месяц весел, и год целый весел, да вдруг как схватит его сплин... оно, понимаете, по-французски так называется, а по-нашему выходит — вроде черной немочи,— так день, два, неделю иной раз лежит, ничего не говорит, никого не велит пускать... почти в рот крохи не берет; разве вдруг спросит бутылку клеко,— выпьет и опять ляжет и еще сердитее смотрит...

— Так! — сказал Иван Софроныч.— Да отчего же такая болезнь происходит?

— А господь знает! Случается, приволокнется — ну, неудачи, что ли? Вот и слег... либо дуэль какая...

— Дуэль! — с ужасом воскликнул Понизовкин.— Разве он и дуэли имеет?

Камердинер захохотал.

— А то небось нет? Да как мы за границей жили, так, верите ли, месяца не проходило, чтоб не было дуэли. Бывало, придет домой и говорит: собирайся, через час едем! Уж и знаю — значит, недаром! И всё, понимаете, одна выходит притчина...

Петр лукаво усмехнулся и подмигнул.

— Господи боже мой! — произнес Иван Софроныч.— Да как он еще жив остался!

— Да ему всё нипочем. Раз десять ранен был — мигом поправится и марш опять дальше. Да то ли еще? Семнадцать раз ногу ломал — срастется, и пошел опять, словно ни в чем не бывало!

— Подлинно чудно! — сказал Иван Софроныч.— Ну, и теперь, стало, что-нибудь такое?— спросил он.

— Нет, дуэли не было. А вот что: сказать правду, так я знаю притчину.

— Что такое? — с живостью спросил Иван Софроныч.

— Боюсь! не любит, когда я о нем рассказываю.

— Ну да я никому, а может, пособить сумею.

— Вряд ли; дело-то, видите, такое...

— А что?

— Да уж сказать разве: попроигрался!

— Проигрался!

— Да. И денег у нас совсем нет,— чем платить?

— Ну, еще не беда. Я привез деньги — расплатится. А много проиграл, слышно?

— Да тысяч сто, должно быть.

— Сто тысяч! — воскликнул с ужасом Иван Софроныч.— Ну, не будет столько. Да как же его, сердечного, угораздило? Ведь большая сумма, большая сумма сто тысяч!

Раздался звонок.

— Ну, прощайте, Иван Софроныч! заходите!

Камердинер ушел к барину, а Иван Софроныч спустился с лестницы и, медленно пробираясь по тротуару, предался соболезнованию о проигрыше Тавровского. Иван Софроныч был так устроен природою, что чужое горе часто трогало его больше собственного, а если он кому-нибудь служил, то уж предавался ему душой и телом. Поэтому проигрыш Тавровского сильно озадачил его, и старик изыскивал в голове своей способы, как бы помочь беде. Ничего, однако ж, придумать он не мог. Тоска напала на него страшная, и он не знал, что делать. Не получив аудиенции у Тавровского, Иван Софроныч вздумал наконец навестить двух его родственников, которых имения находились поблизости имений Тавровского. Ивану Софронычу поручено было собрать и привезти в Петербург сведения о состоянии их. Здесь было больше удачи; старый князь, двоюродный дядя Тавровского, тотчас принял Ивана Софроныча и посадил; но тут ждал бедного старика новый удар. Между разговором князь спросил:

— А что Павел Сергеич? Видели его?

— Сейчас был у них, но не видал: сегодня не принимают.

— Бедный Павел Сергеич! — заметил князь.— Ему не до того: проигрался!

— Слышал, слышал, ваше сиятельство! — отвечал Иван Софроныч.— Скажите, какое несчастие! и, говорят, значительную сумму проиграл — тысяч сто!

— Сто тысяч! (князь усмехнулся). Хорошо, если б только сто тысяч! Да сто тысяч было еще на прошлой неделе, а теперь, говорят, уж полтораста с лишком.

— Полтораста тысяч! — воскликнул с неподдельным ужасом Иван Софроныч.— Нет, вы изволите шутить, ваше сиятельство!

И он долго не хотел верить.

Понурив голову, сошел Иван Софроныч с лестницы и отправился к другому родственнику. Там опять разговор зашел о Тавровском и его проигрыше, и сердце бедного старика было поражено новым ужасом: родственник объявил, что знает наверное, будто Тавровский в течение прошлой недели и в начале нынешней проиграл с лишком двести тысяч!

Не в духе воротился домой Иван Софроныч.

Глава XLIX

ТОРЖЕСТВО ИВАНА СОФРОНЫЧА

Целую ночь Иван Софроныч думал о проигрыше Тавровского и о том, каким бы образом поправить дело. Много передумал он, часто и глубоко вздыхал, пока наступил одиннадцатый час. Тогда Иван Софроныч оделся и через полчаса снова звонил у квартиры Тавровского. Тавровский принял его, но всё еще был не в духе; лежа на диване лицом к стене, выслушал он донесения Ивана Софроныча о состоянии села Софоновки и о различных мерах благоустройства, предпринятых им, и остался совершенно равнодушен, как будто дело шло о чужом имении. Иван Софроныч не терял духа, рассчитывая на статью о доходах, которые удалось ему значительно увеличить. Но когда и статья о доходах прошла без малейшего признака участия и одобрения со стороны Тавровского, Иван Софроныч потерялся. Минут десять стоял он, не говоря ни слова. Тавровский тоже молчал, погруженный в свои мысли.

— Что еще? — наконец спросил последний, очевидно с целью прекратить аудиенцию.

— Ведомость о состоянии Софоновки и находящейся

при оном селе фабрики. Тож приходо-расходная ведомость,— проговорил Иван Софроныч унылым голосом.

— Потрудитесь положить,— сказал Тавровский, не поворачивая головы и указывая рукой на столик подле себя.

Иван Софроныч положил и прибавил тем же плачевным голосом:

— Деньги сорок две тысячи пятьсот восемьдесят четыре рубля шестьдесят семь копеек ассигнациями.

— И деньги тут положите.

Иван Софроныч расстегнул сюртук, вынул из жилетного кармана ножичек и, распоров боковой карман сюртука, зашитый для предосторожности, достал полновесный бумажник и начал укладывать стол пачками ассигнаций, предварительно пересчитывая каждую; потом он таким же порядком распорол левый карман своих рейтуз и достал оттуда несколько свертков, в которых оказалось золото; разложив их симметрически по кучкам, Иван Софроныч дополнил сумму серебром и медью, достав то и другое из особых кошельков, хранившихся в разных карманах его одеяния. Исполнив всю эту работу, которая продолжалась довольно долго и во время которой Иван Софроныч по временам искоса поглядывал на Тавровского, старик сказал:

— Изволите пересчитать?

— Не нужно: я вам верю,— сказал Тавровский.— Вы честный человек и хороший управляющий! — прибавил он, сделав движение головой, подобное поклону.

Иван Софроныч понял, что он только из деликатности не прибавил: «Идите», но не трогался с места. Ему смертельно жаль было Тавровского. «Как мучится, как убивается, сердечный!» — думал Иван Софроныч, и, нет сомнения, честный старик готов был бог знает чем пожертвовать, лишь бы возвратить ему спокойствие и веселость. Иван Софроныч стоял понурив голову. Молчание продолжалось несколько минут.

— Да, — сказал Тавровский, как будто только заметив, что Иван Софроныч еще не ушел,— сколько вы привезли денег — сорок тысяч с чем?

— Сорок две тысячи пятьсот восемьдесят четыре рубля шестьдесят семь копеек,— поспешно сказал Иван Софроныч.

— Так сорок тысяч оставьте, а остальные возьмите в награду за ваше усердие и честность.

Слезы подступили к сердцу управляющего.

— Не того жду я,— сказал он.— Я много доволен вашей милостию, а если позволите старику слово сказать...

— В другое время, Иван Софроныч,— благосклонно отвечал Тавровский.

— Нет уж, теперь, батюшка, теперь, коли милость будет! — воскликнул Иван Софроныч, приближаясь к Тавровскому, и продолжал с возрастающим жаром: — Сердце болит, глядя, как вы убиваться изволите,— а из чего? Ведь уж, осмелюсь доложить, дело сделано; горевать поздно, а лучше подумать, как пособить горю.

— Какому горю? — равнодушно спросил Тавровский.

— А как же, батюшка, я ведь знаю. Не рассердитесь глупому слову старика: попроиграться изволили, слышно?

— Кто вам сказал? — спросил Тавровский, всё еще не приподнимаясь с дивана и не поворачивая головы, но уже несколько живее.

— Как же, батюшка? Мне и князь Горбатов говорил, и Александр Екимыч говорил.

— Что ж они говорили?

— Да князь сказал, что полтораста тысяч изволили проиграть, а Александр Екимыч так божились, будто даже двести!

— Так лгут же они оба! — резко воскликнул Тавровский, вскакивая с дивана и останавливаясь перед Иваном Софронычем.— Не полтораста и не двести тысяч, а триста пятьдесят!

— Как, вы изволили проиграть триста пятьдесят тысяч?

— Да, и через неделю должен заплатить.

— Через неделю?

— Я дал честное слово.

— Изволили дать честное слово, так, конечно, следует заплатить через неделю. Да как справиться? Много недостает еще?

— Да полчаса тому назад,— отвечал, улыбаясь, Тавровский,— недоставало ровно трехсот пятидесяти тысяч, а теперь недостает немного меньше.

Иван Софроныч подивился и отчасти огорчился, что Тавровский может шутить в таких обстоятельствах и таким делом.

— Как же вы думаете быть? — спросил он.

— Продадим или отдадим Софоново,— отвечал равнодушно Тавровский.

— Как, Софоново продавать? — воскликнул с необык-

новенным жаром Иван Софроныч.— Нет уж, извините! Софоново продать невозможно!

— Отчего же?

— Да оттого... оттого, что я... что я... я не позволю... не допущу!

Тавровский посмотрел на него с удивлением. Глаза старика блистали, лицо горело; весь он был полон страстного одушевления.

— Что вы хотите сказать? — спросил Тавровский.

— Продать Софоново?! — воскликнул Иван Софроныч.— Софоново продать! Павел Сергеич! осмелюсь спросить: изволили вы бывать в Софонове?

— Раз был.

— Что же?

— Ничего, вид недурен.

— А земля, земля?

— И земля, говорят, хорошая.

— Говорят, хорошая! — повторил Иван Софроныч с досадой.— Говорят! Не хорошая, а клад, сокровище! Положишь труда крупицу, а она, матушка, воздаст четвертями да целыми закромами! Что хлеба родится, какого хочешь: пшеницы ли, ржи, ячменю, гречихи! Какие сенокосы! а рыбные угодья? Да если б ваша милость и с тетушкой-княгиней и со всеми родичами изволили жить там, так во весь круглый год ниже́ единой плотицы прикупить не приведется! А лес, лес какой? и на самом Днепре-голубчике! Я думаю, три века растет, если не больше; есть такие деревищи, что сто богатырей во сто дней с места не сдвинут; выдолби, проруби окна, и дом готов... А мельницы какие у нас? а фабрика?... И такое сокровище продать... продать? — повторял Иван Софроныч нетвердым голосом, и Тавровский не без удивления заметил слезу, покатившуюся по разгоревшейся его щеке.— Да зачем же изволили и посылать туда старика? — заключил Понизовкин плачущим голосом.

— Что делать, любезный мой Иван Софроныч! — сказал Тавровский.— Во всяком случае вы можете быть уверены, что место управляющего в другом моем имении, куда я сам ездил, будет ваше.

— Батюшка Павел Сергеич, что вы изволили подумать? Вы мало еще изволите знать старика! Видит бог, вас берегу. Софоновка — клад, золотое дно; помяните мое слово, через пять лет она будет давать двести тысяч доходу, и продавать ее не следует!

— Я бы рад, да как же быть?

— Да уж как хотите, а не извольте продавать.

— А вот если отыграюсь,— с улыбкой отвечал Тавровский,— так не продам.

— Отыграетесь? В самом деле,— воскликнул с живостью Иван Софроныч,— ведь можно еще отыграться? Так чего и торопиться продажей!

— Можно и отыграться, Иван Софроныч, а можно и еще проиграть,— заметил Тавровский.

— Да! — сказал, спохватившись, старик и, подумав, спросил Тавровского: — А вы хорошо изволите играть?

— То есть счастливо ли? — отвечал Тавровский.— А бог знает! Нужно, однако ж, признаться, что в первый раз играю в такой степени несчастливо. В последнее время в Баден-Бадене я был в выигрыше до полутора миллиона.

— Да, видно, проиграли опять? — спросил Иван Софроныч.

— Нет, прожил... в один месяц,— прибавил Тавровский с улыбкой.— А часть, правда, и проиграл. С той поры я долго не играл и вот теперь плачусь за тогдашний выигрыш.

— А кто у вас выиграл нынче? — спросил Иван Софроныч.

— Брусилов.

— Не знавал,— заметил Иван Софроныч.— Честный человек?

— То и убийственно, что честнейший и совсем играть не умеет. Он страшно богат,— играет, как и я же, потому что скуууу-чно... — Тавровский произнес последнее слово протяжно, зевнул и потом прибавил:— Он обещал быть у меня сегодня вечером; посмотрим, может быть, и отыграюсь.

— Не рассердитесь,— сказал Иван Софроныч.

— Что прикажете?

— Позвольте мне ужо прийти посмотреть.

Тавровский рассмеялся.

— Хорошо, приходите; только берегитесь, Иван Софроныч!

— Я играть не буду,— сказал старик,— а так, полюбопытствовать.

— Ну, не ручайтесь! А кстати: возьмите же свои деньги!

Уже без всяких отговорок Иван Софроныч взял на-

значенные ему Тавровским две тысячи пятьсот восемьдесят четыре рубля шестьдесят семь копеек и уложил в карман. Затем он откланялся и удалился. А Тавровский принялся зевать, зевать бесконечно.

С того времени как мы расстались с Тавровским, в нем произошла значительная перемена. Отложив свою свадьбу, по настоянию Натальи Кирилловны, на неопределенное время и поселившись в Петербурге, он скоро предался снова своему прежнему образу жизни. Благодатное впечатление кроткого, простого, как сама природа, существа, которое научило его сердце биться давно пережитыми юношескими ощущениями и находить радости в тихой деревенской жизни с природой, книгами и любовью, изгладилось в нем довольно скоро. Сначала его интересовали письма Любы, и он охотно и аккуратно отвечал ей,— потом стал писать реже. Письма его делались всё короче. Люба, как бы почувствовав перемену в нем, тоже стала писать не так часто, и наконец всё прошедшее начало представляться Тавровскому в смутном тумане. И кончил он тем, что начал вести самую рассеянную и пустую жизнь и наконец, как мы уже знаем, проигрался. Как ни был значителен его проигрыш, ему, однако ж, жаль было не денег. В нем жила безотчетная, но неотразимая уверенность в свое счастье, и ему даже и в голову не приходило, что он может лишиться состояния. Но его бесило торжество соперника. Он не привык уступать никому ни в чем. Страсть к игре не была в нем постоянною страстию; но когда она приходила к нему, он предавался ей исключительно и необузданно. Все другие желания и страсти умирали. Он жил только, когда играл, а остальное время лежал, зевал, хандрил, никого не принимал и ни к кому не ездил. В таком именно кризисе находился он, когда Иван Софроныч прибыл к нему с отчетами. Кризис продолжался уже вторую неделю и, по замечанию камердинера, должен был скоро кончиться. Петр замечал, что у его барина такие кризисы никогда не продолжаются более двух недель.

Наступил вечер. В десять часов явился Иван Софроныч и смиренно поместился в уголку ярко освещенной залы Тавровского. В половине одиннадцатого прибыл господин Брусилов.

Многие заметили, что судьба посылает счастье именно тем, кто всего менее в нем нуждается. Кто всего чаще выигрывает лотерейные выигрыши: кареты, серебряные сервизы и участки земли и всё сколько-нибудь ценное?..

богачи, люди, имеющие сами миллионы, разъезжающие в отличных экипажах, кушающие с дорогих сервизов, имеющие богатые дачи! Кому везет в картах? опять всего чаще тем же богачам! Нужны ли еще примеры? нужны ли доказательства? Каждый в собственной жизни, вероятно, встречал их довольно.

Господин Брусилов принадлежал именно к числу таких счастливцев. Так как в нашем рассказе принадлежит ему незначительная роль, то мы не коснемся ни его характера, ни общественного положения и скажем только несколько необходимых слов. Отец оставил ему миллион; в то время господину Брусилову едва минуло совершеннолетие; в тридцать лет он женился и взял за женой тоже до миллиона, в течение пяти следующих лет имел несчастие потерять нескольких родственников, и к тридцати пяти годам состояние его удвоилось. Одним словом, к сорока годам он был одним из богатейших людей в Петербурге. Господин Брусилов никогда не вызывался играть, но, если ему предлагали, не отказывался, и никто еще не помнит, чтоб он проиграл значительный куш, но все готовы рассказать множество случаев, в которых были свидетелями его огромных выигрышей, причем непременно прибавят, что он безмерно и непроходимо глуп,— обстоятельство, которое можно объяснить завистью. Как бы то ни было, Тавровский любил играть с Брусиловым, и действительно, с ним было приятно играть: ни тени торжества и радости при выигрыше — судорожной радости, которую так отвратительно иногда бывает видеть (не одним проигрывающим) в некоторых слабонервных любимцах счастия; ни малейшего упадка духа при перемене счастья,— напротив, чем значительнее проигрыш, тем приятнее улыбка, тем вежливее слово, тем веселее шутка играющего! Отчаянье, вскрикиванье, рванье волос и карт — такие явления были совершенно вне характера Брусилова; людям, обнаруживающим что-нибудь подобное, он советовал купить мешок орехов и перенести игорный стол в детскую, если был с ними короток; а если был мало знаком, то вежливо спрашивал их фамилии и переставал играть. На другой день эти фамилии стояли в его записной книге в числе лиц, с которыми не должно играть.

Тавровский сам представлял в игре образец силы характера и уменья владеть собой; он знал по опыту, как трудно иногда сохранить наружное хладнокровие, и потому не мог не уважать твердости Брусилова. Но Брусилов

имел перед ним огромное преимущество: он играл несравненно счастливее, а при счастии легче владел собой.

Приехав к Тавровскому с тем, чтоб дать ему так называемый «реванш», Брусилов объявил, что не может оставаться долее двенадцати часов, потому что должен ехать на бал. (Он был во фраке и белых перчатках.) Игра началась немедленно.

Тавровскому не было счастья. Он разделил деньги, привезенные Иваном Софронычем, пополам и думал играть ими два вечера. Но через полчаса двадцати тысяч как не бывало, и Тавровский принялся за остальные. Иван Софроныч принимал судорожное участие в игре, сопровождал глазами каждую карту и не раз вскрикивал, когда Тавровский проигрывал большой куш. Но страдательное участие его не приносило пользы Тавровскому. Видя лихорадочное состояние Ивана Софроныча, Брусилов шутя замечал Тавровскому:

— Ваш почтенный управляющий принимает такое горячее участие в игре, что, право, я хочу проиграть, чтоб сделать ему удовольствие.

— Покорнейше вас благодарю! — воскликнул Иван Софроныч.— Не осудите старика!

— Немудрено, — отвечал Тавровский. — Ему очень нравится имение, которым я хочу заплатить вам мой проигрыш!

— А хорошее имение? — спросил Брусилов у Ивана Софроныча.

— Нет,— отвечал Иван Софроныч, начиная хитрить.— Много денег нужно положить, чтоб привести его в настоящее положение.

Тавровский невольно улыбнулся.

— Ничего, Иван Софроныч, не унывайте! — сказал Тавровский.— Вот если Матвей Александрыч даст мне шесть карт, так Софоновка останется еще за нами! — И он поставил карту, написал под ней куш и сказал:— Темная!

Иван Софроныч не выдержал и заглянул под карту. Лицо его покрылось смертельной бледностью: под картой стояла цифра, равнявшаяся всей сумме, остававшейся еще у Тавровского.

Пробило половина двенадцатого.

— Что, видно, решительная? — сказал Брусилов, увидав испуганное лицо управляющего.— И прекрасно! Мне скоро пора.

Брусилов дал четыре карты Тавровскому; но пятая была убита.

Тавровский поставил тот же куш. Брусилов убил его сразу.

— Баста! — сказал Тавровский. — Сегодня довольно!

— В самую пору,— заметил Брусилов и, сосчитав деньги, положил их в карман. Потом он встал, натянул перчатки и стал прощаться.

Иван Софроныч сидел как обваренный кипятком. Он машинально следил за движениями Брусилова, наконец расстегнул сюртук, достал бумажник и, вынув оттуда пачку ассигнаций, сказал умоляющим голосом:

— Батюшка Матвей Александрыч! не осудите старика, о чем попрошу вас. Вы изволили выиграть всё у моего барина; вот у меня наберется тысячи две, а может и побольше: не откажите пометать еще!

— Вы хотите играть? — с улыбкой сказал Брусилов, возвращаясь к столу.

— Хочется попробовать счастья; не погнушайтесь: конечно, я человек простой...

— Помилуйте,— прервал Брусилов. — Очень рад; готов в другой раз сколько вам угодно. Но вы знаете, что я должен ехать.

— Что вам стоит — долго ли взять две тысячи? — возразил Иван Софроныч.— Вы были так добры, что изволили давеча сказать, что проиграть готовы, чтоб потешить старика. Так хоть не откажитесь сыграть!

Голос Ивана Софроныча был так убедителен, что Брусилов, подумав немного, сказал:

— Ну извольте, для вас, одну талию.

Не садясь и не снимая перчаток, он взял карты и приготовился метать.

Иван Софроныч выдернул наудачу карту и поставил две тысячи пятьсот восемьдесят четыре рубля шестьдесят семь копеек — ровно всё, что подарил ему утром Тавровский.

— Если вы проиграете, я вам возвращу,— сказал ему удивленный Тавровский.

— Дана,— в то же время сказал Брусилов.

Иван Софроныч, как будто движимый вдохновением, быстро выдернул и загнул другую карту. И та была ему дана. Тавровский пособил своему управляющему загнуть третью карту, которая также была дана.

Иван Софроныч торжественно крякнул. Брусилов снял перчатки, но всё еще не садился.

— А много ли имею? — спросил Иван Софроныч, рассчитывая.

— Вы имеете теперь семь кушей от двух тысяч пятисот рублей,— сказал Тавровский.— Ставьте на пятнадцать кушей!

— Девятнадцать тысяч девяносто два рубля тридцать четыре копейки,— сосчитал Иван Софроныч.— Ну-с, теперь и вам можно играть,— сказал он, подвигая карты к Тавровскому.

— Нет, Иван Софроныч! что чужими деньгами играть! да и надоело! гораздо интересней смотреть, особенно вашу игру.

— Куда мне? я и играть не умею! — возразил Иван Софроныч.

— Поскорее, господа,— нетерпеливо сказал Брусилов,— последняя талия.

— Я вас поучу. Ну, Иван Софроныч!

И Тавровский загнул карту на 15 кушей.

— Не та! — сказал Иван Софроныч с каким-то судорожным испугом.— Вот!

И он вытащил другую карту и бросил ее к Тавровскому.

Тавровский загнул ее и с любопытством ждал талии, держа в руках свою карту, забракованную Иваном Софронычем: его интересовало, что она скажет.

Эта карта (девятка) была убита по второму абцугу, причем Иван Софроныч вскрикнул: так напугала его близкая возможность разом всё снова проиграть; а между тем судьба собственной его карты была еще неизвестна.

— Будет дана! — сказал Брусилов спокойно.

И точно, прокинув еще несколько карт, он дал ее.

— Да вы чудеса делаете, Иван Софроныч! — сказал Тавровский.— Вы в пять минут отыграли весь мой сегодняшний проигрыш!

— С новичками такие вещи бывают сплошь да рядом,— заметил Брусилов и посмотрел на часы.— У нас есть еще пять минут,— сказал он, всё еще стоя.

Но когда и следующая карта, поставленная Иваном Софронычем на половину выигрыша, была дана, Брусилов сел. Игра продолжалась еще полчаса. Иван Софроныч возвратил сорок тысяч, проигранные Тавровским в тот вечер, и выиграл еще семьдесят тысяч. Брусилов кончил игру и

хотел заплатить чистыми деньгами; но Иван Софроныч отказался, объявив, что ему приятнее будет получить вексель Тавровского. Увидав вексель Тавровского, старик возгорелся желанием воротить все их в тот же вечер; он начал просить Брусилова еще поиграть; но Тавровский сказал ему, что такие вещи не водятся, что удерживать когонибудь — значит накликать беду на свою голову и что Брусилов и то уж сделал ему беспримерное снисхождение тем, что, раз перестав, согласился снова играть.

Брусилов обещал приехать завтра вечером.

Счастье продолжало благоприятствовать Ивану Софронычу: в следующий вечер он отыграл еще около ста тысяч. Через день Брусилов прислал записку, что не совсем здоров и быть у Тавровского не может, «а если вам угодно,— писал он,— то приезжайте ко мне да захватите с собой и вашего дядьку». (Так шутя прозвал он Ивана Софроныча.) Таким образом, Иван Софроныч имел случай быть в великолепном доме Брусилова и немало подивился затеям роскоши, которыми окружил себя прихотливый богач. Здесь он очутился в обществе людей образованных и богатых, которые, шутя и зевая, проигрывали или выигрывали значительные суммы, что, по-видимому, служило им не более как приятным возбуждением нервов. Всем чрезвычайно понравилось добродушие старика; гости шутили с ним и со смехом рассказывали друг другу, что Тавровский, сознав свою невинность и неопытность, обзавелся дядькой, без которого никуда не ездит.

В этот вечер решилась судьба Софоновки: Иван Софроныч отыграл деньги, проигранные Тавровским Брусилову, и тут же разорвал векселя, переданные ему Брусиловым.

Все поздравляли Тавровского и объявили в один голос, что каждый из них желал бы иметь такого дядьку до глубокой старости. И тут же многими лицами сделаны были Ивану Софронычу шутливые предложения перейти к ним в дядьки за двойную цену. Иван Софроныч, в сильной радости, смеялся, благодарил, отшучивался по-своему и вообще доставил много удовольствия компании своею наивностию, забавными ухватками и честной, правдивой речью. За ужином подпоили его (старику немного было нужно, чтоб потерять голову: он уж и так был пьян от радости), Иван Софроныч расходился, описывал свои молодые годы, походную жизнь, свое житье в Овинищах (причем старик прослезился, вспомнив Алексея Алексеича),— словом, как явление совершенно новое в кругу, где все лица пригля-

делись более или менее друг к другу, обычные разговоры прислушались и надоели, Иван Софроныч всех занял и много способствовал к оживлению ужина. Многие, в том числе и Брусилов, приглашали его к себе. Но всех больше в этот вечер был удивлен Тавровский, до того времени не знавший своего управляющего. Тавровский увидел, что Иван Софроныч успел уже привязаться к нему и решительно не понимал за что: он не знал, что сердце Ивана Софроныча так уж было устроено самою природою, что Ивану Софронычу довольно было прожить безбедно и спокойно год в селе Софоновке, чтоб навсегда остаться преданным его владельцу.

— Ну, Иван Софроныч,— сказал Тавровский, когда они возвратились домой,— как же мы с вами рассчитаемся? Теперь я ваш должник.

— Вы? помилуйте, батюшка Павел Сергеич, да каким же образом? — возразил Иван Софроныч.

— Софоновку вы отыграли?

— Точно, я. Да чьими деньгами?

— Своими... то есть теми, которые я вам подарил.

— Подарили? — повторил Иван Софроныч.— Да какие же тут подарки, когда жалованье платится по условию! Нет, батюшка, деньги были ваши.

— Нет, Иван Софроныч,— горячо возразил Тавровский,—моя воля была их вам не дать.

— Да моей воли не было взять.

— Да ведь вы уж взяли.

— Взять взял, а помнить помнил, чьи они. А взял потому, что попробовать счастья хотел — Софоновку отыграть, коли вам не посчастливится! Вот и отыграл! — с торжеством прибавил Иван Софроныч.

— И получите половину,— сказал Тавровский.— Мой долг отдать вам по крайней мере половину: вы рискнули двумя тысячами, может быть единственными...

— Да говорю вам, что они не мои были! — резко перебил Иван Софроныч, вспылив.— Ну а если б и мои, так разве вы не помните, когда я стал играть: не вы ли изволили сами сказать, что заплатите мне, если я проиграю?

Тавровский вспомнил, что действительно говорил что-то подобное.

— Ну так статочное ли дело! разве я жидовин какой, что, выигравши, буду брать, когда, проигравши, не сам бы платил. Рассудите сами, батюшка!

Тавровский стал уговаривать его взять хоть сорок тысяч, привезенные им. Иван Софроныч наконец согласился, вспомнив о дочери. В порыве щедрости Тавровский тут же хотел их отдать ему. Но Иван Софроныч не взял.

— Помилуйте! — сказал Иван Софроныч.— Успеем еще. А теперь у вас у самих только и есть.

— Ну как хотите!

Прощаясь с Иваном Софронычем, Тавровский предложил ему свою коляску — доехать домой; но Иван Софроныч предпочел пройтись пешком. Он шел, пошатываясь, размахивая руками, и всю дорогу пел одно слово: Софоновка! Со-фо-но-вка! Сofффоновкккa! Добравшись наконец до своей квартиры, он разбудил Настю и сказал ей:

— Настенька! знаешь ли, какая радость?

— Что, батюшка?

— Я выиграл триста пятьдесят тысяч! — громко и торжественно произнес Иван Софроныч.

— Что? — повторила Настя, широко раскрывая свои сонные глаза.

— Что? — невольно вскрикнул в то же время бледный господин, изготовлявший в соседней квартире «партию свадебных билетов» по заказу одного счастливца, желавшего ознаменовать свое вступление в брак приличным пиршеством; вскочив со всех ног, он кинулся к двери, которая вела в соседнюю квартиру, но была теперь заколочена, и приложил ухо к щели.

— Я выиграл триста пятьдесят тысяч! — громко повторил Иван Софроныч.

— Господи! есть же такие счастливцы! — произнес бледный господин, неизвестно почему побледнев в одну секунду более обыкновенного и дрожа как в лихорадке.

После расспросов Насти и несвязных ответов Ивана Софроныча в квартире соседа всё замолкло, а молодого человека всё еще била лихорадка. Он думал о том, что вот человек в один вечер выиграл триста пятьдесят тысяч, а ты никогда их не будешь иметь, хоть семьдесят семь лет пиши свадебные приглашения и «изготовь» их столько, что хватило бы пережениться всему человечеству. Между тем время шло; он взглянул в окно: было уже утро, и он с новым жаром принялся приготовлять приглашения, которых обязался поставить ровно семьдесят экземпляров к девяти часам наступающего дня. Но дело шло уже не так, как прежде. Час тому назад он писал легко и скоро. Уже сорок девять раз начинал и благополучно оканчивал он

своим четким и красивым почерком вожделенное известие о том, что «Стратилат Гурьевич Попершихин, вступая в брак с дочерью Панфила Вавиловича Василевского, Лукерьею Панфиловною, покорнейше просит сего февраля...» и проч.; уже более половины партии было готово, и рука так привыкла к своему делу, что голова могла думать что ей угодно, и что бы ни думала голова, рука пишет да пишет, и непременно напишет то, что следует, как будто и написать ничего больше нельзя человеческими буквами, кроме вожделенного известия о бракосочетании Стратилата Гурьевича с Лукерьей Панфиловной. Теперь не то. Молодой человек беспрестанно с досадой отбрасывает испорченные листки, рука его дрожит, а в голове такой разлад, такая кутерьма, какая могла бы разве произойти в двух почтенных семействах, готовых породниться, если б Стратилат Гурьевич вздумал вдруг отказаться от руки Лукерьи Панфиловны.

И всё наделало известие Ивана Софроныча!

Выбившись наконец из сил, молодой человек бросил свою работу, не дописав партии, и лег спать, с намерением, проснувшись, тотчас отправиться посмотреть хоть в щелку на счастливца, выигравшего вчера триста пятьдесят тысяч. Он спал беспокойно и видел во сне не Стратилата Гурьевича и Лукерью Панфиловну, принимающих поздравления своих знакомых (как обыкновенно случалось с ним после усердной подготовки свадебной партии), но самого себя, в брачном костюме, под венцом, с красавицей, папенька которой подает ему триста пятьдесят тысяч... Он ставит их на карту: карта убита; папенька превращается в чудовище с оскаленными зубами и адски хохочет; а вместо красавицы подле него стоит толстый купец, заказавший ему свадебные билеты, и требует назад свой двугривенный, данный ему в задаток, потому что билеты опоздали и теперь уж даром не нужны.

Глава L

ПОСЕЩЕНИЕ

Несколько дней Иван Софроныч провел весело. Он ходил с своей Настей в театр, водил ее в Кунсткамеру и на Биржу, несколько раз ездил с ней в окрестности Петербурга. Между тем он делал приготовления к обратному

отъезду в Софоновку и желал только отпраздновать в Петербурге рождение своей дочери. Накануне этого дня Иван Софроныч разменял пятьсот рублей на пятачки и гривеннички, собираясь подарить их в рождение своей дочери: Настя очень любила пятачки и гривеннички и в Софоновке собирала и копила их. С этой ношей Иван Софроныч по дороге зашел к Тавровскому, чтоб проститься с ним и принять окончательные приказания по имению.

— Что это у вас? — спросил Тавровский, увидев в руках его туго набитый холстинный мешочек.

Иван Софроныч развязал мешочек и, достав горсть новеньких блестящих монет, показал Тавровскому.

У Тавровского глаза заблистали.

Он взял мешочек, долго любовался монетами, пересыпая их, и наконец спросил:

— На что вам столько мелочи?

Иван Софроныч объяснил, что желает подарить их дочери.

— А! у вас есть дочь?

— Да,— с гордостью сказал Иван Софроныч.

— И большая?

— Да уж осьмнадцатый год пошел.

— Знаете, Иван Софроныч, сыграемте на них,— сказал Тавровский.— Мне ужасно хочется их выиграть у вас.

— Некогда,— сказал старик.

— Нет, пожалуйста!

Иван Софроныч отказывался; но Тавровский просил так убедительно, глаза его так прильнули к блестящим монетам, что у Ивана Софроныча недостало духу отказать.

— Если уж вам угодно, так, пожалуй, извольте выиграть.

Тавровский обрадовался как ребенок согласию старика и тотчас велел поставить стол и карты.

Началась игра. Сначала счастие благоприятствовало Тавровскому. Он поминутно выигрывал и загребал к себе пятачки и гривеннички с такою жадностию, как будто то были груды золота. Иван Софроныч никогда не видал в нем такого увлечения и дивился мысленно причудливости богатого шалуна. Через полчаса все деньги Ивана Софроныча перешли к Тавровскому. У Ивана Софроныча остался один гривенник. Он призадумался. Ему немного жаль стало денег, которые назначались в подарок дочери.

— Нет счастья! Ну-ка, Петруша,— сказал Иван Соф-

роныч, обращаясь к камердинеру, стоявшему у стола,— стасуй да сними на счастье: авось выиграю!

Петр стасовал колоду, снял и подал Ивану Софронычу.

Иван Софроныч стал ставить по очереди, и счастье переменилось: Тавровский не мог убить у него ни одной карты, а Иван Софроныч увеличивал куши и поминутно пригребал к себе обратно свое серебро. Тавровский провожал жадными глазами каждую кучку, и по мере проигрыша желание овладеть серебряными монетами возрастало в нем. Когда наконец Иван Софроныч снова перевел их все в свой холстинный мешочек, Тавровский пришел в отчаяние: он проклинал свое счастие, рвал и бросал карты и так горячился, что Петр, привыкший в самой серьезной игре видеть своего барина молчаливым и спокойным, не знал, что и подумать.

— Ну, помечите вы,— сказал Тавровский и, начав понтировать, поставил карту ва-банк.

Карта была убита. Тавровский удвоил куш. Иван Софроныч опять убил.

Игра делалась довольно серьезною. Тавровский постоянно увеличивал куши, а Иван Софроныч постоянно их выигрывал. Скоро игра сделалась огромною. Иван Софроныч уже не рад был, что начал ее; видя горячность Тавровского и постоянно возрастающие куши, он несколько раз отказывался их бить. Но Тавровский просил, настаивал, и Иван Софроныч с неизменным своим счастьем поминутно приписывал новые суммы к своему выигрышу, которыми исписан был уже весь стол. Негде было писать больше. Иван Софроныч счел. Оказалось до трехсот тысяч.

— Ставьте ва-банк! — сказал Иван Софроныч, желая поскорее кончить игру, которая начинала принимать тягостный характер.

Тавровский поставил — и карта его была убита!

Игра продолжалась. Весь бледный, молча закусив губы, Тавровский дрожащими руками ставил карту за картой, и почти каждая подвергалась той же участи. Холодный пот выступил на лбу Тавровского, голос его сделался как-то беззвучен, глаза перебегали по столу, исписанному огромными кушами, которые он проиграл Ивану Софронычу.

— Ну, Иван Софроныч! — сказал Тавровский с улыбкой, которая при всем его уменье скрывать свои ощущения показалась управляющему болезненною.— Знаете ли, ведь

если вы убьете у меня еще две-три карты, так не вам у меня, а мне у вас придется быть управляющим?

И вслед за тем Иван Софроныч убил не одну и не две, а десять карт у Тавровского.

Должно заметить, что Ивана Софроныча более занимало страдательное положение Тавровского, которого несчастию он сам дивился, чем собственный выигрыш. Он даже хорошенько не знал, сколько в выигрыше, и записывал машинально, понуждаемый поминутно нетерпеливыми восклицаниями Тавровского:

— Ну, Иван Софроныч, скорее, скорее!

И под влиянием болезненного и нетерпеливого голоса Тавровского, Иван Софроныч быстро записывал, тасовал, еще быстрее бросал карты; а счастье делало свое дело, и сумма выигрыша постоянно возрастала!

Опять весь стол был исписан; негде было записывать. Иван Софроныч молча положил карты, взял мел и хотел сосчитать.

В лице Тавровского выразился страшный испуг.

— Бастуете? — спросил он.— Еще одну карту — последнюю карту!

Голос его был таков, что Иван Софроныч немедленно схватил колоду, стасовал и приготовился метать.

— Ва-банк! — сказал Тавровский.

Иван Софроныч принялся метать — и дал карту Тавровскому.

Тавровский провел рукою по глазам и испустил долгий, протяжный вздох, как будто дыханию его, долго теснимому, наконец дана была свобода. В то же время и почти такой же вздох вылетел из груди Ивана Софроныча, и лицо его выразило смесь недоумения, испуга и подавляющего впечатления еще неясной, но сильно встревожившей ум мысли. Он сидел неподвижно и широко раскрытыми глазами смотрел в лицо Тавровскому, который наконец сказал, взяв щеточку:

— Квиты!

И он хотел стереть со стола.

— Позвольте! — быстро сказал Иван Софроныч, снова тяжело переводя дыхание и потирая лоб.— Позвольте счесть, сколько я был в выигрыше!

Они оба начали считать — и насчитали около осьми миллионов!

Окончив счет, Иван Софроныч побледнел и долго не мог ничего сказать. Но еще более побледнел Тавровский.

С минуту оба они молча смотрели в лицо друг другу; наконец Иван Софроныч взял карты и слабым голосом, почти шепотом сказал:

— Не хотите ли еще сыграть?

— Нет, Иван Софроныч,— быстро сказал Тавровский.— В другой раз, пожалуй. А сегодня довольно сильных ощущений!

— И правда! Что я, старый дурак, никак с ума сошел! — сказал Иван Софроныч, в минуту овладев собой и победив мысль, забредшую ему мимоходом в голову.— Поиграли, и довольно!

Оба они ничего не имели друг против друга, но им както было неловко оставаться вместе, и Иван Софроныч поспешил уйти, а Тавровский не думал его удерживать. Каждому из них хотелось побыть несколько времени наедине с самим собой после слишком сильных ощущений, вынесенных в течение нескольких часов.

В прихожей остановил Ивана Софроныча камердинер.

— Вот, готово! — сказал он, подавая старику письмо.— Уж я же ее отделал! Не хотите ли прочесть? Сами скажете — хорошо!

И он раскрыл письмо и стал читать его Ивану Софронычу. Старик был озадачен крайнею грубостию и презрительным тоном письма, исполненного выходок лакейского негодования против деревенской простоты и необразованности. Ивану Софронычу стало жаль бедной старухи, и он убеждал Петра не посылать письма. Петр долго не соглашался, наконец уступил просьбам управляющего и, разорвав грозное послание, написал новое, в три строки. Оно состояло в следующем: «Любезная матушка! Я написал было вам достойный ответ на ваше письмо, но по просьбе Ивана Софроныча не послал его».

И как ни доказывал ему Иван Софроныч, что лучше ничего не писать, Петр требовал, чтоб второе послание непременно было отдано его матери...

Расставшись с Петром, Иван Софроныч тихо побрел домой и думал, что за странный человек Тавровский. «Кажется, и умен, и образован, и свет видел, и понимает всё так, что и нашему брату, старику, иной раз так не рассудить дела, и деньгам цену знает, а делает иногда такие вещи, что и малому ребенку непростительно! Ну что, хоть бы сегодня, увидал мелочь — глаза загорелись; очень нужны ему мои пятачки и гривенники, когда самому тысячи нипочем! Пристал — играй да играй! Вот и доигрался было...

ух! страшно вспомнить!» К чести Ивана Софроныча должно сказать, что сожаление о выигранных и тотчас же проигранных деньгах если и было в его сердце, то очень недолго,— и именно в ту минуту, когда мысль, что он полчаса был обладателем огромного богатства, достигла его сознания. Но и тут его более поразила странность факта, который совершился так быстро и мог иметь такое огромное влияние на целую жизнь двух человек, так противоположно поставленных в обществе!

В свою очередь Тавровский не мог не удивляться Ивану Софронычу и мысленно не отдать справедливости бесконечному благородству и высокой, целомудренной простоте его сердца. Размышления его были прерваны приходом камердинера, которому он приказал узнать, где остановился Иван Софроныч.

Иван Софроныч первые дни по приезде в Петербург жил в нумерах где-то в Ямской. Но потом он приискал в Коломне небольшую квартирку с мебелью, которая обходилась ему дешевле и была удобнее. Она состояла из двух маленьких комнат в нижнем этаже огромного дома и выходила окнами на улицу.

В день рождения Насти старик с дочерью поднялся довольно рано. Настя оделась в национальный костюм, который она иногда надевала в воспоминание об Алексее Алексеиче, любившем видеть ее в сарафане.

Может быть, потому же Иван Софроныч находил, что никакие немецкие платья не идут так его дочери, как русский сарафан и кисейная рубашка. И в самом деле, Настя в этом костюме представляла тип русской красавицы, полной, румяной, с загорелым лицом, пышными плечами и роскошным станом. Недоставало только открытого, веселого и бойкого взгляда: Настя была постоянно грустна; старик отчасти знал, отчего грустит она, но показывал вид, будто не замечает ничего: он был добр, но упрям и горд и, раз сказав, что дочь его не будет в родстве с Натальей Кирилловной, считал бесчестным даже мысль о возможности изменить свое решение. Надев самый лучший свой вицмундир, украшенный несколькими медалями, Иван Софроныч под руку с дочерью отправился в ближайшую церковь; отец и дочь усердно молились и невольно привлекли общее внимание: отец — своей почтенной и выразительной наружностью, полной простоты и достоинства; дочь — своею красотою, резко выдававшеюся среди бледных, поблекших лиц других женщин, и своим оригиналь-

ным нарядом. Отслушав обедню, Иван Софроныч проводил дочь до квартиры, а сам отправился неподалеку навестить одного нужного человека, с которым не успел повидаться.

Настя пришла домой, засучила рукава своей белой рубашки, открыв, таким образом, выше локтя свои полные смуглые руки, которыми можно было залюбоваться, взяла кофейник и отправилась в кухню, общую с хозяйкой, варить кофе. Поставив кофейник на плиту, она воротилась в комнату, накрыла чистой салфеткой небольшой столик, поставила чашки, сахарницу, сливки, большой крендель, принесенный хозяйской прислужницей, и задумчиво села перед столом в ожидании Ивана Софроныча.

Стук экипажа и резкий звук бича, раздавшиеся на улице, вывели ее из задумчивости. Она взглянула в окно и увидела экипаж, который так поразил ее своей красивой и странной формой, что любопытная Настя быстро открыла окно и до половины высунулась, чтоб лучше рассмотреть его. То был прекрасный фаэтон, запряженный двумя бойкими серыми лошадями, которыми правил красивый высокий господин, вооруженный длинным бичом; черный негр, с оскаленными зубами, в белом галстухе, красном жилете, синей куртке и сапогах с отворотами, помещался в заднем сиденье и чудовищно скалил зубы, как будто поддразнивая любопытных прохожих, жадно осматривавших его. Форма экипажа, красота и ловкость его владельца, а особенно уродливый жокей приковали всё внимание Насти, которая имела довольно времени полюбоваться интересным зрелищем, потому что экипаж ехал прямо к их дому и наконец остановился перед воротами его. Господин ловко выскочил из экипажа и передал бич и вожжи груму, которого назвал Жоржем. Затем он обратился к стоявшим у ворот мужикам, мастеровым и разным зевакам с вопросом:

— Здесь ли живет Понизовкин?

Никто не дал ответа; все переминались, искоса оглядывая красивого господина, его экипаж и грума, стоявшего с бичом, в грозной позе. Красивый господин повторил свой вопрос.

— Здесь! — невольно сказала Настя и вдруг вся покраснела, перепугалась и быстро отскочила в глубину комнаты.

Красивый господин поднял голову, но никого не видал.

— Здесь? — вопросительно повторил он.

Настя не решилась отвечать.

— Кто же сказал: здесь? — спросил красивый господин в недоумении.— Да где же у вас дворник?

— Барышня сказала! — отозвался мальчик в полосатом халате.— Никак, они тут и живут,— прибавил он, указывая на раскрытое окно.

— Здесь, здесь! — утвердительно повторили в один голос стоявшие у ворот.

Настя, ни жива ни мертва, стояла, прислонившись к стене, когда у дверей послышался звонок. Она отперла двери дрожащей рукой и встретила гостя словами:

— Батюшки нет дома.

— А далеко он ушел? Долго не придет?

— Нет, он сейчас будет,— отвечала Настя.

— Мне очень нужно его видеть... Я могу подождать?

— Как вам угодно.

Следом за Настей гость вошел в комнату; только теперь увидав Настю, он с минуту казался пораженным и ничего не говорил. Настя еще более потерялась.

— Извините, — заговорил наконец гость. — В темной прихожей я совсем не мог разглядеть, с кем имею удовольствие говорить. Так вот какая дочь у Ивана Софроныча! — прибавил он, продолжая оглядывать Настю смелым и удивленным взором.— Ведь я не ошибаюсь, вы дочь Ивана Софроныча?

— Да.

— Сегодня ваше рождение?

— Так точно.

— Я приехал поздравить вас.

Настя поблагодарила наклонением головы.

— Я ужасно рад, что приехал. И знаете почему?

— Нет.

— Я обогатился одним открытием. Так вот по каким дням родятся красавицы! — продолжал гость, пожирая глазами девушку, которая покраснела как пион.— Извините, но я не могу не объявить вам прямо, что вы удивительная красавица. Признаюсь, я видел много женщин в своей жизни — и торжественно отдаю предпочтение русской красавице... и русскому национальному костюму,— прибавил он,— по крайней мере, когда наденет его такая красавица, как вы...— Настя не знала, что говорить, куда смотреть, куда девать свои руки. Гость продолжал с возрастающею любезностию и свободою:— И знаете ли? я нисколько не шучу! клянусь вам всеми женщинами, которых

я знал в своей жизни, что не видал никого прекраснее вас! Как идет к вам сарафан! И как мило вы сделали, что открыли ваши прекрасные ручки! Они так хороши, что в самом деле совестно их скрывать. Знаете ли, они так хороши, так хороши, что мне приходит охота попросить у вас позволения поцеловать ваш локоток!

Настя с испугом отскочила и стала поспешно опускать рукав.

— Не хотите? но я вас прошу! — сказал гость умоляющим и настойчивым голосом, сделав движение к ней.

Настя отскочила к самому окошку и торопливо спускала другой рукав.

— Ну, я вижу, вы так строги, что мне придется обойтись без всякого позволения,— сказал гость.

И, быстро подскочив к Насте, он нагнулся...

Между тем, возвращаясь домой, Иван Софроныч издали узнал фаэтон Тавровского и черного грума, с которым имел удовольствие познакомиться у Петра Прохорыча. Он удвоил шаги и не без удивления приметил двух или трех зевак, глазевших в открытое окно, также подняв голову; и вдруг его лицо покрылось смертельной бледностию. Бегом вбежал он на небольшую лестницу, вошел в дверь, которую позабыла запереть Настя, и очутился лицом к лицу перед Тавровским.

Настя, увидав отца, кинулась к нему с заплаканными глазами и припала лицом к его груди.

Грозное лицо Ивана Софроныча, который с гневом и недоумением оглядывал своего гостя, тяжело переводя дыхание, удивило Тавровского.

— Зачем вы пожаловали сюда? — проговорил Иван Софроныч тихо, но таким строгим голосом, что Тавровский смутился.— Дочь моя и так уж довольно потерпела по милости вашего семейства. Ваша тетушка преследовала ее в своем доме, ваш родственник вздумал удостоить ее своим вниманием, и нас обвинили в интригах. Бог видит, как справедливы были подозрения! Моя Настя сама никогда не согласится вступить в такой брак, если б ваша тетушка пришла упрашивать ее!

Тавровскому показалось, что Настя вздрогнула при последних словах старика.

— И теперь вы,— продолжал Понизовкин, возвышая голос,— вы хотите довершить несчастие бедной девушки, посягая...

— Потише! — возразил Тавровский, более удивленный, чем рассерженный гневной выходкой своего управляющего: привыкнув действовать по влечению минутной прихоти и вообще не слишком разборчиво обходиться с простыми людьми, он видел в своем поступке не более как шутку и совсем не ожидал, чтоб дело могло принять такой оборот.— Потише,— сказал он,— выслушайте прежде, в чем дело. Ваша дочь напрасно встревожилась, и вы тоже. Я слишком хорошо знаю приличия, чтоб оскорбить их. Я позволил себе не более того, что позволительно во всяком кругу...

— Мне дела нет до того, что позволяете вы себе в вашем кругу! — запальчиво возразил Иван Софроныч.— Вы пришли в мой дом и оскорбили мою дочь...

— Чем? — перебил Тавровский.— Я ничего не сделал, да и то, что хотел сделать, не более как самая невинная шутка...

— Шутка! хороша шутка! — перебил управляющий.— Вы приходите в первый раз в дом честного человека и оскорбляете его дочь и делаете целую улицу свидетелем своего поступка,— прибавил Иван Софроныч, указывая на окно, в которое продолжали глазеть любопытные.

— Полноте, полноте, почтенный Иван Софроныч, — заметил Тавровский.— Ваша горячность ослепляет вас. Что несколько дураков глазели в окно, так уж вы вообразили бог знает что.

— Дураков? Нет, это не дураки: это народ; они будут говорить, будут судить. Все знают, кто вы, знают, что я ваш управляющий; и вы так обходитесь с моей дочерью? Что же подумают обо мне? Что подумают о ней? — прибавил старик со слезами.— Это низко, это бесчестно! — заключил он громким, полным негодования голосом.

— Батюшка! батюшка! что вы говорите! — воскликнула Настя, прижимаясь к отцу.

— Замолчи, сумасшедший! — в то же время воскликнул Тавровский, в лице которого появились признаки сильного гнева.— Как смеешь ты говорить мне такие дерзости? Говорю тебе, что я никого не хотел оскорбить и никого не оскорбил. Я пришел сюда совсем с другим намерением,— продолжал он, поднося руку к карману.

— Не хотели ли вы выкупить свой поступок деньгами? — грозно спросил Иван Софроныч, кидаясь к Тавровскому, который невольно отскочил: губы его судорожно стиснулись, глаза засверкали.

— Глупый старик! — сказал он презрительно.— С то-

бой невозможно говорить теперь. Я вовсе не хочу доставлять глупого зрелища глупым зрителям, которых ты делаешь свидетелями своего сумасбродства,— и ухожу. Буду говорить с тобой, когда ты образумишься. Прощайте,— прибавил он другим голосом, кланяясь Насте.— Если вы иначе поняли мою невинную шутку, то я тысячу раз прошу у вас извинения, но, клянусь, я не хотел сделать ничего дурного и обидного кому-нибудь!

Он ушел, и скоро послышался стук его фаэтона по мостовой и звук бича, резко свиставшего в воздухе.

Иван Софроныч поцеловал в лоб дочь свою и, посадив ее, сказал:

— Успокойся, Настенька, не плачь. Будь умна. Теперь, больше чем когда-нибудь, нам нужны твердость и благоразумие. Приготовься опять мыкать горе. Мы опять не имеем ни жалованья, ни приюта, ни покровителя. Я не могу более остаться у него управляющим. Нам осталась одна надежда — на бога. Да будет же его святая воля!

Старик перекрестился и прижал к груди плачущую дочь свою.

Тихо и печально прошел день рождения Насти.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРТВОЕ ОЗЕРО

ТОМ ПЕРВЫЙ

Часть первая

Глава I. Летний вечер 5
Глава II. Учитель 12
Глава III. Приемыш 25
Глава IV. Еще благодеяние 30
Глава V. Хитрая выдумка 41

Часть вторая

Глава VI. Письмо 50
Глава VII. Отъезд 61
Глава VIII. Гроза 67
Глава IX. Бал 77
Глава X. Долг.— Прогулка 84
Глава XI. Опять письмо 94
Глава XII. Развязка 99

Часть третья

Глава XIII. Прачка 106
Глава XIV. Кофейная близ театра 114
Глава XV. Проба 124
Глава XVI. Провинциальный театрал 131
Глава XVII. Закулисная сплетня.— Прачка устроивает судьбу своей дочери 137

Часть четвертая

Глава XVIII. Жизнь кочующего актера 148
Глава XIX. Перед спектаклем 159
Глава XX. Торжество Любской и Мечиславского 167
Глава XXI. Вечер у Любской 171
Глава XXII. Театральный балок и его последствия 176
Глава XXIII. Содержатель театра 183
Глава XXIV. Вербовщица 191

Часть пятая

Глава XXV. Три сестры 205
Глава XXVI. Дебют 216
Глава XXVII. Новое торжество Любской и болезнь Мечиславского 226
Глава XXVIII. Старый знакомый 236

ТОМ ВТОРОЙ

Часть шестая

Глава XXIX. Хозяйственный смотр 242
Глава XXX. Сослуживцы 257
Глава XXXI. «Железная» 267
Глава XXXII. Завещание 284

Часть седьмая

Глава XXXIII. Новые лица 297
Глава XXXIV. Старые знакомые 307
Глава XXXV. Буря в стакане воды 315
Глава XXXVI. Племянник из-за границы 331
Глава XXXVII. Иван Софроныч получил место 342

Часть восьмая

Глава XXXVIII. 348
Глава XXXIX. 355
Глава XL. 364
Глава XLI. 370
Глава XLII. 374

Часть девятая

Глава XLIII. Люба 389

Глава XLIV. Старые знакомые 398
Глава XLV. Праздники 408
Глава XLVI. Разлука 421

Часть десятая

Глава XLVII. Письмо 434
Глава XLVIII. Дурные вести 443
Глава XLIX. Торжество Ивана Софроныча 453
Глава L. Посещение 466

Подготовка текста

Б. Л. БЕССОНОВ

Редактор тома

В. И. КАМИНСКИЙ

Николай Алексеевич Некрасов

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТНАДЦАТИ ТОМАХ

Том 10

Книга I

Мертвое озеро

Утверждено к печати
Институтом русской литературы
(Пушкинский Дом) АН СССР

Редактор издательства *Т. А. Лапицкая*
Художник *Л. А. Яценко*
Технический редактор *Н. А. Кругликова*
Корректоры *Л. М. Бова, Э. Н. Липпа* и *К. С. Фридлянд*

Сдано в набор 02.01.85. Подписано к печати 02.04.85. Формат 84×108 1/32. Бумага № 1. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 25.20+0.11 вкл. Усл. кр.-отт. 25.31. Уч.-изд. л. 26.98. Тираж 300 000. (2-й завод 150 001—300 000). Тип. зак. № 5-9. Цена 3 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»,
Ленинградское отделение
199164, Ленинград В-164, Менделеевская лин., 1

Киевская книжная фабрика. 252054, Киев-54, Воровского, 24.